

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1998

1

1998

# НОВЫЙ МИР

## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 1(873)

Январь, 1998 г.

Учредитель — редакция журнала «Новый мир»

### СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР — С серебряной изнанкой, стихи	3
АЛЕКСЕЙ УСАЛКО — Крым. Конец столетия, рассказы	9
ЭДУАРД БУРМАКИН — Дверь, повесть	19
МАРИНА БОРОДИЦКАЯ — Три ключа, стихи	68
ЛИДИЯ СЫЧЕВА — Деревенские рассказы	76
ПАВЕЛ ЛАВРЁНОВ — Косиножка, рассказ. Вступительное слово А. Солженицына	84
ИЗ КНИГИ ПСАЛМОВ ДАВИДОВЫХ. Перевел с древнееврейского Сергей Аверинцев. <i>Сергей Аверинцев</i> . Два слова о том, до чего же трудно переводить библейскую поэзию	90

#### ЭКОЛОГИЯ РОССИИ

АНАТОЛИЙ ГРЕШНЕВИКОВ — Гибель вод. Послесловие Сергея Залыгина	98
---	----

#### ПУБЛИЦИСТИКА

Л. АЙЗЕРМАН — Совопросник века сего	115
РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА — Это не заговор, но...	126
ИАНА ВИДРА — Психоанализ и воспитание	134

#### ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ВЛ. НОВИКОВ — Ноблесс обляж. О нашем речевом поведении	139
--	-----

#### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

МИХАИЛ АРДОВ — Возвращение на Ордынку. <i>Евгений Рейн</i> . На пи- ру Мнемозины	154
---	-----

#### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Приёмы эпоей. Из «Литературной коллекции»	172
---	-----

#### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

##### По ходу текста

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — Гамбургский счет и партийная литература	191
--	-----

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Татьяна Касаткина. Искусственный венок	200
Андрей Василевский. Аксенов есть Аксенов есть Аксенов	204
Владимир Славецкий. Голошение	208
Ольга Майорова. «Простым рожден я быть певцом...»	213
Елена Ознобкина. «...Громадная задача философского обживания русского языка...»	216
Юрий Глазов. «Так где же мы ошиблись?»	220
Вл. Юданов, Г. Лятнев. «Левый» марш?	224

---

Анатолий Кузнецов. — I. Дмитрий Шостакович. Леди Макбет Мценского уезда. (Возрождение шедевра). II. Нина Берберова. Чайковский. III. В. Корганов. Бетховен. Биографический этюд. IV. Духовная среда России. Певческие книги и иконы XVII — начала XX века	228
Юрий Говорухин. — Варианты реорганизации сельскохозяйственных предприятий	232

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Г. РАЗУМОВ — Большие надежды на малую энергетику	235
--	-----

### БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	243
Периодика (составитель Андрей Василевский)	245
SUMMARY	256

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
БОРИСА ПЕТРОВИЧА ЕКИМОВА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ  
ПРЕМИИ «ПЕННЕ»!**

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 2189 экземпляров журнала «Новый мир».

---

---

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

\*

## С СЕРЕБРЯНОЙ ИЗНАНКОЙ

Еще раз...

О, если бы при нас какой-нибудь еще раз  
Привлек сердца роман, как «Вертер» или «Дар»,  
О, если бы к груди прижать счастливый образ,  
Не важно, пусть он юн, а ты угрюм и стар.

О, если бы еще один Онегин, что ли,  
Пусть Генри-лейтенант, пусть гамсуновский Глан...  
Неужто навсегда разобраны все роли,  
Подсохли слезы все, развеян весь туман?

Ведь это как любовь! Неужто ни в Европе,  
Ни в Африке слова никто не сцепит так,  
Чтоб мир себя узнал в смущенье и ознобе,  
Вздыхнул, помолодел, вспыллил, ускорил шаг!

Дрозд

Дрозд — это не только английская птица,  
Которую так полюбили поэты,  
Живущие там, где туман сребролицый  
Ложится на вереск, и виден в просветы  
Кусочек площадки для гольфа, и парус,  
Как перышко воткнутый в волны, белеет, —  
Дрозд — это и наше смиренность, и старость,  
И радость, вот только он петь не умеет.

Дрозд — это и наше везенье и горе,  
Находка для мрачно блестящего взгляда,  
Вот только ни замка не видно, ни моря,  
И он безголосый, такая досада,  
Коричнево-пасмурный чаще, чем черный,  
И все-таки родину я не покину,  
Да, без музыкального слуха, и вздорный,  
И так черноплодную любит рябину.

\* \*  
\*

Скучно, Гоголь, жить на этом свете!  
Но повеет медом иногда  
От пушистых зонтичных соцветий —  
Чудно жить на свете, господа!

Господа посматривают косо,  
Хмуро, кисло, заняты другим.  
А еще дымком от тепловоза  
Вдруг пахнёт и паром полевым.

Он ползет, грязнуля и неряха,  
Из Полтавы, может быть, Орла,  
Словно пылкость взял у Шлипенбаха,  
И пыхтит, и воет, как пчела.

Ах, и сам я мрачностью страдаю  
И всю жизнь с собой борюсь.  
Отбивайся! Лезь в Петрову стаю!  
Кипятись, как Боур или Брюс!

Лучший способ, может быть, и метод  
Жить среди печалей и обид,  
Не сдаваясь: сдашься — кто за этот  
Сладкий пар и запах постоит?

\* \*  
\*

У человека, говорящего  
По телефону, взгляд отсутствующий.  
Он вообще не то на спящего  
Похож, не то он заслан в будущее  
И нас не видит: слух, наверное,  
Сильнее зренья связан с пропастью  
Души — в ней что-то есть пещерное,  
Не зря в нее заходят с робостью.

У человека, говорящего  
По телефону, взгляд блуждающий  
По лабиринту, к звероящеру  
Сходящий, бычий и бодающий,  
Ведь между ними нет посредника,  
Ни карты вин, ни роз на столике,  
И прорывают собеседника  
Черты в любимом нами облике.

\* \*  
\*

Придется Святому, когда воскресенье  
Телесное будет объявлено, кости  
Свои собирать по церквям, в отдаленье  
Стоящим, аббатствам, как шляпы и трости:  
Колено — в Перудже на бархатной ткани,

Расшитой серебряной нитью, ключица —  
 На пухлой подушке парчовой в Милане,  
 Усыпана розами; кто поручится,  
 Что не потерялись бедро или голень,  
 Которую видели в пышной укладке  
 Лежащую с перстнем Крестителя ровень,  
 Кто, сведущий, скажет: теперь все в порядке?

Кто, все это, как инструмент музыкальный,  
 Собрав, дорогие чехлы и футляры  
 Отбросив, вдохнет в него жизнь, погребальный  
 Отвергнув мотив, отменяя кошмары,  
 Кто сложит опять Вифлеемские ясли  
 По щепкам разбросанным, втайне хранимым,  
 Кто предусмотрителен так и запаслив,  
 Ни тленом души не запачкав, ни дымом?

\* \*  
 \*

Та с длинным хвостиком, у этой он так мал,  
 Но перья пышные с серебряной изнанкой...  
 Поговорить бы с тем, кто, строгий, им сказал:  
 Ты будешь пеночкой, ты будешь коноплянкой.

Мне жаль, что, сумрачный, не различаю их.  
 Куда тягаться мне с безвестным тем поэтом!  
 Я сделал правильно; что я присел, затих,  
 Стул вынес из дому под ель на даче летом.

Жара. И красная, но с зимней сединой,  
 Сбегаёт белка вниз, ветвь раскачав, как птица.  
 И что бы ни было потом, во тьме, со мной,  
 Угрюмый, буду знать, к чему мне прислониться.

\* \*  
 \*

Если бы все, что прочесть о себе  
 Мне посчастливилось, принял я близко  
 К сердцу, — на обе ноги при ходьбе  
 Я бы хромал и страшной василиска  
 Был бы, — и мытаря так не стыдят,  
 Вора и взломщика так не бичуют.  
 Как же в стихах своих я виноват!  
 Как их не любят! И как негодуют!

Кто ж их читать заставляет? Не я.  
 Мимо пройдите, найдите другую —  
 Занята, видите, эта скамья!  
 Нет же, поближе садятся, вплотную:  
 Что я читаю? Не сыро ль в саду?  
 Мох этот, правда, как бархат, на камне?  
 К черту послать бы их! Да на беду  
 Вежливость в детстве была внушена мне.

\* \*  
\*

Слышал, как я сегодня во сне кричала? —  
И я вспомнил: еще как кричала, жутко! —  
Мне приснилось, что вор к нам залез, — сначала  
не могла я пошевелиться, чутко  
крался он по веранде, боясь наткнуться  
на какой-нибудь стул, и в шкафу посуда  
чуть позвякивала, — чашка или блюдо, —  
и я в ужасе крикнула: «Вон отсюда!»

И я вспомнил: на потустороннем, диком,  
допотопном каком-то, чужом, ужасном  
и беспамятном, к сумраку грозным ликом  
повернувшись, гласным придав, согласным  
странный призыв, ночном языке два слова  
выкрикнула, — таких я не знаю, точно,  
ты, чья речь так понятна всегда, готова  
высветлить этот сумрак, нежна, проточна.

\* \*  
\*

Женщины так устроены,  
Мучают нас.  
Вечные они воины  
За последнюю точность фраз.

Незаметно подкралась туча,  
А было так светло...  
Я обидчик, тот самый случай,  
Я и есть мирóвое зло.

Ну что я сказал такого?  
Стынет чай, не допит бокал.  
Повторил бы я слово в слово,  
Да не помню я, что сказал.

Бесполезны мои вопросы,  
Безнадежен гнев.  
Ничего нет страшней, чем слезы!  
Вот хотел перед смертью Лев

Наш, в своем безоглядном вкусе,  
Все, что знает про них, сказать  
И в могилу шмыгнуть, — да струсил.  
Золотится прядь

В любопытном луче закатном.  
Или, желтый, жалеет нас?  
Не хочу, чтобы он с превратным  
Мненьем выщвел и так погас.

## Совет

Когда актер Ливанов Сталина  
 Спросил на праздничном банкете,  
 Как принца Гамлета, датчанина,  
 Ему сыграть, мол, он в совете  
 Вождя нуждается, — для мхатовца  
 Так ценно сталинское слово,  
 И за традицию не спрятаться,  
 И надо смело думать снова,  
 Чтоб вдохновляло исполнение,  
 Как вождь пленяет зал речами, —  
 Вождь, выражая удивление,  
 Пожал покатыми плечами:  
 «Зачем живущим пятилеткою  
 Советским людям эта пьеса?»  
 И драма как бы лишней веткою  
 Поникла на стволе прогресса:  
 Срубить бы; ладно уж, оставили,  
 Так, для гурманов и поэтов...  
 И сколько Сталин жил, при Сталине  
 Она не шла в стране советов.

\* \*  
\*

Ну, хотел бы ты жить в Коктебеле  
 При Волошине, есть винегрет  
 В поэтической шумной артели,  
 Лезть на скалы, заглядывать в щели  
 И внимать его рассказам? Нет.

Как же так? Там актер загорелый  
 К пляжу голому, женскому вплавь  
 Подбирался, там буйствовал Белый,  
 В танцах западных поднаторелый,  
 И витийствовал, — боже, избавь!

Там, в граненый стакан скорпиона  
 К скорпиону втокнув, Гумилев  
 Наслаждался их битвой, сластена,  
 Выявляя меж них чемпиона.  
 Ты готов с ним на спор? Не готов.

Там фрейдист выступал, побивая  
 Ницшеанца, спадала жара —  
 И любимый поэт, завывая,  
 Свои строфы читал, там Святая —  
 За плечами вздымалась гора...

Нет, я сам по себе, обыватель,  
 Здешних вин попиватель сухих  
 И крепленых, в халате лежатель,  
 Иногда мемуаров читатель,  
 Хорошо здесь живу после них!



\* \*  
\*

Мир, — как сказал знакомый физик, —  
Пространство-время-вещество,  
И Колизей его коллизий,  
И гладиаторы его,  
Набор иллюзий и Элизий  
Возникли вдруг, из ничего.

Я так и думал, что без плана,  
Подготовительных работ!  
Стихотворенье из тумана  
Так возникает и растёт.  
От первовспышки — до дивана.  
И виски в рюмочке, вот, вот!

Все эти радости, листочки,  
Обиды, ужасы, моря,  
Больницы, звезды, одиночки,  
Где плачут, с Богом говоря, —  
Всё — из одной случайной точки.  
Не уверяй меня, что зря.



---

---

АЛЕКСЕЙ УСАЛКО



## КРЫМ. КОНЕЦ СТОЛЕТИЯ

*Рассказы*

### СТЕПЬ, МОРЕ И ВЕТЕР

**А**х, долой поскорее шторы! Босиком к окошку по мягкому ковру, и — Боже! — сколько солнца над крышами, над пышными газонами, и деревья во дворе стоят в водоворотах мягко мерцающего золотистого света. И это после затяжной весны, монотонно стучащих дождей, когда казалось, что мир окончательно одряхлел, обмяк и нечего больше ждать от жизни нетерпеливому человеку. Скворцов было жалко: если не выдержат — улетят...

Но скворцы не улетели.

Лерочка зимой сильно болела. Но все, слава Богу, обошлось, и с первыми днями весны она даже посвежела, несмотря на дожди, а впереди лето — целый мир взволнованных и прекрасных событий.

Да еще Митя. В Крым приедет. Обещал ведь. Из Вятки. Из любимой далекой Вятки.

Зимой жила в нетопленной квартире. Тряслась от холода, но держалась стойко. Да разве только она одна, весь Крым трясся от холода, а почему, это понять никак невозможно. Купить бы хоть электрический обогреватель, но на какие деньги, позвольте вас спросить; так и жила. Когда ехала на полуостров, откуда было знать, что есть южный берег, где вечная зелень и тепло, и есть западный, степной, где дуют беспощадные ветры.

Да что ж теперь. Кожа на лице немножко осела, а так ничего, все нормально, вполне приличная старушка.

Лерочка страстная рыбака. Промышляет она бычков, в заливе больше ничего не ловится. Возле плавучего дока. Его из поселка видно, этот док, серая унылая громадина торчит из синей воды, как айсберг. Забыли про него, что ли, когда флот делили, а может, просто никому не нужен. Минут двадцать, ну, тридцать неторопливого хода по степной утопанной дорожке, а вокруг полынью пахнет и простор такой, дух захватывает.

В путь.

Настроение самое чудесное. У нее глаза как веточки сирени. Белые брючки чуть великоватые, но веселящие, курточка как крылья пестрой бабочки и живописные легкомысленные кеды. И волосы вразлет из-под кокетливой шапочки.

Так, подшучивая над собой, шагала к доку, где сидят на причале рыбаки, лучшие представители рода человеческого.

Раньше к этим причалам на пушечный выстрел не подпускали. Потому что стояла там бригада боевых кораблей. Теперь кораблей нет, а на причалах гниет и ржавеет некрашенный металл. Несколько обленившихся матросов сте-

---

Усалко Алексей Григорьевич родился в 1929 году на Кубани. Закончил факультет романо-германской филологии Харьковского университета. В настоящее время живет в Крыму. В «Новом мире» печатается впервые.

регут громадину и от нечего делать день и ночь крутят одуряющую заморскую музыку. Вот и сейчас терзает пространство незатейливая глупая мелодийка. Лерочка словно кислое яблоко жевала, так кривилось ее опрятное личико: ненавидела халтуру во всех видах и проявлениях.

А на причале все свои. Вот ближе к берегу два пацана — умелые рыбаки и надежный народ. Хорошо устроен мир! Отличная штука жизнь. И она закричала, подымая над головой сухонький радостный кулачок:

— Здравствуй, Димка! Здравствуй, Вовка! Как дела?

Она от них во многом зависела, от этих пацанов, ну, в смысле крючка или лески, но и просто так любила, бескорыстно, а они всё хорошо понимали, продувные бестии, и старушку в обиду бы не дали — своя старушка, беззащитная и вообще славная.

— Привет, — с достоинством бросил плотный Димка. — А поживаем хорошо.

А тощенький Вовка спросил, пуская дымок сигареты:

— Опять рачков будешь клянить?

— Буду, буду, а как же иначе.

— Ну, набери, набери, — и показал глазами на банку, в которой серели креветки.

А вон там сидит Василь Василич, добрейший, приятнейший старик, закутанный, несмотря на теплый день, в плащ. Приезжает на велосипеде из соседнего поселка. Рыбак от Бога. Считает, что лучшего места, чем док, на всем побережье нет. Глаза улыбочатые, как у детского врача, смотрят в мир с надеждой и пониманием.

Старик заметил Лерочку, но тут как раз пришла пора крутить спиннинг, и он крутил, а потом, сняв бычка, бросил его в ведро и спросил:

— Ну как, Лерочка, Митя приехал?

— В прошлом году не смог, а в этом непременно приедет.

— Дай-то Бог... В какое время живем, коробок спичек восемь тысяч карбованцев.

Спиннинга у женщины нет, леску она наматывает на консервную банку. И с грузилом нет проблем — любая гайка, любой болт сгодятся. Хуже с леской и крючками. Но какой же уважающий себя рыбак не поделится с Лерочкой крючочком.

Сегодня клев неважный. Кто может разгадать рыбы повадки... Теплынь, море спокойное, чего же еще. Но нет клева. А ведь бычок — рыба глупая, хватает любую наживку с ходу.

Она забрасывала свой снаряд в зеленое зыбкое пространство между бортом дока и причалом. Тут часто терялись крючки, цепляясь за какой-то подводный хлам, но вообще место хорошее, подкормленное остатками матросской еды. Минут через двадцать Димка поинтересовался:

— Ну как?

— Пять штук.

— Уже суп. Денек странный...

А тут еще эта музыка. Что за вопли! Что за хрипы! Кто сочиняет такое, зачем? Жизнь и без того свирепо запутанна и больна, зачем терзать нервы бредовыми звуками. И это в стране, где во все времена звучали дивные мелодии. Матросы — народ неплохой, но серый, откуда им знать, что такое музыка.

И, не выдержав муки, она крикнула пробегающему матросу:

— Молодой человек, сыграйте, пожалуйста, Шопена!

У того бровишки белесые на лоб полезли, отпрянул и побежал по трапу, словно за ним гналась свора свирепых псов.

Все же удалось выловить дюжину рыбешек, и, возвращаясь в поселок, она была довольна собой и жизнью. Дома взяла клочок бумаги и стала подсчитывать, сколько месяцев нужно откладывать, чтобы вышло на билет до

Вятки. Получалось что-то несуразное, пугающее. А идея была так хороша, так манила: съездить на родину, повидать Митю.

Прочь сомнения, скоро Митя сам приедет.

Зато на следующий день клев был потрясающий. Только успевай забрасывать. И бычок шел крупный, сытенький, один к одному. Лерочка так увлеклась, что ничего вокруг не замечала, все печали жизни забылись, хотелось только одного — чтобы это счастье никогда не кончалось.

Часть улова отнесла соседке Тане. Одинокая женщина, да еще что-то с почками. Таня обрадовалась и рыбе, и самой Лерочке. И тут же заговорила о политике. В этой местности все всегда говорят о политике.

— Я теперь этническая русская. Что это такое, убей Бог, не понимаю. Всегда была просто русская. И когда вся эта канитель кончится!

Рыбачка разговоры о политике не любила, а может, чего-то побаивалась, ведь мы запуганы на много поколений вперед. Но вот цены — голова кругом.

— Тридцать две тысячи за буханку, с ума сойти.

И вспомнила, как зимой приходила к Тане за кусочками хлеба. В январе задуло, да так сильно, что с ног сшибает, свалился норд-ост на нашу голову, как будто забот и без того не хватало. В жилище, в квартире то есть, и без того холод собачий, не топят же, нечем топить, но главное — лебеди ведь пропадут от бескормицы, и так их мотаает в бурлящей воде, несутся волны на берег, швыряют гребешки пены на серый песок. В такую погоду птицы жмутся к берегу, ждут помощи от человека.

Спасать надо лебедей. Собралась идти и вспомнила, что в доме ни кусочка хлеба. Загоревала, кутаясь в старенький плед. И тут же нашла выход: к соседям надо... И пошла — в один подъезд, в другой.

— Собираю корм для лебедей. Кто что может...

Охотно давали. Много хороших людей. Это ведь единицы навязывают народу свое мнение. Однажды не выдержала и съела сама кусочек. Потом целую неделю стыдно было. А как плыли навстречу лебеди, гордые птицы. Впереди вожак, за ним все остальные, всего двадцать; всякий раз, тревожась за их судьбу, пересчитывала: семнадцать белых, как облака, три в подростковом скромном сереньком оперении. Беря корм, не толкают друг друга, как это сделали бы люди, а даже как будто уступают друг другу очередь.

Жила в ожесточенном ожидании весны. Да что теперь об этом вспоминать! К чему? Теперь лето, и жить хорошо, безбоязненно. Только вот Митя не едет. А как бы хорошо вдвоем на рыбалку сходить.

А что зима вновь наступит, так это просто вращение Земли, и сам Господь не велел беспокоиться о завтрашнем дне.

Денег до Вятки все равно не скопила. Да еще долги за квартиру. Несколько месяцев не плачено, прости нас, Боже, но из чего платить, когда тарифы все время растут, а пенсийка та же. А что, если придут пригрозят выселением? Но это вряд ли.

Да, катились летние деньки по знойной дорожке, и вот уже и август кончается. Василь Василич куда-то исчез с причала, не заболел ли, и пацаны стали реже появляться, и то сказать: все на свете надоедает, даже рыбалка.

От хорошего питания Лерочка сделалась молодой и красивой, в степи ходила легким пружинистым шагом, и душа распространялась во все концы, подобная эфиру.

И соседку Таню рыбкой снабжала.

В Вятку сильно тянуло. Не потому, что там хорошо, а потому, что там родина. Нельзя человеку без родины. Митю бы повидать.

Снова и снова занималась подсчетами. Если билет до Вятки в карбованцах стоит шесть миллионов, то сколько это будет в российских рублях! И на что нам эта морока! И все-таки получалось, что к зиме, пожалуй, на билет собрать можно. Хорошо бы до весны в теплом жилье... Мечты, мечты.

В начале сентября погода испортилась, холодно сделалось, как зимой. Из неоглядных степных далей несся ветер, выл, жаловался, неистощимый, лютый, а она, Лерочка, так привыкла каждый день ходить к доку, что и на этот раз отважилась, пошла, и зачем ей это нужно было, что-то такое важное хотелось доказать себе самой, и людям, и природе, и всей непутевой жизни, и пошла...

В струях ветра существо словно голое. Болеть не имеешь права, сказала себе, бедному человеку болеть нельзя, и шагала в степи с веселым упрямством и лицо руками не прикрывала. Пусть дует. У него, ветра, ведь своя жизнь: вздымать волну на море, нести сухие стебли по дорогам степи, гнуть до земли непокорные деревья.

Кое-как до причалов добралась, а рыбачить не стала: руки мерзли, да и вообще откуда клев в такую погоду. Кто был на причале, самые отважные, давно уже смотали удочки.

Вернулась с рыбалки, забралась под одеяло и стала трястись в норке, как веточка на ветру, и стирала кулачком капельки пота со лба. Сначала все понимала: вот лежу, похоже, что-то со мной случилось, но это ничего, все в жизни бывает, полежу и встану, встану. И все дальше, дальше куда-то от себя отдалялась, и словно степные огоньки тускло мерцали и уходили в глухую даль, и больше ничего не видно, тьма...

Но все же еще что-то понимала. Вот дверь скрипнула, кто-то по комнате ходит, вот остановился у изголовья, и дыхание тяжкое, злое, недоброе.

— Это ты, Митя?

Сквозь боль и отчаяние ласковый ручеек пробился.

И отвечает тусклым прокуренным голосом:

— Ты, говорят, золотой крестик продала?

— Продала, продала, а деньги в шкатулке на серванте.

— Вот и хорошо, а то зачем же мне грех на душу брать.

Через три дня старушку отвезли в больницу, где она и скончалась.

А Митя и впрямь приезжал. Продать теткин квартиру и поскорее назад в Вятку. Малый с мордой рэкетира. Важные дела на Севере. Время такое: кто может — тот деньги делает, а кто не может — тот жизнь ругает.

А бандитов и без нас в Крыму хватает.

## МИЧМАН СТЕПАНОВ

Когда в жаркий день мичман Степанов раздевался по пояс, даже знающие себе цену скворцы слетались полюбоваться мощью налитого торса. Сегодня был как раз жаркий день, и мичман Степанов чернел среди грядок загорелым телом. В неторопливых и светлых глазах человека отражалась голубая печаль неба. И радовался хорошей погоде. Хоть тут и юг, а ветрами, случается, так продерет, до полного содрогания.

На даче дело было. Хотя дача — это просто так говорится. На самом деле небольшой домик и пять соток земли, на которой надо вкалывать. Построил дом, когда еще цвело древо жизни, то есть до великих потрясений, а еще проще — до развала великого государства. В последние годы только поправки вносил в духе новых своих потребностей.

И вот стоит это он среди грядок, а Катя, жена его, подходит и внимательно так в глаза смотрит — красивые, стойкие — и спросила, кисло, нехотя улыбаясь:

— Ты зачем, Егорушка, этот чертов график вывесил?

— Уравновесься, Катя, — сказал он и покосился встревоженно на клочок бумаги, висящий на входной двери, и добавил твердым, несомневающимся тоном: — Солидарность есть крепкий дух надежности и движения.

А на бумажке было написано: «Понедельник — Катя на прополке, а Люба поливает. Четверг — Люба на прополке, а Катя поливает».

Когда-то мичман Степанов, будучи в отпуске в родном Симферополе, покорил вальжную выпускницу филфака своим выразительным, немного таинственным толкованием любви. Он тогда — луна как раз сияла — такую фразу выдал, прилаживая девушку к своей ровно дышащей и просторной груди:

— Любовь, — сказал он, — это природное свойство натурального естества.

Потом вез ее из города в странную даль, в новую, пугающую и прекрасную жизнь. Степь струилась за окном, нескончаемая, выжженная солнцем. Хоть бы лужок, или рощица, или дубочек на зеленом холме. Но только чахлые лесополосы омрачали пейзаж.

Но рядом сидел он. И руку держал в своей руке, немножко смущенный и смешной, но надежный, как каменный мол.

Об этом гордая выпускница филфака сейчас и вспоминала, глядя на мужа, который копался в земле среди зацветающих кустиков картофеля. И думала: «Бедный, бедный мичман!»

Катя и Люба — дочери, двенадцати и четырнадцати лет. Записку на двери они еще не успели прочесть. Вообще, ничего особенного, вполне шадящий режим. Жалел девчонок. Он при них смущался и робел. Потому что и не люди вовсе, а ангелы. Две Кати в одной семье. Большая и маленькая. Да он бы всех женщин мира назвал этим именем, если бы это от него зависело.

Егор воткнул лопату в землю, подошел к двери — давно бы пора покрасить — и постоял, глядя на бумажку, в тихой задумчивости, не шевелясь, потом решительным движением содрал график и сунул в карман, вполне понимая себя.

Душа человека подобна Мариинской впадине.

И пошел смотреть на корабль. Это недалеко. Минут двадцать среди полыни и белого камня-ракушечника. Самого залива издали не видно, а мачты кораблей торчат из степи, как могильные кресты. Сначала причал, где стоят еще уцелевшие корабли, потом вдоль залива по обрывистому нелюдимому берегу, а потом за поворотом — кладбище кораблей.

Там и покоится «Непобедимый».

Боевой корабль, вполне пригодный к бою, но списали. Воевать не с кем, и вообще распад вселенной. Мародеры с корабля шкуру сдирают. Вот еще поганое племя. Морду бить мародерам. На основании сложностей быстротекущей жизни. Но ведь судно брошено, ничье, попало в развал истории и смысла.

Долго стоял над обрывом, обводил глазами гладь залива. И стал как будто меньше ростом, в створках поджатого рта — тоска.

От людей тоже спешат избавиться. Мичмана Степанова отторгли одним из первых. То ли так получилось, то ли начальству насолил, не понять. Но главное не это, вообще, конечно, это... тут, конечно, путаница наблюдается. За чинами никогда не гнался. Ведь и мичман, и капитан входят на корабль по одним и тем же мосткам. Вот это и есть главное — море.

Весь мичман Степанов состоит из морской водицы, ветра и солнца. Ладно, кому это интересно.

Не углубляй, мичман, не углубляй! И стал спокойнее сейфа, в котором миллионы лежат.

Но ненадолго. Господи, что было железного на причалах, зияло дырами и разваливалось. Нет краски. Матросы в кабаках ящики таскают.

Он вернулся на дачу. Тут ему всегда было хорошо. Окна в домике сделаны в виде иллюминатора, а веранда напоминала корму. На плоской крыше можно было гулять, как на мостике. Над канавкой вдоль забора высился горбатый перелаз. Чтобы входить в домик как по трапу.

Нигде ни соринки, ни травинки. То есть травинки, конечно, были, сорняков не было. Однажды Катя-большая, любящая беспорядок, сказала мягко, но со смыслом:

— Егорушка, тут все же не корабль.

И очень потом пожалела, что сказала. Потому что ее спокойный муженек, покладистый, немножко увалень, наполнился злостью до самой макушки белесой головы и кричал, как бык на поляне:

— Корабль ей не нравится, понимаешь ты, корабль ей не нравится! А чем плохо на корабле!

Потом просил прощения. И был прощен. Так как Катя понимала: есть вещи, на которые посягать не следует.

Девочкам, Кате и Любе, жить на корабле даже нравилось. А рассматривать с крыши окрестность — это вообще сплошное удовольствие.

Итак, вернулся домой, а Екатерина, жена то есть, в кресле сидит, роман отложила и посмеивается. Привычка появилась — французские бодрые романы читать. Встала и говорит с пафосом, как плохая артистка:

— Добрый король подарил ей обширные земли Бургундии. — И прибавила скучно: — Задолго до нас еще началось — земли раздаривать вместе с жителями.

Мичман понял, о чем она говорит. Но сделал вид, что не понимает. Боялся, что душа сорвется с привязи.

Да кабы еще одни романы, так ведь чертовщиной к тому же увлеклась. Ходит куда-то среди дня — то ли йогой, то ли еще чем занимается. И какие-то книжки про семь сущностей человеческого существования, что-то в этом роде.

Колдуны, прорицатели, целители, суперсенситивы, маги, завмаги... О, небеса! Где же все это раньше сидело, в каких щелях...

Сам ничего такого на дух не переносил.

Какая-то ползучая мыслишка тревожила. Брали в штаб на хлеба, почему не пошел? Гордый такой, да?

Чего уж теперь. В море бычки, в огороде редиска — проживем.

Ну, прошло еще несколько дней в обычной суете, а потом мичман Степанов задумался. И думал ровно месяц. Ничего вокруг себя не видел, ни с кем не разговаривал.

А через месяц Екатерина выпалила, роняя шпильки с хорошенькой головы:

— Беру детей и уезжаю к маме, в Россию.

Это вывело мичмана из задумчивости, как хороший тумак в скулу. Не уедет, не может уехать, ну а если... Женщина — уравнение со многими неизвестными.

Теперь Егор сделался болтлив, как светский лев. Не давал жене читать французские романы своей болтовней. И все о политике, о политике...

И каждый день ходил смотреть на свой корабль. Внутри посудыны, наверное, уже ничего не осталось. Потому что мародеров что-то не видно.

А лето в Крыму все хорошело. Вдоль залива — кто на песочке, кто на травке, кто на камне примостился — загорают люди. Мичман даже любовную интрижку хотел завести, но отпугнул черноокою красавицу своей болтовней.

Жил в веселом ожесточении, но каждую минуту понимал, что саднящая боль... с этим надо что-то делать. И злился сам на себя. В чем дело? Разве солнце больше не светит!

Думал, есть общий смысл, но оказалось, что нет общего смысла. Нет идеи — нет человека.

Катя-большая жила, как будто ничего не случилось. Читала, копалась в огороде, даже смеялась, когда смешно. А у девчонок давно уже свой мир, таинственный и безумно интересный. А родители для них — как далекие острова в синем океане. Все правильно, возражений нет.

И вот Катя-большая однажды и говорит, держась за сладостные бока, на всякий случай близко не подходила:

— Тут, Егорушка, есть один... гениальная личность. От всех болезней, понимаешь... Ну, этот самый, экстрасенс. Сходил бы, что ли.

К ее радости и удивлению, он сразу же согласился. Сам от себя не ожидал, даже что-то вроде брезгливости к себе почувствовал. Раз так пал, то надо действительно идти к экстрасенсу.

Человек был с гривой, плавный телом и в движениях и не мигая смотрел на мичмана умными насмешливыми глазами. Каким-то образом, не двигая головой, охватывал всего с головы до пяток. Величавый мошенник.

Егор стал раздеваться. По привычке, как на комиссии.

— Не надо, — сказал гривастый.

Но пациент уже стоял перед ним, мощный, как кнехт на причале. И уже сидел на ветке скворец и с восхищением рассматривал бугристое тело.

— Вижу! — закричал величавый. — На пятом астрале замутнение... Чакра, выходи!

Виртуоз сытного пропитания. Прямо зависть берет.

— Ну, хорошо, — миролюбиво заявил мичман. — Славненько.

И сунул экстрасенсу крупную российскую купюру. Человек, наверное, давно уже ничего не видел, кроме украинских фантиков, потому обрадовался чрезвычайно. Но почему-то сказал:

— Ой, не надо.

— Берите, берите, всем жить надо. А все же не сказали, где стройность, где красота событий...

— Стройности нет, — решительно заявил человек с гривой.

И все-таки величавый сильно помог. Домой мичман возвращался другим человеком, то есть самим собой. Прошла смутная полоса.

Если последние дни он жил под девизом: не запить, не разлюбить, не сойти с ума, то теперь было так: жить и радоваться жизни. Человек становится мудрым, когда понимает, что он никому не нужен.

## ХИТРАЯ НЮСЯ

Такое было напряжение и пустота, и весна уже всю хозяйничала в городе, но письмо все же пришло.

Она сначала чаю напилась, не торопилась, потом вскрыла конверт.

Письмо Елизаветы Нюсе:

«Ты, мама, прямо как ребенок, не понимаешь, в какое время мы живем. „Привези, привези...“ Так ведь не на трамвае же. Да и где деньги! И потом: одни же заводские трубы там, где ты живешь, чем им дышать... Это же тебе не Крым. Леночка и Вовочка тебя помнят и привет передают».

Нюся сидела в кресле и потела — не столько от чаю, сколько от письма. Слез больше не было. Слезы — ведь это радость. И надежда. И живая связь с миром. Вместо этого — тупое спасительное безразличие ко всему, что вокруг.

Трубы! А у них там даже труб нет, одна тайга непролазная и сырая. Была, видела. Прошлым летом. Один раз. А другого раза не предвидится. Живут на склоне горы в недостроенном доме. Такая видная девка Елизавета, и этот... рачок, прости, Господи. Людвиг, вот в чем все дело. Потому и лысына, что зануда.

А Елизавета возьми и влюбись, так и пребывает охваченной — заколдовал, что ли, — до сих пор. Дела любовные — хуже перестройки.

И ведь русский же человек, почему Людвиг?

Однажды они на прогулку собрались, Елизавета и Людвиг. На ней ночная рубашка и трусики, а он зачем-то на спину рюкзачок нацепил. И шляпка какая-то такая... этакая на голове. Колпачок зеленый.

— Доченька, — вскинулась Нюся, — да нешто ты в таком виде на люди пойдешь?!



— Мы свободные люди, — важно заявил Людвиг, перекатывая на спине торбочку, — давить не надо.

Ушли. Она сидела и плакала. Жалко было погибающей красоты. И страны России, в которой уже ничего не узнать.

А на другой день Людвиг заявил:

— Кушайте ваш суп и пейте ваш чай, а воспитание детей — дело тонкое. Одним словом, отсекайте от детей старушку, подальше от дурного влияния.

И подумала она тогда: «Почему я в молодости не умерла от тифа?» А ему сказала:

— Да зачем же их воспитывать. Они же хорошие.

Нюся еще раз перечитала. И вдруг в радостном изнеможении запорхало сердце, разгладились морщины.

— А-а-а, — вскричала, откидываясь в кресле в бодрящей истоме.

Теперь она знала, что делать. Холодная сила восторга и решительности наполнила ее до краев.

Ожила Нюся, и даже походка выровнялась. Ходить надо было много. Где какая доска объявлений, там много интересного и важного. Покупала газеты, два раза в неделю ходила в Бюро. Целый день в бегах — и никакой усталости, словно эликсиру молодости напилась.

И вот однажды нашла то, что искала, и позвонила.

А вечером пошла в церковь. Впервые в жизни. Долго стояла посреди храма, стесняясь подойти к иконам, как это делали другие. Потом осмелела, подошла к изображению распятого Иисуса. Стала молиться.

### Молитва Нюси

«Господи, светлоокий и ласковый, да разве ж я не знаю... Где ты раньше была, женщина Нюся, — вот Твой праведный вопрос. А я жила как все: работа, работа и план. О Родине пели, о счастье. Директор — бог, начальник цеха — бог, а в небо посмотришь — там либо тучки, либо звезды. Проснулись однажды — ни Родины, ни счастья.

Прости меня, Господи, вот я перед Тобой, вся как есть, ничего не утаила... Нашлась я, Господи. И стыдно мне — вроде как бы с прощением... Но ведь они хотят сделать во мне опустошение, и сделают, если Ты им не скажешь, что так поступать нехорошо.

Людвиг есть на свете — вот беда, вот морока... А Леночка и Вовочка, внуки, так я ради них шагну в огненный вал. А я Тебе, Господи, свечку поставила бы, самую большую, и молиться буду, потому как поняла, что, кроме Тебя, ничего нет. А мне бы Леночку и Вовочку хоть издали видеть, согрелась бы душа и утешилась».

А уже был вечер, и шла домой через парк. Любимое место в центре города: липы, тополя, сосны и озерко среди кустарников, а посреди озера беседка под крышей двух огромных берез. Чуть доносятся хрипы летящих автомобилей, а так — тишина. И людей мало. То ли время такое — не до гуляний, то ли потому, что в парке ничего, кроме деревьев и тишины, нету. А этого мало скорбящим гражданам.

И вот идет Нюся по аллее, просто как бы гуляет, и что-то такое с ней творится, как бы мир этот впервые увидела, и стала замечать всякое, чего раньше не замечала: краешек неба в золоте заката, тихую и благозвучную гладь озера, — и беседка напомнила о чем-то давно забытом.

И увидела она и поняла, что мир хорош. А в душе играла неслышная раньше светлая музыка.

Что-то от сияющих детских снов вошло в нее тихо и благозвучно. Жалко стало ушедших дней. Она сказала себе: «Другая я».

Во всем в эти минуты царили стройность, красота и гармония.

Казалось, деревья сделались выше и раскистее, а вода, поблескивая светом угасающего дня, как бы дышала невиданным покоем, цветущая земля застыла в легком напряжении радостного ожидания.

И в женщине долго еще бился и трепетал свет несказанной красоты, какая выпадает на долю человека нечасто, а жизнь с ее сложными поворотами и неутраченной болью предстала в ее подлинном значении — как великое чудо.

А на другой день порог ее квартиры переступил бодрый человек в форме военного моряка. Добродушные, с ленивой хитринкой серые глаза глядели открыто, легкая необидная улыбка пряталась в уголках усталых губ. Было человеку лет тридцать пять.

— Мы с вами по телефону разговаривали. Ну как?

— Что — как?

Моряк усмехнулся и пожал плечами.

— Да вы хоть посмотрите, — встрепенулась Нюся. — Прямо я не знаю...

— Вижу, все вижу. Все дело в том, бабка, что Черноморский флот развалился, вот где главная печаль. Все остальное по сравнению с этим просто ерунда. Ну, я тут себе работу присмотрел, в штабе. Хоть и за три тысячи километров от моря, а работать все равно надо...

Она предложила человеку чаю, и человек не отказался. А она уже знала, что этот моряк обманывать не умеет. Милый человек — и в беде. С легкостью она дала согласие, а на другой день карусель завертелась... Сколько надо было обойти занудных инстанций! Но через неделю все было сделано.

Когда грузили контейнер, она уже мало что соображала. Как-то все шло само собой. Все помогали, кто жил рядом, а уже в поезде успокоилась: чего уж там, все идет как надо.

И все спала, спала — на мягкой полочке под мятой, но чистой простыней. Иногда чай пила — холодный, из фляжки, но свой, заваренный круто и пахуче. А в вагоне чаю все равно не давали, по причине полного упадка жизни.

На третьи сутки за окном поплыла гладь серой бесконечной воды. Кто-то знающий сказал:

— Сиваш.

Новизна происходящего томила и радовала женщину. Но она знала, что это еще не Черное море.

Но Крым уже летел во все концы, низкорослый, светлый, манящий.

Она сошла на станции Остряково, в двух десятках километров от Симферополя. Дальше — электричка на Евпаторию, а еще дальше — автобусом.

И Боже ж ты мой, до чего стало хорошо, когда увидела место, где предстояло жить. Несколько десятков пятиэтажек в голой степи, а степь обрывистым краем прильнула к синей воде залива.

Вошла в свою квартиру — просторно и душевно. Хоть в лоджии сиди, хоть на балконе стой. Успокоилась и подумала злорадно, но не мстительно: «Ага». Планы вызревали грандиозные, до облаков, а жить хотелось, как в детстве, когда душа еще не слишком замучена.

Теперь надо было просто ждать. И она ждала. Выходила чахлую собачонку и с этой самой выхоженной, которая оказалась привязчивой и смышленной — злобно рычала, когда хозяйке грозила опасность, — с этой самой черненькой и злобненькой бродила вокруг поселка, сухонькая, корявенькая, неприступная, и глаза блестели хитро и неукротимо.

И они явились: Елизавета, с лицом удивленным и подобревшим, Людвиг, с его проникающими глазами, и — самая улада, надежда, краса мира — Леночка и Вовочка.

Они приехали отдыхать и вели себя как на отдыхе, то есть решительно ничего не делали. Нюся валилась с ног, но была счастлива.

Однажды украдкой наблюдала за ними на пляже. Елизавета повязала на бедра дикарскую повязку. Лучше бы уж совсем голая... Бикини! Людвиг за-

ламывал руки в потоках жаркого света, физкультуру делал. Детишки играли в песке.

Нюся мечтала, как она с детьми в степь пойдет, где ветер, и жаворонки, и ковыль, и отдаленный тревожный шум овечьих стад. Вдоль дороги стоят маки в красных шапочках.

Людвиг не отпускал от себя детей ни на шаг. Он даже не позволял им играть с другими детьми во дворе. Боялся чего-то? Как понять другого человека, особенно если это Людвиг.

А вообще-то зять, который, кроме Катуня, никакой иной воды не видел, сильно морем впечатлился.

— Вне всякой критики, — твердо заявил он. — Просторно и красиво.

Купил себе ласты и маску и в трех метрах от берега рассматривал подводный мир. Про медуз сказал неодобрительно:

— Ну, это лишнее, этого не надо...

Да-а, теперь она их часто видела, Леночку и Вовочку, — каждый день. Девочка была прелестная, с бантиком, и вела себя хорошо, капризничать не умела. А к бабушке никак не относилась, не замечала. Вовочка шустрый такой, мелькает то тут, то там и к бабушке иногда подбегал, но не знал, что такое бабушка. Подбежит, постоит рядом в задумчивости — и снова весь в замыслах. Но не шумел. Вкрадчивый какой-то или, может, чем-то напуганный. Чувствовалось, что он рано познает весь гнет и горечь мира.

И вот однажды прорвалось. Когда все ушли на море, Нюся бросилась к кровати Леночки, стала целовать подушку, розовое одеяльце, и стон зверя, попавшего в капкан, вырвался из нее приглушенно и яростно. Потом посидела на кровати Вовочки, дрожь била ее, по впалым измученным щекам стекали слезы.

Мало-помалу успокоилась, пришла в себя. Ну, чего уж там, чего раскисла. Ведь все так славно устроилось. Жива, здорова, и внуки будут каждый год приезжать. А ведь могло быть и хуже.

И принялась за работу.

В Крыму научилась делать вареники. Вот семья обрадуется.



---

---

ЭДУАРД БУРМАКИН

\*

## ДВЕРЬ

*Повесть*

Азь есмь дверь...

*Евангелие от Иоанна, 10: 9.*

**О**коло полудня прилетел белый голубь. Совсем белый. Таких в нашем дворе не бывало. У нас обыкновенные сизари. А тут ни единого пятнышка, как живой комочек свежего снега.

Он сел на конек крыши нашего дома, на ту его часть, с которой мы хорошо его видели из окон и с балкона.

Не помню, кто первый его заметил и сказал: «Смотрите, какой белый голубь!»

И мы все смотрели на него. А он на нас.

Мы ждали известий.

Зазвонил телефон.

Мать теперь не может брать трубку. Я ее схватил, говорил Алеша: «Мы приехали».

Была суета, новый взрыв растерянности и отчаяния. Про голубя забыли. Но тут же и вспомнили. Его не было. Он улетел. И с тех пор уж ни разу не появлялся.

Лидия Васильевна, когда мы приехали к ним и рассказали о голубе, тихим, спокойным и уверенным тоном сказала нам: «Это был Вася. Он прилетел, чтобы сообщить вам всем, что проводил Юлю до дому».

Все-таки проводил...

Если бы можно было поверить в то, что сегодня называют сверхъестественным!

А самое трудное — смириться, признать это судьбой, неизбежностью (хотя было тысяча возможностей избежать). Невозможность примирения невыносима.

Существуют процессы необратимые.

Будь они прокляты!

Мне казалось, что я знаю и чувствую тебя как никто другой. Даже больше матери. Ты же знаешь, как нам было хорошо, когда мы были просто вместе. И почти ни о чем не говорили, а когда произносили отдельные слова, то оказывалось, что мы думали об одном и том же и почти одинаково.

А теперь я со страхом думаю, что, может быть, и я вовсе не знал так хорошо тебя, как мне казалось. И, наверное, в тебе есть такая глубина, ко-

торуя я не разглядел до дна, а другие, едва приметив ее, просто пугались и отходили в сторону.

Только твой поэт не испугался. Но он все хотел упростить, объяснить необыкновенное обыкновенным. Ему мешал эгоизм, особенный, свойственный только творческим личностям.

А ты была творцом совсем другого рода.  
Но все-таки он не испугался.

Сейчас я в растерянности. Зачем я это затеял? Зачем я это пишу? Смогу ли я рассказать о тебе так, чтобы тебя поняли, как я понимал, полюбили, как я любил?

Я все стараюсь представить себе, как летела по неведомой мне, лишь воображаемой, рождаемой в фантазии из отрывочных сведений, но, наверное, действительно прекрасной дороге ваша белая машина, может быть, со стороны похोдившая на стремительно летящего низко-низко над землей голубя.

Символ мира, чистоты и ангельской кротости...

Но за рулем сидел поэт, а рядом с ним — его друг и тоже поэт. Два поэта на одну суперсовременную машину, мгновенно набирающую скорость, — это много, это опасно.

Безумная скорость рождает безумные настроения и нередко не чувство страха, а чувство непонятной радости от такой езды-полета.

А что чувствовала и думала в эти минуты ты? При чем здесь ты? Разве ты можешь отвечать за скорость, за безумную радость двух поэтов?

Нет!

Нет!

«Вполне вероятно, что вера в чудеса, видения, колдовство и иные необыкновенные вещи имеет своим источником главным образом воображение, воздействующее с особой силой на души людей простых и невежественных, поскольку они податливее других. Из них настолько вышибли способность здраво судить, воспользовавшись их легковерием, что им кажется, будто они видят то, чего на деле вовсе не видят» (Монтень).

Я стал верить в чудеса действительно тогда, когда был весьма невежественным подростком. Тут Монтень прав.

Но странно, что эта вера пришла ко мне в самое глухое и страшное время военной зимы, когда одни наши мужчины уже были расстреляны, два других — на фронте, а последний наш мужчина, мой дед по материнской линии, умер весной от сердечной недостаточности.

Воцарились в темном доме на Бурлинской истинный голод и холод. Мы были обречены на медленное вымирание, потому что заработка моей матери не хватало, чтобы прокормить двух старух и трех детей.

К ее приходу с работы мы растапливали одну щелястую печь в кухне и собирались поближе к живому огню. Печь долго выпыхивала едкие дымки, потом разгоралась и даже удовлетворенно гудела. Из щелей прорывался дрожащий свет, и я читал, читал, боясь, что помешают, «Тилия Уленшпигеля». Не могу объяснить даже теперь, почему эта книга так сильно, так вдохновенно и спасительно на меня подействовала. Я так реально, так близко его чувствовал — живого Тилия, и мне так понятны были его слова-клятва: «Пепел стучит в мое сердце!», что я принял как должное, как необходимость чудо, завершающее книгу.

Тогда я и понял, что верю в чудеса.

Как жестоко морозны были полнолунные ночи той зимой!

Иногда среди ночи, сжавшись в комок, пытаюсь согреться под наваленным сверху пальто и просто всяким тряпьем, я представлял себе, что наступит утро и — о, чудо! — на улице будет теплая весна. И можно будет выйти

раздетым на нагретое солнцем желтое крыльцо и даже присесть на нем и погреться.

И разве не чудо, что мы, оставшиеся, все-таки выжили?

А чудо весны среди зимы тоже случилось много лет спустя...

Это чудо случилось в нашу поездку в Киев.

На Рождество позвонил из Киева Алеша и сказал, что у нас настоящий рождественский мороз, а тут люди в легких плащах и куртках, многие без головных уборов.

В Томске — январская сугробная зима, в Москве было теплее, но метело, а Киев встретил туманом и морозящим дождем, черный асфальт, робко зеленеющая трава. Разве не чудо!

По закоренелой привычке стал рыться в книгах твоего поэта, наткнулся на Монтеня. И разве это само по себе уже не чудо, что, едва открыв томик, прочитал его размышление о чудесах? Резкое, беспощадное.

Но почему оно попало мне именно в эти дни, в этот час, в эту минуту, когда я думал о чуде?

О, всесильный разум, способный все объяснить и неспособный понять, почему же люди все продолжают верить в чудеса.

Почему жадно верят в возможность чуда?

«Сказал им: выйдите вон; ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над ним.

Он, вошед, взял ее за руку, и девица встала» (Евангелие от Матф. 9: 24 — 25).

Есть множество вариантов встреч и разлук, то близких к чуду, то далеких от него, — тогда мы говорим — случайность.

Однажды двадцатипятилетний поэт, успевший узнать силу влечения к женщине и пропорциональную этой силе боль разочарования и тошноту несвободы, сидел на горячей гальке на берегу моря, в одном из любимейших своих мест крымского побережья, чувствуя собственное медленное возрождение из хаоса недавней тягучей неразберихи своих и чужих переживаний, казавшихся безвыходными и безысходными.

Он только что искупался и сразу же сел на горячие, обкатанные морем камушки. Кристаллики воды радужно переливались и покалывали кожу, а ему не хотелось идти под душ, им вдруг овладела необычная для него лень. Хотелось просто созерцать и ощущать окружающий его, давно знакомый до последних мелочей, теплый, просторный мир, не задерживающий воображения. Он чуть поворачивал голову вправо и видел огромную темно-зеленую с бурьми подпалинами медвежью тушу горы с неожиданно человеческим профилем, опущенным к самому краю волн, и улыбался этому давнишнему знакомцу; потом смотрел влево и видел то, что видел множество раз: песчаные холмы странной вытянутой формы, самый большой из которых очень походил на неподвижно замершую в предчувствии опасности ящерицу.

А впереди было только море в своем особенном, играющем бликами, свету, уходящее за горизонт и подсказывающее догадку о бесконечности.

Он не смотрел на окружающих людей, купающихся и загорающих, не обращал внимания на их веселый говор и смех; он обретал свободу и то желанное настроение, которое потом, позже, переливалось в слова, в срочки, рождавшие образы.

Но именно в это время, в эти же самые минуты, приближалась к берегу тринадцатилетняя девочка, которой уже давно призывно махали руками и мать и отец — уж слишком долго она в море. А ей так не хотелось выходить из нежных объятий прозрачной воды, которую она то и дело взбаламучивала перед собой руками. Она тоже поворачивала голову с темными густыми волосами, заплетенными в косичку, закрепленную на макушке; видела гору,

медведя и песчаного хамелеона, и думала скорее всего не словами, а самым полудетским своим сердцем, что напрасно люди спорят о том, что такое счастье, — оно так понятно, реально ощутимо, что никакие умные речи и размышления ничего не прибавят к рожденному им чувству.

Это была крепкая девочка, с уже по-женски стройными ногами, с первым в ее жизни узеньким бюстгалтером, в меру хорошо развернутыми плечами, ровно загорелая, с оживленным взглядом больших карих глаз под темными бровями и нежным детским ротиком и коротким носом. Достаточно было только мельком взглянуть на нее понимающим и угадывающим взглядом, чтобы представить, как скоро природа завершит свою работу и девочка превратится в прелестную, нежную, задумчивую, но готовую откликнуться на искреннее человеческое добро девушку, которую непременно будут замечать в толпе ее сверстниц.

Но сейчас, в тот момент, когда она напоследок взбалтывала воду ногами и, подняв тонкие руки, отцепляла косу, ее увидел поэт. И удивился, что увидел. Ведь он никого не замечал перед этим и все глубже погружался в удовольствие свободного одиночества. Но он увидел. И стал смотреть. Чистым взглядом, до этого отмечавшим лишь давно знакомые приметы любимого места.

Ему показалось, что она только что рождена самим этим миром. Поэтому она так светла и открыта: ее никто еще не обижал, поэтому она счастлива и свободна — она не знает еще мирских несчастий и тоски обыденной зависимости.

Ему показалось, что она похожа на его только-только рождающееся и потому робкое ощущение собственного возрождения.

Он смотрел на нее как на материализовавшееся собственное душевное состояние и верил, что такое чудо возможно.

Девочка вышла из моря и шла прямо на него. Кажется, он на короткий миг испугался, как если бы и в самом деле осуществилось только что придуманное им чудо.

Но она прошла рядом, совсем близко.

Непроизвольно встряхивая мокрыми руками, она уронила несколько соленых капель на него, одна упала ему на губу, он ее слизнул и едва не рассмехался от непонятной, необъяснимой, полусумасшедшей радости.

И совсем не он, а кто-то другой, внешний по отношению к его сознанию, объяснил и внушил ему: вот таким будет твое возрождение, ты никогда не забудешь этой девочки, только что пахнувшей на тебя морской прохладой, ты непременно с ней встретишься еще и уж не расстанешься до смерти, хотя и разлука всегда будет с вами...

Он встретил — и тотчас узнал эту девочку через десять лет.

И все случилось так, как он почувствовал в тот летний день у моря.

И я все сбиваюсь на разговор о чуде, потому что бесконечно надеюсь на него.

Откроется дверь — и войдешь ты, со своей не объяснимой никакими словами, стихами, красками, разве только что еще никем не сочиненной музыкой, улыбкой, в которой вся твоя душа, любящая, жалеющая нас и даже теперь таящая несуществующую вину...

Когда выходишь из киевского дома, то на сером бордюре панели ярко-желтой краской написаны два слова: «Я тут». Кто их написал, зачем, к кому они обращены, столь необычные для улицы, для выбранного места?

Мы с матерью увидели их тотчас. Все у нас перед глазами поплыло; мы почувствовали одинаково: эти слова для нас, к нам...

С тех пор мы жадно вглядывались в подобные надписи, где бы они ни попадались на глаза.

На Андреевском спуске, возле ремонтируемого дома Булгакова и Художественного фонда, отгороженных от мостовой временным деревянным забором, мы с жалкой необъяснимой надеждой вчитывались в бесчисленные стихотворные и прозаические тексты, вглядывались в фантастические фигуры и узоры, которыми испещрена вся эта ремонтная загорожа сверху вниз. Кажется, находили нечто, замирали, перечитывали, но позже спохватывались и понимали, что на этот раз не мы адресат.

Тут более всего было цитат из песен недавно погибшего в автомобильной катастрофе певца Виктора Цоя.

И кто-то, кто не меньше нас верит в чудеса, написал метровыми красными буквами на белой стене брандмауера: «Цой Жив!»

И, значит, все-таки и эти надписи имели отношение к нам: они укрепляли нашу веру.

Но почему-то такого же сильного и обнадеживающего впечатления не родилось в старых киевских храмах и даже в самой Киево-Печерской лавре, в ее подземельях.

Наверное, оттого, что не были мы воспитаны в вере.

Хотя я был крещен дважды: в Саратове и в Новосибирске, крещен настоящему, не так, как любимый мной в детстве Тиль Уленшпигель, которого крестили, если мне не изменяет память, шесть раз, учитывая даже дождь, омывший его и родителей, пока они шли из церкви.

Но в нас не взрастили веры.

Как бы нам было легче!

На Рождество мы пошли в самый близкий от дома Владимирский собор. С трудом пробившись сквозь толпу искренне верящих, молящихся и просто любопытствующих. Зажгли и поставили свечи, и, может быть, лишь в этот миг, пока разгорались и вставали на свои места розовые восковые свечи, что-то рванулось, запросилось к свету внутри нас, выдавив лишь слезы и усилив и без того непереносимую боль.

Да еще чуть позже, когда вышли в темный, теплый и влажный вечер, было минутное ощущение чего-то сделанного ради тебя, ради вас троих.

И мы всё ходили в храмы.

И везде было множество людей. И мы завидовали тем, на лицах которых прочитывали только что обретенное успокоение.

В Киево-Печерской лавре спустились в нижние пещеры, освещая дорогу слабым светом свечи. В нишах стояли саркофаги умерших здесь иеромонахов. И на мгновение мелькнула мысль: не кощунство ли это — ходить экскурсией в царство мертвых, тревожить их вечный сон?

Но кто-то за спиной негромко заметил, голосом Монтеня, что это просто камуфляж, гробы пустые.

Во всем, что мы там видели, было много наивного, почти не затрагивающего воображения.

Перед большой, во всю стену, картиной, изображающей земной путь человека от рождения до суда Божьего, невысокого роста пожилой монах в черном давал пояснения. Но мы уже не могли почувствовать в его словах собственной его веры. А он вдруг в духе светских экскурсоводов делал попытки острить — к примеру, о полезности поста и вредности переедания, намекая на нынешнее положение в стране.

Нет, что-то тут не то!

Но когда с какой-то точки вдруг охватывает взгляд чуть ли не все сразу: крутой берег, Днепр, храмы и колокольни, старые каменные стены и золоченые купола, — то становится уверенней на душе.

Надо лишь подумать о том, что двигало людьми, все это построившими и хранившими, и о тех, кто и сегодня приходит сюда ради молитвы и нахо-



дит успокоение. Тут и особого воображения не надо, чтобы поверить в возможность чуда.

Мать подошла к одному, вызывающему обликом своим доверие, монаху и, неожиданно для себя расплакавшись, стала задавать неловко и взволнованно наш единственный вопрос о том чуде, в которое мы верим.

Монах стал спрашивать, кто крещен, а кто нет, выяснив это, заявил, что дело плохо и единственное, что он может посоветовать, — это причащаться, да еще пообещал в скором времени конец света и суд Божий.

Уныло и тяжело подымались мы в гору, покидая лавру, и, лишь оглядываясь и охватывая взглядом все сразу, немного утешались, а вспоминая погребальные подземелья, приходили к выводу, что и это не страшно...

Нам не страшно. Мы пережили, перешли не возрастную, а духовную черту, за которой смерть и лежание в земле не страшно...

Никто ничего не знает. Каждый придумывает свое. Да и слишком поздно мы спохватываемся, понимая, что самое важное, что только есть в человеческой жизни, — это неизбежность смерти и попытка догадаться, может ли быть что-то еще за ней.

А если и в самом деле нет ничего, никогда не было и никогда не будет? Тогда стоит лишь пожалеть, что ты был рожден, видел этот свет, радовался ему, может быть, даже чувствовал себя в иные мгновения счастливым.

Да может ли быть человек счастливым?

Мы в этот раз много ходили по Киеву, почти по всем его холмам, уставали, и это давало возможность сказать друг другу хоть что-то иное, кроме того, о чем мы если не говорили, то думали непрерывно.

Все же было что-то неестественное в этом январском беснежии, в тепле, которое все равно не было весенним теплом, а непривычным для нас состоянием зимы. Поэтому яркое солнце почти не грело и, по нашим понятиям, предвещало сильный мороз.

Все оказывалось призрачным.

На Крещатике в эти дни митинговали. Собирались, рассыпались и снова собирались небольшие кучки людей, кто-нибудь непременно держал самодельный плакатик с ядовитыми словами по адресу властей или жовто-блакитный флаг.

Митинговали возле новогодней елки, где на временно сколоченной сцене танцевали и пели дети, поэтому митинговщики старались перекричать ребячье веселье. Митинговали и напротив елки, на противоположной стороне Крещатика. Там в стороне от всех стоял одинокий пожилой мужик с национальным флагом и, должно быть, ждал тех, с кем он готов был поговорить, а те, кто шумел рядом, его явно игнорировали.

Продавали какие-то газетки, печатные листки, на украинском и русском языках, — все сплошь антиправительственного и антикоммунистического содержания, с жестокими карикатурами и подборками политических анекдотов.

Мы приостанавливались, пытались прислушаться — везде молили одно и то же: склоняли на разный манер все те же имена и молотили всякую политическую чепуху, как будто только ради этой возможности — говорить что в голову пришло — и жили.

Хотелось подойти и тихо спросить: а давно ли вы были в Киево-Печерской лавре, давно ли спускались в черные пещеры, давно ли думали о том, о чем только и должно думать?

Однажды мы были в гостях у Пети.

Ты знаешь, они дружили с Василием еще с юных лет, со времени работы на «Арсенале». Петя очень любил Василия, а потом и тебя полюбил.

Он был в этот вечер немного странен, казалось, что он все делает по инерции: говорит, двигается, помогает накрыть стол, изображает гостеприимного хозяина, — но все это только оболочка, скорлупа, внешняя форма, привычно действующая независимо от внутреннего и, может быть, даже вопреки ему. Так нам, во всяком случае, казалось.

Это был какой-то специальный день, среди рождественских праздников, когда надо было поминать ушедших.

У Пети были незнакомые нам люди, мы опять помалкивали. Показавшаяся вначале симпатичной старуха настойчиво повторяла: «Пусть им будет Царствие Небесное, а нам здоровье! Пусть им будет Царствие Небесное, а нам здоровье! Кроме здоровья, нам ничего не надо!» — и снова, и снова то же самое много раз.

Ее призывы настолько не соответствовали нашему настроению, мы не могли желать себе здоровья, нам это и в голову не пришло бы, мы думали о другом — о противоположном.

В конце концов эта шумливая старуха стала вызывать у нас одно лишь раздражение и досаду.

Да простит нас Бог за это!

Приходили гости и к нам. Заходили просто, по-соседски, Толя с женой, Светлана, Леся, Валюся. Все они вспоминали что-нибудь хорошее о Васе, о тебе.

Мы с Толей вышли в лоджию покурить, и он стал говорить об удивительном сочетании в Васином характере совершенно противоположных черт — осторожности и способности к риску.

— После Чернобыля, — рассказывал Толя, — Вася уговорил меня и еще одного парня, вы его не знаете, провериться, не сидят ли в нас рентгены. Ну, пошли. Тот парень был любитель выпить. Приложили к нему датчики, к разным частям тела, — никаких отклонений от норм. У меня стрелка чуть-чуть отошла от нормы, а у Васи заметно отклонилась. Он сразу помрачнел. Потом предложил купить красного вина и на моей памяти впервые так крепко выпил. Он же несколько раз ездил на станцию. В самые-самые опасные дни, знал, что рисковал, но рисковал. Выступал, читал стихи. И говорил со многими людьми. Со многими. Были у него на этот счет какие-то свои особенные соображения... А потом стал осторожничать. Продукты от матери, из деревни, привозил, старался киевские не употреблять. Однажды я видел, как он кипятил минеральную воду для чая. Юльку берег. Когда она приезжала, он ей не то что на улицу выходить не позволял, но и форточку открывать... Вот до каких крайностей доходил... И рядом с этим случай, когда он спускался с балкона на балкон... Вы, наверное, знаете, соседка с одиннадцатого этажа захлопнула дверь и осталась в подъезде без ключа. Я предлагал Васе сломать замок. Соседка и сама не возражала, а он как загорелся: спущусь со своего балкона на ее, пройду в квартиру и открою дверь. И я, дурак, в конце концов поддался, согласился. Обмотался Василь веревкой у пояса — самой обыкновенной, для сушки белья, — и я взялся удерживать ее конец. Как только его голова скрылась за балконом и я почувствовал силу натяжения веревки, меня обуял дикий страх: не удержу, веревка перетрется и порвется... Ну, такой страх напал, что дрожь стала бить. Кое-как взял себя в руки, крикнул: «Василь, как дела?» Он отвечает веселым голосом: «Я уже на уровне балкона. Вот только перекинуться на него осталось». А я тотчас представил, как это непросто ему сделать: балконы же в одной плоскости. Раскачиваться, что ли, ему и закидывать ноги через перила? А если он не перелезет, то вытянуть его назад, наверх, у меня уж сил не хватит... Вот надо



У меня есть основания полагать, что то наше прощанье с Васиными друзьями, в его квартире, скорее всего, было прощанием навсегда — вряд ли мы еще увидимся со всеми ними.

Только он-то имел в виду, скорее всего, ваши с ним бесконечные прощанья. Конечно, ваши!

И вот было в этот вечер подтверждение тому.

Мы все не могли расстаться с Колей и Лесей, вышли в подъезд, продолжая что-то говорить, почти не слушая друг друга, потом очутились у них в квартире и присели в прихожей на табуретки, на тумбочку для обуви.

И тут на какой-то вопрос матери, на что-то сказанное сквозь слезы, Коля и Леся стали говорить, перебивая друг друга: «Вася ужасно ревновал Юлю. Ужасно! Вы помните фотографию?..» Мы помнили фотографию, понимали ее шутейный смысл и то, что Коле хотелось подразнить Васю, и мы его простили, потому что ревность, по нашим старым понятиям, есть верный признак любви.

И Леся подтверждала: «Вася обожал Юлю!» Коля, нахмурясь, дополнял: «Он ее боготворил!»

Это утешало нас больше, чем выпитое вино, будто укрепляло никогда не покидавшую нас надежду.

А я опять думал о Васином стихотворении, о том, что оно о ваших с ним разлуках...

Жизнь мелькнула, как в последний раз мелькнуло в толпе отъезжающих любимое лицо.

Я буду помнить, покуда будет биться сердце, ночной Толмачевский аэропорт, грязный, сонный, с черной каплей за мутными стеклянными стенами, как заболело у меня в середине груди, когда прощально поднял руку и не опускал ее до тех пор, пока ты, несколько раз оглянувшись на меня, не скрылась за поворотом вместе с другими, бредущими на посадку.

Почему ты даже не улыбнулась?

Я бросился на второй этаж и увидел через широкое окно-стену, как вас подвели к самолету, он был недалеко, и, зная, что тебя непременно ототрут более энергичные и бесцеремонные, стал смотреть на поднимающихся по трапу. Когда толпа заметно поредела, я снова увидел тебя, увидел, как ты, почти невольно, в последний раз взглянув в сторону аэропорта, приподняла руку, прощаясь, и тут же вошла в разверстную темень двери.

Какая непереносимая тоска!

Какое нескончаемое горе!

Нет и не будет им конца и края!

Случайно наткнулся на мысль Варлама Шаламова, которая и меня не оставляет с первой минуты и с первой строчки.

Шаламов написал открыто: «Есть какая-то глубочайшая неправда в том, что человеческое страдание становится предметом искусства, что живая кровь, мука, боль выступают в виде картины, стихотворения, романа. Это — всегда фальшь, всегда... Хуже всего то, что для художника записать — это значит отделаться от боли, ослабить боль, свою, внутри, боль. И это тоже плохо».

Согласен с каждым словом. Оправдываюсь только тем, что боль моя не проходит, а часто становится непереносимой, тогда я бросаю писать. А потом опять возвращаюсь к столу и уже не могу разобраться и объяснить самому себе, что меня к этому понуждает.

Если жизнь сопоставима с одним мелькнувшим мгновением, то и одно мгновение может вобрать в себя целую жизнь.

После нашего прощания в аэропорту Толмачева впереди было море времени, бесчисленное число мгновений.

Они все еще длятся.

И вы все еще летите на белой машине по весне, в весну и в жизнь.

И все хорошо, и мир прекрасен, не бессмыслен, и есть во что верить и что любить.

Дай вам Бог!..

Юля родилась, когда ее отцу был тридцать один год. Работал он редактором молодежной газеты и всерьез подумывал, что для такой работы уже староват, что все еще оставаться в комсомоле, быть членом бюро обкома комсомола в его возрасте как-то неудобно.

Впрочем, и мать, которая была на четыре года моложе, тоже думала о своем возрасте, но по другим причинам. Она сомневалась, не поздно ли решили родить второго ребенка. Ведь их сын Алеша, которого они любили до самозабвения, просто млеет перед ним, немало тем вредя воспитанию, должен был в этом году идти в школу.

Мать, всегда более решительная, сходилла в женскую консультацию и взяла направление на аборт.

Обычно уступавший ей отец вдруг заупрямился. Он любил жену и, не замечая собственного эгоизма, ревновал часто и мучительно. Ему даже снились сны ревности, казавшиеся безысходными и ужасными; он просыпался среди ночи с тяжелым сердцем и долго не мог успокоиться.

Рождение или нерождение второго ребенка он тоже каким-то образом связал со своей любовью к жене и страстной ревностью.

В конце концов он нашел довод, который сломил сопротивление жены. Он сказал: «Ты только представь себе: мы умрем, и наш Алешенька останется один на всем белом свете, ни одного родного человека! А тут у него будет братик, а еще лучше — сестреночка» (отец хотел, чтобы родилась девочка).

Она сдалась и отказалась от аборта.

И все это, конечно же, доказывает, как еще на самом деле были молоды и не умудрены жизнью Юлькины родители...

Но потом, позже, в течение многих лет, Юлина мать все вспоминала о том, что не хотела рожать дочку, и хотя она говорила об этом чаще всего с улыбкой, полушутя, ее глаза становились испуганными, улыбка растерянной, и она сама и близкие догадывались, что она пытается покаяться, но у нее это не получается.

И когда она вернулась из роддома, то сразу рассказала мужу, как принесли дочку на первое кормление, а та отвернулась от груди, плотно сжав губки, и, как показалось матери, смотрела на нее пристальным, осуждающим взглядом. Мать расплакалась и стала просить прощения у новорожденной, которой она какое-то короткое время не хотела, целовала ее нежные смуглые щечки, лобик, но дочка была непреклонна и грудь не взяла. Лишь во второе кормление она стала сосать, а насытившись, произнесла что-то похожее на сердитое, недовольное «у-у!» и сразу же отвернулась. И так она поступала всегда на протяжении всех месяцев, пока ее кормили грудью.

Скорее всего, все это было лишь плодом материнского воображения, но то, что дочка отвернулась от груди в первое кормление, — это факт. Такой же, как и то, что родилась Юлька смуглой, темноволосой, с большими синими глазами (увы, значительно позже родители узнали, что все младенцы рождаются с синими да голубыми глазами), о чем мать с восхищением сообщила в первой же записке из роддома, посчитав, что дочка цветом глаз пошла в отца и отцову родню; но через несколько дней в ее глазах появились темно-коричневые лучики, которые ширились, ширились, окончательно поглотив синеву, и стала Юлька кареглазой.

Накануне Юлькиного рождения, в декабре, отцу наконец дали две комнаты в трехкомнатной квартире в новом благоустроенном доме. Они впервые в жизни оказались в доме, где не надо было топить печь, носить воду, даже от хождения в баню они теперь освобождались и чувствовали себя немного обалдевшими от окружившего их благополучия, делавшего их невероятно свободными.

Это казалось и комичным, и жалким: чувство свободы, сама свобода зависела от благоустроенного жилья. Но так было. Они пьянели от этой свободы. Они были счастливы. И Юлька была первым ребенком, родившимся в этом доме, что тоже было добрым предзнаменованием, и все жильцы многоквартирного дома сразу полюбили и Юльку, и ее родителей, во всяком случае, так казалось, хотелось, чтобы было именно так.

Отец пригласил свою мать подомовничать, помочь им, и она тотчас прилетела из Новосибирска; ей еще не было шестидесяти, и чувствовала она себя неплохо, радовалась их радостью и вполне влилась в их настроение.

В редакции сотрудники вовсе не считали своего редактора старым, считали его вполне подходящим для такой работы и, зная его готовность подхватить шутку, поострить, сделали в честь рождения его дочери забавные комбинации из вырезанных в старых газетах и журналах рисунков и понятных лишь редакционным поздравлений, в которых каждое слово, по мнению авторов, блистало остроумием и было многозначительным. Редактор с искренним удовольствием принял этот самодельный поздравительный альбом и, к не меньшему удовольствию сотрудников, вычитывал из него вслух стихотворные и прозаические отрывки и хохотал до слез вместе с сочинителями.

Так было встречено рождение Юлии.

Пока она была еще без имени.

Отец и Алеша, каждый день сочиняя записки для матери и новорожденной, называли ее разными нежными именами, какие на самом деле просто не существуют. Чаще всего они обращались к дочери и сестренке совершенно непонятным словом, придуманным Алешей, — «дядяска». Что такое «дядяска», объяснить невозможно. Но когда они писали: «дорогая дядясочка», «милая наша дядясочка» и т. д., то для еще не обретшего собственного имени младенца это казалось вполне приемлемым.

Наверное, поэтому и окончательный выбор имени был предоставлен Алеше. Бумажки с написанными именами свернули трубочками и бросили в отцову шапку. Алексей достал бумажку, развернул и прочитал, как уже научившийся грамоте человек, имя — Юлия. И все обрадовались этому имени, хотя и отец, и мать, и бабушка, и сам Алексей называли не менее пяти других имен, вполне традиционных для тех лет, вроде Светланы, Лены, Тани. Теперь, когда имя было выбрано, все обрадовались, что оно звучало не вполне обычно, во всяком случае, они не знали никого с таким именем — Юлия.

А осенью отец получил письмо с Урала, от бабы Кати — Екатерины Христофоровны, матери его убитого в тридцать восьмом году отца. Она писала, что очень рада имени Юлия, которое дали ее правнучке, ведь так звали ее маму. А отец и не знал, что его прабабушку звали Юлия. И имя для дочери выпало совершенно случайно.

А может быть, не случайно?

Именно тогда, после письма бабы Кати, отец подумал, что рождение Юлии, ознаменовавшееся таким количеством счастливых совпадений, принесшее всем им столько полузабытой радости (все-таки Алеше шел восьмой год), должно было свершиться непременно и он тысячу раз прав, развеяв сомнения жены. И скорее всего, рождение это означало перелом, новый этап,

возможно, даже следует сказать, эпоху жизни его и всей родни, которой сполна отмерила судьба горя, разбойно гулявшего по всей родимой земле.

И так, видно, думал, чувствовал не он один.

Как-то незаметно, но естественно для всех их Юлия стала знаком, паролем удачи, успеха, неумирающей веры в счастливое завтра.

Стоило только подумать, что вот то или это делается, предпринимается ради Юлии, как непременно все удавалось...

Господи! Неужели они слишком часто поминали счастливое имя и опирались на ее неокрепшую невинную душу?! Господи!..

Это не могло пройти бесследно.

Как бесплодны, бессмысленны и безжалостны поздние раскаяния!

Но тогда они были счастливы.

Отец, все еще находясь во власти разнообразных предчувствий и неясных предвидений, заявил однажды за столом:

— Вот родился человек, который закроет мне глаза. И я теперь спокоен.

Жена не придавала значения его словам, а мать быстро прикрыла рот ладошкой, и из глаз ее полились неожиданные слезы — то ли от прочувствованного ею счастья сына, то ли от воспоминаний о тех неизвестно где и когда убитых, которым-то никто из близких не мог закрыть глаза...

А тесть, которому кто-то передал эти слова, понял их по-своему и при встрече спросил:

— Что это, дорогой зятек, ты, говорят, помирать собрался?

Зятек рассмеялся и объяснил тестю смысл посетившей его мысли. Тесть все же с некоторым сомнением покосил коричневым глазом (у него была такая привычка — смотреть боком, одним глазом, когда он в чем-либо сомневался или подшучивал) и заметил:

— Ладно, помирать-то тебе совсем не ко времени. Вон какая семья большая. Живи! Я б на твоём месте сейчас пьяный в дым ходил да песни распевал.

Тесть в молодые годы крепко выпивал, но теперь вот уж лет десять не позволяет себе даже понюхать спиртное, и зять понимал: это шутовское замечание означает, что тесть вполне разделяет его радостное чувство...

Он благодарно улыбнулся, но чуть позже стал думать о другом — о том страшном, что уже было в его жизни и о чем он старался не думать и не говорить, если не спрашивали, по возможности обходить каким-нибудь прочерком или все тем же умолчанием в анкетах и в не раз уже писавшейся автобиографии.

Он подумал еще об одном совпадении: ему сейчас столько же лет, сколько было отцу, когда его арестовали...

Но разве кто-нибудь из решавших судьбу его отца хоть на мгновение подумал о чувствах и мыслях того молодого человека, у которого тоже к тому времени была немалая семья: жена, два сына, старшему — девять, младшему — три года! Разве хоть кто-нибудь пытался представить себе, как разрывалась душа его отца, когда он уходил, поцеловав жену, сыновей, шепнув старшему такие ненужные, пустые слова: «Слушайся маму!»

Вот о чем думал Юлин отец, расставшись с тестем, позволив себе вспомнить тот теплый апрельский день и не поздний вечер 1938 года, когда он в последний раз видел своего отца, уведённого из его жизни раз и навсегда.

И тогда он впервые с холодающим сердце страхом подумал: нет ли в его женитьбе на дочери бывшего сотрудника НКВД того, что следует назвать предательством памяти отца, как и в его трусливых анкетных умолчаниях, не является ли его женитьба противоестественной, не кончится ли это новым трагическим поворотом, не отомстит ли ему?

Так отчетливо он подумал впервые, однако душевное беспокойство, тревога, сходные с тем, о чем он только что ясно и до конца подумал, уже посещали его. Но стоило ему лишь посмотреть на жену и сына или хотя бы подумать о них, как тревожное настроение исчезало.

Все объясняла и оправдывала любовь.

И как же иначе, как же иначе! Любовь — единственная надежда людей, единственное средство спасения от разнообразных и изощренных способов самоуничтожения человечества. Что бы ни разделяло людей, какие бы государственные или иные другие силы ни поддерживали это разделение для собственных нужд и выгод, разжигая ненависть, все может преодолеть любовь.

И тогда отцу представлялась собственная любовь, женитьба, чуть ли не вся его жизнь едва ли не апостольской миссией. Он пришел в семью бывшего сотрудника НКВД с любовью, с открытой душой, с прощением. Разве можно его осудить за это?

К тому же когда он ходил в женихах, то вовсе не знал, кем был его тесть, его вообще это не интересовало, — он был влюблен, а впереди предстояла разлука: он кончал университет, а невеста была лишь первокурсницей. Им обоим ни до кого не было дела! Они думали только друг о друге и говорили только о себе.

Когда они поженились, тесть был уже на пенсии, потом, правда, пошел начальником охраны в старинный томский вуз, и о его работе в молодые годы стали говорить значительно позже, когда родился Алеша.

Видимо, тесть, долго сохранявший открытую недоверчивость к людям, все-таки верно понял своего зятя и в конце жизни стал с ним откровенничать, стал рассказывать кое-что из времен НКВД. Откровения его походили на исповедь, на покаяние.

Оставалось только прощать...

И все-таки где-то тут был неясный, скрытый грех. Не тестя — его собственный грех. Ему самому надо было бы каяться и просить прощения у расстрелянного отца и двух его братьев — Федора и Александра, — и у их отца, его деда Якова, которого, как давно ему было известно, прежде чем убить, жестоко пытали, добываясь подписи под признанием в шпионстве.

А Юлька в детстве вовсе ничего не знала о судьбе своих дедов. Да никому бы и в голову не пришло посвящать ее в ужасы прошлого. Все, наоборот, тянулись к ней за светом, за радостью, за утешением.

Она родилась в феврале, а в июле отец потянул семью на природу, в лес, к реке, потому что еще с новосибирской своей жизни привык каждое лето проводить на Оби, в Кудряшевском сосновом бору.

Что-то похожее на излюбленные им места нашел он за рекой, как раз на противоположной от Томска стороне, в местечке, когда-то любимом томским купечеством и называвшемся Городок.

В этом Городке они и сняли дачу — недостроенный домик, то есть он был построен, даже стекла в окна вставлены, но не штукатурен, не крашен и дверь без запора. Зато дышалось в нем, как в летний день в сосновом бору.

А маленькой Юльке что-то тут не нравилось. Она плохо спала ночами. Тогда отец брал ее на руки, ходил босиком по струганым, но некрашеным половицам, дочурка пригревалась у него, засыпала, но только он с осторожностью пытался положить ее в коляску, как она тотчас просыпалась и начинала хныкать. Отец не сердился, не раздражался, наоборот, улыбался сам себе — ему нравилось, что дочка признает только его руки, его тепло; снова бесшумно ходил по комнате, снова Юлька засыпала, он пытался положить ее в коляску, и все повторялось. В конце концов, обессилев, он с дочкой на руках садился на пол, упираясь спиной в теплые желтые бревна стены, и засыпал. И все две недели, что прожили они в этом сосновом домике, отец ходил полусонный, с забытой улыбкой на губах.



Спустя много лет, когда дочка стала студенткой и уехала на практику, на университетскую базу в Киреевске, на берегу Оби, они с женой поехали ее попроведать, и отец спросил:

- Юль, а ты как ночами спишь?
- Хорошо. А почему ты спрашиваешь?
- Так. Вспомнил кое-что.

В Киреевске тоже стояли нештукатуренные, наспех сколоченные из толстых струганых плах домики, в которых и жили студенты.

Они с женой собирались остаться ночевать, но с вечера были так атакованы комарами, что не выдержали — сбежали в город.

Уехали и всю дорогу сокрушались, как их Юленька-то выдерживает?

А Юленька выдерживала.

Она вообще выросла терпеливой и выносливой, легко приспособлялась к самым неблагоприятным обстоятельствам.

Через два года после рождения дочки отец ушел из молодежной газеты — у него был трудный период жизни.

По совету своего старого товарища, к тому времени весьма известного писателя Виля Липатова, отец принял должность собственного корреспондента по Западной Сибири центральной газеты «Лесная промышленность». Привлекала свобода, поездки, возможность писать, отвечать только за себя. Так вроде бы и началось, а потом застопорило: что ни пошлет, что ни передаст в редакцию — ничего не идет, а зарплата — мизерная. Денег не хватало на элементарное, на еду. Да и чуть позже, когда ушел из «Лесной промышленности» в институт, пока не защитил диссертацию, тоже было несладко.

В детстве Юлька не была избалована ни разносолами, ни модной одеждой, ни дорогими подарками.

Росла она живым, веселым, открыто общительным человечком, нередко своевольным. Это обнаружилось особенно заметно, когда она пошла в школу. Придет из школы, поест и тут же собирается на улицу. Мать строжится: «Куда это ты? Садись уроки делать!» — «Не буду!» — «Как не будешь? Сейчас же принимайся за уроки!» — «Нет! Сперва мне надо Серпше прогулять...» И удержать ее дома невозможно.

А Серпше... Это забавная история. Такое имя мальчишке придумала Юлька, соединив три начальные буквы его имени и три буквы фамилии, — получился Серпше. Он жил в этом же доме, учился в той же школе, только в параллельном классе. А выгуливать его нужно было потому, что он изображал из себя собаку.

Юлька выбегает во двор, а Серпше ее уже ждет с обрывком веревки или с ремнем вместо поводка. И вот он, согнувшись, приседая, а то и становясь на четвереньки, бегают по двору на поводке, прыгает в сугробы, лает на ребятишек, подчиняется командам «хозяйки» и вызывает общий восторг и хохот.

Только прогуляв Серпше, набравши снега и в валенки и за шиворот, является Юлька домой...

У отца хранится несколько Юлькиных школьных сочинений, еще из начальной школы. Иногда он берет их в руки и сквозь горестную пелену, наплывающую на глаза, перечитывает строчки, написанные ее рукой.

«У меня есть резиновая кукла. Я очень ее люблю. Я шью на нее одежду, хожу с ней гулять. Она у меня капризная. Когда я и моя подружка выходим гулять с куклами, моя просит, чтобы я ее прокатила с горки, но когда я беру ее на руки, она вырывается и кричит: „Сама!“ Я не пускаю ее, но однажды она вырвалась, покатила, споткнулась и упала носом вниз. Заревела. Я стала ее поднимать, а она: „Сама!“ Вот такая капризная моя кукла» (сочинение «Моя любимая игрушка. Посвящаю маме»).

О! Подобные происшествия очень хорошо известны Юлиным родителям. Кукла вся в свою хозяйку. Только бы надо заменить слово «капризная» на более подходящее — «своевольная», потому что капризной в обычном понимании Юлька никогда не была, ее всегда можно было уговорить, объяснить, убедить.

«В понедельник я совсем разболелась. Но папа все-таки сходил за щенком. Он принес его в своей куртке. Когда папа расстегнул замок, я увидела маленькую, всю в морщинках мордочку. Папа достал щенка и поставил его на пол, но у малыша расползлись лапки, и он упал на животик. Бим дрожал, и мама взяла его на руки. Ночью Бим сильно пищал. Сейчас он уже привык к нам, но еще все-таки пищит. Когда я мыла пол, Бим прыгал мне на спину, хватался за тряпку.

Бим белого цвета с светло-коричневыми пятнами, на лобике у него веточка. Ушки и мордочка Бима как бархатные. Я очень полюбила нашего нового жильца» (сочинение «Любимец Бим»).

Серпше в роли собаки конечно же открывает такую понятную, естественную едва ли не для всех детей мечту — иметь своего настоящего щенка. Первоначально мечта всегда связывается с представлением именно о щенке, маленьком, трогательном, зависимом от человека.

У отца был уже не очень удачный опыт содержания собаки, никто его в свое время не поддерживал. А тут Юлька так энергично, так решительно стала настаивать, что все решили: берем щенка.

Конечно, охотничью собачку. Лучше всего пойнтера — гладкошерстный. И имя ему будет Бим. Конечно Бим. После знаменитой повести Троепольского собак называли только так, это имя стало символом собачьего благородства, верности, возвышенных, очищающих душу страданий и веры, что они преодолимы, теперь уж преодолены и более не повторятся.

Если бы все можно было заранее знать и предвидеть! Но все знать невозможно. Зато можно чувствовать и предчувствовать...

Но еще было далеко до предстоящих несчастий, до конца...

Все были так легкомысленно счастливы (вовсе не понимая, что были счастливы), что решились на предательство.

Дали путевку в прославленный Коктебель. Они уже успели до этого вкусить его благодной заразительности, его сладостной отравы и томительного зова. Ехать не ехать — такого вопроса не задавали. Как быть с Бимом?

Отец пошел договариваться со слесарем-водопроводчиком, обслуживавшим их дом, зная, что тот давний и страстный охотник. Слесарь спросил: «На время или насовсем?» Отец видел, что любимец Бим вовсе не был любимцем у его жены, которая каждый день ворчала из-за испорченного ковра, из-за запаха псины, из-за шерсти, порванных тапочек и многого другого... Да и сам он, честно признаться, подустал от неутомного щенка... Недолго подумав, махнул рукой: «Бери насовсем».

Конечно, Юльке правды не сказали. Собрали все нажитое Бимом имущество: новый ошейник и ременный поводок. Бим притих и казался печальным. Юлька поцеловала его в мордашку, в еще не исчезнувшие щенячьи складки, приговаривая: «Бимуля, не грусти! Мы скоро. До свиданья!» И отец унес его к слесарю в подвал.

А утром они улетели в благословенный Коктебель. Юлька каждый день вспоминала своего Бимулю, и отец все не решался открыть правду. И только в самом конце, перед отъездом, он все ей рассказал. Юлька молча заплакала и ушла с пляжа. Едва разговаривала с родителями, она вся потухла.

Отец решил про себя, что вернет Бима, в конце концов, выкупит его. Но оказалось, что слесарь отдал Бима (скорее всего, продал) другому охотнику, в другой город.

С тех пор прошло более двадцати лет, и, скорее всего, Бим давно умер. А если он еще жив? Случается, что собаки живут по двадцать пять лет. И вот Бим, старый, полуслепой, совсем слабый, доживает последние дни. И вдруг в его почти непрерывной старческой дремоте однажды вспыхивают младенческие воспоминания. На мгновение он чувствует себя щенком, хватющим за ноги Юльку, пытающимся отобрать у нее тряпку или ошущающим ее ласку и поцелуи в нежную, в бархатных складках, мордашку.

Однажды на лекции я говорил о теории расширяющейся Вселенной и получил записку с вопросом: «Если эта теория верна, то не только Земля, но и вся наша Вселенная неизбежно погибнут. Неужели нет спасения?»

Так у меня зародилась идея «Печального августа».

Проверяя себя, я все приставал с разговорами на эту тему к Юле: она еще училась в школе и вряд ли ее интересовали столь глобальные проблемы. Но в конце концов она почувствовала неслучайность моих к ней вопросов, задумалась и сказала: «Не может быть, чтобы Вселенная погибла. Эта теория неправильная».

Мне и этого было достаточно, чтобы укрепиться в своем замысле.

Он мне казался грандиозным. Подумать только — неизбежность гибели Вселенной! Все, все, все должно погибнуть, сгореть, взорваться...

Как же должен вести себя человек, знающий об этом?

В какой-то момент я стал бояться, что, если буду продолжать передавать Юле всю меру своего смятения, ее детский разум не выдержит, надломится...

Но однажды она сама мне сказала: «Знаешь, я вот еще подумала над твоей теорией... Надо, чтобы все люди, особенно, конечно, ученые, уже сейчас стали думать, как спастись. Зачем же тогда природа создала людей? Не может быть, чтобы не было никакого выхода!»

Я поцеловал ее в щеку, мою маленькую наивную девочку, моего помощника и консультанта: «Спасибо! Я теперь знаю, с чего начну и чем кончу эту повесть».

Гонорар за «Печальный август» позволил нам опять отправиться в Коктебель.

В тот год американские космонавты высадились на Луну. По телевидению шел репортаж об этом событии. Протиснуться к телевизору в клубе было невозможно. Кто-то сказал, что есть телевизор в какой-то служебной комнате со стороны кухни, и мы с Юлькой помчались туда. Там уже было полно народу, но мне все-таки удалось поставить Юльку на ступеньки крыльца и придерживать сзади, сам я кое-что видел иногда между головами других. Но тут примчался некий энергичный мужчина с диковатыми глазами и буквально врвался в толпу зрителей. Я не удержал Юлю, и она едва не упала, соскользнув с крыльца. «Нельзя ли поосторожней?» — сказал я, но незнакомец даже не повернул в мою сторону головы. Тогда я взял его за локоть и громко крикнул: «Эй! Вы же людей с ног сбиваете!» Он посмотрел на меня внимательно и долго, сказал: «Отстань!» Такого обхождения мне вполне достаточно, чтобы взорваться и ринуться в любую схватку. Юля это знала, она решительно потянула меня за руку: «Папа! Пойдем! Прошу тебя! Мы главное видели. Пойдем! Вечером будет повтор», — и утянула меня от намечавшейся ссоры.

А потом в «Литгазете» появилась ругательная рецензия на мой «Печальный август», названная «Послезавтрашние заботы».

По своему тону, по ядреному здравому смыслу, который не позволил критику поверить, что кто-то сегодня может действительно встревожиться и думать о неизбежной гибели Вселенной, рецензия эта удивительно напоминала мне того энергичного мужчину, который столкнул нас с Юлей с крыльца в Коктебеле, хотя ни его фамилии, ни критика, подписавшего рецензию, я не знал.

И все-таки я решил, что тот человек и критик — одно и то же лицо. И сказал об этом Юле. Она тотчас согласилась: «Конечно, это он! Зачем только он так нагло лез смотреть репортаж об американских космонавтах? Ему же космические проблемы совершенно неинтересны! Ты не расстраивайся, папуля», — тут же и успокоила меня.

А я и не расстраивался. Точнее говоря, старался не особенно расстраиваться.

А совсем недавно я узнал, что сын Циолковского, студент, покончил жизнь самоубийством, потому что поверил в правильность второго начала термодинамики — в то, что Вселенная неизбежно погибнет в результате тепловой смерти, что в мире нарастают процессы энтропии.

Может быть, это только одна из версий самоубийства сына великого ученого? Может быть. Но вовсе не версия, а факт, что Циолковский после гибели сына стал биться над доказательством ошибочности теории тепловой смерти...

Эй, вы! Далекий критик мой! Вы все еще утверждаете, что нет на земле людей, которых могла бы встревожить судьба Вселенной?

Берви-Флеровский считал, что все частицы природы мыслят и ими движут две возможные силы: с одной стороны, идеи уединения и насилия, а с другой — любви и гармонии. И похоже, первые идеи все более укрепляются и мир набирает скорость в своем движении к гибели.

Уж не всеобщий ли это закон природы, в который вполне уместается теория расширяющейся Вселенной: силы уединения и насилия заставляют всех бежать друг от друга?

Совершенно не могу смотреть американский телесериал «Спасение 911». Сперва смотрел, потом все больше накапливалось непонятное ощущение страха, смертельной тревоги и тоски.

Там всех спасают. Всех! Из самых невероятных, почти безнадежных обстоятельств...

А мы, а я — не спасли.

Через несколько месяцев выяснилось, что там был какой-то румынский монах, он ехал на велосипеде, их машина обогнала его, и тут же, на его глазах, все случилось. Он все видел. Он бросился к ним. Он помогал Юленьке... Потом уговаривал проезжего увезти в больницу... Боже мой! Нельзя же было этого делать! Нельзя трогать! Господи! Она была одна... Не могу этого перенести...

А у Юли появилась новая компания. Из соседних дворов. Пошли в ход прозвища: Крючка, Дохляк, Вонючка.

Заметной фигурой был среди мальчишек Радик. Он сразу влюбился в Юльку, о чем ей и сообщил. И хотя он, не стесняясь родителей, заходил за ней домой, звонил по телефону, все же они были еще совершенными детьми.

Как-то Радик на глазах у Юли съел древесный листик с сидевшей на нем какой-то букашкой. Юля поразилась, а Радик стал объяснять, что человек должен приучаться питаться только тем, что есть вокруг него, что само растет и живет. «Ты знаешь, — говорил он убежденно, — сколько людей в мире голодает? На всех просто еды не хватает, и никогда не хватит. Ты вот каждый день сколько всего съедаешь! Небось с голодающими не поделишься, а я приучусь питаться листьями и гусеницами...»

Через несколько лет, когда Юля уже работала в своем загородном НИИ, Радик приехал в их поселок к концу рабочего дня и поджидал ее возле автобусной остановки. Юля искренне удивилась, а он, улыбаясь, сказал: «Соскучился». — «Ты ведь, кажется, женат?» — заметила Юля. «Да. И уже сын есть. Но это не имеет значения».

Он даже не стремился прикоснуться к ней, хотя бы руку пожать, а просто смотрел на нее, продолжая улыбаться.

Женился Радик явно рановато — скорее всего, его поторопились женить родные: среди томских татар есть семьи, которые строго соблюдают чистоту нации и сами решают, кого с кем соединить.

Радик проехал с Юлей всю длинную дорогу до города, без умолку болтал обо всем на свете, как болтал в детстве, и лишь в самом конце пути сказал, посерьезнев, что скоро уедет в Америку: «Я, может, попрощаться с тобой хотел...»

Нет, у Юли это не было ни первой любовью, ни первым увлечением — это была истинная, хотя и полудетская, дружба.

Первая неразделенная любовь настигла ее в десятом классе.

Но до этого были две дальние и показавшиеся родителям очень долгими поездки в «Артек», а в девятом классе — в Тбилиси.

В «Артек» Юля поехала со своей первой любимой подружкой Наташей. Потом они признавались, что, когда их настигала тоска по дому, по маме с папой, они где-нибудь прятались и давали волю слезам. Становилось легче. А еще они во время ужина припрятывали по кусочку хлеба и после отбоя, в кровати, потихоньку его жевали, не от голода — они вполне были сыты, — так, для успокоения.

А в письмах родителям Юля писала: «К вашему сожалению, я о вас не скучаю...» Зато родители мало сказать что скучали. Особенно отец. Будто некое страшное предчувствие захватило его, мутя разум, отзываясь болью в сердце. Он мысленно давал себе клятвы, что больше никогда и никуда не отпустит от себя дочь...

Но потом, успокоившись, клятву не сдержал и, когда Юля училась в девятом классе, на зимние каникулы отпустил ее с классом в Тбилиси. И опять психовал и каждый день то забегал, то звонил в школу: нет ли известий о наших туристах?..

«Скажите внутри себя свою скорбь, кричите о ней для себя, отдавшись ей, — пойте о ней для других» (М. М. Оленина-д'Альгейм. «Заветы Мусоргского»).

Сколько раз думал, как расстреляли отца? А может быть, их всех вместе?

Прочитал у Твардовского в рабочих тетрадах за 1957 год: «Расстреливали их во внутреннем дворе этого зловещего здания, ночью. Брели по двое и вводили в неглубокий закоулок вроде заложенных кирпичом ворот — закоулок-тупик. Держались они кто-как. Один упал в обморок — так его и сволокли в тот тупик, освещенный одной лампочкой на шнуре, качавшейся от выстрелов. Один кричал: звери, что вы делаете? Один сказал: умираю за партию Ленина — Сталина. А этот стоял как все, с завязанными проводом на спине руками, — и как будто не следил за операцией, не выжидал, не крепился. Запрокинув голову, он все глядел на густо-звездное небо в квадрате двора, все глядел не отрываясь, и эта холодная высь как будто притянула уже его к себе и унесла отсюда, из этой очереди. И то, что происходило и звучало здесь, — команды, шарканье ног по камню, выстрелы, — все это уже было где-то внизу, далеко и давно, а может, и вовсе ничего этого не было, а он только представил себе или вспомнил, как это было с кем-то на земле».

«Зависимость скорости пролиферации лимфоцитов от возраста индивидов... удовлетворительно описывается уравнением линейной регрессии... что наглядно демонстрирует снижение скорости пролиферации клеток с возрастом» (автореферат диссертации).

Моя Юлия стала естествоиспытателем, она изучала законы природы, она знала, что происходит на клеточном уровне, она наблюдала закономерность.

Так, может быть, все-таки есть в мире порядок, целесообразность? Природа, как искусство, — целесообразность без цели.

Не могу поверить в неизбежность случившегося. Ведь я-то до сих пор жив, хотя должен был умереть от одного только известия. Почему же я живу, неужели все еще на что-то надеюсь? Да нет, конечно! Конечно нет. Так почему же сердце, уже не раз собиравшееся остановиться, все еще бьется и выдерживает даже такое? Неужели и эта его способность бессмысленна и никому не нужна, кроме усталого тела, которому оно принадлежит...

Юлия очень редко плакала, даже в раннем детстве, а уж взрослой, мне кажется, она вообще не проливала слез...

Хотя нет. Дважды я видел на ее глазах слезы.

Первый раз — когда настигла ее полудетская-полуюношеская любовь к красавцу Андрею из параллельного десятого класса. Она об этом никому не сказала ни слова и ничего не сделала, ничего не предприняла, чтобы Андрей узнал о ее чувствах. И он, скорее всего, даже и не догадался об этом, вокруг него постоянно кружились более смелые девочки, заслоняя тех, кто был поскромнее или построже.

Был выпускной вечер, вернее, целая ночь, потому что после торжественной части и дружеского чаепития с шампанским в школе все пошли пешком на общегородской бал во Дворец спорта. Там было много шума, громкой музыки, бестолковой толчеи и сильно опьяневших мальчишек.

Уставшие родители, тоже последовавшие за своими чадами из школы, стали уговаривать их покинуть этот общегородской шабаш и разойтись по домам. Большинство согласилось. И мы с Юлей и еще три-четыре пары родителей с девочками в прелестных бальных длинных голубых и белых платьях пошли по пустынным улицам под уже розовеющим небом домой.

Потом мы остались втроем и на одном из пустынных перекрестков увидели одинокий лоток и сонную продавщицу в белой курточке, продававшую яблоки, апельсины, конфеты и, кажется, еще печенье. Более всего нас порадовали апельсины; тогда, в июне, их у нас в свободной продаже не бывало. Да и вообще этот одинокий лоток и продавщица, словно выпавшая из какого-то другого времени и пространства, в удивлении оглядывающаяся по сторонам, — все было совершенно необычно для нашего города. Продавщица оживилась, кажется, даже обрадовалась покупателям, она улыбалась и все оглядывала на Юлю, потом не спросила, а сказала, как бы сама себе: «Десятиклассница. Красавица какая!»

А Юлия тихо ушла вперед, поджидая нас.

Светлая июньская ночь таяла на глазах: небо справа совсем порозовело и заблестела молодая листва на тополях.

Когда мы догнали дочь и она обернулась к нам, глаза ее были полны слез. «Что? Что случилось?!» Она старалась улыбнуться: «Неужели я никогда больше не увижу Андрея?» Мать обняла ее, прижала к себе, что-то стала говорить...

А мне стало легко и покойно. Я знал, что это не страшно, что это пройдет и что это прекрасно.

И второй раз я помню ее слезы...

Это было на подъезде к Коктебелю. Мы не были там три года...

А до этого вполне успели испытать этой колдовской коктебельской сладости, когда с первой минуты, с первых шагов, с первых вдохов, кажется, что ты наконец-то попал туда, куда давно рвалась твоя душа, о чем ты видел тревожно-притягательные сны, куда уносился мечтами в ранней юности, отложив в сторону книгу и глядя в замерзшее зимнее окно и на отсветы щеля-

стой печи, когда среди зимы вдруг обнажился голубой осколок неба, предвещавший весну; наконец-то ты добрался до истока, и теперь сама Природа по-матерински тебя обнимет и обо всем расскажет....

Конечно, конечно, видевшим другие умопомрачительные края наши коктебельские восторги покажутся смешными. Что ж поделать! Мы так долго жили на Западно-Сибирской низменности, которая, по слухам, когда-то была дном моря, что наша тоска и наше упоение Карадагом и морем становятся по крайней мере объяснимыми.

Мы боялись хоть что-нибудь упустить: и лезли в горы, и шли в Лягушачью бухту и на мыс Хамелеон, и поднимались к могиле Волошина, и на теплоходе «Иван Назукин» выходили в открытое море на ночную прогулку...

Мы еще застали в живых жену Макса Волошина. Она каждый день выходила к морю, кем-нибудь поддерживаемая под руку, небрежно одетая, почему-то со спущенными чулками (может быть, надеялась, что именно сегодня искупается в море?). Писатели называли ее между собой Марусей, реже Марией — видно, из желания показать свою близость тому миру, который представляла эта старая женщина. Однако чаще всего возле нее собирались просто доброжелательные люди, с охотой о чем-то рассказывали и сами расспрашивали Марию-Марусю...

К тому времени мы уже кое-что знали о Коктебеле, о странном доме поэта, о том, кто в нем бывал, как тут всех угощали на обед лапшой и все были сыты и счастливы, кто тут читал свои стихи, а у кого они именно здесь рождались, как тут началась любовь Марины и еще, по сути, мальчика Сергея, и какой она оказалась высокой, истинной, а потому трагической, и как предчувствие этой судьбы посетило здесь Марину, что и запечатлелось в нескольких ее стихах...

Позже, уже после смерти жены Волошина, мы заходили в дом поэта, стояли на его балконах, были в комнатах...

В первый же визит нас с Юлей поразила посмертная маска юной утопленницы, которую привез Волошин из Парижа. Искусный мастер снял маску тотчас, как вытащили из воды несчастную, и продал русскому поэту. Закрытые глаза и рот выражали страдание, а не успокоение. Может быть, его не бывает даже и после смерти?.. На высокий лоб и щеки опустились тонкие пряди, кажется, и сейчас еще мокрых волос, тонкий, чуткий нос завершал прекрасные черты.

А может быть, этого нельзя делать? Может быть, это большой грех? И все, кто смотрел на эту маску, сами обречены на страдание?..

Уж очень много, если вспоминать, набирается тех, у кого коктебельское счастье завершалось непоправимым горем...

Кажется, Коктебель — такое зачарованное место, где открываются людям их судьбы, где можно предугадать или хотя бы предчувствовать свое будущее; надо только соответственно настроиться, принять в свою душу этот маленький мир — и ты услышишь голоса.

Я бы тоже хотел быть похороненным в этой жесткой, сухой, каменистой земле. Или, еще лучше, слиться с духами Карадага, которые изображены на картине малоизвестного художника, и вечно витать над горами, голубым заливом, все видеть, слышать и понимать. И, может быть, встретиться с Юленькой...

Я определенно знаю, что мы с ней восприняли Коктебель не так, как наша мама, которая хотя и соглашалась с нами, поддакивала нам, но все же не была так же, как и мы, встревожена, захвачена, покорена и возвышена единственно возможной красотой этих мест.

Мы ходили по этой земле, срывали фиолетовые колючки и тонкие травы для крошечных букетов, пытались уловить их сухой запах, сидели на камушках, омываемых светлой водой, и нам еще удавалось изредка выловить малюсенький сердолик, некогда изобильно усеивавший коктебельское побережье. Поздним вечером опять спустились к морю, оно становилось совер-

шенно черным, поглощавшим все и вся, даже сам свет, как небесная черная дыра, мы не видели воды, но слышали, ощущали, как дышит море, а ранним утром наблюдали, как из-за Хамелеона поднимается солнце.

Как мы были веселы и покойны в Коктебеле!

У нас были свои шуточные ритуалы, связанные с Коктебелем и действующие только там.

Мы с Юлей недалеко заплывали, радостно оглядывались по сторонам, и я непременно кричал: «Как тебе?» А Юля отвечала: «Кок-тебель...» Эта незатейливая шутка тем не менее подтверждала, что мы действительно, на самом деле находимся именно в Коктебеле.

Еще мы с Юлей умели издавать высокий, правда несколько скрипучий, звук, с силой выдувая воздух через плотно сжатые губы. Это был наш сигнал. Его никто не мог повторить. И мы подавали его друг другу в море, на базаре, в парке. Дома, зимой, он напоминал нам счастливые коктебельские деньки...

Мы понимали, что все это и есть счастье. Одно из возможных для человека. Наверное, справедливо мнение, что счастливые люди не осознают своего счастья, как здоровый человек не ощущает своего здоровья. Но все-таки иногда человек способен (а может быть, даже должен) понимать, что вот сейчас, в эти дни или часы, он — счастлив. Это как предвидение, как предчувствие собственной судьбы, как напоминание, что счастье выпадает не всем и не навсегда.

На коктебельской земле мы слышали ушедшие голоса, нас окутывали прозрачные духи гор, нам открывались тайны жизни и смерти, известные морю и не передаваемые человеческим языком...

И вот три года подряд мы не могли поехать в Коктебель из-за тяжелой болезни нашей мамы. У нас уже были путевки, когда в середине мая ее прооперировали, и до середины октября она лежала в клинике, на грани жизни и смерти.

Знаменитый у нас хирург-академик сказал нам с Юлей: «Готовьтесь к худшему». Нет, Юля и тогда не заплакала, у нее только еще больше потемнели глаза, и она в несколько дней из девочки превратилась во взрослого человека. Такая перемена происходила в ней второй раз за ее короткую жизнь.

Каждую ночь она проводила в палате с матерью, делала все то, что не каждая медицинская сестра сделает. Утром ее сменяли я или сын, а Юля шла на занятия в университет, в июне сдавала экзамены, наводила дома порядок, стирала, если удавалось, то немного спала и снова шла на ночное дежурство.

Это был надежный человек...

И вот через три года мы опять едем в Коктебель. На этот раз так удачно получилось, что, заехав ненадолго в Москву, мы достали билеты на поезд до Феодосии, а оттуда, уже в нетерпении, взяли такси до Планерского.

Когда машина миновала перевал и за каким-то поворотом вдруг открылся голубой залив и Карадаг — враз сразу все долгожданное, я повернулся к Юле и увидел в ее прекрасных глазах слезы...

Слава Богу, это были еще слезы радости!

«Они уходят от меня все дальше по старой Бурлинской, в глубь ее, в переплет теней, в разорванный зелеными ветвями свет, и в блуждающих этих пятнах становятся иной раз почти неразличимыми, будто растворяются, а потом вновь возникают на солнечном месте, неторопливо уходящие от меня.

Они снова вместе, все трое. И идут, как всегда ходили, — Виктор и Юлька по тротуару, а Игорь рядом, по травке, по желтой тропке, с прутиком.

Юлька, как и Игорь, идет беспокойно, она то размахивает руками, то запрокидывает голову и смотрит вверх, наверное, до головокружения, то приплясывает на одной ножке или идет задом наперед, чтобы видеть лица и того, и другого» (повесть «Трое с одной улицы»).



Именно так однажды пригрезилось Юлиному отцу.

Ему стало казаться, что его дочь была всегда, всю его жизнь рядом с ним. Даже во времена его отрочества и начала юности на несуществующей теперь Бурлинской, с немощной дорогой, с высокими тополями и заплатами, за которыми таились цветущие по весне деревья, огороды и цветники. Она, то видимая, то невидимая, принимала участие в их играх, таилась вечерами на парадном, с заколоченной дверью, крыльце, слушая страшные рассказы, ползла между грядок в огороде соседки, чтобы выдернуть раньше времени выросшую сладкую морковку и, слегка обтерев ее нечистой ладошкой, с наслаждением схрумкать; она лазила с ними на тополя, на чердак и на крышу и, как все, представляла, что плывут они в бесконечном теплом море и слышат не шум листвы, а шелест настоящих морских волн...

Так ему казалось. Он посмеивался над самим собой, но продолжал представлять разные события своего детства, в которых несомненно принимала участие и Юля.

И когда у Юли, как в свое время и у него самого, случился приступ аппендицита и ее увезли в больницу, он продолжал думать, что и эта болезнь подтверждает его представления.

«В то время аппендицит делали под общим наркозом. Юльке поднесли к лицу маску, и сестра сказала:

— Считай.

— До сколько? — спросила Юлька глухо.

— Сколько сможешь.

— Раз, два, три... три... Нет! Два, три...

Больше Юлька ничего не помнила и ничего не чувствовала. Не знала она и того, что аппендицит у нее был сложный, операция длилась целый час, и если бы промедлили, то она могла бы умереть.

Об этом ей рассказала мама через несколько дней, и Юлька испытала запоздалый страх.

На следующий день после операции она проснулась раньше положенного времени, потому что в палате уронили на пол стакан и он со звоном разбился. Проснулась она тяжело, с жаркой сухостью во рту, с ощущением, что объелась конфет — обыкновенных подушечек, и с тянущей головной болью. С трудом открыла веки, но ничего не узнала и не поняла. Она еще не успела осознать, чего ей хочется, как губы сами собой попросили:

— Пи-и-ть!

И сразу над ней склонилась мать:

— Юлюшенька! Проснулась! Тебя разбудили? Как ты себя чувствуешь?

— Пить, — повторила Юлька потверже и стала вспоминать, где она и что с ней...

Но только через сутки она смогла окончательно прийти в себя и оглядеться.

В правом углу палаты, напротив Юльки, стояли две детские кровати, в которых лежали удивительно похожие мальчишки — Сережа и Алеша. Они совсем маленькие — по два с небольшим года. У обоих высоко задраны, прицеплены к блоку загипсованные правые ножки — это называется «на вытяжении». Мальчишки были без штанов, и Юлька сперва немного стеснялась, а потом привыкла и просто не замечала их обнаженного вида.

Оба мальчугана были большие непоседы и крутились в кроватях на своих подвесках невероятно ловко и непрестанно. Манную кашу и суп в глубокой металлической тарелке им ставили прямо в кровать, и они без видимого напряжения ели сами, умело управляясь большой столовой ложкой.

Юлька про себя стала называть их братцы-акробаты.

Детская больница эта была старая, еще дореволюционная — тесное деревянное двухэтажное здание. Кровати в палатах стояли впритык друг к другу: две кровати тесно прижаты, потом узкий промежуток с тумбочкой и сно-

ва две кровати. Из-за тесноты попали в девчоночью палату и братцы-акробатцы.

Едва один из них впервые поймал на себе Юлькин взгляд, как тотчас сообщил:

— Меня завтра выпишут.

Второй тут же крикнул:

— А меня через два годика. После обхода.

Юлька сразу поняла всю фантастичность их сообщений — они еще совсем не ориентировались во времени и никакой существенной разницы между днем, часом, годом не видели. Но она поняла и другое: самыми главными и, видно, постоянными их мыслями были мысли о выписке из больницы.

Тогда она впервые ощутила пока еще слабый укол жалости к этим мальчишкам, вынужденным лежать в такой противоестественной позе и мечтавшим о том времени, когда их выпустят...

В другой день, когда Юлька раздавала мамину передачу девочкам, лежавшим поблизости, и еще только думала, как бы передать по конфетке и мандаринке братцам-акробатцам, Сережа — он был побойчее Алеша — крикнул ей:

— Дай мне конфету! Я выпишусь, куплю тебе две шоколадки! Больших!

А Алеша неожиданно заплакал, выразив этим всю нестерпимую меру своего желания.

Юлька сама чуть не заревела и сгребла все, что оставалось от передачи, а шестилетняя «ходячая» Валя отнесла конфеты и мандарины мальчишкам.

Братцы-акробатцы до позднего вечера показывали друг другу, сколько у кого осталось конфет, перепачкались в шоколаде, бережно расправляли фантики, а к мандаринам не притронулись — просто не решились нарушить их прекрасную яркую, шершавую целостность — и спрятали диковинные плоды под подушки, с чем и уснули, счастливые и успокоенные.

Еще в палате была девочка Оля — худенькая, беленькая, лет трех. У нее был перелом левой ручки и ключицы, поэтому она тоже держала на себе целую конструкцию из гипса и металлического каркаса. Как раз ее кровать и стояла вплотную к Юлиной. Ночью Оля, заспавшись, поворачивалась поудобнее, каркас мешал, и она начинала постанывать или лезла на кровать к Юле, чтобы прижаться к живому теплу или просто приласкаться. Юлька просыпалась, гладила Олю по головке, та успокаивалась.

Особенно остро переживала Юля первые дни и ночи, просыпаясь от слабых стонов и сонного хныканья, расстраиваясь от девчоночьих слез при ежедневных обязательных уколах. Но странно — от этой жалости к другим она легко, не замечая, переносила собственную боль. А ведь у нее болел живот, и так же болезненны были уколы, и было больно, когда брали кровь из вены; еще она очень страдала, что нельзя было вставать, а попросить судно стеснялась, да и нянечка появлялась у них раз-два в сутки — она была одна на всю больницу.

Но ей казалось, что чужая боль и беспомощность были во сто крат сильнее и безнадежнее.

Больничная жизнь были совсем новыми, неизвестными Юльке обстоятельствами, здесь резко менялись привычные представления, рождались непонятные еще чувства, приходили странные мысли...

...Однажды ночью Юлька беспричинно проснулась. Из коридора тянулась желтая полоска света. Было тихо. Ну, не так, чтобы совсем никаких звуков: дети во сне сопели, покряхтывали, иногда слышался слабый стон. Юлька скосила глаза и увидела сперва Олин металлический каркас, а потом задранные ножки братцев-акробатцев. Было душно, пахло лекарствами и еще чем-то сладковато-тошнотворным. Сердце у Юльки то замирало, то стучало быстро-быстро. Ей становилось страшно.

Предчувствие большой и неизбежной беды все прочнее завладевало всем ее существом. Уже казалось, что она пришла, эта беда, и невозможно предотвратить надвигающуюся горе и несправедливость.

Юлька не плакала, но глаза ее были полны слез, она дышала часто и неровно.

А потом она вспомнила подробный рассказ матери об операции и о том, что она, Юлька, могла умереть, если бы врачи промедлили.

Ей никогда еще не приходили мысли о смерти, о физической непрочности человеческой жизни. Оказывается, нужно совсем немного, чтобы она прекратилась: достаточно воспаления маленького, никому не нужного отросточка в животе — и конец. Первоначальное удивление от собственного открытия задержало страх, но зато потом он сдавил ее с такой силой, что она все-таки заплакала, молча глотая слезы.

Слезы успокоили. Юлька прижала ладонку к сердцу и ощутила его крепкие частые удары. Тогда произошел новый оборот ее мыслей.

Слушая биение собственного сердца, Юлька думала: какая же неведомая сила заставляет его стучать, работать многие годы, не останавливаясь ни на секунду? Ведь нет там никакого моторчика, который можно завести, чтобы сердце заработало. Почему же оно бьется?

Нет, конечно, она знала из школьных уроков, как работает сердце, куда гонит кровь, как действуют клапаны и желудочки. Сейчас ее взволновало другое — почему? Почему оно бьется? Почему сокращается эта мышца? Когда сгибаешь руку, ногу, крутишь головой, то тут все понятней. Но почему бьется сердце — совсем непонятно... мысли эти захватили ее так прочно и надолго, что беспричинный страх незаметно прошел, а уснула она уже под утро, так и не сообразив, отчего же бьется сердце...

И вот уже все осталось позади: и болезнь, и больница, душная палата со всеми ее болями и жалостью.

Через месяц Юлька и думать забыла об операции, о том, что у нее есть шов, с которым надо было считаться в первые дни — не делать резких движений, не прыгать, не бегать, — теперь она опять бегаёт в догоняшки, прыгает со скакалкой и даже лазит по деревьям.

Но все-таки иногда вдруг что-то подступит ей к сердцу, она загрустит, запечалится, тихо сядет на крылечке, подпрет руками свою каштановую головку, задумается, а спроси о чем, не скажет, сама не знает о чем, просто что-то вспомнилось.

Но это ненадолго. Совсем ненадолго...» (повесть «Трое с одной улицы»).

Все, что здесь рассказано о Юлькиной болезни, включая описание палаты и ее обитателей, как говорится, списано с натуры. Так все и было.

Но сегодня отец перечитывает эти страницы повести, написанной более двадцати лет назад, с открытым испугом, с черным ощущением своей вины. Зачем он передал Юле предчувствие неизбежной беды, горя, мысли о хрупкости человеческой жизни?

Ему теперь кажется, что подобные догадки накликавали беду.

Или были ему предупреждением, пророчеством. А он ничего не понимал, ослепленный любовью и радостью.

Между тем после операции в Юле произошел заметный перелом. Из шумной, оживленной, общительной непоседы она превратилась в задумчивую, неторопливую, по-прежнему доброжелательную и охотно улыбающуюся, но все чаще грустную девочку. Она еще выходила вечерами во двор к своей старой компании, слушала веселую болтовню Радика или Дохлака, посмеивалась в ответ, но по первому зову матери или отца уходила домой.

Может быть, виной тому была не только операция, но и то, что Юлька уже успела к тому времени побывать в Коктебеле и заразиться этой болезнью? А может быть, то, что в лето, накануне ее операции, в Коктебеле же она почувствовала на себе взгляды того воскресающего к жизни поэта, который тогда решил про себя, что вот эта девочка в будущем будет его возлюб-

ленной. Ведь он потом уверял всех нас, что помнит Юльку с ее девчоночьего возраста, что, глядя на нее, он возрождался.

Что ж, вполне возможно.

После операции в Юле и произошел первый в ее жизни перелом...

Ее отец тоже пережил перелом после такой же операции.

Юлиного деда Владимира арестовали 30 апреля 1938 года, а вечером того же дня у ее будущего отца, девятилетнего мальчишки, начался приступ аппендицита, и после нескольких безуспешных попыток домашними средствами успокоить боль в животе его мать побежала в пожарку (в полуквартале от их дома, на Сибирской, была пожарная часть) звонить в «Скорую помощь». На рассвете 1 мая его положили на операционный стол.

Так сплелись эти два события в его жизни, переломив детство пополам.

И по мере того, как он отходил от боли и операции, возвращался к привычной и после болезни особенно желанной жизни, его отец двигался к неумолимой смерти.

Он знал, чувствовал, что его арестуют, после того как арестовали его отца и двух братьев. По совету товарищей он уволился с завода, устроился на работу в другом городе, приезжал на праздники — в ноябре, к Новому году и вот на май; но знал, что от НКВД ему не скрыться. Бодрясь, говорил жене, что даже хотел бы этого, чтобы увидеть все своими глазами, чтобы услышать, в чем же можно обвинить честных, порядочных граждан страны, совершенно далеких от политики, спортсменов, добрых семьянинов, отличных, знающих свое дело работников, каждого из которых, кого на заводе, кого в конторе, кого на стройке, ценили самым высоким образом, и поощряли, и в пример ставили? В чем же они виноваты? И, распаяясь, заявлял: «Пусть только скажут, что мы враги народа! Я им морды бить буду!»

Господи! Он собирался в застенках НКВД кому-то бить морду! Мальчишка наивный! Ну да, ему же только тридцать один год должен был исполниться в ноябре. А вот в том, что его били, сомневаться не приходится. Его арестовали, когда он приехал к семье на праздники в печальный, бедный дом на Бурлинской, 30 апреля и, если верить выданным в нынешнее время документам, мучили пять месяцев: май, июнь, июль, август, сентябрь... Пятого октября знаменитая тройка вынесла приговор, а десятого октября его расстреляли. Ни за что! Просто так! Выполняя план!

Он был страстный охотник. Осенью его отпускали с работы на несколько дней, зная его страсть.

Утренний морозный рассвет, слегка побеленное инеем жнивье, тишина до звона в ушах и сладкий воздух свободы...

Наверное, его куда-то вели из камеры? И он успел догадаться, а может быть, палачи и не скрывали, куда его ведут?

О чем он успел подумать, что увидел в последний миг?

Этого никто никогда не узнает...

Юлин отец в последние годы все чаще думает о том, какой грех лежит на нем самом. Может быть, тот, что он мальчишкой, конечно с помощью своей матери, стал слишком быстро забывать отца? И взрослым, заполняя анкеты, об отце не писал всей правды: умер, и все...

А может быть, он все-таки не имел права входить в семью бывшего сотрудника НКВД? Даже из-за любви?!

Но ведь он не знал о прошлом деда Степана, узнал уже женившись, когда уж и сын родился, что же, надо было уйти из семьи?

Жизнь сложилась, как сложилась.

И дед Степан полюбил свою внучку Юленьку. Сам выходец из донских казаков, хвативший мурцовки от разных властей, спившийся, потом вылечившийся от этой болезни, на старости лет он привязался сердцем к внучке, которую почитал за истинную казачку, такой она ему представлялась: стат-

ная, чернобровая да черноглазая, со смуглым румянцем на гладких щеках. И все просил дед Степан родителей Юли: «Берегите девочку. Берегите Юленьку! Прошу вас!»

Да вот не сберегли...

А отец его, Владимир, так и не успел стать дедом.

Его расстреляли, скорее всего, на рассвете холодного октябрьского дня такие же, каким был в те годы дед Степан, парни из НКВД. Что они испытывали при этом — ненависть, злобу, уверенность, что выполняют некий высший долг, убивая врага народа? А может быть, они были просто пьяны. Дед Степан рассказывал: палачи очень часто были пьяными и после расстрелов пили...

Боже мой! Так неужели все случившееся с Юлей — наказание? Тогда это еще одно подтверждение того, что любое наказание несправедливо. Рано или поздно это становится очевидным для всех. Может ли Господь Бог посылать людям еще большие наказания, если и без того Он одарил их способностью чувствовать, любить, ненавидеть, страдать?..

«В первой серии культуры крови 3 доноров выращивали в идентичных условиях на среде „Игла” и фиксировали через каждые 6 часов в интервале от 54 до 96 часов. Во второй серии опытов образцы крови 20 доноров культивировали в таких же условиях, но с заменой среды „Игла” на среду 199, а фиксацию клеток проводили на 2 точках — 72 и 90 часах культивирования» (автореферат диссертации).

Эти опыты, которые проводила Юля, — с необходимостью фиксировать клетки в определенные промежутки времени — продолжались по несколько суток; и однажды точки фиксации выпали на ночь. Отец с радостью согласился отвезти дочь в ее загородное НИИ и провести там ночь, потому что одной ей было бы страшновато.

Трехэтажное длинное здание ночью казалось огромным, прорастая коридорами во тьму, и был в нем только один еще человек — вахтер на первом этаже.

У них тогда был «Жигуленок» первой модели, красный, по прозвищу «Салли», на нем они и поехали вечером поздней осенью, когда уже выпал снег, но успел растаять и вот опять, кажется, собирался.

Отец был весел и разговорчив, а Юля молчалива.

— Ты что помалкиваешь? — спросил отец.

— Погоди, не мешай! Я считаю.

— А-а. Понял.

И с этой минуты он стал думать о Юлиной работе, о тех таинствах жизни, в которые она проникает, радуясь и как будто даже пугаясь этого...

И в течение ночи он много раз возвращался к этим своим размышлениям.

Они ехали по пустующим вечерним улицам, ехали через новый район, называемый по-старому Каштаком. Когда-то здесь был аэродром с глиняной взлетно-посадочной полосой, которая совершенно расквашивалась после дождя. А еще раньше, по рассказам деда Степана, здесь, на окраине города, расстреливали людей. И белые, и красные, и колчаковцы, и НКВД в позорно-трагические тридцатые...

Выходит, этот холм, называемый Каштаком, пропитан кровью, а дома построены на костях убиенных...

Да ведь и вся земля давно уж насытилась человеческой кровью и костями, а все продолжают стрелять и убивать.

За Каштаком был железнодорожный переезд, еще один короткий подъем, и сразу с двух сторон начинался сосновый бор. Отец включил фары, и лес превратился в темную стену, неохотно раздвигающуюся перед машиной.

В отличие от своей матери, Юлька никогда не боялась, когда за рулем был отец, и он это чувствовал, ему передавалось дочкино спокойствие, вел

машину уверенно, даже позволял себе на свободных участках дороги, как он сам говорил, «придавить железку» — прибавить газу.

Вскоре дорога раздвоилась, утекая влево и вправо, и как раз в этом месте, на этом разделении асфальтового течения, на вбитом деревянном колу висел железный венок, какие висят на кладбищах, и лежали красные и белые цветы. Что за цветы, отец разглядеть не успел, так как все это выхватили фары из тьмы на несколько секунд, когда они покатались по правому рукаву дороги.

А на сердце все же стало горячо, как при опасности, и он негромко спросил:

— Что это? Венок, цветы...

— Они тут еще с сентября... — отвечала спокойно Юля. — Нина говорила, что это их, северские, разбились. Кажется, она их знала даже. Молодые. Столкнулись «Жигуленок» и автобус. Трое погибли.

— Трое, — механически повторил отец, все более захватываемый неосознаваемой тревогой, даже страхом; он поехал медленнее, едва преодолевая желание вообще остановиться, выйти из машины, дыхнуть лесной прохлады и закурить. Будто он никогда не видел подобных отметин на дорогах, будто он не знал, сколько людей гибнут в автокатастрофах. Да-да, все он знает. Но это все далеко, его не касается, а когда дело доходит до статистики, то переживаниям места не остается.

Да и тут, если разобраться, что уж он так разволновался, он ведь знать не знает тех людей, погибших, они из другого города — города за колючей проволокой...

И испытанная им непонятная тревога вовсе не имела ничего общего с каким-то темным предчувствием. Ничего похожего!

Ужас предчувствия посетит его значительно позже — когда апрельской ранней ночью зазвонит у них телефон и он первым возьмет трубку и услышит уже давно узнаваемый им голос Василия, который после первых двух-трех обычных в таких случаях фраз спросит:

— А вы отпустите Юлю со мной в Болгарию?

— Когда? И как?..

— Да сразу после майских праздников. У вас есть знакомые в ОВИРе?

— Нет у меня знакомых! И потом, она же на работе... — все более тревожась, отвечал он Василию, но тут уже летела босая, в одной ночной рубашонке, успевшая крепко уснуть и теперь догадываясь, с кем говорит отец, сама Юлька, подхватывая у отца телефонную трубку:

— Вася! Вася! Это я! Здравствуй!

И тут отца буквально придавил мертвящий страх, он дошел до своего дивана, шаркая пудовыми ногами, а сердце трепыхалось, сдавливаемое враз нахлынувшей тоской. Такого с ним не бывало никогда. В этот момент и мелькнула у него мысль — уж не предчувствие ли это беды? И он ее тотчас прогнал от себя, старался прогнать, потому что тоскливый страх не отпускал его во все время недлинного телефонного разговора.

Если бы люди верили собственным предчувствиям!

Они не верят. Мы разучились предчувствовать.

Слишком много жертв на дорогах...

А в этот раз, на дороге в НИИ, никакие предчувствия отца не посетили. Была лишь неясная тревога, и, разгоняя ее, он сказал:

— Пьяные, наверное, были.

— Нет! — уверенно откликнулась Юля. — Быстро ехали. После дождя. Вот на повороте и столкнулись.

Кажется, она знала значительно больше об этой аварии, чем успела сказать. Тоже странно. Он, автомобилист, всегда знавший обо всех серьезных происшествиях на дорогах области, не знал об этой аварии (или забыл?), а

Юля, как он считал, никогда не проявлявшая интереса к подобным событиям, знала, — странно.

Все продолжая развеивать настроение, отец спросил:

— Ты бы хотела побывать в этом городе за колючей проволокой — в Северске?

Это у них тоже была почти игра. Показывают по телевизору какие-то сельские пейзажи: река, зеленый луг, лес на горизонте, крепкий бревенчатый дом, хозяйки встречают бредущих с пастбища коров, — и отец непременно спросит: «А ты бы хотела жить в деревне?» Или, случалось, забредут они на старую улицу, отец обязательно остановится перед каким-нибудь купеческих времен домом с каменным первым этажом и деревянным вторым, с резными наличниками на высоких окнах, вздохнет и скажет: «Все время хотел пожить в таком старинном доме. Там знаешь какие потолки высокие... И печи голландские в изразцах, в некоторых даже камины сохранились. Чудо! А ты бы хотела?»

Конечно, она тоже хотела бы пожить и в деревне, и в старинном доме, отец заранее знал ответ и спрашивал, чтобы лишний раз убедиться, что они с дочерью равно чувствуют и желания их совпадают. И сейчас о Северске спросил по тем же причинам.

— Красивый город? — ответила Юля полувопросительно, потому что уже слышала мнение отца о Северске, в котором он бывал не раз.

— Да. Знаешь, красивый... На чистом месте, на высоком берегу реки. Такие замечательные солнечные площади, прямые проспекты, высотные дома, каждый на особинку, и зелень, зелень, сохраненная от бывшего здесь леса, и посадки, и цветы, на улицах чистота, какая нам и не снилась...

Он говорил не торопясь, все более отходя от недавней тревоги.

— Жаль, что такая красота за колючей проволокой. Но я что-нибудь придумаю, попрошу, чтобы тебе пропуск дали. Разовый. Посмотришь, походишь, к Нине в гости сходишь...

— Не возражаю, — улыбнулась Юля.

— Знаешь, я когда бывал в этом городе, совершенно забывал о той смертельной опасности, которая там постоянно существует... Да и не только там, далеко ли мы-то от Северска? Все-таки какая дикость! Построить такой прекрасный город, чтобы делать самое жуткое оружие, способное уничтожить в один миг сотни таких вот городов... Понимаешь?

— Да, конечно, папулечка, я тебя понимаю. Но я никогда не верила — и никогда не поверю, — что люди когда-нибудь применят это оружие. Я просто об этом не думаю... И не хочу...

Последние слова она произнесла едва ли не сердито, с заметным раздражением.

Вот тут у них была разница. Юля не любила разговоров на политические темы, никогда не проявляла никакого интереса к политике, не разделяла и, кажется, даже не понимала отцовских на этот счет разговоров, и не только разговоров, а и дел его партийно-политических: разных конференций, пленумов, выступлений на них, избрания в какие-то органы...

Нет, тут она была совершенно равнодушна к отцовским делам, и он с этим смирился, и если что и говорил или спрашивал, то по инерции, по логике собственных своих забот...

А может быть, он просто мешает ей своей болтовней, мешает продумывать порядок, последовательность и многое, многое другое, необходимое для эксперимента? Все время сбивает ее с мыслей?..

О, он отлично знал, как его дочь умеет организоваться, собраться, сосредоточиться; она — настоящий ученый: она терпелива, не тяготится рутинной работой, наблюдательна, последовательна, не торопится с выводами, не ленится проверять самое себя еще и еще раз; ее увлекает дело, она перестает за-

мечать время и не чувствует усталости. Это не только он, отец, знает, это знают в НИИ, знает ее научный руководитель Сергей Андреевич и ценит Юлю очень высоко.

Когда в московском Институте генетики принимали к защите Юлину диссертацию, то поначалу верить не хотели, что проанализирован такой огромный материал, такое гигантское количество пластинок; но пришлось поверить, поскольку все было подтверждено документами.

Отец вспомнил, как он впервые привез Юлю в это загородное НИИ — Институт медицинской генетики, куда она получила направление, и надо было представиться начальству, написать заявление и еще какие-то бумаги сдать, заполнить...

Мать тоже поехала с ними, и все они немного стеснялись, что мама с папой привезли оформляться на работу взрослую дочь. Впрочем, родители остались в машине, Юля, конечно же, одна пошла в здание института.

А родители с удивлением и тревогой обнаружили, что Институт медицинской генетики находится в одном здании с Институтом ядерной физики и, более того, рядом с лабораторным корпусом стоит круглое каменное здание, в котором размещается знаменитый в городе, потому что был первым в Сибири, реактор-циклотрон, или, как там его называют, ускоритель, учебный, научный, но ведь все равно таящий радиоактивную опасность. Да разве можно было соединять таких два института! Чуть ли какая-то!

Отец вышел из машины, еще раз прочитал таблички на дверях — уж не пригрезился ли ему Институт ядерной физики, потом прошел в сторону соседнего здания, отделенного высокой железной сеткой, и вдруг увидел среди травы железную табличку, на которой прочитал: «Пастба скота, сбор грибов и ягод строго воспрещен!» Вот тебе и на! Да как же могли соединить эти институты! Отец все более гневался и, сделав большой круг по территории возле лабораторного корпуса, обнаружил в траве еще две такие же предупредительные таблички.

— Черт знает что такое! — ворчал он, садясь в машину.

Но тут из дверей на каменное крыльцо высыпала шумливая группа молодых людей, и Юля с ними, и все с нескрываемым любопытством поглядывали на сидящих в машине с опущенными стеклами, не прерывая, впрочем, оживленного разговора и смеха, вовсе к ним не относящегося. Потом выяснилось, что тогда Юля вышла практически со всеми своими будущими коллегами, среди которых были и директор НИИ Валерий Павлович, и заведующий лабораторией Сергей Андреевич. Какие же они все молодые! И самые главные начальники — ровесники Юлиного старшего брата.

Один из них — высокий, широкоплечий, с тонкими светлыми волосами, сероглазый, в очках с толстыми стеклами, улыбчивый — шел прямо к машине.

Отец счел необходимым выйти.

— Здравствуйте, — сказал молодой человек, протягивая широкую ладонь, — меня зовут Сергей Андреевич, я заведу лабораторией, где будет работать Юля.

— Очень приятно...

— Вы знаете — извините за нескромность, — но у нас проблемы с транспортом. И просто грех не воспользоваться такой возможностью. Вы не смогли бы подбросить меня до Свечного?

— Конечно! Пожалуйста! Садитесь!

Вот с этого дня, с этого часа, с этих минут Сергей Андреевич стал им особенно близким, почти родным человеком среди тех, с кем будет работать Юля. Он научил ее тем практическим приемам, которым не учат в университете, он стал ее научным руководителем, весьма требовательным начальником и добрым, все понимающим товарищем.

А сейчас, едва сев на заднем сиденье рядом с Юлей, он тотчас стал рассказывать, чем она будет заниматься, обращаясь, естественно, более всего к



ней и поэтому употребляя массу специальных терминов и понятий. Отец иногда взглядывал в зеркальце и видел, что Юля прекрасно понимает Сергея Андреевича, что подтверждали ее короткие вопросы, скорее даже не вопросы, а уточнения собственного ее понимания, чему Сергей Андреевич чрезвычайно шумно радовался.

— Ну, я же знаю, что дело у нас пойдет! — И обращаясь к родителям: — Все-таки университетская подготовка — это вещь! У нас, знаете, в основном выпускники мединституты: Томского, Новосибирского, — а Юля первая из университета. Хотя нет, ошибаюсь, Новосибирский университет кончал Лоза. Теперь мы непременно будем приглашать университетских биологов. — И снова еще более оживленно, с еще большим энтузиазмом продолжал рассказывать о своей лаборатории цитогенетики, о ее оборудовании, потом о растворах и фиксаторах, потом о применяемых методах, спохватываясь и говорил специально для родителей: — О, вы понимаете, наши методы позволяют предупредить рождение неполноценных младенцев. К сожалению, еще так часты случаи наследственных болезней обмена белка. Нам уже приходилось обнаруживать и гипотиреоз, и фенилкетонурию... А вы знаете, сколько даунов только в нашей области? Вот родился даун, а родители еще молодые, хочется нормального ребенка, кто им ответит, могут они произвести на свет нормального или нет? Мы, только мы. У нас непременно будет клиника, стационар...

Да, действительно, уже в первый год работы Юли в институт стали приезжать родители с детьми, чтобы проверить, узнать, можно ли рассчитывать на рождение нормального ребенка.

Дауны были нежными и беспомощными, удивленно поворачивали большие головы с широко открытыми глазами, с любопытством смотрели на все приготовления, необходимые, чтобы взять у них кровь, ни о чем не догадываясь и поэтому не сопротивляясь. Только когда становилось больно, они с укором взглядывали на лаборанта и из глаз у них проливались крупные слезы. Их было очень жалко. У некоторых приходилось брать кровь повторно, и они, вспомнив, что им было больно, начинали плакать. Тогда звали Юлю, она брала ребенка за ручку, что-то ему говорила, гладила по голове, и он переставал плакать, некоторые даже с улыбкой шли на свое краткое истязание.

Но это будет потом.

На подъезде к Свечному отец все-таки спросил Сергея Андреевича о странном соседстве Института ядерной физики, реактора, о предупредительных табличках в траве.

— А чуть подалее — почтовый, — продолжил Сергей Андреевич, — смертоносное оружие, опаснейшее производство, атомная электростанция... И где теперь можно укрыться от радиации? Нет на земле такого места! Между прочим, еще в тридцатые годы Тимофеев-Ресовский — ну, вы же наверняка читали «Зубра» — доказал губительное влияние на живой организм радиации: он проверял на мушках-дрозофилах, на травах... В этом направлении мы тоже будем работать... Но вы напрасно беспокоитесь, наши ближайшие соседи, учебный ускоритель, совершенно для нас безопасны... Ну а почтовый — как для всех горожан. Но мы ведь тут временно. Нам обещали здание в городе.

Сергей Андреевич немного помолчал и тут же заговорил, неожиданно, как бы задумчиво:

— А вообще-то говоря, Институт генетики и Институт ядерной физики должны быть добрыми соседями. И они, и мы стремимся проникнуть внутрь, в самые глубины вещества — живого и мертвого. Они уже научились извлекать гигантскую энергию, способную и согреть людей, и уничтожить, а мы бьемся над тем, чтобы разгадать тайну энергии жизни и защитить людей...

О! Как по сердцу пришлись эти слова Юлиному отцу! Он воскликнул:

— Сергей Андреевич! Я начинаю испытывать зависть к той работе, какой будет заниматься моя дочь! Слышишь, Юлька! Я завидую тебе!

Юля улыбалась.

Так состоялось их первое знакомство с Институтом генетики.

Потом отец много раз бывал здесь по разным поводам: то подвозил дочь, опоздавшую на автобус, то встречал после работы, когда сам был свободен, то опять вез Сергея Андреевича до Свечного, то попутно прихватывал кого-нибудь из сотрудников...

Но вот на ночную работу он вез Юлю впервые.

«Показано, что этническая принадлежность индивидов не влияет на скорость размножения лимфоцитов в культуре.

Установлено наличие полового диморфизма скорости пролиферации лимфоцитов. Показано, что скорость пролиферации клеток лиц мужского пола немного превышает скорость пролиферации клеток лиц женского пола» (автореперат диссертации).

Пугающе включались холодильные установки и работали так гулко, что в холле дребезжали стекла витражей.

Юля показала отцу свое рабочее место: стол, микроскоп, — потом повела в лабораторную комнату, где тоже были холодильники, правда небольшие, домашние, специальные столы, полки и стеллажи с разнообразной лабораторной посудой, центрифуги и что-то еще, совсем сложное, о чем говорила, объясняя, Юля, а он не очень ясно понял...

Она уже переоделась для работы: надела белый халат, повязала голову светлой косынкой, стала доставать из холодильника деревянные стойки со множеством пробирок, наполненных бурым веществом...

— Ты сейчас иди погуляй, — сказала Юля отцу, не прерывая работы: она взглядывала на пробирки, приподнимая их к свету, меняла местами, сортируя по известным ей признакам. — У меня будет работать центрифуга, — пояснила она, — а потом придеешь...

Отец вышел в холл. Посередине стояли два жестких дивана, сдвинутые спинками, у одной из стен — длинный стол, на нем планшеты. Готовые, оформленные планшеты были развешаны по стенам: на них были чьи-то портреты, короткие тексты, очевидно цитаты из научных трудов, таблицы, рисунки. В холле было полутемно, и отец не мог прочесть, что там написано, подошел поближе и только тогда разглядел и понял, чьи портреты и чьи тексты помещены на картонных листах.

Это же те самые знаменитые вейсманисты-морганисты — чьи имена стали символом лженаучного вредоносного и просто опасного направления. Это же было совсем недавно!

Он прекрасно помнит, как на семинарах по философии все они, студенты-филологи, упражнялись в критике буржуазной прислужницы генетики, как лихо расправлялись с лжеучением, доказывая правильность единственно верного учения — марксизма-ленинизма и конечно же мичуринско-лысенковского направления в биологии. О, как им нравилось тогда знаменитое высказывание в дискуссии, теперь уж он не помнит, кем произнесенное, о том, что некий генетик вырастил стаю мух-дрозофил, а вот он, мичуринец, вырастил стадо молочнокорных коров. Великолечно! Какие тут еще нужны доказательства: и глупость, и вредоносность вейсманизма-морганизма и так называемой науки генетики становились очевидными.

Однако по поводу заблуждающихся биологов не только острили, но и расправлялись с ними: изгоняли их из науки, сажали в тюрьмы и лагеря, отправляли упрямов в ссылку, закрывали институты и лаборатории. До какого затмения мозгов нужно было дойти, чтобы совершать подобное на глазах у всего мира!

«А ты спроси самого себя! — мелькнула у отца мысль. — Ты-то разве испытывал какие-то сомнения, критикуя неизвестную тебе науку генетику? Не было у тебя сомнений!»

И вот все перевернулось, то есть восторжествовала правда, теперь впору со стыда сгореть, надо бы покаяться. Но что-то не видно ни стыдящихся, ни кающихся. Ладно он: его вина только в том, что он разделял общепринятую точку зрения, но ведь были те, кто осуществлял репрессии, — вот кто должен покаяться...

Впрочем, что это он? Прошли годы, генетики реабилитированы, выпущены на свободу (кто остался живым), снова восстановлены или даже открыты новые институты, лаборатории, кому нужно чье-то покаяние?

Кажется, именно тогда он впервые подумал, что его дочь Юлия послана ему как искупление (он именно так и подумал — послана). За его грех перед отцом, за грех женитьбы, за многие другие грехи, которые успел совершить и забыть о них, не успев понять, что это грех, и даже вот за некогда гонимую науку генетику. «Представь-ка себе на минутку, как бы ты расправлялся с этой лженаукой в недоброй памяти не столь далекие времена, если бы тогда ею занималась твоя дочь? Чувствуешь перемену ситуации?»

Чаще всего, чтобы понять, где правда, а где ложь, надо, чтобы события коснулись тебя самого или чего-то очень дорогого для тебя, истинного, и тогда ты быстро из легкомысленного конформиста превратишься в существо мыслящее и страдающее.

Ну и слава Богу, что Юля занимается этой наукой сейчас, когда все переменялось и стало на свои места.

Он не сомневался в том, что она нашла работу по душе, что ее здесь ждет и успех, и драгоценное чувство удовлетворения от любимого, увлекающего дела.

К этому времени у Юли появились первые публикации по результатам проводимых исследований, в том числе в реферативном журнале по генетике, издаваемом на четырех языках.

Отец радовался до сладкого замиранья сердца, что его дочь сделала свое первое — пусть совсем небольшое, крошечное, — но все-таки открытие, установила, доказала некую тонкую закономерность, существующую там, глубоко, на клеточном уровне жизни. А вскоре в институт пришло сообщение из Америки, в котором заокеанские генетики подтверждали установленную Юлей закономерность.

Конечно, теперь можно не сомневаться, что она успешно защитит диссертацию и путь в науку ей будет открыт, и пусть она осуществит то, о чем он в детстве и ранней юности лишь мечтал, намереваясь стать естествоиспытателем.

Первые успехи дочери он, конечно, связывал с тем, как толково направлял ее научный руководитель Сергей Андреевич, и вообще с доброй, дружеской обстановкой в институте, где Юля как нельзя лучше пришлась к месту.

Нет, он понимал и даже знал наверняка, что вовсе не все испытывали расположение и симпатии к Юле. Кто-то был равнодушен, а кому-то она просто не нравилась. Он знал кому, видел этих людей, слышал их, кое-что рассказывала Юля.

Она могла не нравиться потому, что постоянно работала, потому, что со всеми была равна и ни разу ни с кем не повздорила, потому, что не пылала страстью к модным тряпкам, одевалась по собственному вкусу — просто и удобно, не мучила своих волос стрижками и крашением, не пользовалась косметикой и все равно привлекала внимание и взгляды в столовой, в автобусе, на улице.

Но отец также понимал, чувствовал нутром при каждой новой встрече с сотрудниками НИИ по их взглядам, улыбкам, репликам, обращениям к Юле, коротким разговорам и по множеству других мелочей, что его дочь успели здесь полюбить чистой дружеской любовью, как любят доброго, по-

рядочного человека просто за его доброту, открытость, искренность, а именно эти черты и определяли Юлин характер.

«Да-да! — бормотал он себе под нос, вышагивая по холлу взад-вперед. — Так оно и есть. Юля тут пришлась ко двору, относятся к ней хорошо, работа по душе — чего еще надо? Все прекрасно!..»

Вдруг он вспомнил о Сереже Лозе...

Лоза! Да-да — это особо. Из всех, с кем Юля работает, Сережа Лоза должен быть выделен особо.

Он, как и ее руководитель, тоже завлаб, но с ним у Юли с самого начала работы сложились совсем иные отношения, чем с Сергеем Андреевичем. Без тени какой-либо субординации, абсолютно товарищеские.

Лоза, основательно знающий математику, помог ей наиболее удобно организовать все подсчеты и расчеты, подсказал, как лучше составлять сводные таблицы, подарил миниатюрную логарифмическую линейку (только отмахнулся от Юлиных возражений). И он же ненавязчиво, исподволь стал подталкивать ее к изучению английского, который сам знал в совершенстве, — большинство нужных для ее работы публикаций были на английском. Окончив специальную школу, Юля свободно владела немецким и теперь довольно быстро стала осваивать английский, так что месяца через два легко читала специальные тексты.

Да, Лоза был просто товарищ, а никакой не начальник. Может быть, даже внешность его не позволяла относиться к нему как к начальнику. Он невысок, ниже Юли, одевается как-то по-мальчишески: галстуков не признает, через плечо болтается на ремне коричневая сумка из кожзаменителя, в которой все самое ценное: документы, деньги, даже электробритва, иногда прихваченный с работы пакет молока, купленный в столовой хлеб. Он с этой сумкой не расстается прежде всего потому, что живет в общежитии и у него уже кое-что из вещей пропало.

Самое примечательное в его внешности: хоть и отдаленно, но все же он напоминает Владимира Высоцкого, которого обожает, собрал практически все существующие записи, знает его песни наизусть.

Когда Юля стала работать в институте, их, неженатых парней, было трое. Один, высокий голубоглазый красавец, сильно напомнил Юле ее несостоявшуюся школьную любовь — Андрея. При первой встрече, увидев его издали в длинном сумеречном коридоре, она даже подумала: не Андрей ли? Красавец этот на деле оказался вовсе не похожим на Андрея, как знала Юля, ставшего военным, — был прост, даже простоват, трудолюбив и уже сейчас, еще неженатый, вполне зависим от Нади, не оставившей его ни на час.

Другой молодой человек тоже был заметно приятной внешности, но слегка как бы женственен, вальяжен, с заметной ленцой, он все больше гулял по их длинному коридору, заводя разные разговоры со встреченными сотрудниками, подолгу сидел в курилке, за своим рабочим столом чаще пил кофе, чем смотрел в микроскоп. Но в целом тоже был вполне славным парнем и на гитаре мог что-нибудь подыграть в мотив, подпеть, хотя и ленился. Он был не в Юлином вкусе.

А вообще можно было лишь удивляться, где выросли, сформировались эти парни, если их, кажется, совсем не коснулись новомодные течения и веяния — такой типичный для нынешних молодых людей жесткий прагматизм и почти нескрываемое стяжательство. И яд соблазна их миновал: у них, кажется, не было никакого желания, что называется, прожигать молодость в гулянках, пьянках, блуде. Нет, конечно, если после экспериментов в какой-то лаборатории оставалось немного спирта, то они от угощения не отказывались, задерживались после работы, выпивали, закусывали бутербродами и полагавшимся им всем молоком, пели под гитару и выражали всяческие знаки внимания и уважения угостившим их женщинам. И весело расходились по домам.

Их скромных зарплат чаще всего не хватало от получки до получки, приходилось занимать, но никто из них не жаловался на судьбу, и, в конце концов, каждый, даже самый ленивый, намеревался защитить диссертацию и заниматься наукой. Именно наукой, а не каким-то другим, более доходным, делом.

Они почти совершенно не интересовались политикой, и разговоры на подобные темы были у них не в моде. Анекдот? Пожалуйста! Охотничью байку? Сколько угодно! О том, что случилось в экспедиции в Заполярье? С удовольствием!

Хорошие ребята. Вполне порядочные люди.

Но сейчас его волновало другое.

Вот эти и многие другие молодые люди, конечно же, знают о репрессиях тридцатых, сороковых, пятидесятых, да и последующих годов, знают, как обходились с генетиками, — и что же? Разве они непрестанно думают об этом? Разве они жаждут, чтобы кто-то покаялся в своих преступлениях? Да ничего подобного! У них своя жизнь, свой отсчет времени, свои ценности. И, пожалуй, кроме удивления, они ничего и не испытают, узнав, что где-то в Южной Америке изловил бывшего нацистского преступника и теперь его будут судить, к примеру, во Франции.

У нас тоже иногда находят бывших нацистов и предателей. Но своих собственных преступников, творивших злодеяния от имени государства и партии, мы не находим. То ли уже вымерли все, то ли их вообще не было. Во всяком случае, кажется, что в обществе и потребности такой нет — найти всех виноватых, призвать их к ответу и услышать их покаяние.

А может быть, это закон и мудрость жизни — забывать и прощать? Или равнодушные природы?

Пожалуй, начини он все это объяснять молодым людям, его будут вежливо слушать, соглашаться с ним, кивать, может, даже сочувственно вздыхать, но ничего его размышления по-настоящему не тронут.

А он с возрастом все чаще вспоминает долгие зимние вечера в тесной захлавленной кухне, возле щелястой печи, когда он читал книгу, так сильно утешавшую его сердце, — о великом Тиле Уленшпигеле, когда он повторял про себя как обещание, как отпущение: «Пепел стучит в мое сердце».

Как бы то ни было, но когда Юля сказала, что встречать Новый год она собирается со своими сослуживцами в общежитии у Лозы, то ни мать, ни отец не возражали.

Лоза имел основание обижаться на своего начальника, недавнего приятеля, который уговорил его переехать из Новосибирска в Томск, разрисовав головокругительные перспективы и пообещав горы золотые. Перспективы остались перспективами, а золотых гор вовсе не видно. Живет он в рабочем общежитии вдвоем с парнем — лаборантом из мединститута, мечтающим стать студентом, хотя таким же завлабам, как Лоза, квартиры дали, начальник выхлопотал. Он иногда заходит к своему бывшему приятелю, начальнику, и задает вопрос о жилье. В ответ слышит энергичную многословную речь с живой жестикуляцией. Сам он молчит. Лоза вообще немногословен и говорит отрывистыми фразами, словно на длинные у него не хватает дыхания. «Понятно! — говорит он. — Типичная картина. До бесконечности ходить не буду!»

Он и в самом деле начинал подумывать о возвращении в Новосибирск, город его детства и юности.

Он не помнил отца, тот умер, когда Сергей был младенцем. Его мать чаще была в больнице, чем дома, и он практически рос у тетки — материнной сестры, а после смерти матери и вовсе остался у нее, так как был еще дошкольником и содержать родительский дом в пригороде, конечно, не мог.

Неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы не его совершенно замечательные способности, особенно в математике. После победы на одной

из олимпиад его взяли в специальную математическую школу при Новосибирском университете. Школу он закончил с золотой медалью, но дальше решил учиться не математике, а биологии.

Он рано защитил кандидатскую диссертацию и наконец мог рассчитывать на вполне обеспеченную жизнь, чтобы и тетке начать помогать, да вот соблазнился блестящими перспективами и золотыми горами в Томске.

Он и в самом деле уже подумывал о возвращении, когда в институте появилась Юля. Нет-нет, он вовсе не влюбился в нее с первого взгляда, не решил, что появилась та, единственная, о встрече с которой мечтает каждый. Ничего подобного! Ему в это время, как и большинству мужчин института, нравилась и по-настоящему волновала его воображение дебелая красавица Марина, мимо которой просто невозможно было пройти не оглянувшись. Так что появление Юли было связано с какими-то иными эмоциями. Словно что-то в нем успокаивалось, будто рождалась надежда на доброе решение всех проблем.

Когда Сергей Андреевич водил Юлю по институту и знакомил с каждым сотрудником, называя ученые степени, звания и должности, то Лоза, поддавшись неясному порыву или, может быть, желая отличиться от своего тезки и тоже завлаба Сергея Андреевича, сказал Юле: «Зови меня Сергеем!» — «А ты меня — Юлей», — тотчас откликнулась она, и так у них с первой минуты установились эти простецкие отношения.

Но чем больше проходило времени, тем больше и Юля и Лоза обнаруживали, что они оказываются значительно ближе друг другу, чем все остальные.

Им было очень хорошо, легко, весело в ту новогоднюю ночь, в общезнанию у Лозы. Отец это понял по голосу, по интонациям Юли, когда она позвонила, чтобы поздравить их с матерью с Новым годом.

— Кто рядом с тобой стоит? — спросил отец.

— Сережа.

— Я так и знал.

— Почему? — смеялась Юля. — Ты слишком догадлив. Тут ведь все наши мужчины собрались...

— И юные жены... — вторил ей отец.

— Да-да! И все хорошо и прекрасно! Позови маму, я ее поздравлю. Тут такая музыка грянула, хочется танцевать...

Когда встретили Новый год по-московски, стала сказываться усталость. И Марина, и Надя, и Нина завалились спать на кроватях, стоявших в комнате Лозы, Юля притулилась на узеньком диванчике. Было прохладно, но она все-таки стала задремывать, когда в комнату, стараясь не шуметь, вошел Лоза, подошел к Юле и накрыл ее меховым полушубком. Юля едва различала Сергея в темноте и, приоткрыв тяжелые веки, одними губами проговорила: «Спасибо!» — «Спи!» — сказал Сергей в ответ, и она действительно почти тотчас и уснула.

Что-то было в этом его жесте, когда он укрывал ее полушубком, больше, чем вежливая заботливость хозяина.

Может быть, неожиданно прорвавшаяся нежность?

С той новогодней ночи в их отношениях стали происходить перемены, еще больше сближавшие их.

Такой неразговорчивый, замкнутый, Лоза с Юлей разговорился и часто подолгу говорил отрывистыми, короткими фразами, чем и смешил и умилял Юлю. И однажды так же кратко, телеграфно, рассказал он о своем сиротском детстве. Юля отводила от него взгляд, боясь, что он по ее глазам, по выражению лица догадается, как горячий ком жалости сжимает ее горло. А Лоза тоже отворачивался от нее и бурчал в сторону, потому что стеснялся своего отрочества.

Они не были влюбленными, бросавшимися при встрече друг к другу, чтобы если не заключить в объятия, то хотя бы многозначительно сжать руки и выразительно смотреть в глаза, они не целовались ни тайком, ни на виду у других, но они любили друг друга доброй дружеской любовью, из которой вполне могла вырасти и страстная любовь, и ровная сердечная привязанность до конца дней.

В тот год, в то лето, когда Юля с родителями уже в который раз уезжала в благословенный Коктебель, Лоза добровольно записался в бригаду сотрудников института, выезжавших на сенокос. Он мог бы не ехать, но поехал, и был в его поступке мальчишеский вызов своему начальнику, а может быть, и Юле, уезжавшей к морю. Может быть, его успевшее много перетерпеть сердце что-то подсказывало ему, ведь именно в эту поездку Юля познакомилась с Васей.

Она проводила Сергея — автобус уходил от институтского корпуса, — очень просила написать хоть короткое письмецо ей в Коктебель. Он обещал, сказал: «Отдыхай хорошо! Вернешься, поговорим», — и неожиданно поцеловал ее в щеку, чем вызвал восторженные крики парней и девчат...

Отец знал, как сильно ждала Юля письма от Лозы с самых первых дней жизни в Коктебеле, а его все не было. И тут возник Василий. Кажется, он немного опоздал к началу заезда — тонкий, изящный, красивый, взрослый, настойчивый, поэт. Он ухаживал за Юлей открыто, откровенно, красиво, элегантно. Познакомил со своими друзьями, а их было едва ли не половина Дома творчества, и Юля совсем откололась от родителей, чего раньше не бывало, завела собственную компанию.

Письмо от Лозы пришло слишком поздно.

В нем были стихи.

Боже мой! Лоза тоже был поэт!

Отец помнит две строчки, потому что Юля, прочитав ему вслух стихи, письмо спрятала. А ему эти две строчки врезались в память: «Пять дней счастливых в Коктебеле мы провели с тобой вдвоем...»

Вот о чем мечтал Лоза на сенокосе!

Прости Юлю!

Потом, потом, потом... В поминальный день. Они все, в том числе и оба институтских Юлиных начальника, пришли к ее родителям, целовали их в слезы, говорили, пили, плакали сами, обнимались, давали разные необязательные клятвы и обещания. А когда уходили, Лоза сунул отцу свернутый листок: «Я тут написал. Прочтите. Потом. Не судите! Это искренно!» Отец, оставшись один, развернул бумагу — это опять были стихи:

«Там в голубом июле  
Под небом Коктебеля  
Тебя как в колыбели  
Качали волны, Юля!  
А южной нежной ночью  
Твои туманил очи  
Загадочный Волошин  
Стихами о любви.

Извините за неуклюжесть этих строк, но они от самого дна моего сердца. Спасибо Вам!

С. Л.».

Отец заглянул к Юле в лабораторию. Она как раз остановила центрифугу и вынимала свои колбочки, оглянулась на отца, улыбнулась, говорила не прерывая работы:

— Хорошо, что ты здесь. Я тебя иногда вижу — как ты бродишь по холлу, и мне спокойно, я не одна... Устал? Сейчас у меня будет немного работы, а потом перерыв на три часа, сможем поспать. Ты иди приляг...

Он вышел, взглянул в разноцветное окно на машину, потом положил на диванчик две книги под голову и лег, с удовольствием вытянулся на жестком ложе. Со стен на него строго смотрели знаменитые генетики.

В тот год, когда Юля познакомилась в Коктебеле с Васей, в декабре Вася прилетел в Томск. Была очень снежная зима. И так кстати пришлось тогда входившая в моду песенка, где были и такие слова: «Снег кружится, летает, летает, и, поземкою клубя, заметает зима, заметает все, что было до тебя...» И Вася все ее напевал, все бормотал эти слова, прижимая Юльку к себе, и в самое ухо повторял и повторял: «Заметает зима, заметает все, что было до тебя...»

Отец составил для него маршрут: ну конечно, вначале подняться на Воскресенскую гору, к храму, и увидеть большую часть города и замерзшую реку и заречный бор, а потом пойти вверх, мимо знаменитых томских институтов, завернуть в университетскую рощу и зайти в главный корпус университета и наконец, если останутся силы, дойти до Лагерного сада и опять с кручи оглянуть открывающееся пространство.

Потом отец с пристрастием расспрашивал Васю о его впечатлениях, а тот был сдержан в комплиментах городу, улыбчив, шутлив. И в конце концов отец позже объяснил Васино поведение тем, что он увидел в Томске нечто привычное, родное — древнее, холмистое, со многими храмами, — он сам так представлял себе Киев, ни разу там не бывав.

В этот раз Василий был иным: мягким, ласковым, простым, домашним парнем, прожившим до семнадцати лет на затерянном в степях Украины хуторе.

И все бы так и покатилося у них по наметившемуся пути, может быть, лишь с одной задержкой из-за Юлиной защиты диссертации. Василий, человек взрослый, хорошо понимал, что лучше Юльце (так он ее стал называть) приехать в Киев кандидатом наук. И еще — он что-то знал и предвидел, तोпил Юльку учить украинский язык.

Но тут случился Чернобыль...

Черный шлейф его обогнул всю Землю, бросив свою тень и на их судьбу.

В апреле у отца была командировка в Москву, и так случилось, что нужно было ждать решения его вопроса три дня, пока не состоится заседание коллегии; вот он и позвонил в Киев Васе, узнать о жите-бытье, передать приветы от своих, а Василий с места в карьер: «А почему бы вам, дорогой тестюшка, не приехать в Киев?» — «Как? Когда? Сейчас, что ли?» — «Конечно! Чего вам в Москве одному сидеть! Приезжайте! Вы же не видели Киева!»

И отец решился...

Он и не предполагал, что Киев произведет на него такое впечатление. Он словно бы, с одной стороны, узнавал нечто давно знакомое, родное, а с другой — открывал неизвестное, но такое, какое, он это чувствовал всем своим существом, необходимо было знать, непонятно, как он жил, не знав этого!

Иногда ему казалось, что он тут уже бывал, жил, может быть, даже умирал — и вот опять воскрес.

*Я старой дорогой выйду к Днепру. Зеленые волны вздымают холмы, я их узнаю, хоть не виделась мы с неизвестной поры, с тысячелетних времен. И вообще то не явь, а таинственный сон...*

Его явно тянуло на стихи, и он плохо воспринимал Васины откровения о том, как непросто складываются у него отношения с издательством, как ему, главному редактору журнала, навязывают в члены редколлегии совсем



ненужных и даже враждебных ему людей, как мешают на каждом шагу, вяжут по рукам и ногам и не уставая строчат доносы в ЦК...

Отец понимал, как серьезно все то, что говорил ему Василий, — это, в конце концов, его жизнь, его работа, и, видимо, он вполне доверяет ему, рассказывая обо всем неприятному на службе; но все равно не мог преодолеть своего неподходящего по возрасту телячье-восторженного настроения только оттого, что он в Киеве. В Киеве! Подумать только!..

Но один раз у него тревожно шевельнулась мысль: вот Вася все говорит про дела и про дела и ни разу про Юлю, — любит ли он ее по-настоящему?..

И опять: потом, потом, потом он задаст, стараясь его замаскировать, этот вопрос Лесе, а она сразу поймет все и станет его уверять: «Да Вася обожал Юлю! Обожал!» Это все оправдывало. Он и теперь думает, что все оправдывает любовь.

Но все-таки он прислушивался и к Васе и изредка задавал вопросы и даже дал пару не очень глупых советов.

Васе надо было идти на работу. Они пошли вместе, от дома поднялись по крутой горе, сели на трамвай, который привез их к высокому, вполне современному, но совсем не киевскому, словно бы лениво слеplенному, зданию издательства. Он спросил Васю, где Крещатик, тот показал ему направление, и они расстались до вечера.

И опять он шел незнакомыми-знакомыми мощными улочками, все вперед и вниз, дышал теплеющим апрельским воздухом, уже вобравшим в себя запах свежей зелени, и думал о том, что, возможно, этот прекрасный город действительно станет и их родным городом...

Он ночевал у Васи две ночи. Ранним утром 26 апреля в дверь позвонил Паша — тоже знакомый по Коктебелю: «Машина подана», — и они втроем покатили в Бориспольский аэропорт.

Какое было светлое, ясное утро, как ярка была зелень травы и как тихо вокруг, ничто, ни один листик не шелохнется...

О том, что случилось в то утро, в ночь, отец узнает лишь в Томске, накануне Первомая. Ничего, в общем, страшного, успокоит радио традиционно...

А тогда они ничего не знали...

*Друже, помнишь, рано поднялись, голубела безмятежно высь, влажны были мостовые на холмах, за Днепром туман цветами пах. А уже случилась беда... Я тебе рассказывал тогда о своих видениях во сне, о прекрасной Киевской весне. Будто, мне казалось, я бывал здесь не раз — рождался, умирал... А уже случилась беда, и кипела страшная вода, и ребята наши в огненных лучах смерть уносят на своих плечах...*

Нет, нет! Вы ошиблись! Вася испугался не за себя. Да и не испугался он... Он успел много узнать, со многими переговорить, и с тем, кто потом застрелился, он заглянул в безнадежную пропасть, он явственно увидел тот черный шлейф, который поплыл над Землей в свое смертоносное путешествие. Он вместе с другими следил по карте, как и куда плывет это дьявольское облако, он знал и ясно представлял себе эти земли: золотое хлебное поле, тихое озерцо и затененная кустами речушка, сады и белые хаты, теплые городки с церквями, народ, обреченный на вымирание. Юльце! Генетик! Может быть, можно что-нибудь поправить? Или понесет обожженная кровь уродливые мутации еще не родившимся, а те — другим и другим... И что же будет тогда? В кого превратятся люди?.. О! Дорогая моя! Нам нельзя жентиться...

Да, да! Василий некоторое время всерьез думал, что он, хватив чернобыльского жара, не имеет права портить жизнь Юле, заводить семью.

Слава Богу, его мрачные опасения не подтвердились, но след в душе не смылся, не расправился.

Этот взрыв, это смертоносное, невидимое дьявольство — словно игог всему грязному, грешному, преступному, что было совершено в стране про-

тив людей. Будто нераскаявшееся зло все копилось и копилось, пока не достигло критической, взрывной массы, — и взорвалось.

Все еще традиционно врали. Об истинных масштабах катастрофы народ долгое время не знал.

Юля удивилась, когда от Васи пришло нервное письмо, в котором он писал, что ее нынешняя поездка в Киев отменяется, что он подумает о другом месте встречи, к примеру, как ей нравится Болгария?

Все-таки она поехала в Киев, как только пошла в отпуск. Вася и радовался, и сердился одновременно. Запретил ей выходить на улицу, открывать форточки, пить воду из крана. Но где же соблюсти все его строгие наказания, если она затеяла основательную уборку в квартире?

И вообще, у них теперь одна судьба.

Он не заметил, как заснул. Сквозь сон услышал Юлин негромкий смех, не открывая глаз, спросил:

— Ты что?

— Я ничего. А вот ты, храпунишка, так сильно храпишь, что заглушаешь холодильные установки.

Он тотчас проснулся и сел.

— Неужели? Я и спать-то не собирался. Все думал, вспоминал...

— Что же ты думал?

— Скажи мне откровенно... Ты любишь Васю?

— Люблю. Но что за неожиданный вопрос?

— Прости, прости! Я так хочу, чтобы ты была счастлива.

— Знаешь, если бы не Чернобыль, мы с Васей поженились бы еще в прошлом году, хотя я еще не защитилась... Он сам меня просил, говорит, скучаю. И вот — Чернобыль. Теперь уж дождемся защиты. Осталось совсем немного... Он знает что хочет? Он хочет сыграть нашу свадьбу в Болгарии. У своих друзей, у Пиперковых. Вот так! Хоть мы и повзрослели, а от детства далеко не ушли. Я удивляюсь: почему в Болгарии? Надо в Киеве или в Томске, а он говорит: начнем с Болгарии, а потом продолжим...

Отец пытался улыбаться.

Подходила к концу ночь их дежурства...

В Софии Вася представил Юлю своим друзьям и не скрывал радости от того, что она им понравилась. Он и в самом деле выяснял возможность сыграть свадьбу в этом любимом им городе. Друзья не возражали, называли места, где могло бы состояться торжество, хотя не все верили, что Вася поступит именно так...

От тех дней сохранились фотографии.

Их должно было быть значительно больше, с четырех-то пленок, но большая часть негативов была засвечена: видно, бдительные пограничники проверяли, уж не шпионы ли эти трое погибших, не стратегические ли объекты фотографировали они.

Даже человеческое горе бессильно перед государством. А ведь эти фотографии — последнее, что осталось от них...

Вот они вдвоем с Васей, вот сидят рядом с Геной, вот Юля одна, а за спиной — лес и темная, совсем наша, сибирская ель, а Юля смотрит не в объектив, а выше, наверное, она видит небо и что-то еще, она не улыбается, серьезна и отрешена от этого мира.

Их встречали и принимали с такой искренней дружеской любовью и вниманием, что только ради этих встреч стоило тут побывать.

Василий всем объявил, что это их с Юлей помолвка.

Их уговаривали еще погостить, но у Юли был заранее куплен авиабилет от Киева до Томска, и она должна была вернуться к сроку. Кроме того, Вася намеревался завернуть в Правец.

Там они переночевали.

Оттуда пришла Юлина последняя телеграмма из двух слов: «Порядок. Юля».

От нее веяло спокойствием и смелой уверенностью.

А утром их белая машина птицей полетела-понеслась к родным гра- ницам.

Как раз в эти дни случились ливневые дожди и значительные оползни в Карпатах. Были жертвы. Об этом говорили по радио.

Алексей пришел к отцу невеселый, когда мать ушла на кухню, они по- чти враз задали друг другу один и тот же вопрос: «Ты слышал?» Нашли старенький карманный атлас, пытались по нему проследить их путь.

На двух крошечных страничках была помещена физическая карта Бол- гарии и Румынии, и они увидели, как, должно быть, красив тот путь, кото- рым едут они домой. Тут обозначенные коричневым цветом горы, голубые нитки рек, зеленые равнины. Они мчались по предгорьям, вдоль Дуная, по нижнедунайской низменности, и, наверное, с юга их догоняли ветры Эгей- ского моря, а навстречу уже веял черноморский весенний поток родных вет- ров.

Карта подтверждала, что они находятся вдалеке от тех мест, которые на- зывались по радио, но беспокойство уже не оставляло.

Нет, оползни в горах их миновали. Они все летели по прекрасной весен- ней земле и радовались предстоящим встречам...

Чи люблю я землю свою?  
Запитайте краще калину  
Чи любить вона обнижок,  
Який обіймає корінням, — вона ніжно вовніша.  
Чи люблю я свій народ?  
А ви запитайте  
Найдрібнішу мою кровинку,  
Чи вона мене любить...

(Василь Моруга)

Отгоревали сорок дней. Боль оставалась столь же острой. Казалось, что нужно что-то делать, невозможно сидеть сложа руки.

Решили ехать на Украину, к Васиной матери, в неведомую Чубаревку, на его родину.

В Киеве нас встречал старший брат Васи Борис. При первом взгляде со- всем не похож на Васю, просто другой человек, но потом вдруг обнаружива- лось сходство, удивительно точная похожесть в жестах, движениях, в го- лосе...

До Запорожья ехали поездом. Ехали на юг. Можно было обмануться, вспомнить счастливые дороги.

На вокзале Борис нашел частника, который согласился на своем «Жигу- ленке» довести нас до Чубаревки каким-то обходным путем, через Гуляйпо- ле. Борис энергично объяснял водителю, что это наиболее короткая дорога и он покажет, где куда сворачивать, потому что сам не раз так ездил. Шофер согласился, и мы покатали через украинские степи в знойном мареве, в ред- кой желанной тени от пирамидальных тополей, мимо золотоголовых подсол- нухов, чувствуя себя гномами среди высоких цветов, мимо далеких хуторов и колодезных журавлей, поднимая легкую серую пыль, перемешанную мах- новскими тачанками, буденновскими кавалеристами, немецкими снарядами, медлительными арбами и не торопящимся в будущее временем.

Дорога оказалась неважная, асфальт сильно битый, весь в рытвинах, а вскоре он и вовсе кончился. Шофер наш ворчал: «Знал бы, ни за что не со- гласился». Борис с оптимизмом объяснял, что осталось ехать всего ничего.

Когда добрались до места, всех поразил шофер. Ему предложили зайти в хату пообедать. Он отказался, попросил дать воды. «Так выходите же, разомнитесь, и хоть воды, хоть квасу нальем...» Шофер невесело улыбнулся: «Не могу выйти, я без ног».

А мы и не заметили, не разглядели, что вез нас инвалид, и вот довез же, в целости и сохранности.

С первых секунд мы поняли, что Вася похож на мать.

Лидия Васильевна — маленькая, тоненькая, быстрая в движениях, в черном платке и черном же, какой-то суровой материи, платье. Она говорила с нами, а потом писала нам письма только по-украински. Но мы все понимали, и я здесь буду передавать ее речь по-русски, так, как мы понимали ее говор.

Они прижались друг к другу, две матери, два горя, и, кажется, не в силах были разжать руки. Я подошел к ним, и Лидия Васильевна и меня захватила правой рукой за голову в этот их черный, скорбный круг. Слезы наши перемешались, и мы понимали, что именно это — приехать сюда, встретиться, обнять друг друга — мы и должны были сделать.

Единственное, что нам оставалось.

Васин отчим, Алексей Федорович, высок, худ, с добрым, усталым лицом и размытого цвета потухшими глазами.

Борис старается отвлечь нас, разжать наши тоскливые объятья, говорит громко:

— Мама! Вы закрыли вишню, вот молодец! Вот спасибо! Смотрите, — обращается он к нам и показывает, как на вишневом дереве часть веток закрыта, завязана марлей. Это от птиц.

Лидия Васильевна медленно возвращается в реальность:

— Та ничего не осталось. Нынче рано вишня народилась. А яблоки и абрикосы еще не спели. Так что и угостить вас нечем. А вот в прошлом году, когда Юлечка сюда приезжала, всего было вдоволь...

Да, да! Мы чуть не забыли, что Юля была в Чубаревке. Да, может быть, поэтому мы и помчались сюда...

Лидия Васильевна, уловив наши с женой жадные взгляды, рассказывала:

— Она дивчина самостоятельная. Ее Вася от Запорожья одну отправил, до Пологов. У него дела были, он позже на два дня приехал. И Юлечка добралась, нашла нас, хоть и не бывала тут никогда. Помогала мне. Фасоль перебирали. С Федоровичем на мотоцикле рыбачить ездила. Потом с Васей картоху выкопали. А к фруктам не приучена. Маленько попробует — и все: спасибо, не хочу...

На самом-то деле Чубаревка была немного дальше по тракту, а они жили на хуторе или на выселках, как-то неловко было спрашивать, как это место называется. Всего три хаты. С одной стороны — колхозное кукурузное поле и ферма, с другой — частные огороды, а посередине — проселочная дорога.

— Так вам свою корову и попасти негде? — догадался я.

— Негде, — согласился Алексей Федорович. — А чего ее пасти, продукты доставляем полностью.

И тут мы враз вспомнили...

В то апрельское утро, когда позвонил Вася и напугал меня просьбой отпустить с ним Юлю в Болгарию, он, оказывается, сообщил ей, что был в Чубаревке, а там как раз корова отелилась, и он просит разрешения назвать новорожденную телушку Юлькой, а я еще удивлялся, что это Юля хотела во время разговора и позже, когда положила трубку. Ничего себе! Именем любимой телушку назвать! Юлька, конечно, согласилась и от души смеялась, потому что все это было шуткой. Смеялся в телефон и Вася, уверяя, что телушка очень хорошенькая, а глаза у нее точь-в-точь Юлькины.

И вот теперь мы вспомнили.

И я спросил Лидию Васильевну:

— А как вы называете телочку?

— Да как придется. Дочка, Доча, да и все. Чего ее называть...

Телочка была белая с желтыми пятнами. У нее было такое крошечное, трогательное, нежное вымя и чуть наметившиеся рожки. Я выбрал момент, когда меня никто не видел, и вошел в стайку. Тревожно мыкнула корова-мать, а дочка, повернув голову, косила на меня большим влажным, будто в слезах, коричневым глазом. Я протянул к ней руку, она сперва испуганно откачнулась, но потом позволила почесать-погладить между будущих рожек, шею и уж сама протянула морду с мокрыми губами, в которые я ее и поцеловал, поддавшись какому-то странному порыву.

Еще у них был пес по кличке Шарко. Он был низкоросл, не по росту длинноват, немного напоминал таксу, хотя был откровенным дворянином и хвост крючком. Необыкновенно свиреп. Сидел на длинной толстой цепи, явно не для него предназначенной. Дело в том, что бывший хозяин сильно бил его, будучи пьяным, и Шарко озверел и возненавидел мужиков. Но у них прижился. Был хорошим сторожем. И, как рассказала Лидия Васильевна, сразу признал Юлю, завалился перед ней на спину и лапы кверху.

Она, конечно, его гладила и что-то рассказывала. Она всегда любила собак и всегда помнила Бима.

Я смотрел на Шарко с непонятной, необъяснимой, темной надеждой.

У них еще были утки с двумя выводками утят. А больше из живности, кажется, ничего и не было.

Беленая их хата казалась расползшейся в стороны от разных пристроек, сенок, чуланов. Чтобы попасть внутрь, надо было, откинув одеяла, пройти через двое темных сеней — так сохранялась прохлада в доме, потому что в эти июльские дни жара стояла нестерпимая.

Вася уверял Юлю, что в их хате — мать его тогда была совсем махонькой девчонкой — однажды ночевал сам батько Махно. Что ж, вполне возможно.

Если бы не тень с одной стороны хаты, где росли яблони, и налетавшие с бесконечных просторов степные ветерки с неведомыми и обещающими запахами, переносить такую жару было бы нам нелегко.

Отец Васи не дожил трех месяцев до рождения младшего сына. Во время войны он служил на Дальнем Востоке, был корреспондентом армейской газеты, там и заработал туберкулез. Подлечившись, вернулся домой, и его, как человека грамотного, партийного, избрали-назначили председателем сельсовета. Он вполне мог бы жить и работать со своей болезнью, если бы поберегся. Однажды зимой в армейской еще шинельке и тонких хромовых сапожках пришлось ему по срочному делу проехать в кузове полуторки несколько верст. Этого было достаточно. Простуда сгубила его за месяц.

Лидия Васильевна, всю войну проработавшая на железнодорожной станции на разных работах, выбивавшаяся из последних сил, чтобы сохранить сына Бориса, недолго порадовалась облегчению после возвращения мужа.

Алексей Федорович появился значительно позже. Тоже несладко пришлось. Мальчишкой угнали в Германию, работал на бауэра. После освобождения призвали в армию, но потом бдительные особы переправили в трудармию. И теперь он участником войны не числится и вообще пострадавшим от войны не считается, а значит, никаких льгот и поблажек ему не положено.

Когда он вернулся в родные края, то крепко запил. Работу тоже справлял — молодой, силы были еще, — но и пил. Однажды то ли по злобе, то ли по ошибке подсунула ему одна жинка какой-то кислоты вместо самогона. Едва Богу душу не отдал. Отвалялся в аптеке с месяц, вышел на волю, на радостях выпил стаканчик — и от боли сознание потерял.

Теперь он не пьет совершенно. Работает по хозяйству с утра до ночи. Минутку посидеть без дела не может. Выкурит сигаретку и подымается:

«Надо у коров почистить», «Надо травки покосить», «Надо ступеньку в погреб поправить»...

От Васи никогда не скрывали, что Алексей Федорович не его отец. Был однажды случай. Васе еще пяти лет не исполнилось. Пригласили Лидию Васильевну и Алексея Федоровича в Пологи, на свадьбу сына одной давней, фронтовых годов, подруги. Даже машину — грузовик — прислали, друг жениха шофером работал, дали с условием, что он меду начальству привезет. И Вася стал проситься поехать с ними. Мать сперва вроде бы и не возражала, велела умыться, надеть чистую голубую в полоску рубашку. Счастливым Вася побежал к машине и ходил вокруг нее, прикасался к горячим крыльям, вдыхал ее душный запах, а сердце его замирало от предстоящего удовольствия.

Но взрослые передумали брать его с собой. Решили оставить на попечение соседки. И как Вася ни рыдал, ни орал, ни брыкался об землю в новой рубашке, ничего не помогло. Когда машина тронулась, он бросился бежать за ней, тихо подвывая и размазывая кулаком слезы. Он бежал до тех пор, пока машина не прибавила скорости и, обдав его горячей пылью, не скрылась из вида. Тогда Вася побрел назад, дошел до хлипких мостков через их речку-ручей, присел в тени и стал разрывать свою новую рубашку. Он делал разрыв внизу, по подолу, а потом тянул вверх, до ворота, и снова — снизу вверх. Рубаха разрывалась на ровные голубые в полоску ленты. Когда рубашка была порвана, он немного успокоился.

А взрослые его обиду помнят до сих пор...

У Алексея Федоровича был старенький, латаный-перелатанный, «ИЖ» с коляской. Вот на нем он и отвез нас поочередно — сперва женщин, потом нас с Борисом — в Чубаревку. Нас ждал Маркиянович. Так его все здесь называют, Григория Маркияновича, — бывшего Васиного учителя, первым угадавшего его талант, поддерживавшего и вдохновлявшего начальные поэтические опыты, по-отцовски любившего Васю. Он — высокий, громоздкий, добрый. Прежде всего рассказывает о Чубаре, чьим именем и названо село. Герой Гражданской войны, сопоставимый с Чапаевым, Котовским. Его беда была в том, что не убили на войне, не умер от болезни и в результате дожил до тридцатых годов. Зажился герой. Григорий Маркиянович добился правды, нашел документы: Чубарь погиб в одном из лагерей ГУЛАГа за Полярным кругом. Теперь, естественно, реабилитирован, даже село его именем названо...

Может быть, это и следует считать за покаяние?

Но что-то не светлеет на душе от таких историй.

А тут уж и вовсе новые времена подошли: героев Гражданской войны, тех, кто воевал на стороне красных, почитают вовсе не героями, а злодеями. Уж не эти ли времена провидел Сталин, расправляясь с победителями в Гражданскую? Может быть, пора уже и его не осуждать, а славить, что столько коммунистов он успел уничтожить?..

Мы, да простит нас милый Маркиянович, не были особенно внимательны к собранным им в музее экспонатам. Пока он не подвел нас к стенду, который только-только оформил, посвященному Васе. Тут были фотографии, вырезки из газет, Васины рукописи, чуть ли не самые первые школьные стихи, книги. И среди всего — фотография Васи и Юли. Она нам всегда особенно нравилась. Их сфотографировал Петя в Киеве, в Васиной квартире: они стоят друг против друга, оба скрестили руки, Юля смеется, видно, тому, что сказал ей улыбающийся Вася. Какая-то особенная доброта, домашность и понимание сокровенного, известного только им, виделись нам в этом снимке.

Григорий Маркиянович, чуткая душа! Спасибо вам и земной поклон! Даже если вы поместили эту фотографию только для нас, только к нашему приезду, а потом, может быть, уберете, — все равно спасибо!

Мы не сдерживали слез. Утирал слезы и Маркиянович. Он плакал и позже, у себя дома, когда его жена угощала нас варениками.

— Я знал Васю. Тонкая поэтическая душа. Это была настоящая большая любовь. Великая любовь. Поверьте мне! Судьба испугалась их великой любви и великого счастья. Какое горе! — Он утирал слезы расшитым красными узорами рушником.

Я ходил босиком по этой земле. Мне хотелось почувствовать ее. На проселке земля была тверже асфальта и жгла пятки. Я брел по направлению к их речке-ручью, где был мостик, под которым маленький Вася рвал свою новую рубаху, куда ездила с Алексеем Федоровичем Юля рыбачить — хотя зачем ездить, всего-то километра два; но ведь у него был мотоцикл, и как же не воспользоваться случаем, не прокатить гостью.

К удивлению, обнаружил, что и теперь на берегу сидят два пацана с удочками. Я пристроился на бугорок, оглядывался по сторонам.

Как не похоже все на наши края. Степь. Как море с застывшими волнами холмов. Все время хотелось угадать на горизонте зубчатую черную стену леса. Но нет, это только дрожание горячего воздуха или темное облако, край неба, но не лес.

Этой земле бесконечно признавался в любви Вася. Что же такое тогда красота природы? Не наше ли это чувство любви и привязанности?

Сколько всего пронеслось-прогремело над этими украинскими степями, а они все те же, их законы сильнее человеческих. Канули в Лету и Махно, и Буденный, и Чубарь... Вот уж и Васина жизнь оборвалась. А степи все те же...

Уезжали мы поездом, через Пологи. С вечера автобусом добрались до станции и потом долго ждали поезда Бердянск — Москва, который проходил глубокой ночью. Тогда все это было так просто, никаких препятствий, никаких досмотров и осмотров, никого не интересовала наша национальность, гражданская принадлежность, цель поездки и т. д. и т. п., без чего сегодня не попадешь к Васиным старикам, к милому Маркияновичу, в родные Васиные места, чтобы поклониться, вспомнить...

Было тепло, звенели цикады, иногда слышались свистки локомотивов. Мы сидели на скамейке вытянув усталые ноги, молчали, каждый думал о своем и все о том же.

Однажды, еще в самые первые поездки в Коктебель, мы сидели с Юлей целую ночь, до первых автобусов, на такой же вот скамейке на вокзале в Феодосии. Непрерывно стрекотали цикады, изредка гудели электровозы.

В Пологах была такая же теплая, темная, звездная, обманная южная ночь.

«И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде... И было у него семь сыновей и три дочери. И нарек он имя первой Емима, имя второй — Кассия, а имя третьей — Керенгапхух» (Иов, 42: 10, 13, 14).

Я, конечно, плохой верующий и большой грешник, еще меньше я теоретик-богослов. Но все-таки что-то же я способен понять из боговдохновенного текста.

Итак, Господь доказал дьяволу верность Иова, силу веры Иова, а одновременно и свою собственную силу. И Он вознаградил Иова за все его страдания, дав ему вдвое больше того, что он имел...

Но не это меня волнует. Ведь во время спора с дьяволом были разными способами убиты дети Иова. С ними-то что? А ничего. У Иова опять семь сыновей и три дочери. Но это не те, погибшие, дети, а другие, родившиеся после Господнего благословения.

Но ведь в этом все и дело! Это другие дети! Другие!

Как бы потом я их ни полюбил, ни привязался к ним — это другие дети! А те, что несправедливо погибли, — не воскресли, их нет и никогда не будет.

Вот наказание, страшнее которого нет.

Господь! В самом ли деле Ты вознаградил верного Иова?

На майские праздники они устроили капустник. Смеялись до слез, еще сочиняя сценарий. Более других выдумывал Лоза. Не забыли никого, начиная с директора Валерия Павловича, которого Юля предложила именовать великим Гудвином из известной детской сказки.

Задумались, что же предложить Юле, как ее позанятнее представить. Они и не догадывались о ее мучительной застенчивости, о том, что она ночь не спит перед выступлением на каком-нибудь научном семинаре (хорошо, если у себя в институте, а если на городском обществе генетиков?) и сколько сил ей стоит не показать смущения и стеснительности.

Поэтому Юля поторопилась сама найти себе бессловесную роль. «Я буду изображать дверь». — «Дверь? Как?» — «А вот так», — и она, сжав губы, издала наш с ней условный коктебельский полускрип-полусвист, который воспроизводить умели только мы с ней. «Здорово! Похоже!»

Похоже было на одну институтскую дверь, скрип которой мог означать очень многое, связанное либо с появлением или с удалением начальства, либо с робким заходом к начальству одного из провинившихся подчиненных.

На капустнике это выглядело так: Юля встала на краю просцениума с вытянутой на уровне плеча рукой, как бы входивший в дверь упирался в ее руку, Юля медленно поворачивалась не опуская руки, и раздавался громкий скрип.

Это было ее единственное в жизни выступление в театрализованном действе. В драматические актрисы Юля явно не годилась. Она никогда не участвовала ни в школе, ни в университете в самодеятельных спектаклях, не читала стихов со сцены.

Вот только, пожалуй, танцы были ее стихией. Очень любила танцевать. Кажется, во втором классе они с закадычной подружкой Наташей ходили целую зиму в Дом ученых на занятия в балетной студии. Появились дома пуанты, юбочка-пачка и что-то еще специфическое, балетное. И дома Юлька изображала нам всякие позиции и па, пыталась покружиться в тесном пространстве комнаты.

Но балетная студия по каким-то причинам прекратила свое существование, и Юлька с легкостью перешла в кружок фехтования, открывшийся при школе. Однажды, уж и не знаю, как это случилось, кто ей доверил спортивный инвентарь, она принесла домой шпагу, сказала, что ей разрешили взять ее с собой, чтобы отрабатывать укол. Это она нам дома объяснила, а вначале она пошла во двор и тотчас была окружена ребятней и, конечно, стала демонстрировать всякие приемы, а укол показывать на Серпше, который так натурально и великолепно падал, пронзенный шпагой.

Но и этот кружок оказался недолговечным, и школьный преподаватель физкультуры пригласил Юлю в секцию спортивной гимнастики. У нее выходило неплохо. Она получила юношеский разряд. Правда, ноги выше колен и руки были в ужасных синяках. Мама стала возражать, да и подходил другой возраст, другие настроения...

А танцевать она любила. И на домашних праздниках, когда все только свои, Юлька частенько передевалась то в цыганку, то в какую-нибудь современную хиппи и устраивала отчаянную, с головокружительными верчениями, падениями, прыжками, полетами, пляску.

Это была ее стихия.

А разговорный жанр был ей чужд. Она стеснялась многолюдья. Этот перелом произошел в ней после лежания в больнице с аппендицитом.



Вот и выбрала себе на капустнике роль двери. Это подходило ей по характеру.

Мы не крестили своих детей. В те годы, когда они родились, этот акт был еще не только частным делом гражданина... Комсомолец, член партии был бы наказан за такие действия. Да честно сказать, мы с женой как-то и не думали о крещении детей сами, и не было рядом с нами бабушек, которые подтолкнули бы нас к этому.

Вот так и остались наши дети нехристями.

Но Господь все видит, и Он знает, что дети наши не совершили многих грехов, какие постоянно совершают крещеные.

Когда Юля выбрала себе роль двери, ей, конечно, и в голову не могло прийти — она просто не знала о том, что дверью назвал Себя Христос: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет».

Прости, Христос, за это нечаянное совпадение!

Но почему все-таки мне приходили мысли, что Юля послана нам как искупление за совершенный грех, как спасение?

И все дети не есть ли спасение и открытая дверь в день завтрашний? Ведь и Христос был Сыном Божиим.

«Всего в работе обследовано 317 индивидов и проанализирована 39 031 метафазная пластинка» (автореферат диссертации).

Изредка случаются в жизни счастливые совпадения, когда несколько радостных событий, следуя одно за другим, сливаются в сплошной празднично-радужный поток, который несет тебя на легких волнах все к новым и новым счастливым открытиям.

К сожалению, такое состояние не может длиться долго.

Когда много радости, невольно начинаешь вспоминать о серых буднях, огорчениях и неприятностях.

Мы все так жадно радовались в тот январь! Были так счастливы и праздничны, что, наверное, потеряли бдительность и забыли о конечности всего земного.

Даже счастья. Или, надо сказать, в особенности счастья. Когда его очень много, оно завершается несчастьем.

И меня не посещали никакие темные предчувствия. Еще было так далеко до апреля, до Васиного звонка и путешествия в Болгарию.

Началось с того, что Юлину работу не только приняли к защите в Москве, в Институте генетики, но и назначили срок — на тот счастливый январь.

Мы в то время читали «Зубра», вспоминали недавние, хорошо нам знакомые, времена, радовались, что дочь наша вошла именно в эту науку; а Юля, после принятия ее работы к защите, сказала нам:

— А вы знаете, кто председатель совета, где я буду защищаться?

— Кто?

— Иванов. Да вы что, забыли? — спросила она, заметив, что наши лица не выражают никаких эмоций. — Может быть, вы и Зубра забыли?

— Господи! Неужели? Тот самый? Ученик Зубра! — выкрикивали мы с энтузиазмом.

А я подумал, что вот и еще одно звено в цепи событий нашего времени сомкнулось, включив в свой круг нашу дочь.

Защита, конечно, и стала главным событием января.

А потом покатило...

Мне подвернулась командировка в Москву, я рискнул поехать с женой, и еще действовавший Союз писателей помог устроиться в гостинице «Россия».

На совещание генетиков, а именно к нему и приурочили заседание совета по защите диссертаций, поехали Валерий Павлович и Сергей Андреевич.

А за два дня до защиты, когда мы только-только расположились в шикарном, по нашим представлениям, номере гостиницы, стук в дверь. Открываю — улыбающийся Василий.

— Ты-то как? Откуда узнал?

— А я и не знал. Юльце верит в приметы и точную дату не сказала.

Он целует нас всех, весел. Острит.

Оказалось, просто по наитию взял командировку в ЦК и поехал. Но на защиту, к сожалению, остаться не сможет, завтра должен быть в Киеве.

— Юль! А прогуляться по Москве ты сегодня сможешь со мной?

— Конечно смогу.

Мы опять целуемся. Они с Юлей уходят.

А несчастье уже встало за нашими спинами...

Мы с женой и подумать не могли, что видим Васю в последний раз.

Распрощались весело, уверенные, что расстаемся ненадолго, болтали всякую легкомысленную чепуху. А оказалось, что простились навсегда.

Но ничто нас еще не томило, не тревожило, кроме предстоящей защиты диссертации, хотя мы заранее были уверены в успехе: работа успела пройти основательную экспертизу, — и мы были веселы и счастливы и думали уже о вечере после защиты — надо же отметить такое событие!

Юля запретила нам даже близко появляться возле института, не говоря уж о том, чтобы присутствовать на защите. Поэтому я, прикинув время, требуемое для защиты, захватил цветы и поехал так, чтобы успеть к голосованию. Сидел в холодно-стеклянном вестибюле и неожиданно стал волноваться: мало ли как там повернется дело...

В это время появился пожилой мужчина, торопливо надевавший на ходу шапку, шарф, одновременно стараясь попасть рукой в рукав пальто. Вахтер при его появлении встал и поклонился, а мужчина неожиданно направился ко мне:

— Вы, очевидно, отец диссертантки?

— Да.

— В таком случае, поздравляю! Отличная работа. Один голос, мой, уже подан «за», думаю, что черных шаров вовсе не будет, серьезное исследование.

— Спасибо! Спасибо! Простите, вы...

— Это вы меня простите! Нет больше ни секунды! Опаздываю. Я — Иванов, председатель совета.

— О! Я знаю! Помню!.. Я хотел...

— Еще раз простите — бегу!

И Иванов исчез так же стремительно, как появился.

А тут уже послышался шум, гул. Кончилось заседание, люди выходили из зала, переговаривались, смеялись, закуривали.

И через невероятно долгое время появилась Юля, в строгом сером костюме, в совершенно для нее непривычных туфлях на высоком каблуке, с рулоном плакатов и схем под мышкой, ведомая под руку сияющим Сергеем Андреевичем. Юля бледна, а Сергей Андреевич розов от приятного волнения — все-таки его первая подопечная, защитившая диссертацию, написанную под его руководством.

У всех было такое прекрасное, молодое, лихое настроение, что мы тут же, в гостинице, в буфете, набрали закусок, бутербродов, вина, шампанского, водки и пошли к нам в номер.

Валерий Павлович немного опоздал со своего совещания генетиков, на которое, как выяснилось, и спешил с защиты Иванов, но тотчас включился в нашу радостную карусель общего разговора, когда все говорят одновременно и как-то ухитряются слышать друг друга и отвечать, беспричинного смеха, тостов, всяческих откровенностей и признаний.

Из окна номера был виден Кремль, Васильевский спуск, Москва-река, огни и движение столицы. Сергей Андреевич, протерев очки, все старался подойти ближе к огромному, от пола, окну, чтобы увидеть больше и лучше законную жизнь Москвы словно бы с высоты птичьего полета. А Юля пугалась, как бы он не вывалился через это окно и в самом деле не полетел некой вечерней птицей над площадью; она брала его под локоть и просила: «Сергей Андреевич, ну пожалуйста, не надо так близко подходить!» Сергей Андреевич смеялся и тут же начинал научно объяснять, почему он не может вывалиться из окна, какой градус наклона его тела должен для этого быть и какая сила должна на него одноразово воздействовать, чтобы он пробил двойное стекло, которое выдерживает удар, равный...

Господи! Как быстротечны радости!

Еще было так далеко до теплой майской ночи в Толмачевском аэропорту, когда я, простившись с Юлей внизу, перед накопителем, поднимусь на второй этаж вот к такому же или почти такому же огромному окну в надежде еще раз ее увидеть. И я ее увижу. Она, как всегда, будет подниматься по трапу последней и перед самым входом в кабину оглянется и слегка приподнимет руку, потому что будет уверена, что я откуда-то ее вижу.

И я увижу ее последний прощальный взмах рукой...

Уважаемый Э... В...!

Получили Ваше письмо после нашего возвращения из отпуска в Софии, и оно снова вернуло нас к страшной, мучительной утрате...

Стоят в книжном шкафу перед остальными книгами сборники стихов нашего любимого друга, нежного поэта, замечательного человека Василия Моруги, и вместе с воспоминаниями о нем в душе приходит боль о невозвратимой утрате деликатной, умной и тихой Юлии... К нам приходят снова и снова воспоминания о множестве наших встреч, об общих стремлениях, идеалах... И вместе с этим становится страшно и ужасно больно, что встретились мы в тот последний (Боже, как это трудно написать, а еще и поверить) раз накануне отъезда у Союза болгарских писателей лишь на несколько часов. С ними был их друг Гена... Вечер был прекрасным, все было, как будто мы никогда не расставались. Вася никак не хотел быть гостем, он заказывал блюда, напитки, шутил: «В Киеве я чаще всего был ваш гость, пусть в этот раз я буду вашим хозяином в Софии...» Вместе с нами был и наш общий друг — молодой болгарский поэт Димитр Христов, а также двоюродная сестра моей жены — Илеана Стоянова, также поэтесса.

Юля была в джинсах, в белой кофточке, с ее мягким, теплым взглядом, милой улыбкой, с ее красивыми каштановыми волосами, которые были связаны в хвост. Мы вместе радовались защите ее кандидатской диссертации, говорили о том, что она искала по магазинам, что хотела купить в качестве сувениров из Софии...

У нас было большое желание, чтобы они с Васей погостили у нас дома, но они отказались, спешили ехать в Правец, откуда на следующий день утром собирались уезжать в Киев. Заверяли нас, что скоро они вновь будут у нас в гостях. Рассказывали о своих планах, о добрых чувствах, о хороших впечатлениях от пребывания в Болгарии.

Поздно вечером мы вышли из ресторана в Союзе писателей... Сели в Васиной красивой машине (сейчас думаю, что, может быть, мы были последние, которые ездили вместе с ними в этой машине) и доехали до Софийского университета. Там мы и попрощались, расцеловались и обещали себе скорые встречи в Киеве (я собирался ехать туда, но потом как-то не получилось). Кто мог подумать...

И если честно, то мы и теперь, мне кажется, не принимаем факт, что их уже нет. Я бы сказал, что имеем такое ощущение, что они уехали к себе в

Киев или куда-нибудь далеко и живут себе со своими ежедневными заботами и только расстояние нас разлучает, потому что другое, то, что произошло, — невероятно и неприемлемо.

Дорогой Э... В...!

Трудно нам писать Вам, трудно, потому что мы любили Вашу дочь и Васю как родные, самые близкие люди, потому что именно вам надо снова припоминать об этом несчастье. В то же самое время не можем не признаться, что мысль о Васе, о Юле — это часть нашей сущности. Она останется с нами навсегда. И будет всегда дорого поддерживать связь с их близкими людьми. Таким образом — будем иметь какое-то ощущение, что поддерживаем связь с ними.

К сожалению, мы не имеем никакой связи с Лидией Васильевной — мамой Василия, его братом. Ничего не знаем о том, где можно поклониться, отдать дань их памяти, когда мы будем в Киеве или в другом месте.

Будем благодарны, если Вы нам об этом напишете, а и вообще если сочтете возможным поддерживать с нами связь!

С мыслью о наших дорогих Василии и Юлии прощаемся с Вами: Иван, Елена, Невела и Тоня Пиперкови.

Р. С. К нам присоединяются наши родители, родственники и друзья, которые лично или заочно через нас знали Василия и Юлию.

Октябрь 1989. София.

Дорогие друзья Пиперковы!

Вы тысячу раз правы! Невозможно считать их погибшими! Они еще мчатся по прекрасной весенней земле в своей белой, как голубь, машине, и только расстояние да улетающее время разделяют нас.

Чем больше расстояние, тем невыносимее время разлуки и тем выше скорость. Они спешат к нам. А может быть, мы сами летим к ним навстречу? Теория расширяющейся Вселенной легко опровергается (или подтверждается — не все ли равно?): мы летим со все возрастающей скоростью друг другу навстречу, потому что нестерпимо больно разделяющее нас пространство.

Слава Богу, на Земле нет бесконечных расстояний и бесконечного времени. Все конечно.

Окончится и наша разлука.

1989 — 1997.



---

---

МАРИНА БОРОДИЦКАЯ

\*

## ТРИ КЛЮЧА

\* \*

\*

Встаньте, кто помнит чернильницу-непроливайку,  
Светлый пенал из дощечек и дальше по списку:  
Кеды китайские, с белой каемочкой майку,  
И промокашку, и вставочку, и перочистку.

Финские снежные, в синих обложках тетради,  
День, когда всем принести самописки велели,  
Как перочистки сшивали усердия ради,  
С пуговкой посередине, — и пачкать жалели.

Разные нити людей сочленяют: богатство,  
Пьянство, дворянство... порука у всех круговая, —  
Пусть же пребудет и наше случайное братство:  
Встаньте, кто помнит, — и чокнемся, не проливая!

\* \*

\*

Это вовсе не больно — нож в спине:  
В первый миг — ощущение холода  
И саднит, как серьга (терпимо вполне!),  
Если мочка свежeproколота.

Это очень удобно — нож в спине:  
С ним живешь себе втихомолку...  
А когда прирастет, удобно вдвойне,  
Можно даже повесить кошелку!

### Пустое ноября

Что-то день не задается,  
Валится из рук.  
Бродит лень, в колени жметса,  
Выгнать недосуг...

Что ж ты, ангел мой хранитель, —  
Приболел никак?  
Нашу блочную обитель  
Огулял сквозняк.

Время полдень, дети в школе,  
 Темень за окном.  
 Объявись сегодня, что ли,  
 Посидим вдвоем.

Коньячок да капля виски —  
 Весь ассортимент,  
 Чайник ангельский, английский  
 Закипит в момент.

О быллом за кружкой чая  
 Помечтаем всласть,  
 Были в сказки превращая,  
 Над собой смеясь.

Подведу тебя к дивану,  
 Упрощу прилечь,  
 Кофту дедову достану  
 Для крылатых плеч,

Унесу, зажав под мышкой,  
 Звонкий телефон  
 И на кухне сяду с книжкой  
 Охранять твой сон.

\* \*  
 \*

Кусочек неба в мокром тротуаре,  
 Серебряный просвет в ноябрьской хмари,  
 Бананы дерзостные на лотке,  
 Мороженое в стынувшей руке, —

Какое счастье! Нас опять прощают,  
 Включают свет и сласти обещают,  
 И можно уложиться в восемь строк  
 И прогулять еще один урок.

\* \*  
 \*

Под фонарем на сахарном снегу,  
 У вечности глазастой под вопросом,  
 Я вензель свой рисую как могу  
 Мальчишеским ботинком тупоносым.

И связанные крепко за шнурки,  
 Подрагивая в отгремевших маршах,  
 Звенят в руке забытые коньки  
 О леденцовой глади Патриарших.

Там сок томатный, гривенник стакан,  
 От крупной соли он еще багровей,  
 Там детство терпеливо к синякам,  
 А юность исцелована до крови —

И все развеется, как снежный прах,  
 Все в Лету утечет с весной слезливой!  
 И лишь уменье бегать на коньках,  
 Дурацкая привычка быть счастливой,

И светлый лед, и медная труба —  
 Слышна, хоть с головой в сугроб заройся! —  
 И, обнимая, шепчет мне Судьба:  
 «Закрой глаза и ничего не бойся».

\* \*  
 \*

Когда в троллейбусе едешь,  
 А окна застит мороз,  
 Кажется, будто едешь  
 Мимо сплошных берез,

Мимо серебряных елок,  
 Позванивающих, как жечь...  
 И кажется: путь наш долог,  
 И что там в конце — Бог весть.

\* \*  
 \*

В переполненном баре, у стойки, в дыму густом,  
 Я на детском высоком стуле приветствую мир.  
 Двухметровый седой одуванчик по имени Том  
 Мне подносит *гиннес*, как няня несла кефир.

Под ирландским клевером я ль не желанный гость?  
 Изумрудный свитер на мне и душа зелена.  
 Мне за двух поэтов из Дублина спеть довелось:  
 Джеймс и Патрик, такие были у них имена.

Том стихов не читает, он мерзнет в темной Москве,  
 И не видит он, что зеленое мне к лицу,  
 И не знает, как в замке Тары, в хмельной тоске,  
 Вождь отсек себе палец, чтоб перстень бросить певцу.

Джеймс и Патрик, слышите? Песни опять не в цене.  
 Но зато нам положена тайная благодать  
 И бесплатные мед да пиво, даже в стране,  
 Где цветы воруют с могил, чтоб еще раз продать!

\* \*  
 \*

Покой, и воля, и надежный ямб,  
 Горячий суп и детские раздоры,  
 И, втоптаный в ковровые узоры,  
 Тускнеет одомашненный Хайям.

Прохладных простынь потолочный свод —  
Прочь, прочь любви задышливый анапест!  
На тонкой книге дружеская надпись  
И на столе насущный перевод.

Любовь чужая: лютня, соловей,  
Заморские серебряные трели, —  
Но сладок сон мой, словно в колыбели,  
В большой ладони, Господи, твоей —

В гостинице твоей, где знать и голь  
И есть кому радеть о постояльце...  
Покой и воля. И на среднем пальце —  
Почетная школярская мозоль.

\* \*  
\*

Я. А.

Поэты как дети: цветную стекляшку нашел  
Иль камушек редкий — один в кулаке зажимает:  
— Уйди! не твое! — и мальчишки, забыв про футбол,  
Его окружают, канючат, сопят и гадают.

Иной же — в раскрытой ладони то так повернет  
Находку, то этак... и тянет, и молит: взгляни же!  
Но прятками, салками занят сегодня народ,  
Лишь рыжая девочка робко подходит поближе.

### Попытка оды

Мед и млеко в тебе, государь мой Язык!  
Твой языческий жар до нутра мне проник.  
Твой распаренный дух, твой малиновый звук  
Так по-женски податлив, но дивно упруг.

Помню первый учебник и сладкую дрожь:  
На лазурной обложке волнистую рожь.  
Поцелуй на морозе иль Жучкин укус —  
Твой каленый глагол, совершенный на вкус?

Так спрягай же, склоняй! Средь изменчивых нег  
В теплой толще твоей дай остаться навек  
Малой оспинкой рода, лица и числа...  
И слипаются губы на слове: *пчела*.

\* \*  
\*

Торопили, звали,  
Силой волокли,  
Сзади поддавали,  
За руки вели.

Пройдены науки.  
На дворе зима.  
Уберите руки!  
Я пойду сама.



\* \*  
\*

...Встать пораньше, счастья захотеть,  
В Тушино рвануть на барахолку,  
Лифчик с кружевами повертеть  
И примерить прямо на футболку,

Поглазеть на пестрые шатры,  
Заглянуть в кибитки грузовые —  
И себе, по случаю жары,  
Шляпу прикупить на трудовые.

Чтобы красный цвет и желтый цвет  
В синеве печатались контрастно,  
Чтоб торговцы, окликаая вслед,  
«Женщина!» — выкрикивали страстно,

Чтоб растаял день на языке  
И закапал голые колени,  
Чтобы смять обертку в кулаке  
И в метро сойти — без сожалений.

### Трехпрудный переулок

По скрипучей лестнице взберуся —  
От материй летних здесь пестро:  
Маме шьет портниха тетя Маруся  
Радостное платье «фигаро».

Сарафан, а сверху распашонка:  
В этом платье с юбкой «солнце-клеш»  
Мама будет прямо как девчонка —  
Черненькая, глаз не оторвешь!

Теть Маруся перхает «Казбеком»  
И обмылком чертит, как мелком.  
Я по книжным полкам, как по рекам,  
С удочкой сплавляюсь и сачком.

Алый ситец, белые горошки,  
Час еще, наверно, просидим,  
Пол дощатый, блеклые дорожки  
И стоячий папиросный дым...

Теть Маруся достает булавки,  
В окна лезет тополиный зной,  
Я уже кончаю повесть Кафки  
В комнатке прохладной, проходной:

Я уже как муха в паутине,  
Бьюсь и оторваться не могу —  
И меня в трехпрудной этой тине  
Мама ждет на дальнем берегу.

Сонный морок, снятое заклятье,  
 Смуглых рук июньская пыльца...  
 Горький дух из радостного платья  
 Выветрится. Но не до конца.

### Мой дом

Мой дом на Пушкинской сломали,  
 Пустырь забором обнесли,  
 В пятиугольной нашей зале  
 Звезду небесную зажгли.

Вдохну вечерний воздух влажный,  
 Приму столичный, праздный вид,  
 А в горле ком — пятиэтажный,  
 Оштукатуренный, стоит.

\* \*  
 \*

Пляшет ложечка в тонком стакане,  
 Над верандой редеет туман:  
 Это мама стучит каблучками,  
 Ярче солнца ее сарафан.

От калитки свистят на три ноты:  
 Ми-до-ля, это имя мое,  
 Это папа, пораньше с работы, —  
 То-то райское нынче житье!

Здесь у нас не бывает ненастья,  
 По утрам половицы скрипят:  
 Это няня, Нанака, Настасья,  
 Вносит мой невесомый наряд.

Это сосны ворчат, это ели,  
 Чтобы свой укротили размах  
 Раскладные, сквозные качели  
 И веревочный белый гамак...

Что мне в этих чешуйчатых соснах?  
 Кем навеки в меня засмолён  
 Звон призывный коней трехколесных  
 И студеный колодезный звон?

Кто мне задал назвать свое имя  
 И заполнить листок обходной:  
 Перечислить, сцепив запятыми,  
 Все, что кончится в мире со мной?

\* \*  
 \*

Господи, как пролетел этот год!  
 Только вчера от жары изнывали,  
 Ждали зимы, а потом зимовали,  
 Ждали весны, и весна у ворот.

Осенью — чтоб затопили в домах,  
 Летом — чтоб дали горячую воду,  
 Ждали: бранились, корили погоду,  
 Год без любви — все равно что впотьмах.

Впрочем...

\* \*  
 \*

И в мужских глазах отразится узор ковра,  
 И останется в женских — лепной узор потолка.  
 Эта разница ракурса, в сущности, так мудра —  
 Как и разница тел, которая так сладка.

Так умно все устроено в той золотой полумгле:  
 Можно всех поменять местами, но как ни крутись,  
 Вечно в небо глазают притиснутые к земле  
 И уставились в землю — вздымающиеся ввысь.

\* \*  
 \*

В зимний вечер, в снег и слякоть  
 Страж мой верный, ангел мой  
 Посылает мне троллейбус,  
 Самый теплый и сухой.

Ночью темной и огромной  
 С полки сбрасывает мне  
 Книжку давнюю, родную,  
 О неведомой стране.

В липкий, душный полдень летний  
 Он, погоду не кляня,  
 На скамейке у фонтана  
 Держит место для меня.

И в толпе, хоть раз в декаду,  
 Страж мой милый, ангел мой  
 Для меня организует  
 Восхищенный взгляд мужской.

Так чего же мне бояться?  
 И на что же мне роптать:  
 Что не можно с ним обняться?  
 Шкурку сжечь? Врасплох застать?

\* \*  
 \*

Пахнет ночь росистым садом,  
 Над Москвой кружит Мария,  
 Сладко под ее приглядом  
 Спят детишки городские.

Спит студент и вор в законе,  
Ангел курит на балконе,  
Свесив белое крыло.  
Рассветает. Рассвело.

\* \*  
\*

В метро обживаютя звери,  
Толпой не смущаясь людской:  
Раскрылись вагонные двери,  
Собака вошла на Тверской.

В буфет, к лимонадным болотцам,  
Спешат воробьи на пикник,  
И голубь летит и не бьется  
О свод потолочный: привык!

Нет жизни в бензиновом сквере,  
А здесь и тепло, и светло...  
В метро поселяются звери,  
Как будто их время пришло.

### Три ключа

Юный слесарь большеглазый,  
Большеглазый, большерукый,  
Потерялся ключ от дома,  
Смастери мне новый ключ.

Чтобы он легко вставлялся,  
Поворачивался плавно,  
Никогда бы не терялся  
И на ощупь теплый был.

А еще, искусный мастер,  
Смастери мне ключ скрипичный,  
Материнский и отцовский,  
И со звоном мелодичным  
К той же связке прикрепи.

А потом, чудесный слесарь,  
Ключ мне выточи кастальский:  
Как он выглядит, не знаю,  
Но положено поэту  
При себе его иметь.

А холодный ключ забвенья  
Ты оставь себе на память,  
Спрячь куда-нибудь подальше,  
Чтобы дети не нашли.



---

---

ЛИДИЯ СЫЧЕВА

\*

## ДЕРЕВЕНСКИЕ РАССКАЗЫ

### ПРО ГРИШУ, МИШУ И ТИШУ

**У** Лиды Мостиковой легкая рука: что ни посадит, кое-как в землю потыкает, — все цветет, колосится; помидоры величиной с бригадирскую рожу, гарбузы как небольшие поросята, ну, не колхозные, конечно, а огурцы вообще наводили на неприличные ассоциации. Лидин сожитель Миша так и говорил восторженно: «О...ительные огурцы!» — и хрумтел овощем, сидя на крыльце. Лидиных детей — Веру и Вову — Миша не стеснялся, соседей тоже. А чего, и не такое слышали! Юность у Миши была буйная, молодость тюремная, и потому в зрелость он пришел обогащенный специфической лексикой и нетрадиционным опытом. Но красивый мужик был — крепкий, мускулистый; летом ходил всегда до пояса обнаженный, дубил кожу под солнцем, играл наколками — русалка грудастая, голубки. На работу не устраивался — домохозяин, с косою его, правда, никто не видел, но бычки в загоне не ревели — сытые; как ночь, Миша выходил на промысел, таскал вязанками, мешками силос с фермы, комбикорм.

Лида работала дояркой, вставала рано, с утренней дойки, таясь, приносила молоко. Стряпала, будила детей, наглядывала хозяйство, огород: Миша к тяпке не касался — «бабье дело», и дальше весь длинный летний день снова-ла по двору, спешила к очередной дойке, вывешивала стираное белье, успевала сбегать в магазин за хлебом и спичками.

В дождливые дни Лида гнала самогон. Затапливалась печка во времянке, плыли специфические ароматы по улице имени поэта Некрасова, к вечеру запрограммированно-телепатически сползались пьянчуги — Алеша-Мякота, Гончар, Крячкин, Таиска — Лидина подружка. Гульба начиналась культурно: заводили проигрыватель, ставили пластинку «В доме, где резной палисад», оживление, хрустальный звон граненых стаканов, дегустация, грубые комплименты хозяйке. Миром, правда, дело никогда не кончалось: Миша пьянел, властнел, жутко начинал ревновать, слово за слово — разгоралась драка, с улицы казалось, что домишко трясется и шатается, и рад бы сбежать от хозяев, да тоже пьян; наконец званые гости один за другим пересчитывали ступеньки и близился последний акт драмы: сначала вылетала растерзанная, простоволосая Лида, за ней коршуном неся Миша с ножом или топором в руке — «ах ты, мат-перемат, жареная утка!» — и вслед за ним спешили, хватали за штаны Вера и Вова, в надежде отбить мать. Иногда Лида, спасаясь, врывается к нам, в тесных комнатенках за ней катились ложки-поварешки, отец закрывал дверь на крючок, и Миша, поругавшись и погрозив, уходил, шатаясь, ни с чем. «Ты бы, Лида, не пила — и он бы одумался», — настав-

---

Сычева Лидия Андреевна родилась в селе Скрипниково Калачеевского района Воронежской области. В прошлом — учитель истории, сейчас работает в «Учительской газете», учится в Литературном институте им. А. М. Горького. Живет в Москве. В «Новом мире» печатается впервые.

ляла соседку мама. Лида пьяно плакала, соглашалась и норовила обнять отца. Он смущенно отодвигался...

В получку Лида обычно отправлялась в город, в райцентр, накупала, не считаясь с расходами, всякой снеди, водки и пива; несла тяжелую сумку не горбясь, закаленная на колхозной ферме пятидесятилитровыми алюминиевыми флягами. Веселая, в парадном кримпленовом платье розочками, вырез сердечком, прибежала, хвасталась: «Живем как москвичи — все есть!» И все в ней радовалось: худая жилистая шея, похожая на потрепанное знаменное древко, яркие-разъяркие губы (помаду у цыганок купила, на базаре), стоптанные синие тапочки. Довольные погодки — Вера и Вова — висели на заборе, уплетали щедрые ломти с шоколадным маслом. Наутро Лида повязывала платок пониже, чтобы «фонари» меньше отсвечивали. Вера прибежала к нам, показывала синяки на руках и на ногах — «что было, дядька Мишка опять дрался» — и подробно, даже с некоторым удовольствием, живописала ужасы прошедшей ночи. Заручившись нашими охами и ахами, отбывала — сдавать в магазин стеклотару.

Миша уходил от «московской жизни» только к вечеру, брился во дворе, плескал воду на грудь из самодельного рукомоЙника, садился на порог. Задумчиво курил, глядя, как падчерица фигуристо управляет с хозяйством: курам сыплет, телятам пойло несет; коса толстая, тяжелая, медовая, груди под простым платьем уже как на русалке-наколке... Какие мысли бродили в уркаганской головушке, неизвестно; но нехорошо смотрел дядя Миша, нехорошо, про это сама Вера нам рассказывала. Кончилось все, впрочем, неожиданно: поздней осенью, в слякоть, дождь, распутицу, Миша отправился в очередную «ходку» и не вернулся. Утром его нашли, мертвого, на дороге — шальной ли пьяный водитель не заметил переходящего трассу пешехода, или дядя Миша, нагруженный мешком силоса, за заботой и думами не услышал шума машины, неизвестно. Дождь смыл следы, а ночь скрыла тайну.

Лида была в горе, рвала волосы, затребовала из колхоза материальную помощь и собралась похоронить Мишу по высшему разряду. Но тут неизвестно откуда объявилась первая жена погибшего, стала требовать дележа имущества, сберкнижку (у Миши, как выяснилось, был дотюремный сын). Разразился скандал, и память покойного была проклята. Оказалось, Миша воровал не только у государства, но и у Лиды, ухитряясь отправлять какие-то деньги первой семье. Вдовы обложили друг друга матом, но приезжая вынуждена была убраться ни с чем. «Я с Мишкой не записана и знать его не знаю», — припечатала Лида, и колхозная машина повезла покойника в соседнюю область, на родину. Самогон, впрочем, Лида все равно затеяла и с подругами справила и девять дней, и сорок — как положено. После пришла советоваться к маме: «Может, что подскажешь, соседюшка? Нашли мне тут мужика, серьезного. Одинокий, спокойный». — «Сходила бы ты, Лида, со своим. То хоть детям отец...» — «Что ты кажешь! Он же алкаш, пьяница!» — замахала Лида руками.

И в Лидином дворе появился новый мужик, Гриша, — молчаливый, хмурый, в годах уже, или шахта его раньше времени состарила, в общем, пенсионер досрочный. Стать свою полуголую не показывал, как Миша, в кепочке ходил и в костюмчике старом, ругался только по поводу. Пил тихо и редко, но страшно — недельными запоями, с явлениями летающих тарелок, инопланетян, невиданных белых животных. А мастер был природный — по плотницкому делу, по столярному; в трезвое время подправил штaketный заборчик, перебрал сараюшку по бревнышку, даже печку во времянке переложил. Лида задумалась: колхоз давал участки под застройку всем желающим, дети росли — Верка совсем на выданье; у Вовки усы чернели; а жили все в колхозной квартире — две комнатки с коридором, в любое время можно оказаться на улице, если председателю не угодишь. Вскоре стройка закипела — Гриша тесал бревна, ходил с карандашом за ухом, даже пить меньше стал; помаленьку дело пошло — по деньгам: один год — сруб, другой —

стропила, шиферная крыша, третий — отделка... Лида насажала плодовых и прочих душистых кустарников — жасмин цветет, или яблоня, или черемуха с калиной; летом мимо идешь — изобилие, абрикос мостом лежит, травы не видно; малина ясная, груши от сока лопаются, подсолнухи больше солнца, головастые, и пчелы со всего околотка слетаются. И все как бы само собой зреет, наливаются, здоровое, крупное, — зеленый рай! Верка тем временем вышла замуж раз, пожила два месяца со свекровью — разошлась без последствий, не понравилось. Тут же, спустя неделю, за другим очутилась. Вовка тоже женился, ушел в примаки. А у Лиды новоселье, сидит за двором, на лавочке кленовой со спинкой, рядом Гриша; ноги вытянул, солнцу подставил; что-то со здоровьем нелады последнее время, ну, отлежится — и дальше по двору: ходит, ищет работу, топориком постукивает.

Потом Гриша слег. Совсем ноги отказали. Лида жаловалась в магазине, в очереди (время в стране было странное — водку ограничили): «Такой нудный Гришка стал, скулеж каждый день: помру да помру, — на ведро когда встанет, когда нет, придуряется...» — «А ты своего пенсионера в дом престарелых отправь», — подзадорила Лиду подружка Таиска. Поохотали, посмеялись, а на следующей неделе к новому дому по улице имени поэта Некрасова подкаатила машина с голубой надписью «Социальная служба» и эвакуировала Гришу в приют. Лида приободрилась, расправила плечи, встретила моего отца, подмигнула: «А я снова невеста!»

Но тут случились неприятности — все сразу пошло прахом. Вовка проворвался, угодил на «химию», что-то накуролесил и там; его снова судили и отправили в лагерь на Север. Верка развелась, заявила домой битая, но не успокоенная — дружки-грузины, лавочники-киосочники, ехали и шли как к себе домой ночью и днем. Лиде это не нравилось, но делать было нечего — времена наступили не те, чтобы доярка могла построиться или купить какую-нибудь завалашую хатенку. Приходилось терпеть дочь, выхаживать младенца Сергея, хотя колхозно-акционерные коровы стали тощие и молоко давали через раз.

Она как-то осунулась, присмирела; рот провалился, как у старухи, хотя зубы вставила, улыбалась широко, железно. Но бодрости не теряла, легко двигалась, билась за жизнь. Помню, стоим мы в толпе на остановке в городе, подходит автобус — битком! Лида просто ввинчивается в створки и меня за собой тянет: «Давай лезь, мы с тобой худые, как тараканы, в щелки забьемся», — затащила-таки! Пить она меньше стала — «охоты нету, знаешь». А может, Таискин пример подействовал — та совсем спилась, дом бросила, живет подаяннем да сбором пустых бутылок, ночует где придется; красивая была женщина, могучая, солидная, как Людмила Зыкина.

Ну вот. Туда-сюда, а тут мама говорит: «А Лида Мостикова опять замуж вышла». Что сказать? Насидишься в девках, надумаешь, но и один раз не соберешься, все строишь прогнозы, предположения, трудностей пугаешься, несходством характеров и проч. Ай да Лида!

А вышло вот что. Отец Веры и Вовы, злостный антиалиментщик, пьянь подзаборная, туберкулезный больной, все-таки удостоился благоустроенной квартиры в райцентре. Лида как узнала — сразу к нему. Глаз у нее, конечно, наметан, да и жизненный опыт каков! Сразу поняла: не жилец. Что уж она говорила Тихону Ильичу, неизвестно, но вскоре Верочка с Сережей прописались и въехали в квартиру к папе, сам Тиша обосновался на той же кровати, где почивал когда-то Гриша, а Лида снова в заботах — как же, муж законный, загосый! Неделю пожили, а дальше она все как положено справила — и похороны, и поминки, и девятый день, и сороковой...

Поликлиника у нас в одном здании с домом престарелых. Нужна мне была справка о флюорографии, иду летом, жарко, в тень стараюсь попасть. Возле здания на скамеечках старушечки в платочках, беленькие, отмытые, щебечут, прохожих взглядами провожают. С краю сидит дедушка с палочкой. Присмотрелась — ба, старый знакомый!

— Здравствуйте, дядя Гриша, — говорю.

Он взгляделся, узнал. Поздоровался.

— Как здоровье? — киваю на ноги.

— Ничего, подлечили. Хожу вот, думаю.

Мы посидели, помолчали.

— А она приехала позавчера меня забирать. — Я вскинулась, не поняла. — Ну, Лида-то, — пояснил Гриша. — Я не пошел. Кормят нормально. На папиросы дают... Цветы в горшочках. Культура!

Дома я рассказала про Гришу. Посмеялись, поудивлялись. Потом на свои дела перешли, что-то про огород, про сад... Орех грецкий посадили, каждый год вымерзает. Летом, конечно, отходит, побеги дает, но роста никакого. Картошка чистая, три раза прополотая, но жук заедает колорадский, и в прошлом году неурожай, и в этом, наверное, тоже. Вот разве что огурцы... Да, с огурцами этим летом повезло.

## БАБЬИ БЕДЫ

— Мужики, они и не знают, что это такое, — говорила Гале Пронченковой свекровь, ерзая под коровой и норовя ухватить за распухшие доёнки, — а бабы, бедные, сколько переносят! Три раза подоить надо, харчи готовить. А зимой? С одной топкой сдуреешь... Да стой, курва! — Корова подняла заднюю ногу, явно намереваясь лягнуть хозяйку, отогнать ее от вымени. — Нет, ничего не получается!

Корова отелилась у Пронченковых вчера утром, переходив срок, и до сих пор ни разу не отдала молока. Вымя с правой стороны налилось и отяжелело, будто туда положили бульжник. Видимо, прикосновение к нему доставляло корове боль, и она всячески старалась оберечься, переступая слабыми после родов ногами и вертя печальной, упрямой головой.

— Давай телка подпускать, — скомандовала свекровь.

Галя, спотыкаясь и обреченно цепляясь за обтрепанный мотузок, пыталась затормозить движение голодного теленка, который сразу, будто караулил у дверей, перемахнул через порожек сарая и устремился к матери. Сил у новорожденного было, пожалуй, побольше, чем у Гали, и она опасливо подбирала ноги, остерегаясь матово-розовых, нежных на вид копытец. Телок таки дорвался к корове и с наслаждением, закрыв глаза, пуская лохматую молочную пену, припал к здоровой доёнке. Молока не хватало, и время от времени он раздраженно, властно шырлял головой вымя, требуя добавки. Мать мужественно терпела сыновью ненасытность и лишь изредка подавала жалобные утробные звуки.

— Забирай, — махнула рукой свекровь, пожалев корову. — Небось не подохнет. Наотголодь оно лучше.

С еще большими усилиями Галя отволокла теленка в сарай. Свекровь упрямо чистила выгул.

— Надо врача звать, — как бы в никуда сказала Галя. — Пропадет же корова!

Свекровь молча раскидывала из чистого угла солому. Невестку она не полюбила с первого взгляда, хорошо понимая несправедливость своего чувства и всячески с ним борясь. Но поделаться с собой ничего не могла. В Гале ее раздражало все: образованность (невестка работала в школе учительницей и, значит, как ни крути, была Алексею неровней); маленький рост — «Дюймовочку Пронченков взял», — слышала она как-то у магазина; а главное, то, что, старательно, хотя и неумело, помогая по хозяйству и выказывая почтение, невестка все же встревала в стратегические семейные решения. Вот и сейчас: Ромашка сроду после отела раздаивалась тяжело, понятно, что невестка намучилась, да и какая в ней сила при таком росте?! В последние месяцы Галя заметно подурнела, вокруг рта и на подбородке у нее высыпала мель-



чайшая розовая сыпь, и как она ни изошрялась, чем бы ни мазала ее, болезнь не проходила. Денег же на притирки и присыпки, кремы и лосьоны было изведено пропасть. Вот и сейчас — мысль свекрови легко перескочила на параллельную колею — ветеринарше надо что-то давать. А зарплату молодые не получали с февраля, хотя нет, Алексей, кажется, с декабря. Пенсия не резиновая, на один хлеб нужны капиталы...

— Ладно, зови, — неожиданно для себя сказала свекровь. Она догадывалась о тяжести своего характера и в минуты таких прозрений обычно круто меняла решения.

Ветеринарша примчалась к ним на велосипеде прямо с огорода, не заезжая домой.

— Что тут у вас? — Она деловито, безошибочно, через тесно застроенный двор пробралась к выгулу, точным юрким взглядом осмотрела корову. — Держать собираетесь? — осторожно прикасаясь грязными пальцами к вымени, глухо, из-под коровьего пуза, осведомилась ветеринарша.

— Как это? — не поняла свекровь.

— А так, — ветеринарша отступила на шаг, выпрямилась, — скотина страшно хвора. Мастит на полвымени — раз. Потом, глядите, у нее ноги саблей, она к вечеру упадет совсем. Суставы распухли. Если сдавать, так думайте быстрее.

Свекровь потрясенно молчала, всматриваясь в животное как бы чужими глазами и действительно замечая и выгнутые дрожащие ноги, и перекошенное вымя, и шишковатые суставы.

— Кормили зимой чем? — продолжала врачаха. — Рыбий жир давали? Правильно, его не достать. Костную муку? Денег нету. Комбикорм? По большим праздникам. Больше жом и солому. Телок с нее все и повысосал.

— Миска, телок, — не выговаривая «ш», обратила на себя внимание трехлетняя Нюся. Обычно подвижная, шумная, сейчас она тихо стояла, прижавшись к маминной ноге и глядя большими, Галиными, глазами.

Ромашка, добрая коровенка! Смирная, покладистая, со знакомыми тепло-коричневыми пятнами на спине и по бокам! У свекрови непроизвольно наворачнулись безнадежные слезы. Она любила прикармливать корову черными подсолненными ломтями хлеба, приносила ей подогретую на солнце воду в новом ведре. А каких дебельх, крепких теляток приносила всегда Ромашка!

— Но вылечить можно? — упорствовала Галя, и свекрови впервые за четыре года совместного проживания понравилась невесткина настойчивость.

— Конечно, — с легкостью согласилась ветеринарша. — Но глядите, лекарства дорогие. Надо ехать в людскую аптеку, в город. Я напишу на бумажке, что надо. И лучше нынче. Завтра воскресенье, все позакрыто. Ничего, — видя искренне расстроенных женщин, смягчилась она. — Лекарства достанете, так я и уколы поделаю. Пойдет коровка! Да, Ромашка? — И врачиха осторожно погладила впалый, повлажневший бок.

...Галя прошла мимо верб, у подножья которых всегда была грязная стоячая вода. Но в это лето здесь посохли даже камыши, и на выбитом берегу затвердели следы перепончатых лапок, сиротливо серел птичий пух, рассыпавшийся на известь помет. Дальше, за вербами, открывался широкий луг, тропинка виляла в тонкой, неровно отросшей после покоса траве. Галя подумала о том, что Лисяное поставлено против всякой логики и целесообразности. Обычно населенные пункты возникали — Галя вспомнила из истории — у берегов рек, на пересечении торговых путей... Лисяное же будто выросло из случайно занесенного семечка, которое, накувыркнувшись по свету, где упало, там и проросло.

Наконец она вышла на трассу, на жирно лоснящийся от жары асфальт. Было самое пекло, пустая дорога пропадала у голубого, ясно очерченного горизонта. Солнце давно уже выпило из земли влагу, воздух тяжело стоял, и небо казалось до блеска начищенной плоской сковородкой. Галя переключивала целлофановый пакет с кошельком из одной руки в другую и копила в

себе отчаяние: дорога молчала. Вспомнилась свекровь с назиданиями: «В городе люди работают бросают рано, а ложатся поздно». Усмехнулась — конечно, если не успеет за лекарством, то виновата она, городская.

От жары и безысходности думалось медленнее. Галя покопалась в воспоминаниях, нашла хорошие. Представилась мать — большие, пахучие, румяные пирожки с картошкой на деревянном блюде — «Вставай, доченька», — слышала она сквозь детский, такой же розовый и румяный, сон. Мать истаяла от болезни («рак», позже объясняли соседи), когда Гале было девять лет. Отец запил, пропадал ночами, но все же твердил в трезвые воскресенья: «Подожди, дочка, я тебя выучу, мы с тобой еще...» Он умер, когда Галя училась на четвертом курсе, успев перед этим жениться и прописать мачеху с двумя сыновьями. Мачеха оказалась женщиной веселой, нахально-разгульной, со следами яркой красоты. В том, что знакомство было случайно-вокзальным, Галя не сомневалась, но отца жалела. Мальчики, разительно непохожие друг на друга («дети разных народов», как звала их мачеха в минуты возлияний), были одинаково вороваты и безалаберны. И Галя, давно осознававшая себя взрослой и самостоятельной, вдруг растерялась, как бы сказала сейчас свекровь, «выпустила вожжи из рук». Как-то само собой вышло, что она перебралась в университетское общежитие, хотя никто ее не гнал, но надо было готовиться к диплому, Галя нуждалась в тишине, сосредоточенности. Дома же постоянно что-то пропадало, переставлялось, от прежнего уюта не осталось и следа. Мальчишки заклеили стены в ее комнате плакатами с изображениями мотоциклов, рок-групп, мускулистых суперменов. Мачеха курила по всей квартире, от вещей пахло помойкой. Галя потеряла дом.

Надо было что-то делать. К математике, наверное, у нее были способности, задачки решала она легко, не задумываясь, занятая какими-то другими, смутно осознаваемыми ею, мыслями. Но когда строгий, подчеркнута аккуратный вдовец-профессор предложил остаться в аспирантуре, она отказалась, почему-то усомнившись в своих силах. Она трудно представляла себя ученой дамой, какой-нибудь кандидаткой в очках, непременно одинокой неудачницей. Галя поехала по распределению, выбрав Лисяное, где председатель обещал сразу дать квартиру.

Никакой квартиры, конечно, не было. Год, и два, и три Галя прожила у полуглухой молчаливой старухи — сельсовет ей доплачивал десятку «за учительницу». Председатель, с которым Галя иногда сталкивалась, переживал из-за своих старых обещаний, ссылаясь на перестройку — «они мне все планы перебили» — и уважительно советовал, глядя с высоты своего великанского роста на маленькую Галю: «Вы бы, Константиновна, выходили замуж. А колхоз молодоженам построиться всегда поможет».

Галя давно не ходила ни в клуб, ни на танцы, чувствуя себя скучной, старой и отсталой среди крупных, грубо накрашенных, шумливых старшеклассниц-учениц. К очередной зиме надо было готовить дрова, и Галя, наученная горьким опытом, загодя, с июля, начала тормозить председателя. К сентябрю дрова привезли — кудрявый, улыбчивый тракторист Алексей сгрузил у двора целую тележку. «А пилить? А колоть?» — строго пытала его Галя, внутренне удивляясь своей нудности — парень ей был приятен. «Все сделаем, хозяйюшка, — шутил тракторист, улыбаясь завидными зубами, — готовь бутылку, наряд закрывать».

Он приходил работать к вечеру, сбрасывал рубаху, и Галя невольно любовалась его ладным, молодым загорелым телом. Несколько раз она угощала его чаем, смотрела тепло, как на любимого ученика. Вот он деликатно ест варенье маленькой ложечкой — видно, что останавливает себя из приличий, скованно держится, боясь что-то сделать не так, недоверчиво вглядывается в разложенные на столе конспекты. Он был моложе Гали почти на три года. В ноябре они расписались...

На дороге возникла черная точка. Она росла, приобретая очертания, и теперь казалось, что машина беззвучно движется по воздуху, не прикасаясь

к липкому полотну. Галя, не дожидаясь, пока она приблизится, заранее подняла руку и просительно помахала. В красных «Жигулях» последней модели величаво проплыл, не поколебав профиль, хорошо известный в городе независимый адвокат Брехов. Славу он себе нажил победами в скандальных бракоразводных процессах. Галя долго огорченно смотрела ему вслед.

Конечно, она не любила Алексея, но ей нравилась в нем уважительность, веселая готовность услужить. Да и что значит любовь? Есть ли она? Волнующие половые отношения может к старости вспомнить, наверное, любая нормальная женщина — и нещадно битая мужем-пьяницей деревенская баба, и утонченная, положившая жизнь на поиски светская красавица. А что-то другое, называемое любовью, признаки которого, зачастую противоречивые, рассыпаны в книгах, — есть ли это на самом деле? Или любовь — для избранных? Может, она такая же редкость в жизни, как исключительная одаренность — допустим, математическими способностями? Одним даны таланты к наукам, другим — к технике, третьим — к страстям, здраво рассудила Галя и перестала терзаться раздумьями.

На неприязнь свекрови она сначала пыталась не обращать внимания, да и некогда было: первые замужние месяцы, быстро забеременела. Ходила тяжело, мучилась токсикозом, порастеряла коренные зубы, с трудом, в областной больнице, родила Ньюсю. Чуть оправившись и оглядевшись, попыталась поговорить с мужем: «Нас трое, семья. Давай строиться», — и неожиданно натолкнулась на непримиримое, почти грубое сопротивление. Алексей заматерел, поредел кудрями, стал шире и казался ниже ростом; теперь он вел себя так, будто владел какой-то лишь ему известной житейской тайной. У него появилась привычка фамильярно, покровительственно хлопать жену по плечу и самоуверенно говорить: «Все нормально, мать. Цыц!» И Галя с горечью чувствовала себя все больше и больше одинокой, загнанной в нескончаемую круговерть. Узенький мирок Лисяного с его убогими новостями: «Васька опять напился, гонял свою», «У Рыковых поросенок сдох, так они его на тушенку сдали»; раздутое хозяйство, поглощающее все время (а как жить, если его не держать?); безденежье и вечная зависимость от свекрови. Почему-то особенно тяжело в минуты размышлений Гале было наедине с дочерью, и нервные слезы туманились и гасли в глазах. Ночью, теперь уже редко, она стоически терпела мужнину любовь и думала, что, если включить свет, ее глаза были бы наверняка такими же, как у Ромашки, когда она неумело начинала ее доить. Муж молча сопел, а она жалела его, думая, что ему, пожалуй, неприятно все это делать, ведь не дурак же, все понимает. Да еще эта сыпь на лице... Однажды Галя все-таки выбралась в область, когда проходила очередную аттестацию, достоялась в очереди к знаменитому, пользующемуся авторитетом в городе врачу-дерматологу. Седенький старичок смотрел пронзительно, молодо, весело; двигался легко, гибко, шутил, и Гале сразу стало с ним просто. Он долго, отвлекаясь на случаи из своей практики, расспрашивал ее про родственников, наследственность, питание, про то, чем она уже лечилась и какая у нее семья. На прощание выписал рецепт, протянул:

— Попробуйте на всякий случай. Но, — старичок покосился на медсестру, — успеха не гарантирую. Заболевание у вас не кожное. Нервишки, знаете ли. Не обижайтесь на меня, старого дурака, — врач сделал паузу, — я вам искренне, жалея вас, советую — заведите себе любовника!

Галя развеселилась от воспоминаний — надо же, любовника! Она представила выражение лица свекрови: «Мама, я влюблена!» — и засмеялась. От жары смех получился глухой, трескучий. По дороге ровно, словно глядя асфальт, неслась черная, похожая на акулу иномарка. Галя безнадежно махнула. Машина точно забрала вправо и четко остановилась рядом. Дверь мягко распахнулась.

— До города довезете? — заглядывая в салон, упавшим голосом спросила Галя.

В машине сидели трое. Галя автоматически отметила два бритых затылка-близнеца впереди и некрасивого мужчину в зеленых шортах на заднем сиденье. В голове у нее мгновенно промелькнули ужасы групповых изнасилований, больная Ромашка, поджавшая губы свекровь, Нюська...

— Садись, красавица! — имитируя грузинский акцент, весело пригласил щетинистый мокрогубый мужчина в шортах. — Ты чего по такой жаре в джинсах ходишь?

— Хожу, потому что ноги мыть некогда, — вздохнув, объяснила Галя, влезая в машину, и с достоинством, будто делала это всю жизнь, небрежно хлопнула дверкой иномарки.



---

---

ПАВЕЛ ЛАВРЁНОВ

\*

## КОСИНОЖКА

Рассказ

*По многим бытовым признакам читатель увидит, что в предлагаемом рассказе (написанном ёмко, плотно и нигде не провисающем) детство описано не нынешнее, а сегодняшних тридцатилетних. Мир ребёнка отражён детально, изнутри, — и в комочках этого мира, где никогда не прорастали понятия о добре и зле, а жестокость — первопохвальна, мы видим ту почву, из которой выросло сегодняшнее.*

*И невозможно не задуматься: а что же с нынешними, и вовсе заброшенными детскими поколениями? — и как это отдастся нам в будущем?*

*А. Солженицын.*

**Д**имка лежал животом на горячем бордюре и играл с косиножкой. Бордюр был высокий, и можно было не бояться испачкать майку и шаровары о пыльный асфальт и землю. Место это ему нравилось: с одной стороны ровная площадка, где они с пацанами играли в футбол или клёк, а с другой — земляной скос, прикрытый тенью забора и магазинным сараем. Тень появлялась во второй половине дня, а прогретый бордюр долго хранил тепло. От земли потягивало прохладой, живот грел камень, и было видно все до самого дома, и сзади, в случае чего, все заметишь — никто не подкрадется и не даст неожиданно шелобана. А то недавно еще выдумали подкрадываться и бить по заду концами пальцев — «оттяжка» называется. Димка «оттяжке» научился сразу, сложного ничего нет, главное — чтобы пальцы расслаблены были и бить порезче сверху вниз. Заденешь чуть-чуть, а прожигает до пяток, ходит «оттянутый» и долго трет мягкое место. Научиться бы еще шелобаны с «оттяжкой» давать, чтобы пальцы об голову не отбивать. Шелобан обыкновенный не больно получается, а с махом дашь — выходит больно, шишак поставить можно. Потренироваться надо, поспорить с кем-нибудь о чем-нибудь и потренироваться. А то сейчас даешь и палец отбиваешь — неизвестно, кому больнее.

Косиножка заперебирала ногами и ушагала на стенку бордюра. Димка, потрогав ее ноги щепочкой, выгнал обратно. С косиножкой играть хорошо, далеко не убежит — бегаёт медленно. Ноги длинные, а скорости нет. Сороконожка — вот юрка! Сравнил! У той сорок ног, а у этой всего — раз, два... восемь. А может, у сороконожки не сорок? По виду меньше, маленькие, не сосчитаешь. Эх, в сентябре в школу, хорошо, что садик закончился, и хорошо, что лето дома. У взрослых отпуск есть, а в садике никаких отпусков. Дома ешь что хочешь, а в садике — что дают, и попробуй не выпить кипя-

---

Лаврёнов Павел Павлович родился в 1959 году в Магнитогорске. Закончил факультет русского языка и литературы Магнитогорского пединститута. В «Новом мире» печатается впервые.

ченное молоко, сразу в угол поставят. Взрослым хорошо, они кипяченое не пьют, а здесь пенку отгоняешь-отгоняешь, а она все равно в рот лезет. Большая пальцем убирается, маленькие выловить трудно. Аньку один раз заставили выпить, так ее вырвало. Воспитательница заругалась, велела пол вымыть и все равно в угол поставила. Надо не сидеть было, а отдать, кто пьет. Димка всегда так делал. Уговаривал с самого утра, иногда и вафлю довеском прибавлял. И кисель с пенкой. Мама варит — и никогда пенки нет. Давали и пудинги с пенкой. Варенье слижешь, пудинг перевернешь, мягкое съешь, а остальное уговоришь дежурного в мойку утащить. Если дежурный чужой тарелкой прикроет, то пронесло, а нет — воспитка заставляет сказать, кто не доел. Если не скажет — дежурного самого заставляет доедать. Кто же обеды есть будет? Бывало, не доедят много и воспитка просмотрит, тогда няня из мойки выскакивает и орать начинает: тарелки перепачкали, не отмываются. Дежурный мыть идет, а потом в угол. Хорошо, если в углу в сончас стоять, а если после полдника — гулять не пойдешь и не поиграешь. Сончас — самое мученье. Лежать надо не шевелиться и руки сверху простыни. Раскладушки деревянные, как козлы для пилки дров, и расшатаны сильно, скрипят. Попробуй повернуться, сразу засекут и отругают, могут в трусах перед всеми поставить. И новые железные, низенькие, скрипят. Их раскладывать надо внимательно, ножки до упора разводить, а то ляжешь — и грохнешься. Димка с пацанами иногда подстраивал эти раскладушки, ножки полностью не раскладывал. Раз подстроили одну просто так. Люся, самая хорошая девочка, весь сончас проспала и не грохнулась, а вставать стала, ножка сработала. Она язык прикусила, в больницу возили зашивать. Воспитка перепугалась, даже допроса не сделала. Да и не сознались бы. А если бы кто насекотил, на него и свалили бы.

Косиножка долго не двигалась. Так — не интересно. Ножки как волосы, а туловище толстое, серое. Димка прищемил щечкой одну ножку, косиножка дернулась. Живая. Почему — косиножка? Может, из-за тонких ног? Девчонок с худыми ногами так дразнят. У них в группе Любка-косиножка. Воспитка опозорила ее один раз. На сончase, когда все легли и руки сверху простынь положили, воспитательница ушла. Некоторые подумали — насовсем, до конца сончаса. Книжки стали под простынями смотреть, с игрушками играть. Димка с краю лежал, заметил, что Елена Николаевна за стенку встала и караулит. Она не видела, что он ее видит, — уметь смотреть надо: глаза закрываешь, а сам сквозь ресницы смотришь, главное, чтобы веки не дрожали, а то догадается, что не спишь. Елена Николаевна постояла-постояла и тихо вошла, а Димка-то притворился, что спит, и как будто во сне заворочался, заскрипел раскладушкой: так кто с краю знак всегда подавал — шухер! Димка забормотал даже похожее на «Елена»... Воспитка на него внимания не обратила, прошла на середину комнаты и ряд просматривает. Кто умело притворился, того она не тронула, а Любка слишком правильно лежала — на спине, а рука одна под простыней. Воспитка простыню сдернула и увидела, как Колька с Любкой шупаются: раскладушки вплотную стояли, места мало. Воспитка обоих — в угол. После сончаса стыдила при всех. И к Димке придралась. Тоже в углу стоял почти до прихода родителей. Елена Николаевна вообще злая, и не сделаешь ничего, все равно придерется. Последнее время на скамейку сажала. Знает, что сидеть тяжелее, чем стоять. А Колька — дурак, лучше бы в уборную ходил, там заловить трудно. Любка бы будто по нужде собиралась делать, а он стоял бы и щупал. Кто войдет, и не заметит: руку можно быстро убрать, за перегородкой не увидят. Если спросят, почему подглядываешь, главное — хорошо притвориться. Виноватым сделаться и отвечать тихо. За подглядывание не сильно ругают.

Димка подул на косиножку — не боится ветра, а сама легкая. Наверное, ноги сильные. Пружинят? Пальцем нажал на туловище. Интересно. Понаподавливал еще. Косиножка зашагала. Большая, а не страшная. Прищемив щечкой ногу, чтобы не двигалась, Димка стал качать пальцем серое тулови-

ще. Приспосабливаясь, косиножка шире растопырила ноги и почти легла брюшком на каменный бордюр. Качать стало не интересно. А жаль, что в школу только с семи лет берут. В школе деньги свои будут. Каждый день на пирожки пятнадцать копеек или двадцать. За зиму накопишь — и все лето мороженки покупай. По семь копеек фруктовое в бумажном стаканчике самое вкусное. Вкуснее только «Ленинградское», в шоколаде, так оно и стоит целых двадцать две копейки и бывает один раз за лето. Днем не купишь — родители на работе, а вечером уже нету — разобрали. По семь-то копеек не всегда бывает. А в нем и стаканчик использовать можно: поставишь на дорогу и каблуком как бабахнешь! И палочки, когда скопятся, квадратом переплетешь, пускалка хорошая. Выше третьего этажа летает.

Жаль, что бутылки только у взрослых принимают, — так бы давно насобирали на рубль. И за забором возле сарая валяются, и за домом в овраге. За домом больше всего, там мужики политуру пьют. Осадок этот скользкий выковырять трудно, так если бы принимали, то выковырял бы. И из садика натаскать запросто. После полдника в беседке на две мороженки со сдачей почти всегда есть. Няня себе забирает. Не жалко. Она хоть и орет, зато не сексотит. Один раз сладкий рис с изюмом давали — вкуснятина, Димка дежурным попросился, тарелки уносить, выбирал побольше недоеденное и в мойке, когда второй дежурный выходил, доедал. Несколько тарелок отнес, почти наелся, тут няня и увидела. Подошла и говорит: «Давай добавки дам». Димка застеснялся, это, говорит, я просто так. А она по голове погладила и не сказала никому, только маме. А мама Димку никогда не ругает. Просил ее сварить такой рис, не варит почему-то. Таковую вкуснятину каждый день ел бы. Кутья называется.

Косиножка стала вялая, растопырив ноги и легши брюшком, никуда уже не уползала. Димка потрогал ее щечкой. Замучил, что ли? Тихонько подул. Совсем не ползет. Ленится. Это когда к праздникам песни новые учили, воспитка все психовала: «Ленитесь! Ленитесь!» Страшала: «Плохо споете — игрушек больше не увидите». В песнях этих слова не запоминаются, а петь весело надо. Пели по-разному, зато конец праздника всем нравился. Поорать можно было сколько хочешь, и тебя похвалят еще. Когда все кончалось, группа строилась перед родителями и заведующей и хором кричала: «Спасибо партии за наше счастливое детство!» Орала во все горло, старались друг к другу прислониться, чтобы уши у соседа заложило. Нажимали на «си», «па», «на», «ли» и «де». Родители улыбались, хлопали. И воспитательница довольна. Долго потом в группе повторяли «сипаналиде». За это одергивали тоже, хватит, говорят, бессмыслицу бесконечно долдонить. Не понимают. Димка вздохнул: замучил косиножку, новую не быстро найдешь. Взяв пальцами за туловище, выдернул заднюю ногу. Косиножка ожила, побежала с бордюра. Так же бегаёт. Димка выдернул вторую, с другого боку. Косиножка будто быстрее даже побежала. Притворялась, что умерла! Это Татьяна Ивановна, другая воспитка, тоже притворяется. На них лицо злое делает, а с некоторыми родителями улыбается, добрая. Еще две оторванные ноги на скорость повлияли мало. Проживет с четырьмя? А с двумя передними? Упираясь ногами, косиножка тащила себя прочь. Даже когда осталась и одна нога, она работала ею так же сильно, только теперь не могла сдвинуть с места туловище. Выдернув последнюю ногу, Димка перевернул на спину лысое тельце. Живот у косиножки был светлый, дырок от выдернутых ног не видно. Еле различался рот, а может, это и не рот, теперь не определишь. Мягкая, как шарик. Он покатал ее пальцем, получился катышек. Чуть придавил, и катышек брызнул жидкостью. Вытерев палец о бордюр, перевернулся на спину. Отлежал живот.

Тень от сарая покрыла площадку. За забором от магазина отъехала хлебовозка. Чаше захлопала дверь подъезда — соседи пришли с работы. И на улице народу прибавилось, слышно, как разговаривают. На сарай залезть, что ли? Одному неинтересно, и убежать одному хуже — поймают или запомнят.

С сарая всех людей видать. Леха залез один раз и продавщицу огурцов засек, сидела между забором и сараем. Дразнить начал, пацанов назвал. Она сидит и просит: «Мальчики, не смейтесь, я помидоров объелась». А Леха дразнит: «Дристунья, дристунья...» Потом она ему бесплатно долго всякое давала, чтобы при покупателях не дразнил. С Лехой весело, всегда что-нибудь выдумает или найдет интересное. Везет ему. Один раз полтину нашел, а один раз крест настоящий. Крестик маленький, алюминиевый. Димка его сам на зуб пробовал. На кресте человек мертвый, почти голый. В увеличительку смотрели. Леха предложил Димке на пистолет меняться, а он — дурак, что ли: кто крест имеет — значит, в тюрьме сидел. Всем известно. Кресты у тюремщиков на руках нарисованы. Они людей убивают, а потом, когда в тюрьме посидят, рисуют себе. От креста опасность. Мертвого на себе носить — сам умрешь. Всем ясно. Его и показывать никому нельзя. Никто с Лехой меняться не стал. Он расплющил его кирпичом и выбросил.

Димка встал с бордюра: камень остыл. Домой пойти, что ли? Есть хочется. Проверил ключ, висевший на шее, — не потерял. Отряхнул сатиновые шаровары, майку. Сзади послышался шорох. Димка быстро обернулся — так и есть, Леха подкалось «оттяжку» сделать. Умеет подкрадываться.

— Не получилось, — Димка усмехнулся, — я тебя давно услышал.

Леха принял равнодушный вид:

— Я ничего и не собирался делать. Я, наоборот, хотел тебя позвать за дом. Глянь-ка, — вывел руку из-за спины, — хорош кошелечек?

Кошелек большой, кожаный и толстый. Везет же!

— Где нашел?

— Где надо. Идешь за дом? Прохожих травить!

От такой игры никто не откажется. Димка обрадовался:

— Я место хорошее знаю — кусты густые и от тротуара далеко. Самый раз! Пошли!

Выйдя за дом, мальчишки обсудили место и, выбрав момент, распутали нитку, залезли в кустарнике. Кошелек положили на краю тротуара. Прохожих было то много, то мало, и все спешили. Некоторые выходили из магазина и не смотрели по сторонам, другие, одетые в спецовки, смотрели только под ноги.

Первой заметила бабка. Она несла в сетке яички и выбирала дорогу. Бабок интересно травить. Они долго травятся и бегать не умеют. Старуха остановилась перед кошельком, огляделась. Пропустив пару прохожих, медленно нагнулась. Леха, выбрав момент, потянул нитку. Кошелек выехал прямо из-под руки. Класс! Мальчишки засмеялись: у Лехи глаз точный!

— Дай, я! Дай, я!

— погоди, еще разок травану.

Лешка прицелился. Бабка промахнулась опять. Мальчишки давились смехом.

— На, только рано не дергай.

Оберегая яички, старуха вновь шагнула за уползшей находкой. Теперь нагнулась проворней. Димка не рассчитал, дернул сильно. Бабка застыла с протянутой рукой. Догадалась. Пацаны громко захохотали. «У, окаянные!..» И погрозила кулаком. Лешка выскочил из кустов, корча рожи, закричал вслед дразнилку: «Старая карга, на пирога...» Он легко сочиняет. Кого хочешь задразнит.

Вторым клюнул толстый дядька. Толстых не страшно травить. Толстые не догонят. Они камнями кидаются. Дядька нагнулся только раз. И ничего не сказал. Даже когда Леха кричал: «Лысая башка — дай пирожка», — не обернулся. Не интересно.

Народу прошло много, но все были какие-то молчаливые, хмурые. Димкин папа тоже такой приходит. Димка просит его вечером поиграть или рассказать что-нибудь, а он говорит: «Поиграй сам, сынок, устал я». Димка прохожих различает. Если кто в спецовке, заляпанной известкой, — значит, на



стройке работает, а если в старом пиджаке — на комбинате. В их доме почти одни строители живут. Дом большой, трехэтажный, и подвал есть. В подвале старые бабушки и дедушки живут. Их дом самый лучший. Папа говорил, что когда его строили, то по ошибке вместо гвоздей раствор привезли. Обратного отправлять нельзя: застынет в кузове — зубами не отгрызешь. Чтобы не пропал раствор, им стену поштукатурили. Начальник ругался: дом-то по плану деревянный, и технология нарушена. Да куда теперь денешься, пришлось штукатурить весь. Про начальника потом в газете написали, хвалили, а дом в газете сфотографировали. Вырезка из газеты хранится. Папа, когда упросишь, читает ее Димке. Статья «Достойная жизнь» называется. И поселили лучших. Сейчас дом состарился, штукатурка отваливается. А соседние дома просто деревянные, засыпные, между досок шлак насыпан. Как этот шлак пахнет, Димка знает, — железом каленым. Так вперемешку с горячим асфальтным запахом прохожие в пиджаках пахнут. Они, когда не пьяные, — не злые. Строители злее. Строители идут часто с работы пьяные, а комбинатовские в овраге собираются. И сейчас там сидят, из магазина с кульком вышли.

Лежать становилось скучно. Одежда от земли отсырела, вдобавок одолевали мухи. Димка привстал:

— Я, Леха, домой пошел. Никого уже не будет. Раньше надо было начинать.

— Ну, полежи еще, — Лешка уцепил за шаровары, — до первого прохожего!

Прохожий появился из того самого оврага. Пьяный сильно. Такого можно травить. Нельзя — которые выпивши: догонят. Покачиваясь, мужчина пробовал петь, но, не выговаривая слова, больше мычал. Поравнявшись с мальчишками, закурил. Кошелек лежал рядом. Мычание прекратилось. Заметил! Против ожидания дядька наклоняться не стал, а наступил ногой. «Сорвалось!» — Лешка досадливо стукнул кулаком по земле. Мужчина, не убирая ноги, присел, взял в руки находку. Открыв, сунул внутрь пальцы и, озираясь, заматюгался. «Сработало!» Леха вскочил, громко захохотал, задрезнул: «Вонючая рука — ищи дурака...»

Благополучно убежав, мальчишки насмеялись вдоволь. «Он всю руку перемазал, — покатывался Лешка, — я специально жидких какашек наложил». Пересказав несколько раз друг другу событие, разошлись по домам.

Ужинал Димка с аппетитом. Мать, как всегда, посоветовала, что он весь день не ел и что присмотреть за ним некому. Похудел.

— Чем занимался днем, Дима?

Димка притворился, что вспоминает, а сам выбирал, о чем можно рассказать. Всего не расскажешь — совестно.

Не выбрав, протянул:

— Ну... гулял... Мама, а почему косиножка так называется?

— Потому что движение ножек, когда она ползает, похоже на мах косы. Другое ее название — сенокосец. — Мама погладила Диму по голове. — Маленький мой, беззащитный.

— Мама, а знаешь, что такое «сипаналиде»? Хочешь, скажу? Это мы сами в садике придумали.

— Ложись спать, сыночек, поздно уже. И нам с отцом рано вставать. Мне еще на день еды приготовить надо.

Спать Димке не хотелось. Он долго лежал в постели и смотрел на красное окно. Всю ночь стекла будут светиться огнем. Димка знал — это от большого завода поджигаются земля и небо. Днем тоже горит, но из-за солнца не видно. Их город для страны металл плавит. И река у них знаменитая, в ней Чапаев утонул. Постепенно откуда-то стали всплывать дерущиеся в овраге мужики, бегущий за ним дядька, пожалевший смолы из бочки, шевелящиеся сами по себе ноги косиножки. Издалека послышался гул, и Димка

вдруг увидел текущий к нему жаркий поток раскаленного железа. Спасаясь, отчаянно позвал маму.

— Дима, Димочка, страшное приснилось? — Мама поправила одеяло, поцеловала в щеку.

Повернувшись к стенке, Димка закрыл глаза и стал вспоминать хорошее. Появившееся чувство одиночества не проходило. В садике, когда ругали до слез, они дули на пушинки одуванчика и шептали свои желания — посылали письма. Верили, что эти письма попадут на небушко.



---

---

## ИЗ КНИГИ ПСАЛМОВ ДАВИДОВЫХ



### Псалом 22

Господь — мой Пастырь,  
нет мне нужды:  
на пажитях щедрых  
пасет Он меня,  
к водопоям покоя  
ведет Он меня,  
обновляет душу мою,  
пути правды  
открывает Он мне, —  
ради имени Своего.

Если в низине,  
где смерти тень,  
ляжет мой путь,  
не убоюсь зла!  
Ты — со мною,  
Твой жезл и Твой посох  
защитят меня.  
Ты устроил мне пир  
у гонителей моих на виду,  
умастил елеем главу мою,  
и полна чаша моя.

Так! благость и милость  
провождает меня  
во все дни жизни моей,  
и несчетные дни  
мне пребывать  
в Господнем доме!

### Псалом 116/117

Хвалите Господа, народы все,  
славьте Его, все племена;  
ибо крепка над нами милость Его,  
и верность Господня стоит вовек.  
Аллилуия!

Псалом 117/118

Славьте Господа, ибо Он — благ,  
 ибо вовеки милость Его!  
 Пусть же Израиль возгласит:  
 да, вовеки милость Его!  
 Пусть же возгласит Ааронов дом:  
 да, вовеки милость Его!  
 Пусть же возгласят благоговейные:  
 да, вовеки милость Его!

Воззвал я ко Господу, бедою тесним,  
 и услышал Господь, и дал мне простор.  
 Господь за меня, не усташусь:  
 что сделает мне человек?  
 Господь со мною, Он — Защитник мой,  
 и воззрю я на врагов моих.

Лучше на Господа уповать,  
 чем надежду иметь на людей.  
 Лучше на Господа уповать,  
 чем надежду иметь на владык.

Все неверные окружили меня,  
 но именем Господним я их превозмог.  
 Обступили, окружили меня —  
 но именем Господним я их превозмог.  
 Окружили меня, как рой пчел,  
 полыхали, как в тернах огонь, —  
 но именем Господним я их превозмог.  
 С силою толкали, сбивали с ног, —  
 но Господь не дал мне упасть.

Господь — сила моя и песнь,  
 и Он — спасение мое.  
 Ликования, спасения вопль  
 у праведных по шатрам:

«Десница Господня являет мощь!  
 Десница Господня превознесена!  
 Десница Господня являет мощь!»

Не умру, но буду жить  
 и дела Господни возвещать.  
 Наказал, о, наказал Он меня,  
 но смерти не предал меня.  
 Отворите же мне правды врата,  
 войду в них и Господа восхваляю!  
 Вот Господни врата,  
 праведные ими войдут.

Хвалю Тебя, ибо Ты услышал меня  
 и был во спасение мне.  
 Камень, что строители кинули прочь,  
 соделался главою угла.

От Господа сии дела,  
дивны они в наших очах.  
Вот день, что сотворил Господь:  
возликуем, возвеселимся о нем!

О, Господи, поспеши спасти!  
О, Господи, поспеши помочь!  
Благословен, кто во имя Господне грядет.  
От дома Господня благословляем вас.  
Бог — Господь, и воссиял Он нам!  
Вяжите жертву на торжестве  
у самых жертвенника рогов!

Ты — Бог мой, и восславлю Тебя,  
Ты — Бог мой, и возвеличу Тебя.  
Славьте Господа, ибо Он благ,  
ибо вовек милость Его!

### Псалом 120/121

Подниму взоры мои к горам —  
оттуда придет помощь ко мне.  
От Господа помощь мне,  
от Создателя небес и земли!

Он не даст оступиться твоей стопе,  
не забудется дремотой Хранитель твой;  
о, не задремлет, не уснет,  
Кто Израиля хранит!

Господь хранит тебя, от Господа тень  
осенит десницу твою.  
Не будет тебе днем от солнца вреда,  
ни от луны в ночи.

Господь хранит тебя от всякого зла,  
хранит душу твою.  
Выходишь иль входишь — с тобою Господь,  
отныне и вовек.

### Псалом 148

Хвалите Господа с небес,  
хвалите Его на высотах;  
хвалите Его, все Ангелы Его,  
хвалите Его, все Воинства Его!

Хвалите Его, солнце и луна,  
хвалите Его, все светы звезд;  
хвалите Его, небеса небес  
и воды, что превьше небес!

Пусть имя Господне хвалят они,  
ибо велением Его сотворены;  
Он уставил их на веки веков,  
непреступаемый даровал закон.

Хвалите Господа от земли,  
чуда морские и бездны все,  
огонь и град, снег и туман,  
вихрь грозы, творящий слово Его,

горы и все холмы,  
плодовые деревья и все леса,  
дикие звери и все скоты,  
пресмыкающиеся и пернатых род,

цари земли и народы все,  
владыки и судьи земли,  
отроки и девы в кругу,  
старцы с юными заодно!

Имя Господне да восхвалят они,  
что несравненно превознесено;  
на земле и на небесах —  
слава Его.

Он множит силу народа Своего,  
хваление Ему от всех верных Его,  
от Израилевых сынов,  
от ближнего народа Его.

### Псалом 150

Аллилуия!  
Славьте Бога во Храме Его,  
славьте Его на тверди небес,  
где явлена сила Его!  
Славьте Его в делах мощи Его,  
славьте Его во многом величии Его!  
Славьте Его гулом труб,  
славьте Его звоном лютней и арф!  
Да славит Его тимпан и пляс,  
да славят Его струны и свирель,  
да славит Его кимвала звон,  
да славит Его кимвала зык!  
Всё, что дышит, да славит Господа!  
Аллилуия!

Перевел с древнееврейского Сергей Аверинцев.

## ДВА СЛОВА О ТОМ, ДО ЧЕГО ЖЕ ТРУДНО ПЕРЕВОДИТЬ БИБЛЕЙСКУЮ ПОЭЗИЮ

Когда мы переходим от русских и церковно-славянских текстов Библии, что у нас на слуху, и от тех греческих оборотов Септуагинты, к которым восходят предлагаемые ими решения, и от привычных из западной словесности латинских библеизмов к древнееврейскому оригиналу, нас потрясает прямота выражения: такая прямота, при которой каждый раз выбирается поистине кратчайший путь от реальности к слову и от слова к сердцу. В сравнении с этой прямоотой любое самое прекрасное переложение покажется искусственным и декоративным: торжественность вместо первозданности и благочестие вместо самой святости. А там слова всё больше краткие, никакого «плетения словес», сплетания корней (так удающегося, признаться, по-гречески и по-славянски); ритм свободный, но отчетливый и сжатый — тонический отсчет ударений, чаще всего по три. Естественный, как дыхание, речитативный распев. И такие созвучия! Знаете, как будет перечисление из 148 псалма, стих 4 — «Небеса небес, и вода, яже превыше небес»? «Šmej haššamajim whammajim 'ašer me'alal haššamajim», эти словно сами собой, как в хорошей народной присказке, снова и снова подвертывающиеся и складно ложащиеся на язык живые «ш», «м» и «й». (Кто бы написал про эти священные звуки так, как Манделштам, — про багряные «уни» и «ани» армянской речи?) И вот этого уж точно не передаст никакой перевод...

Во избежание недоразумений: когда я противопоставляю то, что Блаженный Иероним называл «*Hebraica veritas*», то есть словесную подлинность еврейского текста, даже и самой Септуагинте, созданной еврейскими книжниками дохристианской эллинистической поры в Александрии и оказавшей необозримое и плодотворное воздействие на становление всей христианской культуры, я имею в виду энергию речи и облик слова, а не те смысловые различия, которые имеются в некоторых местах между Септуагинтой и дошедшим до нас так называемым масоретским еврейским изводом Библии; нет сомнения, что создатели Септуагинты имели перед собой в качестве оригинала текст в некоторых частностях отличный от того, который был фиксирован в VI — X веках н. э. еврейскими учеными «масоретами», — для догуттенбергской эпохи некий коэффициент текучести текста само собой разумеется, и удивляться приходится скорее тому, что расхождений так мало (хотя с полемическими целями они нередко до крайности преувеличиваются). Вполне похоже на то, что в ряде случаев именно Септуагинта отражает более древний извод. Как раз в случае Книги Псалмов проблем такого рода практически нет; и я говорю сейчас не о текстологии, а о самом качестве языка.

В чем дело? Язык Септуагинты — это язык богословской рефлексии; чего стоит, скажем, слово *Павтокрѣтор*, в традиционной славянско-русской передаче «*Вседержитель*»! Это же вероучительный тезис: Бог объемлет весь универсум Своей властью, Бог всемогущ (в некоторых случаях, например в псалме 90, по масоретскому счету 91, стих 1, где Септуагинта и вслед за ней славянский перевод предлагают иные варианты, Синодальный перевод и дает — вслед за латынью Бл. Иеронима — именно «*Всемогущий*» как синоним к «*Вседержитель*»); и сложный состав двукорневого слова — под стать богословской теме. А в подлиннике этому соответствует имя «*Шаддай*». Различие очень типично. Во-первых, опять-таки по-гречески и по-русски получается вдвое длиннее — по четыре слога против двух. Во-вторых, «*Вседержитель*» — это эпитет, «*Шаддай*» — имя собственное. В-третьих, в составе этого имени нет абстрактных, мыслительных слов-концептов вроде «*всё*». По правде говоря, его этимология не так уж ясна, но очевидно, что передается идея мощи — то ли через образ сокрушительного действия (если от корня šdd), то ли, что вероятнее, через соотнесение с образом гор (уступаю искушению вспомнить цветаевское «*Богу сил, Богу гор*»). Не рефлексия, не дискурс — первичный опыт, лежащий в основе любого богословствования. Если

бы не было церковнославянского *«Крепкий»* (*«Святый Боже, Святый Крепкий...»*), такого же особенного, древнего, одновременно и понятного, и не совсем прозрачного, такого же краткого и сжатого, имя это, пожалуй, было бы уж вовсе непереводимо.

...Девять лет назад я сидел за столом в иерусалимском доме известного переводчика Библии на французский язык Андре Шураки (André Chouraqui). О его переводе чуть ниже скажу несколько слов. Монологу этого изощренного экспериментатора (и в давнее время — собеседника известных деятелей французской культуры, а также Бубера) был неожиданно предпослан наподобие эпиграфа немудрящий еврейский анекдотец. Еврей переходит границу; таможенник спрашивает: *«Что в сумке?»* Еврей отвечает: *«Шофар»* (то самое, от звука чего развалились стены Иерихона, — духовой инструмент из бараньего рога). *«А что такое — „шофар“?»* — спрашивает таможенник. На этом месте еврей, должно быть, вспоминает всю европейскую традицию библейских переводов: *«Ну, труба»*. — *«Так бы и говорил — труба»*, — ворчит таможенник. А еврей: *«Так ведь шофар — это ж не труба...»* (Шураки, в лицах представляя героя анекдота, делал на этом месте выражение одновременно беспомощное и хитроватое. В его собственном переводе шофар называется только *«шофар»* — *shophar* — и больше никак.) Для разговора о переводе, согласитесь, довольно пессимистический эпиграф. *Шофар — не труба, труба — не шофар*; что сказано на одном языке, не выйдет на другом; уже древний книжник в Александрии не мог не усложнять в греческой передаче таких сильных именно своей простотой слов пастуха Давида, а уж мы-то, сегодняшние, — насколько же мы дальше от того состояния слова, которое хотя бы на головной манер сумел так точно обозначить в своих стихах Гёте: *«...Wie das Wort so wichtig dort war, / Weil es ein gesprochen Wort war»* (*«...До чего же весомо было там слово — ибо это было слово выговариваемое»*). Да, выговариваемое, проговариваемое, выкрикиваемое нараспев, выпеваемое — живое, и в записи устное, а не так, чтобы написать, а ученые коллеги после глазами прочитают... Это-то автор «Западно-Восточного дивана» схватил абсолютно верно (что бы ни говорить о присущей этому гётевскому циклу совершенно небиблейской атмосфере несколько туристского любования и самоуслаждения, европеец отдыхает от своих проблем на патриархальном азиатском ветереке).

В XX веке были предприняты переводческие попытки помочь европейскому читателю почувствовать именно те особенности ветхозаветного слова, которые не вмещались уже в Септуагинту и затем в прочие переводы. Довольно понятно, что наиболее радикальные эксперименты последовали со стороны иудаизма (правда, в обоих случаях весьма либерального и, что называется, открытого): это *«Die Schrift»* очень известного еврейско-немецкого философа и писателя Мартина Бубера и *«Bible»* вышеупомянутого Андре Шураки (который по причине своих филохристианских чувств перевел и Новый Завет). Не менее понятно, что немецкий язык способен к экспериментам по части передачи первоизданности несравнимо лучше, чем чересчур цивилизованный французский. К тому же недаром Герман Гессе в свое время — правда, безуспешно — предлагал Бубера именно как немецкоязычного писателя на Нобелевскую премию. Бубер — весьма незаурядный стилист, а у истоков работы стоял его также весьма известный, рано умерший сотоварищ по культурной работе Франц Розенцвейг. Литературно буберовская работа выглядит убедительнее. Так или иначе, частота, с которой сегодня перевод Бубера переиздается в мире немецкого языка, а перевод Шураки — во Франции, весьма велика, и притом примерно в равной степени; очевидно, они отвечают какой-то реальной потребности, которой не может удовлетворить ни традиционный тип перевода, ни осовременивающие парафразы типа *Good News Bible* на всех языках. При отмеченном выше различии в литературном качестве у них есть общие черты. Их сила — в пристальности, с которой они вглядываются в лексические нюансы подлинника, даже в этимологию слов (Шураки заходит в этом особенно



далеко). Их слабость, увы, в искусственности выражения. Поэтика буберовского перевода обусловлена мощным влиянием немецкого символизма, культурная атмосфера которого была, что ни говори, родиной для этого философа, с еврейской традицией связанного отношениями куда более мечтательными. Так чувствуется, что неподалеку и Оттоге, и Рильке, и эссеистика «философии жизни», и югендштгиль. Из этой атмосферы вырастает стратегия поисков первозданности слова, отдаленно сопоставимая с языковыми изысками Хайдеггера, тоже ведь устремленными к первозданности, к реконструкции того, что до всего, — но, говоря по-шиллеровски, не «*наивно*», а вполне «*сентиментально*»: сложность взывает простоты на путях дальнейшего усложнения. Та опасность, которая у Бубера оборачивается стилизацией, у Шураки больше похожа на ученый эксперимент; в конце концов, его перевод норовит оставить как можно больше слов вовсе не переведенными, а транслитерированными, как в случае с «*шофаром*». Для меня оба перевода — это не совсем переводы для читателей, скорее переводы для переводчиков. Но для переводчика я лично не вижу возможности без них обойтись. Это каждый раз — напоминание об особенно трудных обязанностях, заставляющее сильнее напрячься в усилие если не преодолеть, так уменьшить расстояние между словом Библии и нашим, таким поздним, словом (для начала почувствовав это расстояние).

Заметим, что, когда мы говорим об особенностях подлинника в сравнении даже и с Септуагинтой, свести вопрос к разнице лингвистической или, так сказать, культурно-морфологической между эллинством и иудейством было бы не совсем корректно. Дело в том, что и разработка Библии в еврейской среде и в пределах по крайней мере семитской языковой сферы, в таргумах, то есть арамейских переводах-парафразах, в особенности же в мидрашах, то есть экзегетико-гомилетических толкованиях, совершенно неизбежно движется все дальше от пророческого опыта, в сторону теологической рефлексии, не совсем такой, как грекоязычная, но по-своему сменявшей парадигму. Слова, как это совершенно естественно в ходе умственного развития, дифференцируются в своем значении, а потому отходят от статуса «выговариваемого слова» и приближаются к статусу термина. Или вот то же имя «*Шаддай*», о котором шла речь. Септуагинта заменила его, как мы видели, богословским эпитетом. Но раввиническая интерпретация предлагала разять его на «*ша*» и «*ддай*» («*Который-довлеет*»), превратив из имени также в учительный тезис о Божественной самодостаточности... Путь от опыта к доктрине.

Если им уже тогда не доставало простоты — что сказать о нас?

Вот еще несколько примеров, чтобы яснее был масштаб трудностей.

В Синодальном переводе в первом стихе первой главы Книги Иова про героя сказано, что он был «*непорочен, справедлив*» — по смыслу все так (кроме того, что между эпитетами, группируемыми попарно, нужно бы союз — «*непорочен и справедлив*»); но по-еврейски сказано — «*tam wjašar*», что дает для начала в два раза меньше слогов; нет, вы послушайте, как звучит «*непорочен и справедлив*» и как звучит «*tam wjašar*»! И какие это в оригинале слова! «*Там*» значит, собственно, «целый», «без ущерба», от которого ничего не отколото и не отбито, ни с какого края не сыскать хитрой и царапающей зазубринки, а значит — без вреда, без вины, без лукавства; «*jašar*» — слово, известное еще в аккадском, — это «*прямой*», «*ровный*», опять же без кривизн, без ухабов, без подстерегающих провалов и ям; «*прямой*» и в нравственном смысле, но так, что нравственный смысл непосредственно и на наших глазах следует из смысла сугубо конкретного, зрительно-осязательного. Лютер когда-то перевел «*schlecht und recht*» — в те времена «*schlecht*» могло еще значить вовсе не «*плохой*», как в наше, а «*скромный*», «*простой*» (ср. современное «*schlich*»). Это звучало одновременно и лаконично, и как присловье, что, пожалуй, неплохо. Но нынче словосочетание «*schlecht und recht*», став в прежнем смысле непонятным, давно уже оторвалось от контекста и употребляется в совсем иных значениях.

Или вот: «*Исповедайтесь Господеви, яко благ, яко в век милость Его*», — слышим мы в наших храмах начальный стих 117 псалма (по масоретскому и

протестантскому счету 118). По-еврейски «*hodu...*» — «*благодарите Господа*», тот самый корень, что присутствует в слове «*спасибо*» на иврите, в том слове, которое в Израиле приходится тысячу раз на дню говорить и слышать при обстоятельствах сугубо будничных. (Однако благодарственная жертва обозначается в Библии тем же самым словом; уж такая мудрость языка, не позволяющая вовсе уж отлучать житейского от святыни — в конце концов, наше «*спаси Бога!*», «*спаси Господи*», есть формула тоже сакральная.) И до чего же по-разному звучит: «*исповедайтесь*» — шесть слогов, «*hodu*» — всего два. Синодальный перевод — «*славьте*», что достаточно обосновано семантикой и притом хорошо передает фонетическую сжатость, концентрацию смысла. В моем переводе читатель найдет на этом месте то же слово — ничего лучшего я не придумал. Но теперь придется против ожидания читателя сказать несколько слов в защиту церковно-славянского перевода (и стоящей за ним Септуагинты). Дело в том, что еврейский глагол «*благодарить*» явственно, ошутимо связан с семантикой *знания* и *признания* (корни соответственно JDN и JD') — как русское «*признательность*». Благодарить Бога — значит *осознать* в себе самом и *признать* перед Ним и людьми, что обязан Ему благодарностью; а это уже значит в некотором смысле «*исповедать*» и даже «*исповедаться*». Славяно-греческая усложненность передает какие-то оттенки смыслового богатства подлинника, которых иначе и не передать.

Или псалом 144/145, стих 16, где по-славянски звучат слова, вошедшие в молитву перед трапезой: «И исполняеши всякое животно благоволения». Понятно ли, о чем идет речь? Можно ли сказать, что хищный зверь, получивший от Бога соответствующую его натуре пищу, при удовлетворении своего голода полон благоволения? В подлиннике сказано: «...*umasbija' lekhoh-haj razon*». Собственно, текст можно понимать двояко. Либо *razon*, «*желание*», «*воление*», — это царственное изволение Бога, проявляемое Им при одарении твари пищей. Этой интерпретации следует Синодальный перевод: «...и насыщаешь все живущее по благоволению», — имеется в виду: по Своему благоволению. Так же понят текст у Бубера: «*Der du deine Hand öffnest und alles Lebende sättigst mit Gefallen*». Либо речь идет о «*желании*» твари, которое удовлетворяется пищей; каждое существо получает «*по желанию*», как по-русски говорится, «*вволю*» — что ему надо и сколько ему надо. Так понимает Шураки: «*Tu ouvres ta main et tu assouvís tout vivant à sauhait*». И здесь тоже неожиданно хочется сказать несколько слов в защиту славянского перевода и стоящей за ним Септуагинты. Подать пищу, то есть, собственно, пригласить к трапезе, к накрытому столу, — это для патриархального сознания никогда не «*всего лишь*» удовлетворение потребности в еде; это как сказать «*мир тебе!*». (Я в детстве слышал от старших, как русская, укрывавшаяся от сталинщины в Средней Азии и специализировавшаяся на поисках воды в пустыне, во время этих поисков вышла однажды к стану так называемых басмачей, которые как раз в это время присели поесть. Она понимала, что ей грозит, но знание местных обычаев внушило ей без замедления подсесть к трапезе: приобрести таким образом статус гостыи, она получила не только свою долю еды и воды, но и неприкосновенность.) Живые существа за широким столом Творца — это ли не «*благоволение*»?

А вспомните, чему в первом псалме уподобляется жизнь праведная, благословенная, благодатная (опять не обойдешься без лексики греко-славянской), — дереву, которое вовремя приносит свои плоды и листву которого не поражает болезнь, которое растет и растет. Гумилев мечтательно желал стать таким деревом, чтобы «*не плакать и не петь*», «*безмолвно поднимаясь в вышину*»; но праведники в псалмах заливаются плачем и песней — а ведь вправду подобны деревьям. Здесь «*наивно*», то есть реально, дано то самое, о чем Руссо или Толстой размышляли, увы, лишь «*сентиментально*»: неущербленная, неискривленная простота.

Сергей АВЕРИНЦЕВ.

---

---

# ЭКОЛОГИЯ РОССИИ

АНАТОЛИЙ ГРЕШНЕВИКОВ

\*

## ГИБЕЛЬ ВОД

**П**итьевой воды на планете осталось крайне мало: на каждые 100 литров питьевой приходится только три, остальные 97 — соленые. Почему человек не бережет реки и моря, не расчищает родники, не прекратит вырубать водоохранные леса и не спасает болота — безупречные хранилища влаги? Размышления над этими вопросами привели меня в политику, и я уже не один год работаю в Комитете по экологии российского парламента. Пять лет назад мы приняли закон «Об охране окружающей природной среды», год назад — *Водный кодекс*. После их принятия мне казалось, что соответствующая деятельность человека настолько регламентирована правами и обязанностями, влекущими за собой наказание, что у него волей-неволей поубавится хищнический аппетит. Увы, надежд на силу Закона все меньше, страха перед надвигающимся экологическим бедствием — все больше. Руки опускаются, но надо продолжать начатое. В парламенте разработка законов идет своим чередом. И у нас в Комитете по экологии уже почти готовы важные законодательные акты — «О питьевой воде», «О лицензировании пользования водными объектами», «Об охране озера Байкал».

...Мое детство, как и многих других, прошло с удочкой в руках на лесных озерах и чистых речных омутах. Пока вырос и стал экологом — речки моего детства уже не стало: она умерла, не выдержав молевого сплава, вырубки ивняка, мелиорации пойменных лугов, осушения болот и залповых промышленных выбросов. Осталась, правда, у нас в Борисоглебском, что на Ярославщине, еще одна река — покрупнее и позначимее. Но и она мелеет на глазах. Более того, из нее уже нельзя брать воду: у нее отвратительный запах, она — источник опасных болезней. Рыбу, правда, мы с сыновьями все-таки ловим и варим уху, только вот здоровая ли это пища — пока неизвестно.

Качественный состав воды можно определить только в лаборатории. На вкус не установишь, сколько в ней железа, цинка, пестицидов, фосфора, — поэтому человек готов пить любую воду, лишь бы она внушала доверие с первого взгляда.

Но если бы перед тем, как выпить воду, человеку был известен ее состав, вряд ли бы он пригубил ее. Вот поставить бы соответствующий фиксатор качества воды у крана в каждом доме! Тогда, к примеру, судомойки в заполярном Ямбурге сразу узнали бы, почему их руки от работы покрываются болячками. Ямальские газодобытчики так загадили берега и воды Обской губы, что во всем Ямало-Ненецком округе питьевой воды почти не осталось. Какие же меры приняла местная власть? С 1996 года в Ямбург стали завозить экологически чистую воду фирмы «Аква» из Финляндии. Каждый литр стоит недешево — 5 тысяч рублей! Таково наказание за безалаберность и экологическое невежество ямальских газодобытчиков.

---

Продолжаем публикацию экологических очерков члена Государственной Думы, одного из разработчиков природоохранного законодательства России А. Н. Грешневикова (см. «Новый мир», 1995, № 10 и 1996, № 2).

Конечно, чистую воду для питья можно доставлять и с Байкала — это ближе, дешевле. Да, вероятно, не по уму. Еще труднее, видимо, оборудовать артезианские колодцы или использовать ледники полярного Урала. Нет, мы как в сырьевой колонии — чистую воду будем завозить издалека. А тех, кто отравится местной, станем лечить. Недавно четыреста работников эвакуировали из Ямбурга с диагнозом инфекционного гепатита, или, говоря по-русски, с желтухой.

Не один десяток лет мы хлорировали воду: известное дело — хлор обеззараживает ее. А что происходит с водой дальше — нам вовремя не сказали. Только совсем недавно заместитель председателя Госкомсаннадзора России Анатолий Монисов порадовал нас, невежд: оказывается, хлорирование ведет к образованию хлорорганических соединений, в том числе диоксинов, дурно влияющих на человеческое здоровье. Я тут же связался с главным санитарным врачом России Беляевым и спросил: очевидно, нам, разработчикам законопроекта «О питьевой воде», следует запретить использование хлора? Ответ был малоутешительным: нужно переходить на технологии озонирования, но они нам сегодня не по карману.

А между тем из регионов поступает тревожная информация: диоксины обнаружены в Тюмени, Новосибирске, Уфе, Чапаевске.

Новосибирцы в основном пользуются ресурсами водохранилища, расположенного выше города. Когда ученые нашли в его донных отложениях хлорорганику, то, кроме них, никто не забил тревогу. А в любой цивилизованной стране незамедлительно стали бы принимать срочные меры. Новосибирская же власть молчит, видимо в ожидании первых больных, а затем начнет завозить экологически чистую воду из Финляндии.

Когда русский народ складывал сказки, он уже знал о пользе воды живой, умел колодцы копать, родники беречь. Петр Первый ввел даже дифференцированный налог, оберегающий чистоту рек и озер: по речному льду запрещалось наводить зимники, дабы лошадиный навоз не портил воду. Дороги вблизи рек прокладывались на расстоянии не менее четырехсот метров.

При коммунистах реки и озера замордовали плотинами и трубопроводами, навоз с колхозных ферм по-прежнему течет в местные водоемы; 70 процентов болезней в России именно от этой неживой воды. Заболевания множатся, продолжительность человеческой жизни сокращается.

За последние годы качество питьевой воды значительно ухудшилось: капиталовложения на строительство водопроводов и канализации сократились.

В России сегодня более 50 процентов водопроводных сетей превысили срок эксплуатации и находятся в угрожающем состоянии. Около 70 процентов промышленных предприятий вовсе не имеют очистных сооружений, предпочитая сбрасывать отходы в реки и озера. Вот почему в России так обострилась проблема питьевой воды. Она повсеместно некачественная. От такой воды легко получить любую инфекционную болезнь.

\* \* \*

...Знакомство с московской системой водоснабжения, состоящей из нескольких водопроводных станций, оптимизма мне не прибавило. Рублевская и Западная станции пользуются водой из Москвы-реки; Северная и Восточная станции забирают волжскую воду из канала имени Москвы. Вода эта настолько зловонная и мутная, что специалисты сразу обеззараживают ее хлором, а затем добавляют в воду коагулянты, в результате муть оседает на дно фильтров в виде хлопьев грязи. Самое трудное — избавиться от навозного запаха. Приходится использовать марганцовку и другие «лекарства». Только вот достаточно ли «удобоварима» наша питьевая вода после стольких процедур?

Каждый день Москве для собственных нужд необходимо около семи миллионов кубометров чистой воды. Между тем ежедневно в Москву-реку только одна небольшая химчистка сбрасывает 20 кубометров воды, содержащей вредные химические соединения. В 1995 году в малые московские реки было сброшено 108 тысяч кубометров грязных вод. А ведь каналы для их отвода строились здесь уже в XIV веке.

Московская канализация — это почти шесть тысяч километров труб и коллекторов. Очистные сооружения за сутки пропускают больше шести миллионов кубометров сточных вод. Но качества воды очистка не гарантирует.

Житель столицы слишком расточителен: ежедневно тратит в среднем 600 — 800 литров водопроводной воды. Это в два раза превышает расход на душу населения в крупных европейских странах. Так как на Западе все и за всё платят, то и питьевую воду там расходуют экономнее. Ни в одной европейской столице так остро не стоит проблема питьевой воды, как в Москве. А тот факт, что наши стандарты качества не соответствуют принятым Всемирной организацией здравоохранения, говорит сам за себя.

Весной паводок смывает в Москву-реку сотни тонн навоза. В 1996 году только на берегах Москвы-реки было складировано 450 тысяч тонн удобрений! О том, что просачивается в водопроводную сеть вместе с талыми водами, догадаться нетрудно: из крана исходит характерный «весенний» запах! Хотя в регионе поголовье скота и уменьшается, все навозохранилища переполнены и в первые дни половодья качество столичной воды резко ухудшается.

Еще до войны московские источники находились под охраной санитарных зон, предусмотрены были три пояса таких зон с полным запретом там любого строительства. Сегодня только на территории бассейнов Волжской водной и Москворецко-Вазузской системы построено 20 городов. А на речных берегах, как уже говорилось, расплодилось сотни сельхозпредприятий.

Ежегодно из столицы приходится вывозить 20 миллионов кубометров снега. Свалки устроены на реках: три на Москве-реке и пять на Яузе. Городской снег, конечно же, насыщен всевозможными ядовитыми веществами. Вода в реках в это время значительно превышает ПДК: по калию — в среднем в 35 раз, по хлоридам — в 50 раз, по натрию — в 111 раз!

Как же реагируют на такого рода загрязнения водопроводные станции? Как правило, они запаздывают включать дополнительную очистку.

В Москве улицы моют питьевой водой. А вот в Париже для этого существует специальная система полива. Но у нас, как сказал поэт, — «собственная гордость»: вначале очищаем воду, а затем ею моем город.

В Москве работает 900 предприятий на гальванотехнологии. Ежедневно они сбрасывают в канализацию 220 тысяч кубометров сточных вод и 435 кубометров отработанных растворов кислот и щелочей, содержащих к тому же 19 тонн ионов тяжелых металлов. Многие предприятия не знают, где захоранивать гальваношламы, для этого у них нет могильников. Отходы гальванических производств, содержащие никель, хром, цинк, кадмий, все чаще попадают если не на «дикую» свалку, то в канализацию. Москва-река за день получает около трех тонн тяжелых металлов. А в иловые осадки на полях аэрации внедряется 15 тонн ядовитых веществ. В качестве удобрения такой ил употреблять нельзя. Если кто использует — то отравляет продукты питания, а значит, и губит человеческое здоровье.

В Москву до сих пор вода поступает из поверхностных источников на территории Московской, Тверской и Смоленской областей. Любой промышленный объект, находящийся вблизи, влияет на качество этих гидроресурсов. Соли тяжелых металлов проникают глубоко в грунт, водохранилища отравляются; загрязняются даже подземные воды.

Любая — промышленная, химическая, ядерная — авария в Московском регионе может превратить проблему в неразрешимую, никакого резервного водоснабжения не хватит на то, чтобы поить город хотя бы неделю; столи-

це — кроме поверхностных источников — следует срочно разработать программу добычи питьевой воды из подземных горизонтов.

Сорок видов рыб, обитающих в Москве-реке, трудно назвать здоровыми. В Яузе раньше обитало 98 пород рыб, теперь — только одна. А в Филевской пойме — ниже по течению — все биоорганизмы давно вымерли. Самая выносливая рыба в Москве-реке — плотва. Но в последнее время она нередко поражена раком: на голове выступает заметная прозрачно-серебристая опухоль. Форма тела меняется, глаза вылезают из орбит — из серебристой плотва превращается в бурого уродца.

Число мутантов увеличивается с 10 процентов в верховье реки до 70 процентов в низовье. Признаки заболеваний у других пород рыб те же, что и у больной плотвы: телескопические глаза, отсутствие плавников и т. п. В реке у Бесединского моста обнаружены рыбы с циррозом печени. Рядом с Коломенским в Курьяновских сливах ихтиологи выловили много уклеек-мутантов — и это не случайно: здесь в 250 раз превышены ПДК канцерогенов и мутагенов. У рыб, пойманных возле Кремля, отмечено высокое содержание метафоса, его присутствие в пищевых продуктах губительно. В устье реки Сходни у плотвы цинка выявлено вдвое больше нормы, а свинца — даже в 2,8 раза! В общем, уха из московской рыбы может пахнуть не только нефтью, но и смертью.

Мосводоканал не раз предлагал приостановить отвод земельных участков в санитарной зоне, с тем чтобы улучшить качество воды в источниках питьевого снабжения столицы. Но планировщики и строители слышат только себя, забывая, что и им, и их потомству тоже необходима чистая вода. Хотя они и ведут себя на родной земле как инопланетяне, но пьют ту же воду, что и мы, простые смертные.

Нынче мэр Юрий Лужков стал подумывать об экономии воды с помощью квартирных счетчиков. За рубежом это уже давно практикуют, но там в водопроводных сетях нет черных труб с ржавчиной; там вместо черного металла при прокладке водопроводов используют оцинкованные или даже латунные трубы. Наша же ржавая вода выведет из строя любые счетчики.

Чтобы помочь Москве с водоснабжением, гидростроители девять лет назад предложили создать на Верхней Волге новое «рукотворное море». Проект подразумевал создание Ржевского гидроузла. В зону затопления попадали 9 тысяч гектаров ценнейших хвойных лесов и высокопродуктивных сельхозземель.

Борьба с авторами этого проекта была трудной, но от создания водохранилища все же отказались. Зато теперь новая напасть: уже приступают к реализации еще одного «проекта века», только нынешний должен не дать столице дополнительную воду, а, похоже, отнять у нее последнюю. Речь идет о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Новая дорога пережмет Валдайскую возвышенность, а значит, нарушит экологический баланс этого уникального региона, откуда берут начало Волга, Западная Двина, Мста, Молога, Ловать и др. По мнению экологов, поступление воды в столицу резко снизится, так как новая дорога затронет целостность многочисленных водотоков, озер, погубит речки и ключи, питающие Волгу. А что будет с реликтовыми болотами, дающими жизнь этим речкам? Им тоже грозит гибель. Волга на треть живет за счет грунтовых вод, ее благополучие во многом зависит от сохранности природных условий, сложившихся именно на Валдае.

\* \* \*

За последние годы убыли, потяжелели и помутнели воды крупных озер Северо-Запада России: Неро, Плещеева, Кубенского, Белого, Чухломского, Галичского.

В Ростове Великом озеро Неро «заглушает» вездесущий сапропель (ил) — его так много, что худо и городу, и воде; идет подтопление памятников мировой культуры.

Мелеет знаменитое Плещеево озеро в Переславле-Залесском. Трагедия началась со строительства в Переславле крупного химического завода: гиганту нужна была вода, и строители тут же на берегу пробурили глубокие скважины. Озеро подпитывали водоносные пласты. Когда головотяпы перерезали их — озеро стало мелеть. Чтобы поднять уровень Плещеева, на вытекающей из озера реке Вексе построили плотину. Вместо блага этот эксперимент принес новые беды: озеро зацвело, наступило кислородное голодание, участились заморы в местах скопления рыб. А ведь в Плещеево водилась рыба знатная: «царская селедочка» — *ряпушка!* Ее загубили — всю.

Решили возвращать озеру подземное питание. Однако Плещеево до сих пор на грани гибели; проблема альтернативного водозабора не решена. Берега в запустении, а недавно посаженный лес был съеден домашней живностью. Вот уж воистину гласит народная мудрость: «Семь раз отмерь, один — отрежь!» Ежедневно из озера берут до двадцати тысяч кубометров воды! Уникальная чистота его вод сохранилась только в воспоминаниях. Вот страшный итог психологии советских временщиков, и ведь никто из них не понес никакой ответственности.

\* \* \*

Ладога — питьевой водоем Петербурга: площадь этого огромного природного резервуара равна восемнадцати тысячам квадратных километров. Питерцы ежедневно потребляют три миллиона кубических метров воды.

Еще недавно считалось, что Ладога — самое большое и самое чистое озеро в Европе, что из этой гигантской чаши можно пить кружками без всякой предварительной очистки, как минералку. Теперь озеро зацвело и превратилось в сточную яму для промышленных и сельскохозяйственных отходов. И уже приходится говорить *о погибающих водах государственного значения.*

Чтобы понять трагедию Ладоги, надо сначала разобраться в катастрофе озера Дроздово — узкий перешеек отделяет от него Ладогу. Когда полвека назад здесь строился целлюлозный комбинат, никто и не думал еще про очистные сооружения.

Озеро километра два в длину, несколько сот метров в ширину. Человеческому глазу здесь все любо: крутые склоны, уютные острова будто в Греции, сказочный лес по склонам.

Те «яйцеголовые», что возвели в этих живописных местах комбинат, стали использовать Дроздово как промежуточный отстойник. Озеро агонизировало, накапливая на дне отходы, разлагалось, гнило, но никто не пришел ему на помощь. Ядовитая жижа из Дроздова стала перетекать в Ладогу, каждый месяц — миллионы кубометров нечистот. И Ладога зацвела.

Промышленность, транспорт, колхозы спускали в озеро ежегодно около 1,4 кубокилометра неочищенных стоков, содержащих отравляющие вещества. С западного берега потянулись нефтяные пятна, с левого — северного — совхозы сбрасывали пестициды, с восточного — с лесной биржи — устлали дно топляками.

«Резервуар» для отработанных стоков стали нещадно эксплуатировать Сясьский ЦБК, Тихвинский завод «Трансмаш», Лесогорский завод искусственного волокна, объединение «Глинозем», новгородский «Азот», Киришский и Бокситогорский биохимические заводы. Животноводческие комплексы «Спутник» и «Пашский», не располагая установками по обезвреживанию стоков, тем не менее решили пристроить рядом второй свиноводческий комплекс, что равносильно соседству с крупным индустриальным центром.

Травили-губили озеро — и наконец стали замечать его старение.

Над озером, в атмосфере, зарегистрировали 450 тысяч тонн (!) вредных веществ, из них более 200 тысяч тонн сернистого ангидрида — главной составляющей кислотных дождей. А в озерной толще — устойчивый рост концентраций тяжелых металлов, биогенные вещества, которые вызывают активнейший рост водорослей.

Активное образование сине-зеленых водорослей по всему озеру (их помнит каждый валаамский паломник или турист) — показатель предельного перенасыщения Ладоги фосфором. Больше всего сбрасывает фосфора (невзирая на персональные предписания о прекращении сброса) Волховский алюминиевый завод.

Как-то сюда приехала госкомиссия доказать безвредность целлюлозного монстра, запугать людей безработицей и бездомьем. Планировали — в показательных целях — демонстративно выпить стакан озерной воды, но охотников не нашлось, никто из членов комиссии не осмелился пригубить стакан с «дроздовской чистой».

К 2000 году фосфорная нагрузка на Ладогу может достичь величины, достаточной для превращения озера в невосстановимый уже для жизни, мертвый водоем.

Правда, Приозерский целлюлозный комбинат ныне перепрофилирован. Следующий единственно спасительный шаг — создание сплошной рекреационной зоны с выносом отсюда промышленных предприятий и совхозов.

Между тем высокая власть думает о другом — например, о строительстве на берегу Ладоги крупной нефтеперевалочной базы, куда водным путем предполагается доставлять нефть и хранить ее — до дальнейшей транспортировки в страны Скандинавии. Министерство топлива и энергетики РФ настаивает перед Совмином Карелии: оказать «содействие в решении чрезвычайно важной государственной задачи по перевалке экспортных нефтепродуктов». Совмин отказал. Тогда под шумок совместное российско-шведское предприятие «Росскан» развернуло бурную деятельность на живописном берегу озера: стали тайком вырубать лес под будущую нефтебазу.

Карелия вынесла проблему строительства нефтебазы на местный референдум в 1993 году. Народ проголосовал, разумеется, за чистую Ладогу. Сохранится ли теперь водоохранная зона?

\* \* \*

Трудно поверить, но в международный перечень городов, обустроенных канализацией, Петербург не включен.

Это не свидетельствует, конечно, о полном отсутствии здесь канализационных и прочих сетей, просто канализационные трубы Петербурга выходят прямо в реку — и таких труб без очистных сооружений здесь более двухсот. Около полутора миллионов кубометров ядовитой отравы в год поступает в реки и Финский залив. Зарубежные экологи считают Балтику самым большим коллектором сточных вод. Естественно, теперь добавляют: Балтика — сточная яма Европы.

Ладога, Нева и Балтика — единый природно-хозяйственный комплекс.

Нева собирает свои воды с территории Ленинградской и Новгородской областей, а также Карелии. В ее бассейне — 48 308 рек и 26 261 озеро.

Через канализационные сети в петербургские реки попадают тысячи тонн нефтепродуктов, соединений алюминия и тяжелых металлов. И реки — вымирают. Первой задохнулась от донных отложений и летучих фенолов Карповка, на очереди — Славянка: в ней предельно допустимая концентрация нитритного азота превышена в 12 раз! Не сегодня-завтра «кончится» и Охта — она ежегодно травится ста миллионами кубометров стоков, из которых 80 процентов — маслянистые фракции. Такого рекордного показателя загрязнения не знает, кажется, ни одна река. Но она все еще «трепыхается», неся свои отравленные воды в... Неву! Несколько лет назад Охта уже умерт-



вила четверых детей, искупавшихся в ее водах; диагноз «прост»: лептоспироз — острая инфекция, разрушающая почки, печень, мышечную ткань. Петербуржцы ежедневно в опасных дозах поглощают эту отраву.

Окончательная гибель Балтики *неминуема*, если не обезопасить тонны иприта на ее дне: боеприпасы с отравляющими веществами лежат там в количестве 267 875 тонн после сверхсекретной операции, проведенной в 1946 — 1947 годах по уничтожению германского химического оружия. Смертоносный груз был заложен в трюмы полусотни старых судов и затоплен в проливе Скагеррак, связывающем Балтику с Северным морем. Последний этап захоронения завершился по решению Тройственной комиссии (США, Англия, СССР) 26 декабря 1947 года. 35 тысяч тонн трофейных немецких боеприпасов и контейнеров с ипритом, фосгеном и люизитом, а также газом «Циклон» были затоплены на глубине около ста метров в районе датского острова Борнхольм и 5 тысяч тонн — в районе порта Лиепая. Эти трофеи — в нарушение договора — отправлены на дно россыпью. Ныне состояние ядовитого морского кладбища приобрело угрожающий характер; в последние годы рыбаки стали затравливать смертоносные контейнеры в свои сети.

Детонатором трагедии на Балтике может послужить любое случайное повреждение одного снаряда: зараженная территория будет тогда простираться в радиусе 10 — 15 миль от эпицентра взрыва. Отравляющие вещества типа иприт — сильнейшие мутагены. Естественно, они изменяют надолго, а может, и навсегда генетический код морских живых организмов. А для нарушения генетического кода человека достаточно одной молекулы такого вещества. Если своевременно не обезвредить контейнеры — трагедия малообразимых ныне масштабов неизбежна. Хотя как их эффективно обезвредить — тоже никто не знает.

\* \* \*

Что такое наши водохранилища — клоаки, и только? Нет, это еще и кладбища. Вот Рыбинское — в верховьях Волги. Здесь покоится не только лес, но и город Молога, 710 старинных русских сел и деревень, 500 тысяч гектаров плодородных земель. Как сказано у поэта:

Кульги ветров загребушие  
да колокольни, встающие  
тихо из мертвых зыбей...

Уничтожение Мологи — преступление века<sup>1</sup>.

О «чистоте» Рыбинского водохранилища можно узнать у жителей Череповца. Три десятка предприятий ежегодно сбрасывают в Шексну (а значит, и в Рыбинское водохранилище) около 150 миллионов кубометров сточных вод; 4 миллиона из них вообще не очищены, 71 — очищен недостаточно. От одного Череповецкого металлургического комбината в бассейн Волги поступает в год около 54 миллионов кубических метров отходов. Уголовные дела здесь заканчиваются просто — *выговором начальству*.

Череповец терпеливо ждет завершения строительства оборотных систем водоснабжения, которые прекратят сброс отходов в водохранилище. А пока — растянутая во времени экологическая катастрофа.

...В Рыбинске — из-за аварии на очистных сооружениях в 1995 году — была объявлена чрезвычайная ситуация. Фильтры водоочистных сооружений и решетки оказались забиты нефтепродуктами, мусором, илом.

Ученые Института биологии внутренних вод РАН на Ярославщине поддерживают идею *спуска* Рыбинского водохранилища. Но начать следует не с

<sup>1</sup> См.: Нестеров Юрий. Молога — память и боль. Верхне-Волжское книжное издательство, 1991; Зайцев Павел. Записки пойменного жителя. — «Наш современник», 1995, № 11 — 12.

верхнего каскада, а с «молодого» — Чебоксарского. Обоснование простое: с пуском Чебоксарской ГЭС и сотворением водохранилища скорость течения Волги упала в 10 раз, в результате река утратила спасающие ее процессы самоочищения.

У великой реки — великие проблемы. 45 процентов промышленного производства России сосредоточились в ее бассейне; производственные сбросы составляют в год почти 40 процентов загрязненных стоков всей страны. При этом водообмен в реке уменьшился в 12 раз.

Волжский бассейн деградирует на глазах: растет смертность населения, катастрофически беднеют окрестные флора и фауна. Нарушена вся природная система очищения волжской воды.

Из-за примитивных очистных сооружений и сосредоточения таких природопожарающих гигантов, как нефтеперерабатывающие и автомобильные предприятия, в число главных могильщиков Волги вышли Ярославская, Нижегородская и Самарская области.

1996 год особенно памятен — как год критического обмеления реки. В прибрежных лугах сократился укос многих ценных кормовых трав.

Вода из-под крана в некоторых волжских городах с ржавым оттенком отдавала бензином. Нехватка питьевой воды становится здесь неразрешимой проблемой.

У любой полноводной реки — свой флот. Но не каждая река — кладбище кораблей, барж, понтонов, брандвахт, баркасов. На Волге же отработавшие «железяки» ржавеют десятилетиями, отнимая у рыб кислород, пути их миграции. Только в акватории Астраханской дельты брошено несколько сот судов (это 50 — 60 тысяч тонн металла).

Волго-Ахтубинская пойма оказалась в зоне экологической опасности и терпит поражение из-за ракетно-ядерных полигонов Капустин Яр и Азгир, а также Астраханского газоконденсатного комбината — источника сероводородных загрязнений.

Указом Президента РФ два миллиона гектаров земли по левому берегу Волги в Астраханской области, содержащие в своих недрах 100 миллионов тонн нефти, переданы в долгосрочную аренду российско-французскому СП с участием компании «Эльф-Акитен», еще два миллиона гектаров правобережья Волги, хранящие 400 миллионов тонн нефтегазоконденсата, сданы в аренду российско-германскому СП с участием компании «Доминекс»; перечень таких сделок можно продолжить. Совместные предприятия подобного типа в настоящее время — пример экологического нигилизма, для них существует один закон: прибыль! Волга для них, чужаков и корыстников, — предмет эксплуатации.

В регионе волжских истоков сосредоточено свыше шестисот больших и малых озер. Самое славное среди них — Селигер, его роль особенно важна. Это резерв питьевого водоснабжения Москвы. Но даже при введении особого режима водопользования здесь часты случаи загрязнения водоема: то с полей в озеро стекают химические удобрения, то местный кожзавод умудряется за день сбросить 12 тысяч кубометров промышленных стоков и 6 тысяч кубометров хозяйственных сточных вод.

Тверь сбрасывает в Волгу тонны нефтепродуктов, медь, цинк, соли аммония — все эти щелочные и кислые стоки проходят через локальные очистные сооружения, но полностью, конечно, не обезвреживаются. В недобрых отношениях с Волгой Ярославль и Рыбинск. Одно Рыбинское моторостроительное объединение ежегодно сбрасывает в Волгу более миллиона тонн неочищенных стоков; случаются здесь аварийные выбросы — и тогда в реку обрушиваются еще десятки тонн мазута из топливного хранилища.

Почему изменился гидрологический режим большинства малых рек, впадающих в Волгу? Почему ухудшилось качество воды и повсюду, как и на Ладоге, стали появляться вредоносные сине-зеленые водоросли? Дело в том, что по берегам этих рек, в непосредственной близости от воды, расположено

более трехсот животноводческих ферм, десятки крупных молочных и откормочных комплексов, свыше ста открытых хранилищ минеральных удобрений. В этих условиях экологические системы волжских притоков не могут действовать нормально. В Волгу с российских полей поступают ежегодно десятки тысяч тонн нитратов и фенолов. И годового стока Волги, естественно, не хватает, чтобы обезвредить все эти вредоносные воды.

Чтобы восстановить самоочищаемость Волги, следует серьезно подумать о проблеме водохранилищ. Пока ее надо решать путем оптимизации режима стока. Мощный Волжско-Камский каскад давно используется не по-хозяйски: здесь сосредоточены огромные запасы воды, а вот дельта Волги, Волго-Ахтубинская пойма испытывают в ней постоянный недостаток. Нужно скорректировать сроки начала искусственного половодья, тогда легче восстановить и рыбные запасы реки. Именно продуманный пропускной водный режим через ГЭС спасет красную рыбу, порой гибнущую на естественных нерестилищах, отгороженных гидростанциями и лишенных воды. Изменить график пропуска воды, уменьшить ее сброс, чтобы молодь и личинки успели скрыться в воде, — это человек в состоянии сделать.

\* \* \*

О критическом состоянии Каспийского моря мы узнали после того, как возникла идея переброски части стока северных рек в бассейн Волги — дабы поднять уровень мелеющего Каспия. Общественность энергично выступила против авантюры с переброской, тем более что природа сама позаботилась о себе и перераспределила водные ресурсы: уровень Каспия неожиданно стал подниматься и нужда в переброске воды сама собою отпала.

Но повышение уровня Каспия продолжается до сих пор, вода подтапливает города и прибрежные территории. За последние пятнадцать лет Каспий поднялся на два с половиной метра, в результате чего под водой оказались около 50 населенных пунктов, 250 промышленных предприятий, 10 тысяч гектаров земли, 60 километров автодорог, 100 тысяч гектаров пастбищ; только Азербайджан от повышения уровня Каспия понес убытков на 2 миллиарда долларов. Изменение уровня Каспия, по мнению некоторых ученых, — явление историческое, цикличное: к 2020 году Каспий поднимется на 7 метров выше уровня 1976 года и на 5 метров превысит уровень 1996-го. В зоне затопления могут оказаться Каспийск, Махачкала, Дербент, Сулак.

Двухметровые нагонные волны уже сегодня заходят в глубь побережья на 20 километров и размывают в год до 10 метров берегов. Экологические беды говорят уже сами за себя: идет подтопление земель, разрушаются дамбы, русла рек, токсичными веществами загрязняются поверхностные и грунтовые воды. Из-за резкого ухудшения доставки питьевой воды вспыхивают очаги холеры, отмечается резкий рост опасных кожных заболеваний.

Если двухметровые каспийские волны прорвут узкую земляную дамбу в бухте Ильича — экологическая катастрофа заденет Туркмению, Казахстан и даже Иран. В бухте Ильича расположены сотни действующих нефтяных скважин (только на прибрежной полосе их около семидесяти). Этот богатый нефтепромысловый район может стать взрывоопасным даже от перехлестывания через дамбу воды, огромные пространства суши будут залиты нефтью, трагедия в один момент повергнет в шок многие страны.

...Основное богатство Каспийского моря — осетр. Сегодня его популяция катастрофически сокращается: в 1995 году, например, по сравнению с 1990 годом по данным статистики улов уменьшился в *шесть* раз.

Вначале осетр пострадал от загрязнения Волги, Урала, Каспия, затем — от плотин ГЭС на волжских нерестилищах. Если бы Россия и Казахстан начали добывать в северной части Каспия нефть и газ еще в 70-е годы, то сейчас осетра мы окончательно потеряли бы: все 90 процентов запасов осетровых рыб, которые есть в той заповедной части Каспия, в одночасье б раста-

яли. Теперь там развивается рыбное хозяйство, но появились новые экологические беды. Осетр катастрофически вымирает не только в результате вопиющей бесхозяйственности и хищнического истребления, но и из-за отравления каспийских вод. Еще в 1985 году ихтиологи отмечали у здешних осетров новое заболевание — *миопатию*. Это не только расслоение мышц, но и поражение внутренних органов, других важнейших систем жизнеобеспечения. Через два года заболело большинство осетров. Большой осетр стал несъедобен, даже опасен; ученые дали эту рыбу подопытным животным, и у них сразу же был обнаружен токсический эффект.

С загрязнением Каспия человечество теряет не только осетра, уничтожены почти все естественные нерестилища белуги. Вдвое сократилась численность каспийского тюленя, продолжает увеличиваться количество бездетных самок, а у новорожденных сразу начинается накопление в тканях хлорорганических соединений и тяжелых металлов.

Да что говорить про обитателей моря, если на образовавшихся вдруг мелководьях восточной части Северного Каспия стали массово гибнуть водоплавающие и околоводные птицы! А ведь для них эти места — основные в Евразии: через них идет миграция, здесь зимуют миллионы лебедей, уток, гусей и лысух. Не случайно же по Рамсарской конвенции четыре здешних района — дельта Волги, заливы Кызылагачский, Северо-Челекенский и Красноводский — объявлены угодьями международного ранга. То есть от безопасности и благополучия Каспия в значительной степени зависит популяция птиц из Европы и Азии.

Судьба Каспия в руках пяти государств: России, Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана. Его дележ носит узкокорыстный, хаотично-хищнический характер. Россия добывала в 1996 году в среднем 90 тонн осетра, Иран — 200. Если экспорт икры в Иране полностью в руках государства, то у нас он теперь в руках бесстыжих барыг, наши «коммерсанты» даже сбили на мировом рынке цены на икру. И если мы в 1989 году ликвидировали по бедности «осетровый» институт, то Иран недавно открыл в провинции Гилян на реке Сефидруд первый в мире Международный институт осетровых рыб.

Разработка месторождений нефти ведет к вымиранию осетра, и страдают от этого более всего Иран и Россия. Каспийское море способно прокормить 160 миллионов осетров. Иран выпускает в море после разведения 20 миллионов мальков. Россия имеет 7 волжских заводов по разведению осетра и потому выпускает больше — 70 миллионов мальков. Нефтедоллары, конечно, — более сильный аргумент, чем рыба на столе. А ведь скоро некоторые ее виды не купишь уже ни за какие доллары. Но если нефтедобытчики будут отстегивать от своих прибылей средства на уменьшение загрязнения моря и увеличение поголовья осетра — пути к спасению природы еще не закрыты.

Пока же осетр — по-прежнему в руках мафии. А ставшая уже привычной политическая дряблость «новой» России уводит Каспий из-под ее контроля.

\* \* \*

В бассейне рек Дона и Северского Донца насчитывается 13 тысяч малых рек и водотоков; большинство рек обмелело, загрязнено, берега размывы и голы, по воде ползут ленты неочищенных стоков.

Чтобы улучшить режим малых рек и их бассейнов, нужны лесопосадки, современный каскад навозохранилищ, новые очистные сооружения и система оборотного водоснабжения большей мощности на предприятиях, расположенных близ рек Дон, Матыра, Быстрая, Сосна, Воронеж, Становая Ряса. Миллионы тонн жидких удобрений с животноводческих комплексов стекают и выбрасываются в мелеющие реки. И аммонийный азот уже плывет по великому Дону.

Главные и постоянные загрязнители Северского Донца, основного притока Дона, — Лисичанское, Славянское и Рубежанское химические производства. Они давно не справляются с переработкой вредных промстоков, отстойники всегда переполнены, потому весной отходы просто спускаются в реку. Залповые сбросы из года в год многократно превышают все ПДК.

Основной ядовитый «рассол» в реке — это фенол. Он отравляет не только Северский Донец, но и здоровье людей, так как во многих населенных пунктах для питья берут именно речную воду!

Фенол страшен и тем, что залегает в придонных отложениях. И значит, десятки лет Донец будет травить и людей, и обитателей реки.

Несмотря на существование в Ростове-на-Дону единственного в России Гидрохимического института, занимающегося мониторингом качества воды, ростовчане пьют «мертвую» воду. Среди сбрасываемых двух миллионов кубометров отходов можно обнаружить соединения чуть ли не всех элементов из таблицы Менделеева.

В Нижнем Дону преобладают соединения меди. Кубань же страдает в основном от нефтепродуктов, хотя и меди здесь предостаточно.

\* \* \*

На другом краю России экологическая обстановка не лучше. Высокая концентрация фенола зафиксирована в низовьях Амура. Местному населению запрещено брать воду из реки, ловить рыбу, иначе неизбежно отравление. Концентрация фенола порой в сотни раз больше предельно допустимой.

В загрязнении реки безусловно повинна местная промышленность. В конце 80-х годов в Амурский залив ежедневно сбрасывалось до трехсот тысяч кубометров грязных вод. Дальневосточные заводы «поили» залив нефтепродуктами; фенол, токсины довершали это черное дело.

Наконец, здесь настолько подорвали рыбные запасы и так остро встала проблема питьевой воды, что под напором общественности на Амуре запретили строительство предприятия азотных удобрений; десятки лет Дальспром вел молевой сплав — теперь этот «бревноход» запрещен; за плохую очистку стоков приостановили деятельность Хорского биохимического завода.

Люди спохватились только тогда, когда обнаружилось, что вырублена основная часть хвойных угодий в доступных местах и обезлесены даже малые реки, питающие Амур. Недавно на Амуре разразилась настоящая экологическая катастрофа. Рыбак не смог есть выловленную из-под льда касатку: от нее исходил жуткий запах. Тогда он отдал на экспертизу воду — оказалось, что предельно допустимая концентрация фенола превышена в 900 раз! Случай этот крайне напугал рыбаков, ибо выловленная в реке рыба выглядела чистой. К тому же на Амуре нет химпроизводств, и, выходит, под лед сбрасывать химическую гадость некому. И все же экологическая катастрофа налицо. Оказывается, в Амуре развивается особый вид водорослей и грибов, которые питаются бытовыми и промышленными стоками. Они-то при разложении и выделяют фенол, а кроме того — мутагены, аллергены, канцерогены.

Питаться таким водорослям есть чем... В 1995 году хабаровские предприятия сбросили в реку 40 тонн нефтепродуктов, 267 тонн азота и 3000 тонн всякой органики. Количество свинца, алюминия, железа, цинка вообще никто не подсчитывал.

\* \* \*

В Сибири не много столь живописных и богатых уголков природы, как бассейны Обь-Иртышья. Лена и Енисей, скажем, — тоже мощные реки, но в них в двадцать раз меньше рыбы, чем в одной Оби, где до недавнего времени в изобилии обитали осетр, муксун, тугунок, нельма, шокур, стерлядь. *Тугунок*, он же — «сосьвинская селедка», — самая маленькая и самая нежная

рыба из семейства сиговых, не зря же местный народ манси окрестил ее «золотой рыбкой». Про рыбу *сырок* мало кто знает, однако она вкуснее и нежнее жирного осетра. Но сегодня все это — настоящая редкость.

Называют разные причины обмеления Иртыша. Одна из самых веских — деятельность человека; и если около Омска уровень воды упал на метр ниже нулевой отметки, то стоит задуматься, пускать ли иртышскую воду, как это предлагалось, на орошение сотен тысяч гектаров земли.

В 80-е годы из Иртыша ежегодно выбирали более четырех миллионов тонн песка — нужды строительства удовлетворялись, а главное, углублялось дно реки — расчищался фарватер. Но за всем этим стояла беда: постепенно строители спрямляли русло, течение ускорялось, а уровень воды катастрофически падал. Человек опять оказал реке, да и самому себе медвежью услугу.

А вот «подарок» сибирской реке уже от нашей демократии. «Комсомольская правда» (от 5 октября 1996 года) сообщила: «Беспрецедентный договор с местными властями заключил коммерсант Василий Свирков из города Тара Омской области. Он взял и купил... Иртыш. Предприниматель арендовал на три года 6 километров реки у села Пологрудово, став здесь рыбаком и рыбинспектором в одном лице. Оказывается, теперь судьба Иртыша в руках предпринимателя и никто „не имеет права ловить на этом участке рыбу”».

Комментарии тут излишни.

...Нигде в мире молевым сплавом уже не занимаются. Исключение — Россия и Финляндия. Только в Финляндии, сплавливая лес, думают прежде всего об охране реки, а у нас и вовсе ни о чем не думают — страдают и реки, и плывущая по ним древесина.

Самые «бревноходные» реки — сибирские. Потому они более других и пострадали от алчности человека.

Между тем бревна быстро теряют плавучесть и каждое тридцатое обязательно ложится на дно водоема, тысячи кубометров леса устилают дно рек, которые быстро теряют свою чистоту. А в Сибири реки — главные водоснабженцы, и для очистки их от топляка потребуются миллиарды. Топляк способствует резкому падению в воде содержания кислорода, увеличивает образование фенола, растет бактериальная загрязненность, наконец, вместе с гибелью реки гибнут и стада рыб.

\* \* \*

О Байкале писали еще со времен Аввакума, его называют артезианским кладезем планеты: озеро хранит гигантские запасы пресной воды — площадь озера 31,5 тысячи квадратных километров. Тут и считать долго не надо — это пятая часть мировых запасов пресной воды. Глубина озера превышает местами тысячу шестьсот метров.

Байкал сродни фабрике по производству кристально чистой воды. Одна Ангара получает ее в год 60 миллиардов кубометров; вода активна биологически, минимально минерализована и абсолютно прозрачна: видимость на сорок с лишним метров в глубину.

Недаром в известную песню про Байкал народ внес поправку: стихотворение Давыдова начиналось со слов «Славное море — привольный Байкал», но с некоторых пор стали петь «священный». Сегодня человек песен про Байкал не слагает, а вместо этого построил заводы-отравители и заводы-вонючки.

В начале 60-х годов Хрущев дал согласие на строительство Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. История пригвоздила к позорному столбу академиков, убеждавших Первого секретаря ЦК КПСС, что никакого урона Байкал при этом не понесет.

Покорители не медлили с варварской эксплуатацией озера. Более ста предприятий расположилось на его берегу — и ни одно не имело очистных сооружений. Ежегодно сбрасывались миллионы тонн губительных веществ:

ртуть, цинк, вольфрам, молибден. Животноводческие комплексы облепили озеро со всех сторон — 700 объектов травили Байкал химикатами. 336 впадающих в него рек стали загрязнять воду еще хуже возведенных на берегу заводов. По многим из них шел молевой сплав; менялся цвет воды, химический ее состав, гибла рыба. Тысячи кубометров древесины после штормов навсегда ушли на дно озера.

Ежегодная продукция ЦБК оценивалась в 112 миллионов дореформенных рублей. Экологический же ущерб за один день составлял 50 миллионов. Значит, ущерб превышает стоимость целлюлозы в 100 с лишним раз! Хуже того, комбинат до сих пор не произвел ни грамма кордной целлюлозы класса «супер-супер», ради которой, собственно, он и строился.

Но негодьями — надо называть их так не стесняясь! — движут ненасытный аппетит и упрямство ортодоксов. Они продолжают варить на Байкале целлюлозу. За последние пятнадцать лет ущерб, нанесенный озеру, равен восьми миллиардам долларов. Но никакими деньгами не измеришь, не купишь это страшное деяние рук человеческих.

За последние восемь лет в регионе в 27 раз возросла заболеваемость бронхиальной астмой.

Наши tecnократы никогда не задумывались о цене естественной пресной воды. Знали бы они, что США ежегодно выплачивают Канаде 2 миллиарда долларов за право пользования пресноводной речной водой. И заодно посчитали бы, какую прибыль смогли бы получить от уникальной байкальской воды. Озеро с его чистой водой представляет такую ценность, которая способна окупить стоимость продукции сотен таких предприятий, как боготворимый ЦБК.

Байкал ежегодно дает 60 кубокилометров уникальной воды, насыщенной кислородом. Тут не требуется никаких капиталовложений: бери воду, затаривай — и продавай...

Недавно появилось российско-британское предприятие по розливу байкальской воды. И сразу в очередь встали — Корея, Германия, Арабские Эмираты, Япония. Оборудование — шведское. Первая партия будет небольшой — 20 миллионов тонн в год. После завоевания рынков объем может возрасти до ста миллионов тонн ежегодно. Подаваться на розлив вода будет с глубины 450 метров.

Весь мир просит Россию: «Не губите Байкал, завтра его вода станет пользоваться огромным спросом повсюду!»

Но на озере пока мира не наступило. Вопрос о перепрофилировании ЦБК и по сей день не решен...

\* \* \*

Вот малая толика информации о положении российских вод...

Ежегодно в стране регистрируется около тысячи залповых аварийных промышленных сбросов в открытые водоемы. В 1994 году в реки и озера промышленность сбросила 893 тысячи тонн взвесей, около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, 55 тысяч тонн фосфора, 50 тысяч тонн железа, 160 тысяч тонн аммонийного азота, более 2 тысяч тонн цинка, соединений меди и фенолов. Естественно, весь этот водный коктейль вместе с водой оказался в нашем организме. Какую бы мы в настоящее время ни ставили на городских сооружениях трехступенчатую очистку — механическую, биологическую и химическую, — тяжелые металлы проскальзывают, проплывают и добираются до человеческого организма.

В этой ситуации продлит жизнь *бутылка*, но не алкоголя, а с гарантированно чистой водой. Необходимо срочно налаживать выпуск бутылированной воды, добываясь, чтобы промышленная очистка справлялась с тяжелыми металлами. Человек еще наивно полагает, что его спасет дорогой импортный фильтр, насаженный на кран. Но тяжелые металлы проходят и через фильтр!

Свинец из человеческого организма выводится крайне медленно и неуклонно подтачивает здоровье. Железо, обнаруженное в воде, опасно тем, что провоцирует сердечные заболевания. Кадмий — это элементарный генетический яд, разрушающий структуры ДНК. Повышенные концентрации меди поражают слизистую оболочку, печень и почки, никель — кожу. Цинк в питьевой воде также способствует заболеванию почек. Алюминий парализует центральную нервную и иммунную системы, особенно угнетающе он действует на детей. Ртуть, часто попадающая сегодня к нам в водоемы, вызывает нервно-психические нарушения, разрушает костный мозг, изводит тело, омертвляет печень и т. д. Через очистные сооружения просачиваются и фосфор, и калий, и азот, и соли тяжелых металлов. Изо дня в день мы зависим от того, что льется у нас из водопроводного крана; кто медленно, кто быстрее — отравляем себя.

Если в мире насчитывается уже около тридцати тысяч различных типов водоочистных устройств, то Россия только еще осваивает эту область индустрии. Но отдадим должное — довольно успешно.

...Очистить воду можно с помощью льда. Если в холодильник поставить кружку (алюминиевую нельзя, ибо он переводит нитраты в нитриты) с водой, то сперва замерзнет чистая вода, затем оледенение будет идти к центру, вытесняя туда же раствор солей. Значит, следует освободиться лишь от ядовитой середины...

Если заниматься очисткой воды из-под крана всерьез, то следует выбрать фильтры «Родник-8Н», выпускаемый в Дзержинске, «Мечту», подходящую для городских квартир, «Турист» и т. д. Полное обезвреживание воды производят фильтры типа «Барьер», «Изумруд». У бытового очистителя «Бриз», выпускаемого в Луге, восемь ступеней доочистки воды: «Бриз» освобождает ее не только от пестицидов и солей тяжелых металлов, но и от радионуклидов! Те же достоинства у бытового фильтра «Колибри», он устраняет из воды радиоактивные примеси, фенолы, соли тяжелых металлов и самое главное — остаточный хлор. «Колибри» хватает семье на 4 месяца активного пользования.

Перечень фильтров для очистки воды можно продолжить. Уже появились и станции тонкой очистки воды: СТОВ-1, СТОВ-10 и СТОВ-25. Они очищают воду путем фильтрации ее через пористые титановые элементы. В общем, выбор есть. И надо заметить, что наши отечественные фильтры стали по качеству превосходить зарубежные. Американские фильтры очищают уже «чистую» воду, условия же наших норм и ПДК им не под силу, они работают плохо. У нас, увы, другие требования к питьевой воде, более того, в России 90 процентов водопроводных сетей вообще не соответствуют международным нормам. Поэтому лучше и резоннее полагаться на отечественные фильтры.

Наконец-то налаживается в России и выпуск минеральной воды. Пластиковая бутылка с чистой минералкой — уже не редкость в нашей квартире. Новые заводы уже строятся, правда чаще всего с иностранной помощью. Американцы, к примеру, помогли нам построить завод по выпуску знаменитой костромской воды «Святой источник». Итальянцы поспособствовали с выпуском воды «Монастырская» в Приморье. Россия может «делать» свою воду, а не импортировать ее, впрочем, как и все остальное.

\* \* \*

...Разработка и прохождение в Государственной Думе России любого нового законопроекта — дело архисложное. Принятие экологических законопроектов осложнено вдвойне. Тут мешает и правительство, строящее ресурсопоедающую экономику, и парламент, ибо «правые» и «левые» зачастую экологически безграмотны. Если в Государственной Думе появляются альтернативные законопроекты, как это было с *Водным кодексом*, то окончательное прохождение его еще более затруднено.



Проект Водного кодекса достался Госдуме по наследству от Верховного Совета. Потом его перелицевали и подогнали под нужды корыстолюбцев и технократов. Мне неоднократно приходилось выступать в Думе против протаскивания антиэкологического проекта Водного кодекса. Наконец, мы решили представить парламенту свой альтернативный вариант. После напряженной полемики и разъяснительной работы среди депутатов удалось склонить Думу принять за основу наш вариант, поддержанный Российской академией наук.

Этот Закон ориентирован преимущественно на использование *правовых и экономических* методов регулирования отношений, возникающих в процессе использования, восстановления, охраны и изучения водных объектов, в отличие от преобладавших прежде *административных*. Закон сохраняет прямое действие на всей территории России.

Система правового регулирования использования и охраны водных объектов *базируется в Законе на приоритете государственной собственности на водные объекты*. Это основополагающий принцип регулирования водных отношений в мировой практике. Объектом права собственности объявляется государственный водный фонд. Закреплены антимонопольные требования в сфере водопользования. За нарушение водного законодательства РФ устанавливается административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность.

За самовольное сверхлимитное изъятие воды из водного объекта, самовольный сверхлимитный сброс сточных вод в водные объекты и самовольный спуск туда же отработанных вод, в которых содержание загрязняющих веществ превышает установленные нормативы, предусмотрено введение штрафов.

Впервые для юридических и физических лиц предусмотрена возможность предъявлять иск в суд и в арбитраж о прекращении деятельности, наносящей вред состоянию водных объектов и водоохранных зон, а также негативно влияющей на здоровье населения и окружающую среду.

...Многострадальным явился законопроект, посвященный Байкалу. Борьба за него шла более двух лет. На думских заседаниях сошлись две позиции — экологическая и технократическая, — идентифицируемые даже по названиям: законопроект «Об охране озера Байкал» и законопроект «Об озере Байкал».

Вначале нам, депутатам-экологам — членам рабочей группы по разработке первого законопроекта, приходилось, как ни парадоксально, напоминать коллегам, что принятия природоохранного Закона о Байкале потребовало от России ЮНЕСКО: легендарному озеру необходим персональный Закон.

К сожалению, экологам не удалось отстоять свой вариант законопроекта. После согласительной работы и учета предложений Комитета по экологии Государственная Дума приняла в первом чтении вариант Комитета по делам Федерации и региональной политике. Правда, название законопроекта было взято наше — «Об охране озера Байкал».

Отныне в зоне озера не допускается размещение объектов АЭС и промышленности. Запрещены деятельность предприятий целлюлозно-бумажной, нефтехимической, металлургической индустрии, строительство железных дорог, разведка полезных ископаемых, производство взрывных работ и воинских учений. Для координации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления создается Байкальская комиссия при Правительстве РФ. Она и будет следить за исполнением настоящего Закона.

Закон позволит ликвидировать главного загрязнителя Байкала — целлюлозно-бумажный комбинат, а также защитит уникальное озеро от превращения его в искусственный водоем Иркутской ГЭС. Для этого экологам еще придется побороться за свой законопроект в Государственной Думе, чтобы

расширить перечень недозволенных видов деятельности, запрещения сброса промстоков в подземные горизонты, захоронения токсичных отходов, а главное — уточнить механизм реализации закона, ужесточив меры ответственности за нанесенный ущерб. Ведь технократы никогда не откажутся покорять природу. Задача экологов — не допустить дальнейшей индустриализации Байкала.

Много недоброжелателей в Государственной Думе оказалось и у законопроекта «О питьевой воде». Некоторые депутаты считали, что достаточно одного Водного кодекса. Другие предлагали решать проблемы питьевого водоснабжения в рамках того же Водного кодекса, но с расширением соответствующей статьи. Третьи вообще не видели здесь существенной проблемы. Представитель Президента РФ А. Котенков, например, был обеспокоен тем, не придется ли — с принятием этого закона — возить за каждым гражданином России цистерну с водой. Словом, простая экологическая неграмотность могла загубить важнейший законопроект; нам, членам Комитета по экологии, вновь пришлось убеждать своих коллег. Тем более, что из регионов в Думу стекается угрожающая информация: то в Туле около восьми процентов питьевой воды крайне низкого качества, то в Барнауле остановились очистные сооружения, то в Москве прокуратура опротестовала незаконные решения об отводе земель в водоохраных зонах, то в Хабаровске закрылась главная фильтровальная станция.

Закон «О питьевой воде» должен защитить не только родники, реки, озера, но и подземные воды. Первоочередная задача — спасти малые реки, представляющие собой сложные экосистемы. В заботе человека нуждаются и вода, и долина, и пойма, и подземные воды, и растительность. Необходимо сбережение естественного берегового рельефа.

Этот федеральный Закон позволит не только устранить дефицит чистой воды (ведь в некоторых регионах РФ дефицит мощности водопроводов достигает уже 30 процентов), но и обновить водопроводную сеть, износ которой в России достигает более 50 процентов, остановить завоз импортной бутылированной питьевой продукции, на что мы ежегодно тратим 8 миллионов долларов. Закон вынудит государство ликвидировать дефицит химических реагентов, фильтрующих материалов на водопроводных станциях, и создать на коммунальных водопроводах обеззараживающие установки.

Закон устанавливает права и обязанности субъектов правоотношений в области питьевого водоснабжения, а также ответственность за причинение вреда здоровью граждан при поставках питьевой воды, не отвечающей установленным нормативным требованиям.

Закон «О питьевой воде» будет регулировать правовые аспекты водоснабжения россиян. Закон принят в *первом чтении*. Хочется верить, что сделан реальный шаг к спасению российских вод.

---

*Депутат Государственной Думы, член Экологического комитета Анатолий Грешневиков написал странную статью: это прежде всего выдержки из газет и специальных экологических изданий. Увы, материалы по экологии и прежде не имели серьезного влияния на государственную политику, а теперь они практически и вовсе исчезли со страниц нашей прессы: какие угодно склоки и разборки, какие угодно обещания — среди этой пустопорожности экологии не находится сколько-нибудь достойного места.*

*В статье вовсе не говорится о самой службе экологии в России. Не говорится по той простой причине, что такой службы у нас, по сути дела, уже давно нет. Были когда-то Министерства водного и лесного хозяйства, хотя они и тогда не играли заметной роли в существовании государства. Сейчас нет их — есть Комитеты; и ни один эколог не входит в состав правитель-*

*ства. Случай исключительный для Европы, но довольно распространенный в Африке.*

*Грешневиков рассказывает о попытках Думы навести хоть какой-то порядок в этой области — речь идет о проектируемых законах. А между тем страна наша все стремительнее приближается к глобальной экологической катастрофе. Да что, она уже целиком в этой катастрофе, но мы боимся называть вещи своими именами.*

*Тот же думский Комитет по экологии, что он сделал?*

*Где в данной статье попытка объяснить саму существующую структуру нашей экологической службы, ее права, ее связи с правоохранительными органами — с той же прокуратурой, например? Ведь у нас, по сути дела, не было ни одного экологического уголовного процесса — почему? Да потому, что если таковой начинать, так начинать надо с самого верха. Нет в этой статье и ни одного имени, на котором лежит прямая ответственность за создавшееся положение, — потому что надо было бы назвать сотни имен, начиная с власть предержащих и кончая рядовыми работниками рыбо-, лесо- и земельной охраны.*

*В нашей стране еще очень много чистой воды. На Алтае, в глубинах Байкала, во многих северных реках. Но чтобы этой водой воспользоваться, уже сегодня нужно вложить очень большие средства в соответствующие предприятия. Мы этого не делаем, а покупаем чистую воду в Финляндии. Мы этого, видимо, так и не сделаем. Не сумеем.*

*В России есть энтузиасты, есть экологические организации и движения, но они находятся в таком загоне, с ними настолько никто не считается, будто бы их нет совсем, слышен голос одного только министра атомной энергетики Михайлова: «Не беспокойтесь, граждане, мы как взяли на себя роль захоронителей радиоактивных веществ со всего света, так и будем эту роль с честью выполнять!»*

*Сегодня общественность наша — в полной апатии, а ведь всего несколько лет назад она остановила безобразный проект переброски части стока северных рек в Каспий.*

*Нынче осуществляется не менее безобразное и преступное мероприятие: строительство скоростной железной дороги Санкт-Петербург — Москва. Но — страна молчит, изредка только раздастся по этому поводу слабенький такой и недоуменный вздох: «Да что ж это происходит-то?»*

*Сергей Залыгин.*



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

*Материалы этой рубрики объединяет глубокая искренняя тревога за воспитание наших детей.*

*Впервые за много десятилетий формируется поколение, не уродуемое коммунистической демагогией. Но на смену прежней идеологии приходят новые, отнюдь не всегда споспешествующие подлинно культурной прививке. Вместо «любви к родному пепелищу», ответственности за будущее отечества и подлинным, а не мнимым общечеловеческим ценностям наши дети сплошь и рядом обучаются худшему, что есть в потребительской цивилизации, — релятивизму и алчности. И если прежде воспитание отличалось деспотичным тоталитарным ханжеством, то ныне скабрзная двусмысленность сделалась стилем пропагандируемой СМИ молодежной тусовки и юношеских изданий; «тинейджеры» пришли на смену пионерам и комсомольцам.*

*Новая российская педагогика только начинает формироваться. Тем важней разговор о ее фундаментальных принципах, от которых напрямую зависит будущее России. В его рамках — и размышления известного педагога-словесника Л. С. Айзермана о религиозном воспитании в школе, и острая полемическая публицистика Ренаты Гальцевой о сомнительной «сексуальной реформе», не просто поощряемой, но даже патронируемой государством, и «письмо из Вены» социолога и журналистки Дианы Видры о новых европейских психоаналитическо-воспитательных наработках.*

*Разговор, который ждет продолжения...*

*Отдел публицистики.*

Л. АЙЗЕРМАН



## СОВОПРОСНИК ВЕКА СЕГО

1

**О**дин старшеклассник как-то спросил меня, почему предателя называют Иудой. В другой раз — лет десять назад — в классе зашел разговор об известной сентенции Базарова о Рафаэле, который гроша медного не стоит. Я принес на урок репродукцию «Сикстинской Мадонны». В том же альбоме были репродукции Мадонн других художников. Я возьми да спроси: «А почему всюду Мадонна с мальчиком и ни разу — с девочкой?» Дело было в девятом классе с углубленным изучением литературы. Сумел ответить лишь один ученик. Было не смешно — горько.

И то, что сегодня в школьные хрестоматии по литературе включены библейские тексты (точней, пересказы их), что на уроках литературы стали говорить о связи русской литературы с идеями и идеалами христианства, что во многих школах введены курсы по истории религии, а главное, что свободно можно купить Библию и другие религиозные книги, — это прекрасно.

Но кое-что настораживает.

Когда-то я отобрал на экзамене шпаргалку: один ученик написал другому, как раскрыть тему сочинения:

«1. Пиши о том, что борьба за мир — величайшее требование времени. Пиши об опасности ядерной войны, о том, как прекрасно жить в мире и как паршиво во время войны. О том, как страшно, когда гибнут девушки. И сразу же приплети „А зори здесь тихие”. Напиши белибердистику о прекрасных девичьих телах, изорванных и изувеченных пулями. Эта тема — прекрасный повод перескочить к поэме Алигер „Зоя” и рассказать о Зоином подвиге. Потом упомяни о подвиге Лизы Чайкиной (партизанка) и скажи, что есть такая книга Бирюкова „Чайка”.

2. Потом напиши о том, что такие герои, как Сотников, Мороз, гибли во имя счастливой жизни будущих поколений, во имя нас. И мы, конечно, не вправе забывать их великого подвига. Об этом нам напоминают В. Быков, Стаднюк, Бирюков в своих книгах. А Ч. Айтматов предостерегает нас от потери памяти.

3. Потом начинаешь петь дифирамбы современным комсомольцам — активным участникам борьбы за мир. Хвалишь нашу молодежь и нашу партию; ругаешь воинственный Запад. Клянешься бороться за мир и счастливое будущее всего человечества. Пару цитаток из Леонида Ильича напоследок. И — сочинение готово. Трояк гарантирую, а может, и четверку».

...Летом 1994 года на медальную комиссию нашего округа поступило большое, в 15 страниц, сочинение выпускника одной из школ на тему «Путешествие по России». Вот пунктирные выписки из этого сочинения, которые дают представление о работе: «Мы въехали в Шамардино сразу после обеда. Слева открывается необозримая даль красоты неопишуемой, пейзаж воистину космический, так что дух захватывает, и не знаешь, что делать: то ли почтительно молчать, то ли, не сдерживая слез, молиться».

Шамардинская женская обитель — удел самой Божией Матери, устроенный стараниями старца Амвросия, который исходил здесь каждую пядь земли, все высчитал, вымерил и благословил каждую постройку.

Больничная церковь „Утоли моя печали” — это и есть сокровенный богородический удел, любвеобильный и ликующий, истинно женский аспект духовности, которому причастны все сестры монастыря, как былых времен — записанные в небесные синодики, так и сегодняшние, особенно грядущие сподвижницы, которым предстоит возрождать былую славу Царицы Небесной в самом сердце российской земли. У схимницы Серафимы свой удел. Ее скромная хибарка прежде всего центр духовного притяжения, с утра и до вечера полна людьми, которые спешат сюда без газетных призывов к милосердию. Через служение болящей старые люди выявляют все лучшее в себе. Разве не совершается одним этим такая нужная сегодня работа построения благодати в нашем больном мире? Матушка Серафима от юности служила людям, а для себя обрела только схиму. И вот сбываются слова пророка: „Отпускай хлеб свой по водам, потому что по прошествию многих дней опять найдешь его”».

Без всякого сомнения, автор этого сочинения получил бы свою золотую или серебряную медаль, если бы один из членов медальной комиссии не узнал в нем журнальный очерк из почти неизвестного в школе издания. (Через два года на медальной комиссии я встречу сочинение, полностью списанное с моей статьи. Давно не смеялся я так весело: за сочинение это было поставлено «четыре».) Навели справки в школе — ученик сидел на первой парте и не списывал. Как потом выяснилось, текст по совету родителей он выучил наизусть. Но дело в том, что у очерка этого в следующем номере было продолжение, в котором рассказывалось о том, что несколько лет назад умерла та самая матушка Серафима, о встрече с которой (выходит, уже после ее смерти) и рассказал ученик.

Дело не только в том, что на медаль было представлено сочинение, по сути, все-таки списанное. В конце концов, почти все работы, которые в тот год я прочитал, были несамостоятельны. Но одно дело — сочинения на литературную тему: они как раз и направлены на проверку того, что и как усвои-

ли ученики, и естественно, что авторы их передают услышанное на уроке или прочитанное в учебниках и критических статьях.

Тут же дело другое: сочинение было ориентировано на *личные* впечатления учеников, они должны были рассказать о *своих* наблюдениях. И вдруг — бесстыдная спекуляция на святом и святыхнях.

Бряд ли нужно говорить о том, что в отношении к религии, ее ценностям всякая спекулятивность особенно опасна, и о том, что здесь нужен такт и выверенность каждого шага. И нет ничего хорошего в том, когда одна конъюнктура сменяет другую, когда вера превращается в общее расхожее место. Если еще совсем недавно литературоведы убеждали нас в атеизме Пушкина, то сегодня, по словам Сергея Бочарова, закладываются основы «нового благочестивого пушкиноведения (а можно, кажется, говорить и о нарождающемся пушкинском фундаментализме)»<sup>1</sup>. Но именно школа поразительно быстро стремится откликнуться на все качания маятника и переориентироваться — не всегда продуманно. Разменной монетой стало все. Вчера писали про БАМ, КамАЗ, воинов-интернационалистов. Сегодня с такой же легкостью — про ГУЛАГ, тоталитарный режим, семьдесят лет рабства и — естественно — про Голгофу. Посмотрите на многочисленные шпаргалки, изданные для кончающих школу и поступающих в вузы.

Вот, к примеру, готовый текст сочинения на тему «Без Бога жить нельзя»: «Я никогда не забуду дня, когда впервые попал в церковь. Было это три года назад. Стояло лето».

И вот уже читаю я в экзаменационном сочинении: «В наставлениях Иисуса Христа звучит настойчивый наказ жить и работать по чести и совести».

Ну ладно шпаргалки. А вот хрестоматии, да еще с рекомендациями и утверждающими грифами министерства.

Хрестоматия по литературе для 6-го класса средней школы (Ростов-на-Дону, Издательство Ростовского университета, 1994. Утверждено Министерством образования Российской Федерации.)

Отрывки из Евангелия даны в пересказе Льва Толстого: «Иисус родился 1908 лет тому назад от Марии, жены Иосифа. До 30 лет Иисус жил в городе Назарете с матерью, *отцом* (курсив мой. — Л. А.), братьями и, когда возрос, помогал отцу в его плотничной работе». Нужно ли говорить, что современный шестиклассник принимает эти сведения один к одному? Но ведь с точки зрения христианской веры — это кощунство.

Или вот учебная хрестоматия для 5-го класса средней школы (часть I. М., 1992. Тираж 4 200 000. Утверждено Министерством образования РСФСР.)

Вот как изображен здесь — в «библейском разделе» — пятый день творения: «Вот теперь-то на земле стало хорошо и весело. Куда ни оглянись, везде вы увидите животных. По земле ползают целые тысячи червей, и каждый червяк имеет свой вид. По песку и траве бегают разные жуки — зеленые, красные — всяких цветов. На цветах сидят пчелы, шмели, бабочки. Огромные тучи комаров играют в солнечном сиянии. И сколько разных животных создал Милосердный Бог! Одни лежат или сидят; другие бегают, прыгают. Здесь бежит мышь, там ползет еж. Здесь сидит собака, там кошка. Здесь мычит корова, там щиплет траву овечка. Здесь скачет заяц, там олень. Здесь сидит на траве сердитый лев, там стоит громадный слон и помахивает большим, толстым хоботом. И на деревьях видны различные существа. Там сидят воробьи и скворцы, малиновки и соловьи. В воздухе летают голуби и ласточки, жаворонки и вороны. Где ни прислушаешься, везде поют, жужжат, пищат, мычат. Все радуются своей жизни и восхваляют Милосердного Бога, Который создал их. И Бог милостиво взирает на Свое творение, которое действительно было очень хорошо».

Не буду ничего говорить об этих картинках из сериала «В мире животных». Но ведь такой пересказ на корню убивает то «божественное красноре-

<sup>1</sup> «Новый мир», 1994, № 6.

чие», о котором писал еще Пушкин. Можно как угодно относиться к «Учению Христа, изложенному для детей» Львом Толстым, но саму музыку подлинника, поэзию первоисточника Толстой все-таки стремился до детей донести.

Из той же хрестоматии: «И Милосердный Бог сдержал Свое Слово. До сих пор еще не было на земле такой большой воды и, разумеется, не будет никогда. Но, дети, если мы не будем слушаться Бога, будем злы, ленивы, не послушны старшим, будем браниться, обижать друг друга, Бог накажет нас; у Него и кроме потопа много наказаний для грешников, которые не хотят покаяться и исправиться».

Или же выписки из другой книги — «В мире литературы». Учебная хрестоматия для 5-го класса общеобразовательных учебных заведений. Часть I (М., Издательский дом «Дрофа», 1995. Рекомендовано Главным управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации для общеобразовательных школ):

«Кто нам делает зло, тому делай добро, кто бранит тебя, того хвали и молись за него Богу. Не мсти врагам; не делай им ничего худого. Кто ударит тебя в щеку, тому подставь и другую (а сдачи не давай; от этого усилятся ссора и ты получишь больше ударов, чем тогда, когда уступишь с первого раза)».

«Господь Иисус Христос растолковал эту притчу (о сеятеле. — Л. А.) Своим ученикам... Да вот и вас всех учат, всем вам толкуют и рассказывают: одни учатся хорошо, много знают, а другие ничего не знают. Отчего же? Оттого, что они слушают кое-как, без внимания и не хотят понять, что им толкуют. Другие слушают со вниманием, понимают, что им объясняют, но скоро забывают, оттого что не хотят повторить и припомнить сами дома, что им сказал учитель в классе. Третьи тоже слушают; но только окончился урок, как только вышли они из школы, сейчас принимаются играть, резвиться и шалить: смотришь, и забыли все, что им говорили. Но, слава Богу, между вами есть и такие умные и добрые дети, которые слушают со вниманием, стараются все запомнить — оттого и учатся хорошо».

Господи, как все это глупо и примитивно! Оказывается, смысл известной заповеди Христа в том, чтобы в завязавшейся драке получить один, а не много ударов. Как учитель, могу сказать, что не хотел бы, чтобы у меня в классе сидели такие «умные и добрые дети», которые старались бы все запомнить, а потом повторять, а не мыслить сами.

Но не могу не сказать о другом. Если вы хоть немного представляете современных школьников, то легко поймете, как отнесутся они ко всей этой слащавой галиматье, к этому примитивному морализированию. В хрестоматиях по *литературе* учеников знакомят с текстами, которые собственно к *литературе* никакого отношения и не имеют.

И все это — одобрено и рекомендовано «свыше»!

В общем, «хотели как лучше, а получилось как всегда». Но вполне возможно, и *хуже*, чем всегда, ибо дело идет о духовном, стало быть, особенно деликатном. Но могло ли быть иначе, если, заменив одни тексты в хрестоматии другими, по существу, остались верны старой методике и прежней методологии?

## 2

В Первом послании апостола Павла к коринфянам есть определение (1: 20), которое очень близко мне именно как учителю литературы: «*совопросник века сего*». Для юности, как уже давно отмечено психологами, характерно своеобразное философическое умонастроение. Сегодня, когда многие идеалы, идолы и идеи рухнули, а новых, стоящих нет, эта необходимость разобраться в вопросах «*века сего*» особенно важна. И обращение к истинам религии необычайно расширяет и углубляет возможность полнее увидеть и мир с его роковыми вопросами и тайнами, и самого себя, и культуру. Ограничусь примером из своей учительской практики.

В «Грозе» Островского Катерина не может не думать о грехе. Слово это постоянно на устах ее: «Ведь это грех, это нехорошо, что я другого люблю»; «Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда»; «Ах, Варя, грех у меня на уме»; «Грешна я перед Богом и перед вами».

Почему так боится Катерина греха, чем объяснить страх ее? Прошу письменно ответить на этот вопрос учеников трех десятых классов (через два года я повторю это задание в трех других десятых классах и получу приблизительно тот же результат). В тот день на уроках присутствовали шестьдесят четыре человека.

Тридцать восемь из них писали о том, что Катерина «боится, что Бог наказывает ее после смерти», что она «боится наказания», «ждет возмездия и кары», «за преступления перед Богом вечно гореть ей в аду», «будет мучиться там», «боится Страшного суда», «из-за боязни гореть в огне неугасимом», «ей чудится геенна огненная». «Она перешла границу, переступив за которую бросает вызов Тому, Кто очертил эту границу. И боится возмездия за совершенное». Для авторов этих ответов главное в страхе, наказании, каре, возмездии, расправе, расправе, если хотите.

Четыре человека написали о том, что «Катерина боится не Божьей кары, а просто из-за того, что, если грех станет известен многим, ее начнут притеснять, жизнь ее станет невыносимой».

Совершенно по-другому ответили на этот вопрос двадцать два человека (34 процента опрошенных — результат для меня неожиданный и обрадовавший): «грех перечеркивает собой весь мир»; «грех — это ответственность перед Богом и перед своей совестью»; «она посягнула на святое и боится суда совести, которая может вынудить ее тяжело страдать»; «совершив грех, она нарушила свои жизненные устои»; «чистая и честная, она не смогла бы жить с грехом»; «ей стыдно перед самой собой». (Тот, кто не забыл школьные уроки, помнит, что мы ведь всегда трактовали Катерину в свете последних слов Тихона: «Вы ее погубили! Вы! Вы!» — мол, ее погубило «темное царство».)

Для этих учеников главное — в совестливости Катерины, в ее ответственности перед собой, людьми и Богом, в том, что она сама не прощает себе отступления от нравственного закона. Тут и Бог предстает не как беспощадная карающая сила («суеверная она была, ее с детства запугивали, говорили, что кара Божья — это самое страшное в жизни»), а как высший нравственный Судья: «она боится греха, потому что Бог для нее был всем в жизни»; «она не боится, что Бог ее накажет, она боится обидеть Его, нарушить Его закон, так как любила Бога; боится, что Бог от нее отвернется».

Рассказывая на ближайшем уроке об этих ответах, я обращаюсь к статье о. Александра Меня «Мудрецы Ветхого Завета». Там есть очень важные для нас мысли о том, что такое «страх Господень». Можно ли «страх Господень» понимать как боязнь наказания за грех? Совершенно исключить такое понимание, говорит Мень, было бы неправильно. Но это не главное, ведь для библейских мудрецов Ветхого Завета «боязнь возмездия соответствует лишь примитивной, начальной ступени духовной жизни». Суть в другом: страх Господень «есть во все не ужас перед карающей десницей, а скорее боязнь потерять Бога, отдалиться от Него... На языке Библии „боящийся Бога“ — это человек, проникнутый благоговением. „Богобоязненность“ рождается из того священного трепета, который возникает в сердце перед лицом Сущего». Сказанное современным богословом помогает понять, что происходит и в душе героини великой пьесы.

Но для меня как учителя литературы главное здесь — сама проблема соотношения кары, наказания, возмездия и переживания человеком своей внутренней суверенности и ответственности. И как ученик, и как студент, и, наконец, как педагог я более полувека провел в авторитарных учебных заведениях и хорошо знаю, что такое педагогика жесткого контроля, подавления и обуздания, для которой личность не самоценна, малосущественна. (Хотя не склонен, как это модно сейчас, видеть в советской школе лишь недостатки и пороки, одной идеологией она не исчерпывалась.)



...Примерно через полтора года после описанного «эксперимента» я прочитал в «Континенте» статью Юрия Каграманова «„...И аз воздам”. О страхе Божием в прошлом и настоящем»<sup>2</sup>. Сделав из нее выписки, я предложил трем одиннадцатым классам для размышлений такое задание. Вот текст, розданный мною учащимся:

«„В фундаменте нашей цивилизации, а значит, и в устройстве души образовались опасные пустоты, ныне делающие в высшей степени проблематичными любые проекты возрождения России...»

Состояние же умов у нас таково, что оно, мне кажется, требует сделать акцент на теме страха Божьего. Пока у нас лишь каждый десятый верит в существование ада...

Не следует, однако, понимать это так, что гроза необходима лишь для обуздания „гуннов”. Заново прочувствовать страх Божий — дело самых культурных, самых „мозговитых” и самых совестливых, способных испытать страх не только за себя...

Вероятно, первый шаг к нравственному оздоровлению общества будет сделан тогда, когда в телевизионную гостиную (конечно, именно туда, а не куда-либо еще!) прорвется свежий человек — не важно, будет ли это какой-нибудь вдохновенный инок или мирянин при галстукке, важно, чтобы он был у б е д и т е л е н, — который сумеет пронять аудиторию, пробить толщу черепов и кору сердец — вселить в зрителей-слушателей страх Божий”.

Согласны ли вы с тем, что без страха Божьего невозможно нравственное оздоровление нашего общества? Принимаете ли вы эту идею: „Со страхом Божьим — к новой России”?»

Задание это выполняли одиннадцатиклассники 17 января 1996 года. Третьи сутки шел бой в Первомайской. Захвачен российский паром в турецком порту. Захвачены энергетики в Грозном. Московская милиция работает по усиленному режиму, отменены все отпуска и большинство выходных дней. На другой день, когда я буду проверять эти работы, прочту в газете: «Москва окружена на въездах в столицу блокпостами... Москва окружена не чеченцами, а страхом». В тот же день в другой газете помещена большая, на разворот, статья «Страхи и ужасы России». Через несколько дней приходит газета со статьей «Педагогика страха»...

Итак, отвечают на вопрос пятьдесят восемь одиннадцатиклассников. Полностью с позицией Юрия Каграманова (тогда же он высказался аналогично и в «Новом мире») не согласен ни один человек. Сорок восемь — категорически против: нравственного оздоровления не добьешься страхом. Каковы же их аргументы?

Двенадцать человек утверждали, что «внушить всем страх перед гневом Божьим невозможно». «Если человек верит в Бога — то у него, соответственно, будет страх Божий». Ну а что делать неверующему? «Всегда будут люди, которые не услышат слова о Божьей каре». «Если бы я увидела по телевизору человека, пропагандирующего страх Божий, я переключила бы телевизор на другую программу. Уж лучше я посмотрю какой-нибудь фильм, чем слушать его». «Не найдется такого человека, который сумел бы пронять аудиторию, пробить толщу черепов и кору сердец людей, для которых не существует ничего святого, в которых нет ничего человеческого». «Наркоман, добывающий денег на дозу, алкоголик, думающий только о бутылке, или просто „веселый парень”, у которого чешутся руки, — где найдется человек — „иннок или мирянин при галстукке”, который сможет вселить „страх Божий” в этих людей?»

Шесть человек вообще не очень верят в Церковь. «Мы видим, как люди, особенно сейчас, потянулись в церковь, но как только они выходят за порог церкви, одни из них поедут на своих иномарках убивать и насиловать, а другие воровать у своего же народа». «Наши бабушки и дедушки, которым всю жизнь внушали, что Бога нет, сейчас ходят в церковь чуть ли не каждый день.

<sup>2</sup> № 84 (1995).

Но в церкви стоят и другие люди. Килограммовая цепь на шее, сонный взгляд пробегает по иконам. Он вырос во время, когда Бога опять пустили в нашу страну. Но стоит этот человек в церкви исключительно ради престижа».

Двадцать семь человек писали о том, что страх не может благотворно действовать на человека. «Возможно, раньше человек мог жить праведно из страха, но сейчас — новый человек и новое человечество. Страх — это животное чувство, и, испытывая страх, человек скорее опустится со ступеней цивилизации и нравственности, чем поднимется». «Страх и страдания Божьи сейчас могут произвести противоположный эффект: не поставить на колени, а распалить и ожесточить. Все это произойдет благодаря воспитанию прошлых лет». «Я не думаю, что страхом можно что-то изменить. Мы рискуем еще больше усугубить ситуацию. Есть люди, которые под действием страха теряют здравость ума».

«Надо пытаться возродить душу человека, а страх — это только поверхностное изменение, а душа прежняя». «Неправильно будет использование страха Божьего для нравственного оздоровления общества, потому что это будет принуждение, а не самостоятельное мышление». «Профессор предлагает подавлять в человеке чувство зверя страхом и страданием. Но это еще больше ожесточит человека. А ожесточась, человек становится безразличен к чужой боли». «Страхом можно заставить человека что-то сделать, но он это будет делать не добровольно, чистосердечно, а по принуждению». Страх, пишет одна из одиннадцатиклассниц, может сформировать лишь «запуганных лицемеров... И тогда бы они просто забыли, что такое истинные чувства: долг, добро и т. п. Они бы делали это не из каких-то добрых побуждений, а в обязательном порядке, по принуждению, боясь за себя в будущем».

Трое сказали, что страхом можно сдерживать не людей, но «гуннов». «Новая Россия», основанная на страхе, ими не принимается.

Особо выделяю одно размышление: «Я мало разбираюсь в теологии, но, моему, страх Божий — нечто иное, чем то, что под этим понимается в статье. Это не есть буквально страх перед наказанием, адом. Бог — в человеке, и боится человек себя, своей совести. Ее же вселять страхом невозможно, да и не нужно. Человеку нужен не страх, но Бог. И не Бог как религия, а нечто абсолютно личное, то, что „дать” нельзя. Можно только верить, что люди найдут его сами».

Четырнадцать человек убеждены, что «пустоты в устройстве души нужно заполнять не страхом, а, наоборот, добротой и любовью». «Вера людям, конечно, необходима, но не на уровне „страха Божьего”». «Как мне кажется, необходимо заполнить пустоты в душах людей не страхом перед ним, а верой в него как что-то светлое. От этого люди станут мягче и добрее». «Люди прежде всего должны вспоминать о доброте, милосердии Бога, а не о страхе перед ним». «Ведь в Библии Бог скорее милосердный, чем карающий. Бог — это прежде всего Любовь полная и бесконечная. Но чувство страха перед Создателем не позволяет человеку любить его. Разве вы можете любить то, что несет вам страх и страдание?» «Безусловно, нравственное оздоровление общества необходимо, и его можно достичь с помощью Церкви, Бога. Но страхом его не достигнешь. Человек идет в храм, нуждаясь в защите, в надежде. А если церковь, по словам автора, будет посылать только „грозу”, „страх” и „страдание”, то человек не только не приблизится к ней, но и побежит от нее». «Автор сужает понятие Веры до страха перед карой небесной. Но ведь не случайно Христос в своих проповедях говорил о Царствии Небесном, а не об аде. И надо не запугивать людей адом, а учить подавать должный пример, как это делали Святые Отцы Церкви». «Когда зверь, пробудившийся в человеке, подавляется при помощи страха, он подавляется только на время, но все равно остается в душе человека. Человек не должен бояться Бога, он должен любить его. Бог является как бы высшей силой света и любви. Если человек не боится Бога, а любит его, только тогда он может подавить насовсем, изгнать зверя

из своей души. Человеку, который по-настоящему любит Бога, и в голову не придет совершать что-то, что противоречит Богу».

Шесть человек сказали, что «подобное у нас уже было, когда людям вселили разные мысли и держали их под страхом. Ни к чему хорошему это не привело». «Автор хочет возвести страх Божий в догму. Но все 70 лет правления советской власти люди жили под страхом. Страх вошел в плоть и кровь советских людей. Но все равно, несмотря на страх, это общество рухнуло. Когда общество опирается на страх, это начало его конца». «Автор предлагает переделывать Россию страхом. Но зачем тогда к слову „страх“ приписывать слово „Божий“? Все можно сделать гораздо проще: завести штат агентов, наставить прослушивающие устройства в квартирах, и кара будет приходиться гораздо раньше».

В одном из ответов я прочел, что современного человека вообще не проймешь страхом: «Эта практика уже исчерпала свои возможности, и она не подходит к реалиям жизни конца двадцатого века. Действительно, в современной жизни по ТВ вслед за религиозной программой вам покажут последние вести из Чечни либо американский триллер, полный убийств. То же и в наших делах. Страх перед адом и Богом нам кажется чем-то смешным и детским после показа свежих ужасов. Да какой может быть страх ужаснее ядерных взрывов, которые продемонстрированы на практике всему миру. Человек стал безразличным к каре, его научили выживать даже с озлобленной душой».

Десять человек согласны с позицией автора статьи только отчасти: «Я согласен и не согласен, как говорится, пятьдесят на пятьдесят. Истинно верующий воздерживается от всяких греховных деяний, неугодных Богу. Это, конечно, на мой взгляд, хорошо, но...» Далее приводятся примерно те же аргументы, что и у всех остальных.

Ну а остальные — в разной форме и по-разному — апеллируют прежде всего к самому человеку. «Человек должен понять, что возрождение России в его руках. Он сам может изменить мир, только нужно чуть-чуть изменить себя». «Конечно, Божий Закон воспитывает в человеке самые лучшие качества, но ведь и сам человек без Бога может обуздать в себе зверя». «Никакой человек, как бы он ни был убедителен, ничего не изменит, пока каждый не задумается над своими поступками, пока не поймет сам смысл своей жизни». «Нужно другое, новое, цивилизованное, — благоразумие! Благоразумие, и только оно, может позволить нам воплотить в жизнь проекты возрождения России. Загрязняем природу отходами производства, но ведь нашим детям от этого страдать. Только благоразумие, ум, никак не страх Божий заставят нас ставить очистные сооружения». «Возрождение России должно происходить по законам земным, а не по законам Божьим. Потеряв один стержень нравственного воспитания, мы не приобрели другого. И я думаю, что каждый человек должен найти свою веру, свой путь в плане нравственного обогащения. Каждый должен пойти до своей веры сам, своей душой, иначе проповедование превратится в затуманивание мозгов».

...В сентябре следующего года я предложил это же задание трем своим новым десятым классам. На сей раз отвечали на вопрос шестьдесят восемь десятиклассников. И десять с точкой зрения Каграманова согласились. «Я считаю, что если люди перестанут бояться Бога и думать, что они на земле могут делать все, что им заблагорассудится, а после смерти им не воздастся, — то наша цивилизация, наше общество могут погибнуть».

Девятнадцать человек написали, что автор данного рассуждения не прав, ибо в Бога верили, верят и будут верить далеко не все. Девятнадцать человек считают, что страх Божий не может благотворно влиять на нравственность. О том, что ставка на страх уже была в истории нашей страны в XX веке, на этот раз не сказал никто. Двенадцать человек написали, что идея Бога — это идея добра, сострадания и любви, а не идея страха, двенадцать человек возрождение России связывают с нравственным оздоровлением на началах свободы, совести, личной ответственности.

Вместе с тем семь человек, не рассчитывая на страх потусторонний, апеллируют к страху посюстороннему, говорят о необходимости сильного правителя и сильной руки. «Нашему народу нужна тяжелая рука, которая может направить и вдолбить в головы то, что не может вдолбить Бог». «Людям нужно что-то, заставляющее их бояться. Человек создан так, что ему нужно что-то, стоящее выше его, приказывающее и наказывающее его».

Таким образом, на сей раз идею страха — потустороннего или посюстороннего — принимают семнадцать человек, то есть каждый четвертый.

...Знакомлю учеников с обсуждением статьи Юрия Каграманова в следующем (85-м) номере «Континента». Участники обсуждения — Александр Кырлежев, Сергей Аверинцев, священник Георгий Кочетков — при всем различии мыслей исходят из того, что мы «не должны из Бога делать полицейского», что страх Божий «не имеет ничего общего со страхом перед карающей Десницей». «Сфера человеческого — в руках самого человека».

В 87-м номере «Континента» Юрий Каграманов уточнил свою позицию: «...я отнюдь не отождествляю страх Божий со страхом перед Божьей карой (в чем меня заподозрили оппоненты). Просто тема потустороннего (как, впрочем, и посюстороннего) наказания была слишком приглушена на протяжении, по меньшей мере, последних двух столетий, а я только попытался придать ей громкость, вот и все». И все-таки и здесь в центре — проблема потустороннего и посюстороннего наказания. Так что оппоненты в журнале и оппоненты из числа моих учеников не так уж и не правы в своих «подозрениях».

Приношу на урок книгу Папы Иоанна Павла II «Переступить порог надежды»: «...людям всех времен, а современным людям — особенно, *нужно молиться о страхе Божьем*». Но этот страх ничего общего не имеет с рабской боязнью, с чуждой Евангелию парадигмой «господин — раб». «*Это страх сыновний... Наиболее полным выражением такого страха является сам Христос*. Христос хочет, чтобы мы боялись всего, что оскорбляет Бога. Он хочет этого потому, что Он пришел сделать человека свободным. Человек освобождается через любовь, ибо любовь — источник приверженности всякому благу».

Здесь размышления православных мыслителей, мыслителя католического и размышления неверующих пересекаются в одной точке.

...В пятом номере «Нового мира» за 1996 год я прочел статью Марины Новиковой «Соблазны»; одна из центральных тем — грех в его христианской интерпретации. «Грех — это то, что жжет изнутри, что обжигает огнем совести».

С сентября у меня вновь десятые классы, и я не раз обращаюсь к этим словам при изучении русской классики. Статья же Новиковой еще и еще раз убедила меня, что не плоское морализирование, а философствование — главное в размышлениях о религии на уроках литературы. Во всяком случае, в старших классах.

В заключительной статье в третьем томе энциклопедического словаря «Христианство» С. Аверинцев пишет, что «мы живем в мире, где уже ничто не разумеется само собой... Сегодня легче расслышать и слово апостола Павла: „Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего” (Рим. 12: 2)».

*Обновление ума* — вот то поле, где изучение литературы сопрягается с исканиями религиозной мысли и где без этих исканий невозможна полнота познающего мир и себя диалога. И все-таки само по себе обновление ума еще не все. Тут главное — в обновлении сердца и в обновлении самого бытия человека и дел его.

### 3

Первое соборное послание апостола Иоанна Богослова:

«А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, — как пребывает в том любовь Божия?»

Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (3: 17, 18).

*Не словом или языком, но делом и истиною.* Разве это только христианская точка отсчета? И разве в некоторых важнейших первоосновах, первоначалах, исходных принципах не едины все мы: православные и католики, христиане и иудеи и магометане, верующие и неверующие?

Уже давно я заканчиваю уроки по поэзии Твардовского в одиннадцатом классе так. Диктую стихотворение, написанное в 1966 году:

Я знаю, никакой моей вины  
В том, что другие не пришли с войны,  
В том, что они — кто старше, кто моложе —  
Остались там, и не о том же речь,  
Что я их мог, но не сумел сберечь, —  
Речь не о том, но все же, все же, все же...

И прошу тут же на уроке раскрыть смысл этого стихотворения, как они его понимают. Вначале расскажу, как об этом стихотворении писали в предыдущие годы.

Не каждый год и не в каждом классе, но приходилось читать и такое: «Я не понимаю мысль автора. Ведь в стихотворении написано, что никакой вины автора в том, что другие не пришли с войны, нет. Если бы стихотворение написал какой-нибудь руководитель партии или командующий армией, тогда понятно, тогда стихотворение можно было бы понять как угрызения совести. Или если бы во время войны Твардовскому доверили командовать ротой или батальоном и он послал бы в самое пекло, где все погибли, тогда мысль автора, выраженная в этом стихотворении, была бы понятна. А так это ложное обвинение. В чем же он виноват?»

Что это: непонимание стихотворения или неприятие нравственной позиции автора, его обостренной совестливости? Что это: эстетическая глухота и художественная невосприимчивость или нравственная недостаточность? Или вообще такая постановка неправомерна?

Один из учеников написал, что «автор в этом стихотворении выражает две несовместимые мысли. Он не может обвинить себя в смерти людей, убитых на войне. И поэтому мне непонятен конец стихотворения, его последняя строчка».

Между тем в том, что кажется ученику несовместимым, — нерв стихотворения, в котором нравственное чувство сильнее успокаивающих доводов разума. И многие школьники увидели это: «В душе его происходит спор разума и сердца»; «Он спорит сам с собой. Разум как бы оправдывает его, а душа спорит с разумом»; «Он знает, что не виноват, но что-то гложет его душу»; «Я чувствую в этом стихотворении угрызения совести, чувство покаяния»; «Сила стихотворения в том, что, казалось бы, утверждается одно, но приводит нас к обратному выводу, что достигается удивительной интонацией. Оно стало не объяснением мысли, оно передает чувство». Чувство вины — добавим мы от себя, — которое не столько рационально, сколько укоренено в совести человека.

И вот весной 1996 года я вновь проводил этот же урок в трех своих одиннадцатых классах. Итоги обескуражили меня. Такого не было никогда. Между тем классы по своему составу, по отношению к урокам литературы, в конце концов, даже по успеваемости ничем не ниже тех, что были прежде. Не один-два в каждом классе, а *большинство* стихотворения не понимают и не принимают.

«Многое в этом стихотворении неясно. Человек одновременно не винит и винит себя». «Я даже не знаю, о чем говорится в этом стихотворении, так как считаю, что в нем первые три строчки противоположны последним трем строкам. Никакая война не может обойтись без крови, а эту войну затеяли не мы. Почему же автор склонен винить себя?» «Эта позиция верна, если заменить „я“ на „они“, имея в виду руководство нашей страны в годы войны. Это было бы вернее, и стихотворение приобрело бы больше смысла». И т. д. «Поэт, ви-

димо, вспоминает, как по приказу вынужден был толкать людей под пули». Или такое соображение: «То, что человека мучит совесть из-за того, что остался жив, противоестественно». (Учтем при этом, что о поэзии Твардовского речь в одиннадцатом классе идет весной. Еще немного — и экзамены, и окончание школы.) Как видим, нравственный багаж выпускников оставляет желать лучшего...

Я знаю, никакой моей вины в том, что учителя в стране долгими месяцами не получают зарплату, нет. Но когда я, за последние годы лишь раз получивший ее с задержкой на три дня, встречаюсь с учителями России, мне *стыдно* смотреть им в глаза.

Однажды я сказал об этом на уроке, и один из учеников искренне непонимающе спросил меня: «А почему?» И когда я рассказываю о том, как Чехов вместо того, чтобы поехать за границу, а ему туда очень хотелось, отправился в мучительный для него, уже больного, путь на Сахалин, многие в классе слушают меня с недоумением.

...В 1933 году в статье «О национальном покаянии» Георгий Федотов писал: «Если же не молчание, а слово, то о чем? Какое слово может быть религиозно-действенно, может помочь спасительному выходу из кризиса? Только одно: вечное слово о покаянии. Покаяние — ужас и отвращение к себе („и трепещу и проклинаяю”), ненависть к прошлому, черта, рубеж, удар ножа, — новое рождение, новая жизнь».

Вот что должно было бы объединить нас.

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий» (I Кор. 13: 1).

Многие десятилетия мы умудрялись в школе обращать в звенящую медь все: «чувства добрые» Пушкина, мысли Толстого, страдания Гоголя. Кажется, теперь очередь дошла до Ветхого и Нового Завета.

Станут ли мои ученики верующими или нет — это их личный выбор. Я их не обращаю и не отвращаю. У меня — как учителя литературы — другая задача: ввести их в мир безусловных художественных, философских и нравственных ценностей. Среди них и ценности христианские. Для меня в уроке главное то, что всех нас объединяет, а не разъединяет.

Я думаю, что сегодня у религии, искусства, литературы, школы есть одна общая задача: помочь юным душам выдержать натиск жестокой и во многом расчеловечивающей реальности нашей, противостоять ему. Помочь обрести то, что Пушкин просто и гениально определил как «самостоянье человека». И далее — «залог величия его».

---

---

---

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА



## ЭТО НЕ ЗАГОВОР, НО...

Люди безразличные равнодушно смотрят, как их детям или им самим прививают постепенно точки зрения, от которых они бы со страхом отвернулись, если бы могли понять концы этих начал.

*Лев Тихомиров. «Начала и концы».*

**К** нам приехал ревизор, даже группа ревизоров-реформаторов. И не все приехали, а некоторые всегда были тут, но в сферы наробразы (а в качестве артподготовки — и на массмедиа) заявили сравнительно недавно, вместе с наступлением эпохи «полной раскрепощенности», как радостно охарактеризовал наше время профессор И. С. Кон, инициатор наведения порядка в деле школьного просвещения и введения нового ликбеза.

В каких вопросах? Слова этого я обычно не употребляю, потому что, что такое «любовь», «эрос», «страсть», «любовная лихорадка», в конце концов, мне понятно, но что должно означать в человеческом мире краткое английское слово «sex», помимо словарного «пол», совершенно неясно. Однако же не эта сама по себе объективная реальность — факт существования двух полов — привлекает внимание профессора Кона и его единомышленников, и не можем же мы вместе с газетой «АиФ» удовлетворяться игривой фразой, что, мол, Игорь Семенович «открыл, что люди делятся на мужчин и женщин и между ними есть различия» (1997, № 24)?! Нет, для совсем иных своих открытий добивается он открытия школьных дверей.

Открытие, впрочем, уже сделано раньше, в Америке, современной «родине слонов», и состоит в том, что детей надо сызмальства вводить в курс интимных отношений между взрослыми дядями и тетями, чтобы загодя избежать нежелательных последствий. Короче говоря, во имя «безопасности» (ключевая мотивация) вызовем врага из небытия досрочно.

Здесь не знаешь, чему больше удивляться: утопичности ли новых пропагандистов и их нечувствительности к смешному или преступной наклонности их сознания. Представьте себе: учитель, вооружившись указкой и мелом, вызывает к доске первоклашку, чтобы тот наглядно объяснил, как предотвращать появление потомства (то есть его собратьев). «Да дети хихикать будут», — заметил знакомый врач-педиатр. Даже исходя из логики тех, кто одержим идеей подобного всеобуча, кто думает не так, как думали люди до сих пор, адресат должен повзрослеть, превратиться хотя бы в подростка, когда перед ним могут вставать неожиданные проблемы. До определенного возраста ребенок не представляет собой ни мужского, ни женского существа в полном смысле (в немецком даже «девушка», das Mädchen, не имеет пола), он — буквально — невинен, и ум его еще не успел созреть до этих вопросов, даже приблизиться к ним. Потому знакомить нормального малолетку с «основами сексологии» — все равно что читать ему лекции по астрофизике. Кстати, если считать, как хотят внушить нам, что «сексология» — это наука, то все равно преподавать ее детям так же дико, как преподавать им гинекологию. Этому должен обучаться специалист, врач.

Но независимо от того, понимают ли что-нибудь дети из такого просвещения или нет и отдают ли себе отчет просветители в том, чем они занимаются, спеша с помощью научной терминологии и изобразительного ряда сосредоточить невинное внимание, скажем, на механике грехопадения, занятие это должно быть названо не иначе как совращением малолетних.

Потому помимо недоумения курс на сексуальный техобуч, на «срывание всех и всяческих масок» вызывает, подобно подлинной трагедии, страх и сострадание (только без катарсиса, очищения): страх — перед программированием будущих поколений несчастных циников (которые пока еще фабрикуются в несистематическом порядке), сострадание — естественно, к ним самим, жертвам. Сорванные «маски» ведь и составляют суть любви; разоблачаемая Коном (в тех же «АиФ») «стратегия страуса» в вопросах «сексологии» есть стыдливость, без коей чувство любви переживает безобразную судьбу извлеченной на поверхность глубоководной рыбы или вытащенной на сушу лермонтовской «морской царевны», превратившейся в «чудо морское с зеленым хвостом»... Неужели это перестало быть понятным зрелым профессорам, одержимым идеей «демифологизации» и «демистификации» любовного переживания? Ей-богу, мне жаль их тоже. Но еще больше мне жалко детей, включая и их собственных.

А что можно думать о подлинных мотивах этой маниакальной борьбы за повсеместное насаждение практики «безопасного sex'а»? Ведь не практические же успехи, которых, как доносит статистика из поторопившихся с нововведением уголков Европы и Америки, не то что нет, но которые представляют собой удручающий минус. Однако факты никого еще не убеждали в делах идейных пристрастий. А дело здесь не такое прагматическое, как может показаться из страшашей аргументации сексологов: грядет, мол, катастрофа, если срочно не обеспечить беспоследственность всех интимных связей, и для этого — логика! — нужно сделать их всем доступными. Подобно повороту северных рек или скоростной железной дороге Москва — Петербург, замысел сплошной сексуализации России не допускает проверки на затратность и эффективность.

Панацея от всех бед любви (а на самом деле — от самой любви) оказывается идеей-ширмой, под прикрытием которой идет великий духовный переворот. Под лозунгом «безопасности» интимных отношений, якобы требующей специфической информации, происходит обучение, а тем самым и вовлечение в них и развлечение еще не подросткового поколения, включая малолетних детей. До сих пор подобной обработке подвергались — при посредстве СМИ — по большей части взрослеющие люди, в то время как дети, имеющие обыкновение отвлекаться на свои детские игры и вообще укрываться под кровом семьи, оставались не охваченными или неполностью охваченными сексологией. Теперь их собрались выволакивать за ушко и на солнышко, которое лучами своей проникающей радиации сумеет просветить всех насквозь. Испортить еще не испорченных, растлить еще не растленных. Известно, что одним из методов подготовки кадров в публичные дома, как свидетельствуют публицистика и романистика, всегда было — ловить приезжающих из провинции в большой город неопытных девушек и путем «сексологического культпросвета» возвращать их воображение.

Однако наряду с широковетательной пропагандой своей прогрессивности сексология совсем не откровенна по части своих конкретных достижений, завоеваний и действующих героев. И только где-нибудь в подвальной книжной лавке Высоко-Петровского монастыря можно напасть на христианский информационный бюллетень, из коего обнаруживается, что отнюдь не только частные энтузиасты, подбодренные с Запада, принялись всерьез за акселерацию детей, но и официальные организации: Минобраз, Минздрав, Минтруда и социального развития; специально создана Российская ассоциация планирования семьи (РАПС) — филиал подобной же Международной федерации (МФПС), опекающей «нетрадиционные семьи» (!). И вот уже в России готовы программы: «Половозрастное воспитание учащихся. Основы сексологии» и «Планирование семьи и сексуальное просвещение молодежи и подростков», —



учреждены печатные органы («Журнал планирования семьи» — «ЖПС»). Причем одни слова, входящие в названия, читать просто противно, другие — пороуэлловски лживы, и их надо читать наоборот: «Недовозрастное развращение учащихся» с 1-го (то есть с шести лет) и по 11-й класс, на что запланировано около 400 часов (очевидно, за счет русской литературы, которая будет все равно уже неуместна); и — «Планы разрушения семьи», а также юношеской психики. Дошколята тоже входят в планы РАПС, как и в планы МФПС! На одни эти разработки уже потрачены десятки миллиардов рублей ничего не подозревающих налогоплательщиков и планируются дальнейшие траты.

Не останавливаясь подробно на содержании этих текстов, изобилующих туманными нерусскоязычными терминами вроде «репродуктивный выбор», выделим главное: воспитать из каждого отрока «сексуального партнера», для чего сочетать пропаганду «сексуальных удовольствий» с организацией легкого для подростков доступа к противозачаточным медикаментозным средствам и тем «помочь познать ему (хочется сказать — клиенту. — Р. Г.) истинные ценности» (прямо-таки из буклета дома свиданий).

Наконец-то найдена достойная цель для воспитателей будущего человечества! Отыскан ни с чем не сравнимый идеал человека!

До сих пор мы в XX веке имели два одиозных идеала, сформулированных двумя тотальными идеологиями: это «сверхчеловек» национал-социализма и строитель «светлого будущего» интернационал-социализма. Сегодня мы находимся при рождении еще одного, самого невероятного из всех мыслимых человеческих образцов, а именно — сексуального маньяка (ведь что же такое специализация на идеальном партнере, как не превращение в существо, маниакально сосредоточенное на этом своем партнерстве?). Такого низменного идеала человечество еще не выдумывало, даже фашистская «белокурая бестия» при всем культивировании в ней животного начала и природной мощи не являет собой исключительно ступка родовой «производительной силы», но несет на себе некий ницшеанский сверхчеловеческий отблеск (противоречия между животным недочеловеком и богоподобным сверхчеловеком, заключенные в этом образе, остаются на совести самого Ницше). Что же говорить о морали «строителя коммунизма»? Она не так уж расходилась с общечеловеческой моралью, взошедшей в нашей цивилизации на христианской закваске и отборных классических идеалах; головной атеизм коренным образом не изменил образа человека, не захватил его нутра. Это был героический люциферизм, но еще не разлагающееся ариманство. Если отбросить идеологический антураж, герой соцреализма (что сегодня стало всего наглядней на киноэкране) по сравнению с «рассвободенным» персонажем 90-х — это все равно что Персей супротив Медузы-Горгоны.

Сегодня спор идет уже не о Боге, а о человеке. Воинствующий атеизм перекочевал с поля боя, на котором некогда выступали известный булгаковский персонаж, разоблачитель христианской веры Михаил Александрович Берлиоз или выискивающий противоречия в «библейском мифе» знаменитый реальный безбожник 30-х годов Емельян Ярославский, в сферы изничтожения Его создания — человека.

В лице образцового «сексуального партнера» предстает беспрецедентно дегуманистический, предельно антагонистичный традиционному в русской культуре «положительно-прекрасному» человеку отрицательно-безобразный субъект.

В самом деле, нас учили этике самоограничения и самодисциплины; достоинство человека, носителя двойственной духовно-физической природы, связывалось со способностью преодолевать «низшие стороны своего собственного существа» (С. Булгаков) и обеспечивать торжество над ними нравственного начала. Для сексологов — составителей руководящих программ нет слова более ненавистного, чем «нравственность», вариации которого если и включаются в текст, то всегда под конвоем компрометирующих пшеметников (к примеру, «ханжеская этика» — «ЖПС», 1994, № 1, стр. 24); «нравоучений» пред-

писывают тут бежать, как черту ладана; а что объявляется здесь высшими ценностями, мы уже знаем.

Конечно, за двухтысячелетнюю историю в недрах европейской мысли появлялись более либеральные, чем в христианстве, интерпретации человеческой природы — как изначально доброй и гармоничной. С таковой нужно было уже не бороться, ей нужно было следовать — а она сама вывезет на светлый путь. Что можно сказать по поводу подобных оптимистов? О *sancta simplicitas!* Они потеряли здравость. Однако — не утратили морали. Такого, чтобы в респектабельных кругах ученых-обществоведов — а не у каких-нибудь нечесаных маргиналов — низшее, физиологически-животное прославлялось и внедрялось в качестве высшего, чтобы полюса верхний и нижний менялись местами, чтобы животное начало, которого человеку полагается стыдиться и по возможности его просветлять («сублимировать», по-нынешнему), утверждалось в качестве сущности *homo sapiens?* — этого еще не было. И быть не должно. Владимир Соловьев вывел философскую максиму: «Я стыжусь, следовательно, существую... я стыжусь своей животности, следовательно, я еще существую как человек». Сексологическая педагогика отменяет нашу человечность.

Пропагандисты-сексологи развернули методическую кампанию «Долой стыд!», а будущих наставников по «безопасности» грозно предупреждают — как в заградотряде «Ни шагу назад!»: «Занятия должны проходить без ложной стыдливости» (программа «Половозрастное воспитание учащихся. Основы сексологии», стр. 6).

Нам внушают, что «сексология» — наука. Быть может, это «наука страсти нежной, которую воспел Назон», иначе говоря, наука наслаждений? В преамбуле «сексологии» вроде бы лежит довольно популярная в контркультурных движениях идея освобождения человека от стесняющих пут традиций, от препон и рогаток моральной цензуры, которые мешают самоосуществлению и самоидентификации, лишаюи радости жизни, гармонии телесного и духовного. Но на самом деле даже до поверхностной и вульгарной позиции à la Маркузе сексология не дотягивает. К этому мировоззрению нельзя приложить и тех характеристик — «эротический материализм», — которые прилагаются к философии жизни В. Розанова, ибо эрос-то как раз из любовных отношений тут испаряется, оставляя вместо себя технологию. Посему назвать новую философию любви следовало бы «сексуальным механицизмом» и о «душевной гармонии» не упоминать всуе. Даже применяемая к некоторым натуралистическим представлениям о человеке дефиниция «зверочеловек» здесь будет звучать с неким избытком естественности, поскольку само спонтанное любовное начало, будучи насквозь просвечено, всенародно обсуждено и, можно сказать, обобщено и коллективизировано, угаснет в своем зачатке. Выступавшая как-то на радиостанции «Свобода» американка с подъемом поведала слушателям, что она была раньше застенчива и ничего «про свои проблемы» рассказать не могла. А вот теперь, с помощью сексологов, научилась всегда и все обсуждать публично, по ТВ, и не осталось у нее никаких больше запретных зон и секретов от общества. Поздравляем! (Только, по мне, уж лучше «подворотня», которой пугают новые просветители и родителей, и общество как опасным источником знаний. Тамашнее знание так и останется для безнадзорного подростка нелегалщиной и не искоренит его чувства стыда.) Исчезли не только таинства, но и тайны; жизнь оказалась не только расколдована, демифологизирована, но и детабуирована, освобождена от запретов. Однако закон сохранения материи (или энергии) не отменяется: взамен упраздненных появилась масса новых запретов. Произошло перемещение табу из глубинной сферы сакрального, таинственного в область горизонтально-поверхностного, где никто не должен иметь ничего сокровенного, а равно и отклоняющегося во взглядах от общественного мнения. Все это переносит нас в «Прекрасный новый мир» О. Хаксли, который не раз приходится вспоминать, листая сексологические «Программы» и инструкции.

Но как могло произойти, чтобы цивилизованное человечество на исходе второго тысячелетия захотело рассматривать себя в качестве животного? И к тому же — угодило в рабство к жестоким предрассудкам?

История болезни, приведшая к летальному исходу образа человека как homo sapiens, — это история разочарования в идеологии (на опыте марксизма), а вместе с ним в идеях, смыслах, ценностях. За последние полвека на Западе, а за последнее десятилетие и у нас сложилась идеология деидеологизма (или «плюрализма»), которая заявляет о своей безыдейности, безыдеальности и накладывает табу на всякую апелляцию к проштрафившимся высшим ценностям. Из этой отрицательной радикальности на наших глазах родилась, быть может, самая неотступная тотальная идеология. Так же как глобальный коммунистический проект, исходивший из идеи полного освобождения угнетенного человечества, привел к его полному рабству, так и нарождающаяся идеология полного освобождения человека, задавленного сверхзадачами и «нравоучениями», приводит к полному его пленению, но уже не у высшего начала, не у стесняющей «иерархии ценностей», а у начала низшего, у конгломерата принудительных пошлостей.

Инструментом новой идеологии в ее борьбе против этой «иерархии» за уравнивательность по отношению к неравным по природе вещам служит так называемая «political correctness», имеющая лишь косвенное касательство к политике и выражающая весьма своеобразное представление о корректности. Все больше она требует не просто уравнивания вещей разнокалиберных, но возвышения низшего за счет высшего. Это что-то вроде передела собственности в области духа, перераспределения достоинств и преимуществ с конечным торжеством все того же лозунга: «Кто был ничем, тот станет всем». «Political correctness» — это целые проскрипционные списки понятий, восприятий и мыслей. За океаном человеку уже довольно давно диктуют, какие слова говорить неприлично (это все приличные слова), а какие прилично (часто это неприличные слова).

Более десяти лет тому назад одна моя знакомая, только что прибывшая в США, оказавшись на вечеринке, party, университетских преподавателей, в чей коллектив ей предстояло влиться, высказалась по поводу неблагоприятного влияния льгот при приеме в университеты на уровень подготовки выпускников. «У нас это тоже чувствовалось, когда была процентная норма для каждой республики», — поделилась она советским опытом. Все за столом замерли и как-то скоропостижно и безмолвно начали расходиться по домам. На следующий день нашей соотечественнице отказали от места; вскоре ей по знакомству объяснили, что она нарушила «political correctness». В другой раз то же самое с ней произошло уже не на национальной, а как раз на сексологической почве. В частном разговоре со своей сослуживицей новоприбывшая высказала свои сомнения в полезности и правильности бесед с учащимися о «преимуществах» (sic!) однополрой семьи. Тут же пришел донос декану о реакционных взглядах русской преподавательницы. Впоследствии, когда она поближе сошлась с одной американской семьей, в тамошней гостиной происходили сцены такие же, как в прежние времена на наших кухнях: расстроенная американская мать подрастающего мальчика горестно сетовала на то, что дети в школе воспитываются «в духе уважения к гомосексуалам» и она не знает, как уберечь от этого своего сына, а потом вдруг, спохватываясь и поднеся палец к губам, попросила гостью ни в коем случае не рассказывать о том, что она только что услышала, коллегам в университете.

Никакой безыдеологичности не существует, природа не терпит пустоты. Расставшийся со сферой сверхчувственного, голый человек остался при своем естестве этой вроде бы бесспорной, безобманной реальности, на которую он давно уже сфокусирован. «Мы — ученики Фрейда», — безапелляционно заяв-

<sup>1</sup> Целый ряд сходных мыслей я обнаружила в «Новом педагогическом журнале», к примеру в статье А. П. Яковлева «Люди или скот?» (1997, № 4). Тотально аморалистскую идеологию автор побивает с позиций здравого смысла и теории К. Лоренца.

ляет теперь от имени человечества Б. Парамонов, бывший учитель диамата Маркса.

Мы знали марксизм (классизм), базирующийся на классовой борьбе, мы знали расизм, базирующийся на преимуществах расы, теперь мы имеем дело с культивирующим физиологические отношения «сексуализмом» (термин С. Булгакова, применяемый к розановской идее фикс), или «сексизмом» (жаль, что этот термин обременен значениями, которые в него вкладывают феминистки).

Заняв место тотальной идеологии, сексуализм, так же как его предшественники, собрался не только объяснять мир, но и изменять его. Подобно им, тут собрались также заняться «формированием нового человека», из всех «новых» самого невозможного и отталкивающего. Как замечал Лев Толстой, «неиспорченному человеку всегда бывает и отвратительно и стыдно думать и говорить о половых отношениях». Что же представляет из себя воспитательная наука, которая только этим и занята и других призывает только этим заниматься?

В недавнее время марксизм-ленинизм, стоящий у власти, под страхом репрессий родителей пропускал каждого ребенка через октябрятскую, пионерскую и комсомольскую центрифугу; сексуализм, не пришедший к политической власти, через эфирное господство, через гипнотическое воздействие на умы в качестве последнего слова с Запада терроризирует «молчаливое большинство» населения своими откровениями. Но если принудительная идеологическая система воспитания при советской власти действовала в соответствии с коммунистической законностью, опирающейся на шестую статью Конституции, то сексологические притязания на воспитание школьников (и дошкольников) входят в вопиющее противоречие с Гражданским кодексом демократической России, будучи попросту признанного в ней примата родительских прав.

Новейшая идеология сексуализма так же наступательна, как всякая большая идеология, несущая свой замысел в мир. Так же хитра и изворотлива. Для осуществления поставленных задач и в страхе перед «активизацией» противников, особенно из верующих, сексологи всех стран объединяются, чтобы провести, как формулируется на совещаниях РАПС в документах МФПС, «хорошо поставленную кампанию по формированию общественного мнения с использованием СМИ, причем такие кампании должны быть организованы не только в центре, но и в регионах». «Неправительственные организации» призываются «действовать как группы давления на правительство своих стран» (цит. по «Информационному листку православного медико-просветительского центра „Жизнь“», 1997, № 12, стр. 9).

У сексологов, как мы знаем, имеется и свойственное идеологии демагогически-агитационное прикрытие — ссылка на дефицит информации в любовных делах. Подразумевается, что узнай потенциальный партнер, какие предохранительные средства имеются в аптеке, как все будет all right. Убеждают ли они всех остальных или самих себя тоже, что все дело в неосведомленности, — налицо типичный для тотальных, прожектерских идеологий утопизм. Сексология толкует о тонкостях «научного репродукционизма», но демонстрирует полное незнание человеческой — а тем более русской — натуры, которая живет не по инструкции. Если бы действительно речь шла о доведении каких-то необходимых полезных сведений до подростков, то прежде всего в голову должна была бы прийти мысль об «информировании» их родителей: на них, быть может, одичалых, направить свои просветительски-воспитательные усилия, для них составлять учебники, им предлагать советы, как ввести в колею своих питомцев. Но, конечно, тут требуются иные советчики. Эти же советчики озабочены не столь элементарными вещами и родителям не доверяют — как не доверяла им революционная власть, стремившаяся отнять у них ребенка и воспитать из него существо другой породы. «У родителей, впитавших ханжескую этику тоталитарной эпохи, нет опыта полового воспитания детей», — внушает один из теоретиков сексуализма. Поэтому из малолетних детей готовят тут бдительных по отношению к своим, опутанным предрассудками, папам и мамам павликов морозовых и более того — их sex-просветителей.

А между тем тоталитарная эпоха как раз и наступает.

Незаметно-потихоньку, без шума и рекламы, втайне от родителей и общества по школам России — официально — разосланы упомянутые «Программы» по «основам сексологии» для включения их в учебный процесс. Шумно, как мы уже заметили, сексологи рекламируют свои раскрепощающие идеи и свои революционные ценности; когда же дело касается их внедрения в школьную практику, тут они избегают широкой огласки. И это понятно: сначала надо постараться без помех внедриться в школу (и детсад), сделать ситуацию по возможности необратимой, а потом уже рапортовать о своих достижениях.

Иногда создается впечатление, что редкие, подчас растерянные газетные отклики на новейшую напасть пользуются агентурными донесениями. Одно за другим проникают сведения с туманными ссылками и неопределенными фактами: то ли вышел учебник по сексологии для учеников 5 — 6-го классов, то ли только готовится. Тайна сия велика есть. Новые скрижали должны внезапно прихлопнуть недорослей. По сведениям, добытым фельетонистом Эд. Графовым (статья «Что такое Лев Толстой» — «Известия», 1997, 25 июля), который старательно закавычивает некоторые выражения оттуда и еще из разосланной, как он сообщает, по 7-м классам анкеты «Что ты знаешь о сексе?», детям там рассказывается о «парамедицинской репродуктивности теории дородового выбора», о «родах с участием мужа (пятиклассника? — Р. Г.) в домашних условиях», предлагается «поразмыслить о гомосексуализме, зоо- и некрофилии», спрашивается, «что такое эрогенные зоны»; дальше — хуже. Не остаются школьники и без наглядных пособий, плакатов и... муляжей.

Дело это несомненно уголовное, причем предпринятое в масштабе страны. Нарушены тут не только права родителей, но и статья 101 УПК, предусматривающая наказание «за развратные действия», к которым, разумеется, должны быть отнесены слова, жесты и изображения.

Спущенные как снег на голову ошарашенных учителей и родителей невиданные методики вызывают на местах подлинное движение сопротивления. И без того измотанная тяготами жизни провинциальная интеллигенция, отбиваясь от них, вынуждена втянуться в схватку с неумолимым и хорошо вооруженным врагом, который уже сумел перетянуть на свою сторону государственные органы (кстати, рапсовцы, предвидя сопротивление на местах, давно призывали своих сторонников быть готовыми чуть ли не к третьей отечественной войне; знает кошка, чье мясо съела). В Воронеже, к примеру, резистанс педагогов и родителей принял формы массовых обращений к правительству и президенту, Государственной и своей думам. В случае глухоты властей воронежцы пригрозили акциями гражданского неповиновения. Протестующая реакция идет по стране, только мы, в столицах, находимся в неведении, потому что СМИ об этом говорить неинтересно. Они раскручивают как раз обратную сторону — пропагандистов сексуализма, обеспечивают постепенное «привыкание» аудитории к их новаторским задумкам (раньше подобная политика называлась «оболваниванием»).

Кто же истощает наши силы?

Кто же совершает эту национальную революцию?<sup>2</sup>

Быть может, Буторина О. Г., Царьгородцев А. Д., Кулаков В. И., Каганов Н., Прилепская В. Н., Мануйлова И. А., Шаронов А. В., Аксельсон Б. Л., Гребешова И. — эти неизвестные чиновники, чьи подписи стоят под циркулярами (неужели и министр здравоохранения Т. Дмитриева будет среди них?<sup>3</sup>), и воодушевляющие их самозваные активисты и есть духовные вожди нации, наши Достоевские и Толстые? Кто вручил этой кучке клерков и доброхотов типа И. Кона будущее народа?

<sup>2</sup> А. П. Яковлев в упомянутой выше статье также считает, что в данном случае «речь идет о коренном перевороте не только в поведении подростков, но и в их сознании, а в недалеком будущем — когда они станут взрослыми — и во всем общественном сознании».

<sup>3</sup> Как внушает нам поклонник Кона радио-активный психолог В. Шахиджанян в «Литературном базаре» (1997, № 4).

Простой здравый смысл не берется объяснить происхождение последней апокалиптической мины, заложенной под Россию. А тут еще вечные ссылки наших сексологов и их равнение на передовой опыт Запада; а тут еще замешалась Международная федерация планирования семьи со своими финансовыми предложениями и интересами (она, увы, уже обросла мощной индустрией), а тут еще по радиостанции «Свобода», вещающей на нас, сексопсихолог Рут Вестхаймер под видом «консультаций специалиста» ведет беззастенчивую пропаганду извращений, порнографии и «детского sex'a с пеленок», и вещает она все это каким-то издевательски-карикатурным, лягушечьим голосом.

Что после всего этого может прийти в голову человеку? Ясно, мы имеем здесь дело с заговором против России, задуманным заокеанскими эмиссарами!

Все бы это звучало «логично», если бы в самой Америке не шла та же самая борьба, что и у нас, но более масштабно, на продвинутой стадии, если бы граждане, взволнованные нравственным здоровьем нации, не протестовали там против sex education, против того же самого, против чего протестуют в своих обращениях жители Воронежа. Десятилетия идет в Штатах ожесточенная война неравных, как и у нас, сил: на одной стороне — передовое общественное мнение, скрепляемое СМИ, плюс чиновничество, плюс фирмы, а на другой — разрозненные приватные фонды, как «Rockford Institute», и журналы, как «First things», возглавляемый религиозным просветителем Ричардом Нейхаузом. Вред нравственному здоровью, о котором в связи с деятельностью деструктивных сект беспокоился наш российский Президент, здесь никак не меньше того, который исходит<sup>4</sup> от них.

Доктор Томас Соувелл в статье «Большая ложь сексуального образования» так описывает обстановку в американских школах после введения в них предметов по «половозрастной психологии», что будет очень поучительно для нас, идущих следом: «Внушительно обставленные, финансируемые из федерального бюджета программы «сексуального образования» внедрились в американскую систему среднего образования в течение семидесятых. Зачастую это внедрение сопровождалось открытием на территории школ специальных клиник... Перед началом внедрения этих программ дело с подростковой беременностью было значительно лучше, чем после... Обнаружившееся явное противоречие между целями, декларируемыми поборниками программ «сексуального образования», и результатами их внедрения не привело к пересмотру существа дела — лишь к более хитроумным интерпретациям... Пропагандой «сексуального образования» полны все средства массовой информации. Однако если бы родители действительно знали, чему и как учат их детей в школе на этих пресловутых уроках... что это имеет прямое отношение не к биологии и не к медицине, а исключительно к идеологии: традиционные ценности и авторитет родителей подвергаются систематической дискредитации...»<sup>5</sup>

Нет, это не заговор против России — это заговор против человечности<sup>6</sup>. Или, скорее, это стихийно образовавшийся сговор единомышленников, которые объединились на путях «служения прогрессу». Так бывает, когда идея овладевает небольшими массами, однако самых передовых умов (независимо от страны пребывания), и хлопочущих никак не меньше, чем обо всем человечестве, но не брезгующих союзом с мамоной.

Что касается России, то можно с уверенностью сказать: идея сексуальной «безопасности» есть угроза национальной безопасности.

<sup>4</sup> Наконец-то встрепелась российская Генпрокуратура и на разосланную по стране секс-реформаторами из Министерства образования анкету для школьников дала экспертное заключение: «...поставленные в анкете вопросы отличались пошлостью и безнравственностью, в силу чего могли способствовать... возбуждению полового инстинкта у опрашиваемых, среди которых были и малолетние» (см.: «Московский комсомолец», 1997, 20 августа).

<sup>5</sup> Sowell T. The big lie in sex education. AFA Journal, 1992, April.

<sup>6</sup> Познакомьтесь с обстоятельно изложенными фактами в появившейся в «Новой газете» (1997, 8 — 14 сентября) статье психологов И. Медведевой и Т. Шишовой «Кто и зачем лоббирует программы сексуального воспитания школьников» и проникните ужасом.

---

---

ИАНА ВИРА



## ПСИХОАНАЛИЗ И ВОСПИТАНИЕ

Сейчас, когда после десятилетий запрета в Россию возвращается наследие Зигмунда Фрейда и его ближайших последователей, хочу поделиться тем, что представляет собой психоаналитическая педагогика в лице ее видного европейского представителя, венского психотерапевта и педагога Гельмута Фигдора (сравнительно недавно издательство «Наука» выпустило в свет его труд «Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой» — но очень небольшим тиражом)<sup>1</sup>.

В наши дни, когда классическая педагогика заходит в тупик, так как не в состоянии справиться с принципиально новыми проблемами детского воспитания в конце XX века, психоанализ может ей пригодиться. Надо только адекватно относиться к нему: не как к идеологии (чем, правда, изрядно грешили его отцы основатели), охватывающей все духовное бытие человека, но именно как к врачебному методу и теории.

...Как известно, почва для неврозов возникает, когда в подсознательное загоняются разного рода отрицательные эмоции. Дело психоаналитика — вытащить их из подсознания пациента на свет Божий и, таким образом, в конце концов обезвредить. Пациент начинает сам делать выбор, тогда как прежде это делало за него подсознательное. Яркий пример психоанализа демонстрирует замечательная и по-своему уникальная книга М. Зошенко «Перед восходом солнца». Она была, можно сказать, первой ласточкой, каким-то чудесным образом ворвавшейся в зиму запрета на науку. (К сожалению, она не только не сделала весны, но и, как известно, принесла автору немало неприятностей.)

Фрейд характеризовал терапевтическую задачу психоанализа как «достижение способности к счастью, работе и любви» (книга Зошенко учит как раз тому же).

Психическое здоровье, по мнению Гельмута Фигдора, — это сознательная власть над собственными возможностями, контроль над реальностью и, наконец, способность строить свои отношения с окружающими, не обременяя их страхами, привнесенными из детства.

Родители должны быть «психоаналитиками» в отношении своих потомков, воспитывать не только их, но и себя тоже, появление на свет ребенка в семье должно менять всю ее психологическую картину.

Вопросы применения психоанализа в педагогике настойчиво занимали умы первых психоаналитиков, среди них сам Зигмунд Фрейд, его ученики М. Кляйн, А. Фрейд, М. Балинт и другие. В начале века идея психоаналитической педагогики приобрела большую популярность: мир стоял в преддверии великих переустройств, которые уже коснулись человеческого сознания. Одни

---

<sup>1</sup> Правда, в предисловии к русскому изданию Г. Фигдор весьма осторожно оценивает возможности прямого использования его опыта детского психоанализа у нас в России: «А возможны ли психоаналитические познания, основанные на исследованиях в определенной культурной среде (в данном случае в Центральной Европе), просто так перенести на почву другой культуры?...» Тем не менее «при этом нельзя забывать, что между средневропейской и русской культурой имеются не только различия, но и много исторического общего». (Примеч. ред.)

сторонники преобразований возвышенно мечтали о том, чтобы воспитать нового — внутренне счастливого — человека, который не тратил бы своей душевной энергии на преодоление внутриспсихических конфликтов, а мог бы направить ее на творчество и созидание. Другие соблазнялись идеей воспитания «правильных» людей; мысль о создании «строителя коммунизма», «нового советского человека», никогда не давала покоя большевикам.

В Москве была создана школа-интернат (для отпрысков партийных функционеров, которую посещал и юный Яков Джугашвили), где производились попытки внедрения тогдашних методов психоаналитической педагогики. Как известно, Сталин вскоре «разочаровался» в психоанализе (некоторыми отважными психоаналитиками были предприняты попытки анализа его собственной персоны), после чего тот был предан в СССР анафеме: «Подчеркивая вечность и неизменность основных психических механизмов бессознательного, психоаналитики и психосоциологи оправдывают пороки капиталистического общества как неизбежные проявления неизменных бессознательных влечений человека» («Философский словарь», 1963).

Попытки тоталитаризма поставить психоаналитическую педагогику себе на службу потерпели провал. Надежды на возможность «правильного» воспитания или формирования «оптимальных психических структур» не оправдались по причине вечности и неизменности основных психических механизмов, и слава Богу!

Однако и цель «профилактики неврозов», которую ставили перед собой пионеры психоанализа, тоже оказалась недостижимой. Индивидуальность каждого ребенка не дает возможности переработки психических структур планомерным образом. Такой процесс, считает Фигдор, непременно разобьется о комплексность всех включенных в него факторов. А кроме того, подобные намерения были бы весьма опасны по этическим и политическим соображениям. Но педагогика, называющая себя психоаналитической, вполне может инициировать положительные шаги развития и предотвратить образование тех структур, которые мешали бы удачному развитию ребенка. Конечно, полезные психические структуры далеко не идентичны с «психическим здоровьем», они всего лишь вносят в него свой вклад. Поэтому психоаналитическая педагогика должна ориентироваться не на «профилактику неврозов», а на заботу об уменьшении опасности будущего невротического страдания в условиях неудачных жизненных обстоятельств.

С начала 80-х годов психоаналитическая педагогика обрела второе дыхание во многом именно благодаря теоретическим (и практическим!) работам Фигдора. Под его руководством при Венском обществе Зигмунда Фрейда начали свою деятельность трехлетние курсы по подготовке психоаналитически-педагогических консультантов. Здесь — надежная база психоаналитической педагогики, наиважнейшего, по мнению Фрейда, раздела психоанализа.

Иногда Фигдор утверждает нечто привычных наших представлений неожиданное (согласно его методу, повторяю, хочешь вылечить ребенка — лечи родителей). Вот понятие «самоотверженная мать» — оно прежде никогда не подвергалось сомнению как нечто самое что ни на есть «священное». Но: мать, женщина, отказывающая себе во имя ребенка во всем (отказывающаяся, в конце концов, от себя — своей личной и социальной жизни), естественно, постоянно находится под сильнейшим психическим давлением — вытесненные желания, «самоотречение» не могут не сказываться на самочувствии. Нервные стрессы, пусть даже тщательно скрываемые, тут неизбежны. В результате такая самоотверженность бьет другим концом по ребенку. «Самоотверженная мать» обязательно по-своему деспотична, тут — бессознательно — от ребенка требуется «особая благодарность», он попросту не имеет права быть недовольным, и эта требовательность не может не привести к невротическим отложениям.

Неверно и правило: «Послушные дети — душевно здоровые и социально развитые дети». Это утверждение скорее служит комфорту родителей и педаго-



гов, чем реальности. Просто с «законопослушными» намного проще, чем с настойчиво проявляющими себя индивидуальностями.

Иллюзия и то, что с детьми можно всегда оставаться «добрыми», — разом и нарциссическая, и идеологическая иллюзия! Твердость в воспитании — вещь столь же важная, как и «безграничная доброта».

Фигдор рассказывает про одну свою четырехлетнюю пациентку, с которой мать совсем замучилась: та никогда не убирала за собой ни пальто, ни туфельки, ни игрушек, а на замечания мрачно и надолго замыкалась в себе. Что тут делать — наказывать или, наоборот, смотреть на все сквозь пальцы? Врач начинает одновременно работать и с матерью, и с ребенком, внушая первой, что ее требования порядка все же завышены, а дочурку подвигая к порядку. Лишь взаимный компромисс может снять растущее в семье напряжение.

В одной из супервизионных групп психоаналитической взаимопомощи для преподавателей<sup>2</sup> Фигдор столкнулся со следующим случаем. Молодая учительница рассказывала о трудностях с ученицей, способной и отличной успевающей девочкой. Преподавательницу раздражала ее «безалаберность», она жаловалась, что та порой забывала учебники, не доделывала домашние задания, а на замечания самоуверенно отвечала: «Я и так все знаю!» Учительница говорила о ней так, словно в жизни не встречала более трудного ребенка. Потом выяснилось, что учительница росла вместе со своей младшей сестрой, способной и избалованной папиной любимицей, постоянно вызывавшей в ней ревность и страх за потерю любви родителей. И теперь идентифицирует свою ученицу с той заносчивой, несносной сестренкой из детства, которая заставляла ее столько страдать.

Занятия проводятся под руководством опытного психоаналитика. Участники делятся своими проблемами и сообщают «нащупывают» бессознательные мотивы собственных поступков в затруднительных ситуациях, что способствует приобретению некоторого психоаналитического опыта всеми участниками группы. Задача руководителя — направлять течение беседы в нужное русло, но не подсказывать решения: у всех участников должно остаться ощущение, что они самостоятельно нашли причину конфликта, ибо только в этом случае конфликт может быть психически переработан, изжит — и удален теми же душевными путями, какими внедрился.

Когда ей стали понятны ее бессознательные переживания, она вскоре без особого труда сумела наладить отношения с девочкой и через несколько недель на очередном занятии группы говорила о той с симпатией, которая в дальнейшем только росла.

Педагог для ребенка сразу после родителей стоит на первом месте, поэтому он постоянно оказывается втянутым в фантазии и интеракционные действия детей, пусть даже часто в замаскированной форме. На него постоянно оказывается невидимое давление, в котором «репродуцируются» его прежние детские переживания. И если он не осознает этого, то, сам того не замечая, вскоре оказывается участником инфантильной, постоянно повторяющейся игры, порою мучительной для всех участников.

Если мы хотим научиться понимать мотивы человеческих отношений и, значит, научиться играть в них активную роль, у нас единственный выход — начать с познания самого себя, своих собственных недоосознаваемых мыслей, страхов, побуждений. На собственном опыте мы учимся не только лучше понимать и чувствовать других, но и отделять реальность от своих проекций и переадресований. Не случайно психоаналитик еще студентом обязан пройти многолетний учебный психоанализ.

Но как этого добиться в наших российских условиях? Без квалифицированной поддержки со стороны и соответствующей системы образования такая

<sup>2</sup> Супервизионные группы, то есть группы психоаналитической взаимопомощи, носят также наименование групп Балинта, по имени их учредителя Михаэля Балинта, одного из учеников З. Фрейда. Формируются они из представителей различных профессий: врачей, учителей, работников судов, воспитателей детских садов — тех, чья деятельность так или иначе связана с человеческими отношениями.

задача вряд ли выполнима. На том уровне развития психоанализа, который теперь у нас существует, рассчитывать на большие успехи в обозримом будущем не приходится.

...Часто в публикациях российских психоаналитиков сквозит обида, что нас «почему-то» не принимают в Международную психоаналитическую ассоциацию. Дескать, там считают наше образование недостаточным, хотя мы так добросовестно выучили все, что написано в этой области! Чем же все это объяснить, как не «высокомерием» и «кастовостью»?

Если все же попробовать на минутку забыть обиды и амбиции (опять же, по-человечески вполне понятные) и попытаться взглянуть правде в глаза, то придется признать, что в России в настоящее время просто нет условий для получения полноценного психоаналитического образования, нет подготовленных специалистов, способных квалифицированно руководить учебным психоанализом. Необходимо создание психоаналитической — в широком смысле — школы, основанной на традиции и новейшем опыте. А для этого — обучение молодежи психоанализу за границей или приглашение крупных специалистов к нам. Освоить психоанализ по учебникам невозможно. Это все равно, как если бы хирург приступил к сложнейшей операции, имея за плечами лишь теоретическое образование, пусть даже самое превосходное.

Споры о том, именовать психоанализ наукой или нет, я считаю излишними. Да, чувства находят весьма различные выражения и число их комбинаций в отношениях индивидуумов велико, но это еще не значит, что изучение и систематизация в данной области невозможны.

Опасности «дикого» психоанализа хорошо разглядел еще Фрейд, и введенный им учебный анализ — это единственный и верный путь к истинному профессионализму, за который и борется Международная психоаналитическая ассоциация. Давайте же не будем на нее за это в претензии. В конце концов, психоаналитик имеет дело с драгоценнейшим материалом, каковым является человеческая душа. И он не имеет права шарить в ней вслепую, на авось.

«Нам бы ваши проблемы» — так ответили мне в одном из московских издательств, прочитав предложенный мною перевод работы Фигдора о роли школы в ресоциализации подростков, условно осужденных за мелкие нарушения. Я понимаю, в нынешней России, перенасыщенной преступностью, непопулярно мнение, что «преступник тоже человек». Но можно ли забывать о том, что будущее нашей многострадальной страны во многом зависит от шансов сегодняшних подростков на нормальную жизнь? Я имею в виду и тех подростков, которые уже совершили правонарушения... Преступление рассматривается автором как психопатологический симптом и связано с сопутствующими обстоятельствами. Одиночество подростка — в семье и школе — толкает его в шайку, где его «поймут». Там не только никто не будет требовать от него стыдиться своего прошлого, там оно станет даже предметом его особой гордости. Так со временем из мелкого нарушителя формируется преступник — ведь окружающий мир, который причинил ему столько боли, не заслуживает теперь ничего, кроме мести.

Как удерживать подростка от дальнейших правонарушений? Известные до сих пор методы общественного осуждения и наказания часто являют свое обратное действие. Социальные и психические последствия судимости, как правило, таковы, что лишь повышают вероятность рецидива.

Там, где мы так и не дождались добрых плодов от социальных изысканий и традиционных педагогических методов, на помощь приходит психоанализ. Психоаналитическая педагогика предлагает школе новые, подчас более эффективные методы помощи подросткам, нарушившим закон. И методы эти уже доказали на практике свою эффективность. Фигдор занимается развитием системы специального дополнительного образования для учителей и работников судов, заинтересованных в помощи таким подросткам. Сам он на протяжении многих лет является судебным экспертом по делам несовершеннолетних.

В наше время родители, в одиночку воспитывающие детей, — это, к сожалению, не единичное исключение, а явление почти повсеместное. Верно ли понимают родители реакцию детей на развод? Если ребенок заплакал, мать будет считать, что он принял это событие близко к сердцу. Если же он молча ушел в другую комнату и сел к телевизору, то она наверняка с облегчением решит, что сообщение о разводе сына не задело. Но реакции — это не внешнее поведение, а психические процессы, чаще всего невидимые глазом. На основе одних только симптомов невозможно судить о душевных переживаниях ребенка, а отсутствие таковых вовсе не означает отсутствия внутриспсихических конфликтов. Мы говорим: дети страдают из-за развода родителей. На самом же деле ребенок страдает не столько из-за развода родителей, сколько из-за *своего* развода с одним из них. «Почему отец, если он не хочет больше жить с мамой, бросает меня?!» Но как бы ни реагировал ребенок на развод, его печаль, боль, обида — это вполне «нормальные» реакции, свидетельствующие, что он любит того родителя, с которым расстался. Сами по себе они еще не существенная угроза душевному здоровью. Но беда в том, что развод вызывает у родителей чувство вины, сильно затрудняющее разговор с детьми на эту тему. Они отрицают или скрывают свою вину, часто перекладывая ее на другого. Так страдания ребенка загоняются вглубь и его психика подвергается все большим нагрузкам.

...Фигдор видит в родителях людей, которые чаще всего сами нуждаются в помощи и от которых в этот тяжелый для всех период требуется нечто, на что они просто не способны, ведь «непосредственные душевные реакции родителей едва ли отличаются от реакций детей». Никогда прежде мать не была настолько выведена из душевного равновесия, и никогда еще ребенок не требовал от нее так много внимания и заботы. Ведь дети нередко думают, что если мама «отказалась» от папы, то что может помешать ей расстаться и с ними. А мать — по причине нервного стресса — не способна на обычное прежде внимание и ласку; происходит взаимное отчуждение, а порой и ожесточение.

Современный психоанализ обращает особое внимание на то, что именно период младенчества чрезвычайно важен для развития и формирования всех будущих психических структур. Дети, пережившие в раннем возрасте ссоры родителей, чувствуют себя особенно неуверенно, испытывают сильный страх перед потерей объекта любви и беспомощны перед перипетиями жизни.

Ребенок, травмированный известием о разводе родителей, какое-то время живет в ирреальном, «сдвинутом» мире. Здесь крайне важна возможность поддерживать хорошие и постоянные отношения с обоими разошедшимися родителями.

Фигдор настойчиво предостерегает консультантов, психологов и других социальных работников от морализующей позиции в отношении родителей. Ведь они не «теоретическая конструкция», а живые люди, сами нуждающиеся в моральной поддержке и помощи. (Австрийскому специалисту вряд ли известно, что в недавние времена развод у нас нередко карался дисциплинарно и даже мог стоить целой карьеры.) Главное, не длить агонию отношений, травмируя детей и друг друга, а расстаться по-доброму, оставаясь по мере сил надежным товарищем и внимательным и нужным родителем...

Конечно, неплохо бы изобрести такую педагогику, чтобы дети, оставаясь счастливыми, сами, без натуги и строгостей, делали все, что от них требуется. Увы, это утопия, и как бы мы ни были либеральны, а обязаны и требовать, и запрещать, и наказывать. Принуждение — обязательный элемент воспитания. Но оно не должно переходить границы, за которыми — невроз и травмированная психика. Соблюдению нужных пропорций и призвана помочь современная психоаналитическая педагогика.

Вена.

---

---

# ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ВЛ. НОВИКОВ

\*

## НОБЛЕСС ОБЛИЖ

*О нашем речевом поведении*

1

**И** все-таки мы продолжаем говорить и писать, продолжаем вести себя — хотя и неизвестно куда. О том, как мы это делаем, и пойдет речь. В самых разных аспектах — от фонетического и грамматического до этического и политического.

Меньше всего хотелось бы, чтобы это как приобрело оттенок нормативности или императивности. «Говорите правильно, пишите грамотно и будьте взаимно вежливы», — ради такого убогого призыва не стоит даже брать в руки перо или компьютерную «мышь». «Все говорят, что здоровье дороже всего; но никто этого не соблюдает», — заметил Козьма Прутков. Действительно, все нормы — гигиенические, орфоэпические, моральные — не столько соблюдаются, сколько нарушаются. Поэтому интересно не провозглашать заповеди в очередной раз, а наблюдать их позитивно-негативное бытование.

А уж если позволить себе категоричность, то только в одном тезисе: никто никого не имеет права поучать. Нет большего бескультурья, чем поправлять собеседника во время разговора. Нет большей пошлости, чем кичиться своими речевыми манерами и возвышаться над теми, кто говорит иначе (к сожалению, таким занудным высокомерием отмечены книги некоторых отечественных языковедов на темы «культуры речи»). Не могу удержаться от примеров «из жизни». Много лет назад в одной компании кто-то завел речь о кедровых орехах. Молодая филологиня перебила говорящего: «кедровых». Я был абсолютно убежден, что она не права, но промолчал, хотя, наверное, следовало бы защитить невинно обиженного. Дома сверился с Аванесовым и Ожеговым: конечно же, «кедровых» — и только так. Вышеозначенная дама навсегда обрела в моей памяти ярлычок «хамка», и когда я увидел в книжном магазине выпущенную ею монографию на какую-то экзотическую тему — даже не захотелось открыть ее и пролистать: такому филологу я доверять не могу. Но сколько раз потом мне доводилось сталкиваться с аналогичной ситуацией в научно-педагогическом и редакционно-издательском быту. «Это не по-русски», «так нельзя писать», — любят выдать некоторые совершенно «от фонаря», а потом, уличенные в неправоте и некомпетентности, даже пардону не попросят.

Припоминаю, как журналисты третируют М. С. Горбачева за словечко «мышление». И тоже несправедливо! «Начать», «Азедарджан» — действительно ошибки, но «мышление» — это устаревающий и тем не менее допустимый вариант. Полагаю, Горбачев мог слышать его от университетских философов и усвоить в студенческие годы вместе с некоторыми навыками свободного мышления (уже все равно с каким ударением, семантика важнее!). Кстати, в знаменитом фильме Михаила Ромма «Девять дней одного года» эта языковая красочка была удачно использована в сцене спора двух физиков.

«Узость мышления!» — восклицал персонаж Михаила Козакова, мечтавший о полетах в дальние галактики. «Нет, трезвость мышления!» — отвечал ему герой Евгения Евстигнеева, более реально глядевший на вещи. Тут речь уже не о правилах, а о стилях произношения.

Вообще за «правильность» нередко ратуют те, кто не очень обременен знанием «истории вопроса». Пуристы (от «*purus*» — «чистый») — это не то чтобы самые чистые люди, это критически настроенные по отношению к другим (не к себе) чистоплюи. Они не подметают улицу, а борются со срывщиками кампании по борьбе за подметание. Вот только что услышал двух таких неистовых ревнителей. Звонят они в прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы» и стучат Сергею Бунтману с Алексеем Венедиктовым на работающих там журналистов: дескать, Андрей Черкизов незаконно употребляет несуществующее деепричастие «пиша», а Лев Гулько искажает французский язык, говоря вместо «тет-а-тет» — «тет на тет». К чести лидеров «Эха», они достойно защищают в подобных случаях и своих товарищей, и здравый смысл, деликатно разъясняя лишенным чувства юмора пуристам, что в живой разговорной речи подобные вещи вполне допустимы. К слову сказать, «Эхо Москвы» едва ли не первым сменило институт бездушного дикторства с размеренно-дистиллированным казенным «вещанием» (вызывающим у некоторых непонятную мне ностальгию) на естественный человеческий разговор ведущих со слушателями. Есть здесь, впрочем, и просветительская передача «Говорим по-русски», где Ольга Северская и Марина Королева в игровой, веселой форме рассказывают о языковых нормах, неизменно подчеркивая вариативность и плюрализм многих из них.

Как ни странно, свобода в выборе из двух равноправных вариантов для многих оказывается излишней роскошью. Людям непременно хочется объявить «свой» вариант единственно верным. На этой почве порой вырастают мифы, получающие широкое распространение. Зарубежный коллега на одной конференции признался, что привык считать интеллигентными людьми тех русских, что произносят «одновременно», а не «одновременнo». Но это все равно что, признавая интеллигентами, к примеру, бородатых мужчин, безбородым в интеллигентности отказывать, или наоборот. Один из признаков «образованщины» (если уж пользоваться этим небесспорным термином) — этакая самодовольно-снисходительная усмешка при осознании своего орфоэпического превосходства. Но зачем нужна «культура речи», если она становится языковым барьером, препятствует контакту и взаимопониманию? Даже когда собеседники находятся в отношениях воспитателя и воспитуемого, педагогу стоит не перебивать и не поправлять собеседника, а выслушать его по сути и высказать свои замечания потом, во вторую очередь. Все-таки главная функция языка — коммуникативная.

Все, что происходит в языке, с языком, сначала должно быть понято и проанализировано и лишь потом — оценено. Снобизм уводит от истины и филолога, и писателя. Немало любопытных мыслей и фактов на этот счет содержится в вышедшей недавно и считающейся на Западе «лингвистическим бестселлером» книге Стивена Пинкера «Языковой инстинкт». Приведу один пример, достаточно наглядный и для русского глаза. Сравнивая «стандартный американский английский» с «черным английским» (*Black English*), на котором говорят в Гарлеме, Пинкер отмечает, что «есть сферы, где „черный английский” точнее, чем „стандартный английский”. *He be working* означает, что некто вообще работает, что у него, может быть, есть постоянное занятие. *He working* означает только, что он работает в тот момент, когда произносится фраза. В „стандартном английском американском” *He is working* не может передать этого различия»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Pinker S. The Language Instinct. The New Science of Language and Mind. Penguin Books, 1995, p. 30.

Давайте и мы попробуем полюбить носителей нашего родного языка и «беленькими», и «черненькими»! А уж потом соберемся в своем «беленьком» кругу и поговорим по самому строгому (к самим себе) счету.

## 2

Ужасно крамольную мысль хочу сейчас высказать: меня совершенно не беспокоит косноязычие наших властителей. Более того, дежурные сарказмы по поводу очередных правительственных перлов кажутся уже порой проявлением истерического бессилия мыслящей части общества. Неужели непонятно, что эти комариные укусы только потешают адресатов наших смелых инвектив? Филологические обвинения — самые безопасные из всех возможных. И вот уже телевизионные «Куклы» теряют былую остроту: престарелый персонаж с постоянным «понимаешь» — это прямо-таки очередной дед Щукарь, простой, трогательно-народный и, конечно, без малейшего коварства. То же и его свита. Но маски ведь бывают не только пластические, но и речевые. И их весьма неглупые носители умеют приватизировать и перевести на счета родственников пару-тройку миллиардов (или хотя бы миллионов), а потом не без тонкого расчета придуряться, неся публично безграмотную невнятицу, чтобы снисходительные сограждане отвели душу и посмеялись: ну, какие там миллионы-миллиарды могут быть у такого недотепы!

И мы простодушно клюем на «обманку», меряя все на филологический аршин и по-прежнему полагая, что «в начале было Слово». Между тем в сфере житейской и хозяйственной прагматики гораздо уместнее выдвинутая у Гёте Фаустом позитивистская формула: «В начале было Дело». Если бы у наших правителей хватило мудрости не бомбить нефтепровод, чтобы потом не приниматься за его восстановление, — то пусть бы произносили «нефтепрóвод», мы бы им это простили. Если вдруг найдется государственный муж, который справится с бедностью и обнищанием народа, — то пусть себе неправильно ударяет «обеспечёние»: поверьте, обеспеченные нормальной зарплатой и пенсией, мы просто не услышим, не заметим орфоэпического огреха.

Сама по себе речевая культура ничего не гарантирует: и Ленин, и многие члены большевистского правительства отлично владели русским устным и русским письменным. Нет, здесь не годится тоталитарный принцип: мол, кто говорит правильно и красиво — тот наш, а кто запинается, оговаривается, путается в словах и формах — тот нам не подходит. Предлагаю дифференцированный подход: будем терпимы к слабостям тех, для кого устная и письменная речь не является профессией, у кого есть какое-то дело помимо слова, — и одновременно будем предельно строги к тем, кто работает только языком (то есть к нашему брату филологу, литератору, журналисту). Предупреждаю, что много буду уделять внимания «мелочам», но убежден, что именно с них начинаются большие беды нашей словесности.

Богатый лингвистический материал дают телевизионные ток-шоу — сам термин в наших целях можно немножко переосмыслить: подобные передачи могут наглядно показать (show), кто и как умеет разговаривать (talk). В прежние времена (особенно в брежневские) литераторы выступали на телевидении во много-много раз чаще, чем теперь. Но что это были за выступления! На экране бубнили свой заранее заготовленный текст скованные и перепуганные, «зажатые» (как говорят в театре) субъекты. А наличие «зажима» в кадре — это брак, что всегда понимали телевизионщики и очень редко — наши с вами коллеги. Приведу единственный известный мне случай самокритичного отказа от съемки. В начале 80-х годов телевизионный редактор, с которой (да, приходится говорить и писать: «редактор, с которой», — а какой вариант вы предложите взамен?) мы делали передачи о Каверине и Шкловском, рассказала: пришел к ним сниматься Юрий Селезнев, руководитель серии «ЖЗЛ», старательно добивавшийся, чтобы в каждой книге было что-нибудь против «масонов» и сам написавший очень серый том о Достоев-

ском. Проговорив перед камерой несколько минут, борец с масонством почувствовал, что получается плохо, встал и, не сказав ни «извините», ни «до свидания», навсегда удалился из «Останкина» (позвольте уж мне по-старинному склонять наши топонимы: душа не принимает формы «из „Останкино“», и статью эту я намереваюсь привезти в редакцию из Переделкина, но ни в коем случае не «из Переделкино!»).

Сейчас персональные писательские программы на ТВ не в ходу. Регулярно лишь «сладкоголосая птица нашей юности», гений пошлости Эдвард Радзинский произносит свои бесконечные монологи, удачно избегая идейных крайностей. Из тех же, кто «до шестидесяти и младше», разве что Петр Алешковский занял кусочек экрана, обсуждая вкупе с Мариной Тимашевой художественные новинки: я почти всегда соглашаюсь с мнениями то одного, то другого участника этой передачи, но не могу не отметить очевидный прокол режиссуры — соединение в дуэте двух обладателей флегматического темперамента; наверное, все-таки рассудительного партнера стоит для динамического контраста сочетать с партнером «заводным». Если же говорить о явлении писателя народу, об участии литератора в массовых «акциях», то тут есть интересный, он же единственный, случай — Мария Арбатова в «женском» ток-шоу «Я сама».

Несколько передач этого цикла показались мне крайне занятными с речевой точки зрения. Так называемые «простые» люди отлично владеют языком. Своим языком. Не вдаваясь в метафизические прения, не щеголяя престижными именами, терминами и цитатами, старые и молодые участники обоего пола ясно и четко выражают свои взгляды (как правило, не навязывая их другим), коротко, без «эпического» занудства умеют рассказать свои семейно-любовные истории, находя для весьма интимных реалий вполне пристойные и в то же время не чопорно-ханжеские лексико-стилистические эквиваленты. Да и писательница-феминистка, когда она говорит «по-простому», отлично вписывается в демократичный ансамбль. Она даже может сбросить идейные цепи и совсем не «по-феминистически», а по-нашему, в духе нормальной коммунално-советской логики отчитать молодую женщину, соблазнившую семидесятилетнего профессора «ради карьеры и квартиры». Не вижу беды в такой милой непосредственности, поскольку для живого контакта лучше, чтобы все говорили на одном языке! Но вот Арбатова вспоминает о своей роли «эксперта» по феминизму и о своем писательском сане. Сразу пошли громоздкие синтаксические конструкции, пространные поучения, обрывы мысли, в которые — почти в каждой фразе — вставляется спасительное «как бы». «Как бы» — словечко-паразит, обитающее исключительно в интеллигентских языковых организмах. Это вам не простонародное «бля» («блин»), но функция у него, должен заметить, та же самая (и, конечно же, тождественная пресловутому «понимаешь»).

### 3

Частица КАК БЫ требует, однако, отдельного разговора, причем в комплексе с неопределенным местоимением НЕКИЙ. КАК БЫ и НЕКИЙ — это как бы некие символы нашей культурной эпохи. От современного литератора вполне можно услышать сообщение: «Я как бы написал некий текст». Причем говорящий подобным образом, конечно же, понимает, какие слова в этой фразе лишние. Он мог бы сказать просто: «Я написал текст», — но почему-то боится. Наше время не любит решительных глаголов и оценочно-выразительных эпитетов. Мы как бы живем некоей жизнью.

Было бы крайне наивно призывать к избавлению от этих лишних и заведомо бессмысленных слов. Ну, не хотят люди твердости и определенности в своей речи — дело хозяйское. Они же только свою личную речь засоряют, не вписывают в Пушкина: «Я как бы помню некое мгновенье...» А может быть, в языке нашем просто не хватает неопределенных артиклей и «некий» — эк-

вивалент англо-франко-немецких «а», «un», «ein»? Правда, нельзя забывать, что тут имеется и легкая негативная коннотация: «некий писатель», «некий критик» обычно произносятся с неприязнью. В «Чукоккале» есть составленный Э. Казакевичем иерархический перечень эпитетов к слову «писатель»: на первом месте «величайший», а в самом низу Б. Заходером добавлено «некий». Такая «табель о рангах» сформировалась в годы проработок, и с тех пор никому не было по вкусу, когда его фамилию сопровождали подобным определением. Но так или иначе, с годами популярно-заразные пустые словечки из языка уйдут, уступив место новым вирусам и инфекциям, которые для «великого и могучего» хотя и неприятны, но, конечно же, не смертельны.

Однако пресловутое КАК БЫ имеет и экстралингвистический смысл. Это знак на глазах устаревающей модернистской моды, когда никакое фантасмагорическое событие нельзя воспринимать наивно-реалистически, все происходит понарошку, как бы происходит. Своеобразной реакцией на засилье заведомо условных сюжетов стала мемуарно-автобиографическая тенденция («о том, что было»), но она вытянуть литературу не в состоянии. Самым отчаянным новаторством сегодня, по-моему, стало бы создание такого сюжета, который держится на иллюзии подлинности («не было, но могло быть»). Естественно, что для этого понадобится и качественно новый, неприличный и в то же время органичный язык.

С этой точки зрения мне все же представляется достаточно художочной и устаревающей творческой тенденция, явленная в нашумевшем романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота». Двуплановость повествования не создает «третьего измерения», поскольку, на мой вкус, оба плана (Петр с Чапаевым и Петр в сумасшедшем доме) слишком вторичны и умозрительны. Несмотря на все декларации автора по поводу «буддизма», я вижу здесь вполне европоцентристский литературный штамп: в сумасшедшем доме слишком много времени провел и романтизм прошлого века, и модернизм века нынешнего, эта почва уже безнадежно истощена.

Изо всех сил старался вслед за Ириной Роднянской («Новый мир», 1996, № 9) отыскать в сухом, бумажном пелевинском тексте и «отвращение от жизни», и «к ней безумную любовь», но не получилось, и я скорее солидаризуюсь с Александром Архангельским, считающим, что у Пелевина нет языка («Дружба народов», 1997, № 5). Пресловутая «пустота» только декларируется в нудных диалогах Чапаева, Петра и Котовского, для нее не найдено ни образно-композиционного, ни словесного эквивалента. Сравните речевую ткань Пелевина с языком детективов и НФ в глянцево-цветных переплетках — никакой качественной разницы. Пелевин сегодня — едва ли не самый успешный писатель (существует такая уродливая и, надеюсь, недолговечная калька с английского), но его успех — это поражение русского языка.

Не могу «для баланса» не привести пример из противоположного литературного лагеря: вот роман Владимира Курносенко «Евпатий», тоже двуплановый, тоже квазиисторический. Автор работает и древнерусскими, и тюркскими языковыми красками, но, к сожалению, большого петуха пускает, ведя рассказ на современном русском. Одна только фраза: «С осторожностью он засунул тетрадь в пакет, с которого с охальным естеством гениальной женщины скалила зубы со щербиной Алла Пугачева». Это по каким же стилистическим законам можно допустить в недлинной фразе скопление четырех предлогов «с»! (Один, правда, заменен на «со» — и это элементарная ошибка: правильно не «со щербиной», а «с щербиной» — и только так!) Извините, я обещал не заниматься поучениями, но авторы иных «чистых и сильных романов» (так аттестован «Евпатий» в журнале «Москва» Валентином Курбатовым) нуждаются в повторении азав школьной грамматики.

Пожалуй, не найти сегодня литератора, который бы не разделял (теоретически) положения о первостепенной важности языка. Но и здесь, как слишком часто бывает в России, «кричащее» противоречие между теорией и практикой.



«Нас опустили», — можно услышать сегодня из уст профессиональных литераторов, драматически переживающих снижение своего социального и материального статуса. Мне не очень нравится такая лексико-стилистическая форма высказывания: едва ли стоит прибегать в разговоре на социокультурную тему к лагерному жаргону, да еще с намеком на весьма низменные сексуальные реалии. Но — давайте по содержанию, по сути.

Для начала переведем конструкцию из неопределенно-личной в личную: кто опустил? Тот, кто когда-то поднял, — то есть пресловутая Софья Власьевна, содержавшая армию писателей, где только дивизия профессиональных поэтов насчитывала более двух тысяч человек? Да нет же, та власть почилла в бозе, а теперешняя — Капитолина Власьевна (так, наверное, можно окрестить наше руководство эпохи дикого капитализма — тем более, что у нее те же самые партноменклатурные предки) — литературным бытом не занимается. Нынешнюю ситуацию диктует сама жизнь, считающая, что писатель — это тот, у кого есть читатели. Писателей попроще, нормальных беллетристов, читатель кормит прижизненно, а писателей посложнее — читают и почитают уже по прошествии ими их первой и короткой земной жизни. Таков нормальный, естественный порядок, такова объективная, вечная иерархия, и опустить никто никого никуда не может.

А вот сами опуститься мы очень даже в состоянии. Ведь по своей доброй воле, скажем, сочиняет для «Мегаполис-Экспресса» Зуфар Гареев грязные квазиэротические фельетоны (заглянув туда пару раз, решительно замечу: Генри Миллером или даже Чарльзом Буковски там отнюдь не пахнет, а пахнет совсем другим). Не под угрозой расстрела идут приличные прозаики в «негры» к «раскрученным» детективщикам и пишут за них, стараясь делать это попримитивнее и побескультурнее. Никого не осуждаю персонально, но отдавать себе отчет в действиях безусловно вредных для культуры и для читателя литературное сообщество как целое, как единый организм все-таки должно. Когда за грязную работу платят в сто раз больше, чем за чистую, когда жизнь требует быть грубее, небрежнее, небрежливее — особой роскошью становится элементарная гигиена, в том числе речевая.

Уж сколько раз твердили миру, например, о разнице между паронимами «одеть» и «надеть», а людей, владеющих этим нехитрым различием, становится все меньше, в том числе среди профессиональных литераторов и гуманитариев. Чуткие филологические уши и души просто не в состоянии перенести подобный лингвистический «беспредел»! Меня спасает от страданий сформулированный выше дифференцированный подход. Когда я слышу сочетание «одел пальто» из уст гардеробщицы — я нахожу это вполне системным для ее речи. Но когда Ирина Хакамада объясняет в интервью, почему она «одевает черное», — ее интеллигентный имидж, по моим понятиям, несет небольшую, но потерю. Для человека, работающего словом и со словом, это ошибка не менее грубая, чем пресловутое «ложить».

Печально бывает слушать по «Эху Москвы» передачу об одежде «Дэнди-стайл», неволью ставшую публичным разоблачением знаменитостей: даже утонченно-ироничный Леонид Броневой «одевает галстук», словно какой-нибудь анекдотический «новый русский». Если на то пошло, «дендизм» — это не только «шмотки», это стиль всего поведения, в том числе и речевого. И «одеть» вместо «надеть» — все равно что спущенный чулок или жирное пятно на галстuke.

В одном из новых учебников по русскому языку для 5-го класса (под редакцией М. В. Панова, автор раздела «Лексика» — И. С. Ильинская) предложен простейший дидактический прием усвоения этой нормы: надеть одежду — одеть Надежду. Сохраняю надежду, что новое поколение справится со столь грандиозной задачей, не решенной в советский период. Забавная подробность: в вышедшем в 1974 году словаре «Трудности сло-

воупотребления и варианты норм русского литературного языка» была статья про «одеть — надеть», проиллюстрированная двумя примерами. Один — из Юрия Германа, которого в молодые годы Алексей Максимович беспощадно отчитал за смешение двух глаголов: мол, это основы ремесла. А перед тем — пример из повести Горького «Детство», где Цыганок каждую пятницу «одевал» полушубок. Так что: «врачу, исцелися сам!» (Многие ли, кстати, помнят сегодня, что «врачу» здесь с ударением на первом слоге как реликт древнего звательного падежа?)

Но вот до меня доносится голос поэта, открывшего в своих песнях столько глубин русского языка, создавшего целый ансамбль индивидуальных фразеологизмов и крылатых слов:

Дождусь я лучших дней и новый плащ одену...<sup>2</sup>

Ну и что? Ему можно, а нам — нельзя!

## 5

Нет, это мы сами опускаемся, позволяем себе ошибки и небрежности, немислимые прежде. Когда-то, слушая Высоцкого, все дружно смеялись над персонажем, который «целовался на кухне с обоими» (то есть и с Клавкой, и с ее подругой). Никому не надо было объяснять, что форма женского рода — «обеими». Но вот я слышу недавно по «Свободе» интересный рассказ Анастасии Вергинской об отце и его отношении к дочерям. «Он обожал обоих», — резюмирует актриса. Тут, как говорится, конец цитаты — добавить просто нечего.

Или вот еще одна грубая ошибка, взятая, так сказать, в диахроническом срезе. Тридцать с лишним лет назад М. В. Панов в своей замечательной книге о русской орфографии собрал коллекцию странных рифм «ни был» — «небо». Дело было в том, что не слишком грамотные поэты вместо усиленной частицы «ни» употребляли отрицательную «не», а под ударением, да еще в рифменной позиции это торчало совершенно неприлично. И где бы я не был, восклицали неотличимые друг от друга лирики, везде помню родное небо, запах хлеба и т. п. Редакторы переправляли не на ни, жертвуя во имя грамотности тривиальной рифмой. Важно при этом отметить, что в устной речи образованной публики тогда повсюду звучали правильные варианты: «где бы я ни был», «кто бы ни был этот человек», «что бы там ни было».

Теперь же, слыша по радио или по телевидению частицу «ни» в ударной позиции, я радостно подпрыгиваю: кто же это у нас такой душка, такой мастер родной речи? Ибо правильность здесь стала редкостью, хотя ни малейших оснований для пересмотра данной нормы нет и быть не может.

А совсем недавно я был просто убит, прочитав в очень приличном журнале стихи с тройной рифмой «хлеба» — «не был» (конечно, вместо правильного «ни был», и притом ошибка уже никем не исправлена) — «небо». Кто автор? Один из крупнейших авторитетов современной культуры, так что имя его я не открою даже под пыткой. Для меня в данном случае важнее само явление, весьма и весьма грустное...

Числительные у нас учат склонять в пятом классе, и слишком рано учат, потому что, став взрослыми, люди обыкновенно эти правила забывают. Может быть, перенести эту тему в вузовскую программу? Чтобы теле- и радиоведущие не буксовали перед необходимостью поставить, скажем, число 666 в родительный или творительный падеж, чтобы у того же Пелевина Петр Пустота не производил в стихах дефектную форму «семиста» (вместо «семисот»), рифмуя ее со своей фамилией («И пиля решетку уже лет, наверное, около

<sup>2</sup> В книжном издании «надену», но я цитирую фонограмму.

семиста... Убегает сумасшедший по фамилии Пустота»). Правда, стихи как бы пародийные, да еще сочиненные сумасшедшим... Ладно, пусть судят те, кто способен уловить здесь комизм, но ошибка, по-моему, и непреднамеренная, и несмешная.

## 6

Фонетический термин «артикулировать» переключался в сферу общеупотребительную: «надо артикулировать принципы», «он артикулировал свою концепцию». Тем не менее мы артикулируем (в первичном, буквальном смысле) очень неважно. Глотаем звуки, усекаем слова — причем не в разговорно-бытовой, а в публичной речи, где нужны четкость и плавность. «Скоко», «токо», «поскоку», «сёдни», «пиисятые» и «шиисятые» годы, «континионный» суд... Редко кто умеет нормально проартикулировать слово «конъюнктура», не такое уж громоздкое и мудреное.

Очень тонкая материя — твердые и мягкие согласные перед э. Скажем, произношение «буЭрброд» было узаконено С. И. Ожеговым в его «Словаре...» не без колебаний, как уступка времени. Прежде бутерброды рекомендовалось готовить и есть с мягким «т» («потому что это не термин»<sup>3</sup>, а бытовое слово). Сравнительно недавно можно было слышать от пожилых людей «музЭй», «шинЭль», «пионЭр» — и это было скорее не ошибкой, а данью устаревшей традиции. Здесь множество вариативных и интересных случаев. Жизнь становится жестче, согласные — мягче, но тем не менее диковато слышать мягкое «т» в главном слове нашей эпохи — «компьютер», как и чрезмерную мягкость в наименовании весьма кровавого жанра («дитиктив»). Есть, впрочем, еще более уродливое произношение «деДектив», не имеющее никаких оправданий.

Не след нам поступаться таким священным принципом, как мягкое произношение зубных перед мягкими зубными. Вот, скажем, слово «рецензия» — оно из обихода людей образованных; «н» здесь перед мягким «з» должно быть мягким — это, как говорится, однозначно. Тем не менее мне доводилось слышать некорректное произношение бедной «рецензии» с твердым «н» от докторов филологических наук! А ведь все так любят вдохновенно цитировать: «Сохрани мою речь...», «И мы сохраним тебя, русская речь...». А кмеисты-то перед мягкими зубными зубные мягко произносили! Надлежит нам сохранять и эту сторону речи!

Бывают, правда, и немотивированные орфоэпические «пассеизмы». Представьте, что телевизионный ведущий оказался бы на экране в современном костюме, но при этом на голове у него — парик екатерининских времен. Нечто подобное совершает Евгений Киселев, когда в свою в целом нормативно выдержанную речь вдруг вводит мягкие губные перед заднеязычными: «слуши об отста[ф]ке». Ему подражают другие ведущие НТВ, не желающие, очевидно, оказаться «в отставке». Но это слишком старая норма — даже не прошлая, а позапрошлая. В фундаментальном труде М. В. Панова, где произносительные системы условно названы по цветам спектра (мы живем в основном в «алой» системе, начиная с 20-х годов формировалась система «оранжевая»), подобное произношение описано как элемент «желтой» и «зеленой» систем, то есть периода середины XIX — начала XX века. Р. И. Аванесов в 60-е годы уже относил реликты такой мягкости к просторечию. Не всегда старое заведомо лучше нового: не станем же мы в подражание Петру Первому и Ломоносову слово «первый» произносить как «первьый»!

А ежели кто желает придать своей речи благородно-старинный оттенок, то для этого есть возможности как раз в сфере плюрализма норм. Элегантно звучит замена твердых зубных на мягкие перед мягкими губными (например,

<sup>3</sup> См.: Панов М. В. История русского литературного произношения XVIII — XX вв. М., 1990, стр. 149.

мягкое [с'] в словах «свет», «спина», «смелый»), мягкое [ж'] в слове «позже». Говоря так, мы и в рамках нормы остаемся, и пребываем в составе элитарно-орфоэпического меньшинства.

В речевой сфере тоже есть свои конформисты и свои диссиденты. Замечаю, что почти никто уже не произносит слово «жюри» с мягким, «французским» [ж'], как рекомендуют и орфоэпический словарь, и словарь для дикторов. Почти все опустили до грубого «жури». Может быть, словари устарели и в новых изданиях «жури» будет узаконено? Тем не менее, услышав старинное мягкое «ж» в этом слове, я сразу проникаюсь симпатией к говорящему. Изобилующую ошибками примитивную речь можно сравнить с затхлым, несвежим запахом, речь нормативно-безупречную — с отсутствием запаха вообще, а тонкое, осознанное и уместное использование старинных вариантов, неназойливые орфоэпические окказионализмы — с ароматом дорогих духов. Каждый выбирает для себя и по себе, как пахнуть.

Выскажу несколько вкусовых, субъективных соображений о речевых однодневках, которые мне кажутся не очень благовоными. Полагаю, ревнителям родного слова не к лицу всякие «подвижки», «наработки», усеченные обороты типа «обратились к президенту оказать помощь» (вместо «обратились с просьбой оказать...») или «он воспринимается лидером» (вместо «воспринимается как лидер»). Пока бьется сердце, буду сопротивляться употреблению уродливого бюрократического глагола «задействовать».

«Мы не нормализаторы»<sup>4</sup>, — говорит авторитетный лингвист Е. А. Земская, руководитель коллективного труда о современном живом языке. Мне приятно и лестно, что Е. А. Земская сочувственно упоминает предложенную автором этих строк идею «русофонии» — непредвзятого описания и осмысления нынешнего состояния языка (пожалуй, еще в совокупности с ближайшими экстралингвистическими фактами и факторами; поначалу этот предмет обозначался термином «дискурс», но потом термин совершенно изнасиловали и лишили всякого смысла постструктуралисты и псевдофилософы). Конечно же, идущий «в народ» филолог должен не замечания делать, а слушать, внимать, записывать, всесторонне анализировать. В этом сходятся задачи и лингвиста, и писателя, транслирующего и трансформирующего речь своих небезупречных современников. Брезгливость тут неуместна — как в работе врачей, имеющих дело с патологией и нечистотами. Сам я, к примеру, услышав в позапрошлом году на улице неизвестное мне прежде трехэтажное отглагольное прилагательное, не испытал ни малейшего возмущения, а надолго задумался о словообразовательной модели и о способе написания заковыристого неологизма: то ли с «не» он начинается, то ли с «ни», да к тому же еще здесь, наверное, необходимо посередине написать твердого знака, не предусмотренное пока существующими правилами.

Но слушать и говорить — не одно и то же. Считаю, например, что незачем нам подчиняться агрессивной экспансии предлога «по» (этот процесс описывает в уже упомянутом коллективном труде М. Я. Гловинская). Если приведенный ею пример из речи московского мэра «Теперь по моркови» протеста не вызывает: была бы морковь, — то чья-то газетная фраза «Он был артист по жизни» выглядит удивительно неартистично. Между тем это — извините за резкость — плебейское «по жизни» уже проникает в речь тех, кто себя относит к духовно-интеллектуальной элите.

У элиты должны быть свои «шиболеты» — контрольные слова для определения уровня речевой культуры. Раньше мне одним из таких «шиболетов» представлялось отношение к глаголу «довлеть»: тот, кто понимает смысл изречения «Довлеет дневи злоба его», не станет говорить «над нами довлеет» (то есть «тяготее»). Однако в новейшем издании словаря С. И. Ожегова (скончавшегося, как известно, в 1964 году) и прикнувшей к нему — почему-то в качестве соавтора — Н. Ю. Шведовой вульгаризованному значению глагола «довлеть» дан зеленый свет. Мне уже доводилось высказывать в

<sup>4</sup> «Русский язык конца XX столетия (1985 — 1995)». М., 1996, стр. 14.

прессе свое глубочайшее сожаление по этому поводу. Правда, утешили составители потихоньку выходящего двадцатитомного «Словаря современного русского литературного языка»: они в четвертом томе дали в статье «довлеть» перед значением «господствовать, тяготеть» помету «прост.». Чисто теоретически можно было бы поспорить с отнесением к просторечию слова во всех значениях довольно книжного, но тактически меня это устраивает: ведь филологам и литераторам пользоваться просторечием позволительно в цитатах и в речи персонажей. Пусть же нам довлеет оваянная традицией, хотя и оскорбленное пометой «устар.» словоупотребление (довлеть — «быть достаточным, удовлетворять»)!

«Ноблесс оближ» — как говорил легендарный кот из легендарного романа. (Кстати, мне по душе булгаковское написание русскими, а не французскими буквами. Вообще я сторонник максимальной «кириллизации» иностранных слов и выражений: никак не могу понять тех, кто до сих пор норовит писать латиницей такие русские слова, как «уик-энд» или «хеппи-энд».) Иногда данное французское речение неточно переводят, как «положение обязывает». Нет, правильное: благородство обязывает. Продолжим же речь о веригах, налагаемых благородством.

## 7

Надоело говорить и спорить о нормах употребления «ненормативной» лексики в устной и письменной речи. Не в императивно-запретительной, а в констатирующе-описательной тональности скажу: вообще-то благородные люди не матерятся. Исключение всегда составляла артистическая богема (впрочем, причастность к богема предполагала сознательный отказ от претензий на благородство). Что же касается художественной литературы, то здесь приходится вновь припомнить знаменитые слова Л. Щербы: «...прелесть обоснованного отклонения от нормы». В современной прозе и поэзии такая прелесть и такая обоснованность использования мата — минимальны, случаи талантливой сквернословия — единичны. Наша словесность периода гласности и свободы слова в целом не справилась с этим специфичным, трудным для эстетической обработки материалом. Опять откроем «Чапаева и Пустоту» с его эклектическим и потому показательным языком. Мат используется Пелевиным количественно редко (чувство меры у автора есть), но удивительно неметко, что и вызывает мои претензии. Вот на тачанке изображена «грубо намалеванная белой краской» стихотворная надпись (теперь повсюду табу сняты, но — извините мою стыдливость — я все-таки две буквы заменяю точками): «СИЛА НОЧИ, СИЛА ДНЯ / ОДИНАКОВА ..ИНЯ». Тут я, как один тургеневский герой, могу только недоуменно спросить: «Что, это остроумно?»

Наиболее дальновидные писатели сегодня уже маются перестают, понимая, что это бесперспективно. Предположим два разных варианта развития литературно-эстетических нормативов. Первый: новая художественная эпоха может оказаться утонченно-целомудренной — и теперешняя грубая поэзия и проза будут в XXI веке таким же нелепым анахронизмом, как ханжеская стилистика соцреализма. Второй: новое литературное поколение сможет наконец найти более сложную и эстетически полноценную форму подачи обценной лексики — но тогда нынешние сквернословы будут выглядеть примитивными «плотниками» на фоне грядущих умелых «столяров». А в общем, никого ни к чему не призываю: хотите писать тексты бранные и тленные — пишите.

## 8

Существующий (пока еще) тип благородного речевого поведения восходит к традиции, сформировавшейся в конце XIX — начале XX века у тогдашней научно-художественной интеллигенции. Научное описание этой по-

веденческой модели, условно именуемой «интеллигентностью», по-видимому, впереди (и это может быть сделано не менее увлекательно, чем исследования Ю. М. Лотмана о дворянской культуре). Я же сейчас говорю только о речевой стороне поведения, не касаясь других факторов. С этой точки зрения носителями интеллигентной речи могут выступать таланты и посредственности, остроумцы и зануды, труженики и сибариты, моралисты и циники, альтруисты и себялюбцы, верующие и агностики... И политическая ориентация тут может быть различной. Отнюдь не всех представителей либерально-прогрессистского стана я причислю к данной поведенческой модели — в то же время в лагере националистическом не могу не отметить интеллигентное речевое поведение В. В. Кожина и П. В. Палиевского (чьих идей отнюдь не разделяю), резко контрастирующее с неинтеллигентной речью и манерами С. Ю. Куняева, А. А. Проханова, В. Г. Бондаренко, да и «писателя» Г. А. Зюганова.

Главная особенность (и, быть может, главная слабость) неписаного интеллигентского этикета состоит в чрезвычайной трудности (а то и невозможности) следования ему на каждом шагу. Этот этикет — идеал, которому в реальности на сто процентов не соответствует никто. Приведу лишь несколько «позиций», в которых мы все то и дело спотыкаемся. Когда я говорю «Здравствуйте!» или «Добрый день!», я отдаю себе отчет в том, что это учтивость не полная, а половинная. Подлинно интеллигентная манера требует непременно добавления имени адресата приветствия («Здравствуйте, Иван Иванович!»). Именно так вел себя, к примеру, А. А. Реформатский, что замечательно описано в зорких мемуарах его жены Наталии Ильиной.

Этот этикет требует в устной беседе непременно два раза обратиться к собеседнику по имени — безликое «вы» недопустимо. А с незнакомым лицом в долгий разговор можно пуститься только при условии предварительного представления друг другу. (Для контраста замечу: в наших «домах творчества» обитатели по полвека не ведают, «ху из ху». В редакциях и издательствах хозяева кабинетов крайне редко знакомят «пересекающихся» гостей, хотя прежде такой жест был автоматически-обязательным.) Надписывая конверт, интеллигент старого закала физически не мог вывести «И. И. Иванову», а писал ф. и. о. полностью — так делал, например, Блок, приглашая на читку своей пьесы малоизвестного тогда двадцатидвухлетнего филолога Сергея Михайловича Бонди. Презентуя кому-либо свою книгу, автор в «инскрипте» (дарственной надписи) характеризовал (по возможности лестно) только получателя дара, но не себя и не свой опус.

В рамках этого негласного кодекса просто немыслимо было сказать на конференции или в дискуссии: «Как уже здесь говорилось...» Такая безличная отсылка к предшествующему оратору исключалась: соглашаетесь вы с ним или спорите — извольте назвать по имени-отчеству.

Устарели эти церемонии? Может быть. Но хотя бы как объект культурологического изучения этикет «уходящей расы» не должен быть забыт. И еще одну особенность этой поведенческой модели, скорее содержательную, чем формальную, хотел бы отметить. Носитель интеллигентного речевого поведения не возвышается над собеседником, а дает ему «фору», условно предполагая в нем и образованность, и способность понять любую сложную мысль. Читая лекции в Саранске, Михаил Михайлович Бахтин, по свидетельствам бывших студентов, «позволял себе напомнить» пространные латинские цитаты, а не кокетничал ими. А вот пример поновее и попрозачичнее. В дамском телевизионном ток-шоу Алла Пугачева сообщает, что в минуту усталости летала отдохнуть в Цюрих: «Взяла с собой Лолиту...» Ее собеседница Галина Старовойтова радостно кивает, полагая, что речь идет о романе Набокова (признаюсь, что и я на долю секунды снаивничал, предположив в поп-звезде страсть к такого рода чтению). Увы, выяснилось, что Лолита имелась в виду без кавычек, это имя эстрадной певицы (извините, фамилии не знаю)...

Замечу, что «фора», о которой я говорю, может быть продиктована не только искренним порывом — за ней вполне может стоять тонкое лукавство, если не коварство. Русская интеллигентность во многом рифмуется с английским джентльменством — об этом я, в частности, слышал от британского эксперта по хорошему тону Мартина Дьюхерста. А хитрые обитатели Альбиона говорят: «The fool flatters himself, the wiseman flatters the fool» («Дурак льстит себе самому, умный льстит дураку»). Не так уж ценна искренность, если с нею выплескивается зависть, вздорность, агрессивность. Наше литературное сообщество явно нуждается в выработке нового этикета, который позволял бы не тихо (или шумно) ненавидеть друг друга, а, несмотря на психологические отталкивания, поддерживать терпимость, плодотворно и деловито сотрудничать, вместе вытаскивать литературу, культуру из той ямы, в которой они (то есть мы) оказались.

## 9

Новый этикет, очевидно, будет более сухим и прагматичным, а артистизм, остроумие, игровые моменты будут из публичного общения оттеснены в сферу сугубо дружеского. Вернется дореволюционная форма обращения «господин такой-то» уже не в качестве ярлыка (Хрущев когда-то так напугал молодого поэта словами «господин Вознесенский», что тот до сих пор об этом кошмаре вспоминает). Войдет в наш быт иностранно-буржуазный ритуал телефонных разговоров, когда звонящий представляется первым, когда время и деньги не тратятся на бессмысленные фразы: «А что передать?» — «Да нет, ничего...» (Такую деловитость, кстати, можно только приветствовать, и я даже нашел, в чем согласиться с Пелевиным, точнее, с его персонажем-японцем, который в ответ на российское расхлябанное: «Сейчас... Ручку возьму», — с совсем, правда, не японской резкостью поучает: «А почему у вас блокнота с ручкой возле телефона нет?.. Деловому человеку надо иметь».)

Но главное, что в нынешних трудных, жестких, но пока еще не безнадежных условиях по-новому ставится вопрос: как должны говорить о себе писатели, как должна заявлять себя литература в целом? Ведь про современную отечественную словесность никак не скажешь, что она «в рекламе не нуждается». Очень нуждается — и литература как таковая, и все без исключения ее отдельные представители.

Максима «Быть знаменитым некрасиво» сегодня не очень работает, поскольку в тысячу раз некрасивее быть скромным, никому не известным сочинителем скромных и никому не известных произведений. Скромность отнюдь не всегда считалась первой добродетелью художника. К примеру, футуристическое и обэриутское «яканье» было неотъемлемым элементом поэтики, серьезной и ответственной установкой творческого поведения. Уже никого не смешит строка: «Я, гений Игорь Северянин», — да, своего рода гений, в рамках собственного иронико-поэтического мира. А теперь, в конце века и тысячелетия, заведомо нескромной предстает любая попытка добавить что-нибудь свое к огромному, целостному, по-своему завершенному и недоступному для сколько-либо полного освоения на протяжении читательской жизни тексту «Мировая литература». Нет, сегодня я предложил бы Борису Леонидовичу маленькую поправку к строке «Но надо жить без самозванства». Что значит «надо»? Приятно жить без самозванства тому, кого уже знают, кого уже прочли. А так — каждый, кто впервые говорит: «Я поэт», «Я писатель», — уже есть самозванец.

Тут уже возникает вопрос о духовно-эстетическом оправдании «нескромности», о том, соответствует ли шумная самореклама качеству поставляемого литературного товара. Вот, например, телевизионный ведущий спрашивает Виктора Ерофеева: «Почему ваша проза имеет такой успех за рубежом?» — «Потому что она хорошая», — просто и доходчиво отвечает писатель. «Айген-

лоб штинкт!» — воскликнул по этому поводу мой немецкий коллега, в переводе на русский его реплика означает: «Самохвальство воняет». Думаю, что у нас все-таки существует и общественное мнение, и общественное обоняние, которое в конце концов пронюхает истину и разберется, что почем. А печальные примеры samozaxвального блефа не означают, что писатели в принципе не должны «высовываться». Одно дело — когда известность завоевывается, что называется, со взломом, и совсем другое — когда литератор, выходя на авансцену общественного внимания, честно отработывает это внимание содержательностью своих деклараций, новизной заявляемых идей, искусством диалогического контакта с аудиторией. Надеюсь именно этого дожидаться от литературных новобранцев наступающего столетия.

«Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?» — вопрос Козьмы Пруtkова остро стоит перед каждым, кто пытается сегодня остаться профессиональным литератором. Если мне не изменяет память, о своем намерении стать «профессиональным литератором» заявлял юный персонаж детской прозы Анатолия Рыбакова — Крош. Тогда это была одна из возможных профессий, сегодня это невероятная роскошь и счастье — писать, и притом не делать ничего другого «для прокорма». И это потребует от литератора не только полной выкладки за письменным столом, но и мужественного умения бороться за свои авторские права, за уважение к своему труду, за читателя, дорогу к которому преграждает сегодня не цензура, а новые «темные силы» — мафиозные издательские и книготорговые структуры да равнодушные к настоящей литературе СМИ (не сегодня-завтра эти два мутных потока соединятся, и нам еще предстоит читать организованные ловкими издателями бесстыдно-апологетические отзывы о таких «классиках», как Доценко и Маринина, — вот что будет вместо «литературной критики»).

Но об Анатолии Рыбакове я вспомнил прежде всего в связи с его новейшей публикацией под названием «Роман-воспоминание» («Дружба народов», 1997, № 7 — 8). Эта вещь производит впечатление, что называется, неоднозначное, многое напрашивается на иронию, начиная с неадекватного названия: непонятно, зачем опытному и признанному романисту понадобилось выдавать за «роман» утилитарный текст, насыщенный интересной и полезной информацией, являющий собой синтез жизнеописания (порой почти делового *sigificulum vitae*) и своеобразной «охранной грамоты». «Известность „Детей Арбата“ опережала их публикацию», «После этого „прорыва“ ВААП начал заключать контракты. „Дети Арбата“ изданы в 52 странах». Согласитесь, что стилистика не романная. К тому же «роман» — это выдумка, где ничего нельзя принимать за чистую монету, а приведенному выше мы, безусловно, верим.

Но довольно придирик: как факт литературного поведения этот нехудожественный по жанру и по фактуре текст Рыбакова примечателен и поучителен. Перед нами темпераментный литератор-профессионал, преданный своему делу, верный своим заветным мечтам и целям, умеющий постоять за себя и за свои книги. Немало претерпевший от властей и от цензуры, Рыбаков никому не позволяет себя унизить, принизить реальное значение своей работы. Совершенно справедливо «выдает» он за все грехи и за малодушие М. С. Горбачеву, который в своих двухтомных и довольно пустых мемуарах высокомерно отозвался о художественных достоинствах «Детей Арбата». С замечательной искренностью рассказывает Рыбаков о своих несложившихся отношениях с Бродским, который назвал «Детей Арбата» «макулатурой», что было и несправедливо, и неблагородно. Показательны и слова Рыбакова о Бродском, сказанные перед зарубежной аудиторией: «Как поэта я Бродского не знаю. Но моя жена, мои друзья говорят, что он очень одарен. У меня нет оснований им не верить, и я присоединяюсь к их суждению: Бродский — талантливый поэт».

Кому-то кажется наивным итог социально-политических раздумий Рыбакова: «Истинный путь России — демократический социализм. Его отвергли и Сталин, и нынешние руководители». Но что, вы считаете своим идеалом нынешний дележ власти между бывшими партаппаратчиками и криминальными



нуворишами? Снова готовы влачить жалкое существование «применительно к подлости», сгибаясь в три погибели перед высокопоставленными хамами, от которых воняет грязными деньгами? В чем никак нельзя отказать Рыбакову, так это в том, что называется старинным словом «самостоянье». А это первейшее условие благородства. Может быть, Рыбаков чересчур строг к тем своим коллегам, что были вынуждены идти на политические компромиссы, и слишком уверен в собственной безгрешности, но в главном он прав: нельзя молиться за царя Ирода. Опусы ненаивных, хитроумных писателей устаревают за несколько лет, а новых увлеченных читателей романов Рыбакова я встречаю среди своих восемнадцатилетних студентов.

В общем, можно говорить о себе гордо, громко, без ложной скромности. Но для этого необходимо одно условие: нужно иметь общеинтересный жизненный опыт, иметь судьбу — такую, как у автора книги «Бодался телёнок с дубом», или хотя бы такую, как у автора «Детей Арбата».

Поэтому достаточно жалкими и недостойными выглядят попытки сделать себе имя и репутацию до приобретения трудного опыта, до написания чего-то значительного. Один юный репортер, занимающийся поденной работой, но, как все журналисты, с о б и р а ю щ и й с я написать роман, выступил недавно в «Знамени» с «неким как бы текстом», где предпринял попытку заранее вписать себя в современный литературный пейзаж. Фантазия журналиста достаточно бедна: он изображает именитых писателей вылетающими из окна редакции «Знамени»: «Впереди летел Юрий Буйда... Буйда был пьян, как его персонажи... Летела Токарева, Татьяна Толстая...» Сколько уже мы видели подобных полетов! С искренним недоумением прочел следующее: «В коридоре журнала „Знамя“ я вдруг увидел профессора Владимира Новикова. Некоторое время я размышлял, подавать ему руку или нет. Дело в том, что профессор оскорбил одного моего знакомого поэта, Мишу Кукина, предположив в ответ на его стихи, что Миша не гений». Мучительно вспоминаю, как может выглядеть автор сего сочинения, но через несколько строк все разясняется. Юный мистификатор признается: профессор «проследовал мимо меня, так и не догадавшись о моем существовании». Ну, кому может быть интересен такой «стебовый» междусобойчик? Не лучше ли, чем пристраиваться в хвост к знаменитым прозаикам, чем заигрывать с критиками, взять да и написать стоящий текст, благодаря которому мы бы все вместе с читателями «догадались о существовании» еще одного автора. Но для этого одной развязности мало.

Не стал бы говорить об этом малозначащем примере, если бы он не был так характерен для нынешней словесности. Симуляция творческой деятельности, имитация «жизни в литературе» — одна из причин отчуждения писателей (коих много) от Читателя (он, как это ни парадоксально звучит, один на всех). «Тусовочные» мемуары людей с достаточно скромными, малоинтересными судьбами нередко объявляются в «тусовочных» же кругах «хорошей прозой» и даже получают престижные премии, ни в малейшей мере не подтверждаемые потом читательским интересом. Вот уж что безусловно некрасиво — так это, не будучи знаменитым, писать о себе как о знаменитости — пристально, детально, любовно<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Хотел ведь обойтись без имен, но буковровский лауреат-96 Андрей Сергеев вдруг ярко себя обнаружил на поведенческом уровне. Жить бы человеку да радоваться свалившейся на него фантастической удаче — ан нет: он громко и публично высказывается о новом буковском жюри и о других писателях в следующих изысканных выражениях: «Я считаю данный выбор скандальным. Все, что было сказано насчет тенденций, — это десцентская чепуха. Такое проходило на семинарах по марксизму, сейчас не проходит. Что это, гадание на кофейной гуще, что это за химические различия между романом и не романом? Из того, что названо в шорт-листе, я прочитал три вещи, и они скандально плохи» («Культура», 1997, 25 сентября). Думается все же, что разница между романом и мемуарным «Альбомом для марок», между прозаиками и А. Сергеевым — очевидна почти для всех. Была, правда, иллюзия, что «Альбом...» написан более или менее воспитанным человеком, но автор сделал все, чтобы эту иллюзию развеять. А в общем, опять видим: никакие почести, никакой «Букер» не заменят талант и судьбу.

## 10

Благородная интеллигентность — это не «стариковские» манеры, это поведенческий стиль человеческой и духовной зрелости. Как ее недостает и в литературных текстах, и в литературном быту! И опять-таки это отчетливо проявляется на речевом уровне.

Очень частым стало теперь отождествление советского режима с гитлеровским фашизмом. Боюсь, что вопрос не так прост, но подобное уравнение еще более или менее убедительно звучит в устах представителей молодого поколения. Однако и иные писатели-фронтовики начинают исповедоваться в том духе, что мы, мол, воевали против одной бесчеловечной диктатуры, защищая другую, не менее бесчеловечную. Читая и слушая подобное, я просто не понимаю прозаиков, которых мы некогда ценили отнюдь не за сюжетное мастерство и не за стилистические красоты, а за верность военной теме! Как можно, даже искренне пересмотрев свои былые представления, одним махом перечеркивать всю свою человеческую и творческую биографию, предавать память о погибших товарищах! Можно сколько угодно развиваться, менять взгляды, но благородство немислимо без верности своей судьбе. Быть «вечно молодым», отвечать «всегда готов!» на каждый конъюнктурный изгиб — сомнительная доблесть.

Верю, что новая словесность, новый художественный язык станут выражением поистине взрослого сознания. А пока неважно дышится и пишется среди шестидесятилетних мальчиков, щеголяющих стебом, то есть циничным балагурством, и гордящихся своей причастностью к процессам половой жизни, как и среди мальчиков совсем уж преклонного возраста, готовых опять «все начать сначала». Хочется ощущать тяжесть и вес прожитых лет — и только так вступать в диалог с новым временем. Оглядываюсь на тех, кто ушел из жизни ровно в том возрасте, в котором сейчас пребывают мои ровесники и я. А это, между прочим, Булгаков, Тынянов, слегка не дотянувшие до того рубежа, что мы жаргонно именуем «полтинником». Силой с ними мериться — не по Сеньке шапка, а вот поведению попытаться подражать — можно. Можно, как безавтомобильный Булгаков, пускаясь вдогонку уходящему трамваю, командовать себе (конечно, без пафоса, с легкой самоиронией):

— Главное — не терять достоинства!



---

---

# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

МИХАИЛ АРДОВ (протоиерей)



## ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОРДЫНКУ

### НА ПИРУ МНЕМОЗИНЫ

*Хорошо тем, кто набрался еще в молодости ума и терпения, чтобы вести дневник. Я дневника никогда не вел и теперь завидую тем, кто может заглядывать в эти заветные тетради. Я безусловно в проигрыше. Вести или не вести дневник — об этом и спорить не стоит. Но все-таки и у нас, людей без дневника, есть свой шанс. Шанс этот — творческие качества человеческой памяти, ведь она, память человека, и тем более память художника, устроена особенным образом. Много хранит она в подземелье своего подсознания. Чтобы она пробудилась, необходим только достаточно сильный, достаточно яркий толчок.*

*Михаил Ардов — автор замечательных книг, широко известных и много читаемых, он давно стал для меня одним из лучших прозаиков моего поколения. Судьба была благосклонна к нему. Он вырос рядом с Анной Андреевной Ахматовой. Он запомнил и воспроизвел в своей прозе многое из быта и бытия великого поэта и великого человека. И вместе с тем Ахматова не стала его мономанией. Те, кто читал «Легендарную Ордынку» («Новый мир», 1994, № 4 — 5) и «Цистерну», надеюсь я, согласятся с этим. Память у Ардова исключительная, но вместе с тем это творческая память. Я бы сказал, что это не арифметика, а высшая математика памяти.*

*«Записные книжки» Ахматовой, вышедшие этим летом в Италии по-русски, запустили таинственный механизм Мнемозины. В мифологии древних греков Мнемозина — богиня памяти. От Зевса она родила девять муз, девять камен, на которых и зиждется искусство.*

*Надо отметить, что Ардов — истинный художник, замечательный стилист. Он правильно поступил, сделав свою работу дискретной. Он разбил свое повествование на микроновеллы, которые и соответствуют всплескам творческой памяти художника.*

*В ноябре 1993 года я прожил полторы недели вместе с Иосифом Бродским в Венеции. Это было наше последнее свидание. За исключением сна, мы почти все время были вместе. И вот я вспоминаю знаменитое старейшее кафе Венеции «Флориан», расположенное на Пьяцетте, напротив собора Сан-Марко. На столике — кофе, минеральная вода, разумные рюмки с алкоголем. Разговор зашел о книгах, посвященных Ахматовой.*

*— Лучшее пока что — это то, что написал Миша, — сказал Иосиф.*

*— Ты имеешь в виду «Легендарную Ордынку»? — спросил я.*

*— Конечно.*

*Мне остается добавить, что я думаю точно так же.*

*Евгений Рейн.*

**В** начале лета 1997 года со мною произошло чудо. Я получил толстую книгу в белой бумажной обложке, на которой значится: «Записные книжки Анны Ахматовой (1958 — 1966)» (Москва — Torino, 1996).

Не успел я раскрыть этот объемистый том, как в памяти с необычайной ясностью всплыла такая сценка. Ахматова сидит в нашей столовой на Ордынке, перед нею раскрытая книга. На переплете надпись — «Тысяча и

одна ночь», но типографского текста там нет. Анна Андреевна записывает имена людей, которые придут к ней сегодня. А над этим списком — стихотворные строки и еще какие-то записи. Я говорю:

— До чего же сложную работу вы даете будущим исследователям. У вас тут стихи, телефонные номера, даты, имена, адреса... Кто же сможет в этом разобраться?..

Ахматова поднимает голову, смотрит на меня серьезно и внимательно, а затем произносит:

— Это будет называться «Труды и дни».

С того памятного мне разговора протекло тридцать с лишним лет. И вот теперь все, что содержится в объемистой тетради «Тысяча и одна ночь» и во всех прочих записных книжках Ахматовой, вышло из печати.

В одной из них я обнаружил такое суждение:

«Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя: 20% мемуаров так или иначе фальшивки. Самовольное введение прямой речи следует признать деянием уголовно наказуемым, потому что оно из мемуаров с легкостью переключивается в [серьезные] почтенные литературоведческие работы и биографии. Непрерывность тоже обман. Человеческая память устроена так, что она как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что-то забывать» (стр. 555).

Пока я читал записные книжки Ахматовой, память то и дело вырывала из мрака фразы, слова, целые сценки, истории... Вспышки того самого «прожектора» следовали одна за другой, ибо записи делались в конце пятидесятых и в шестидесятые годы. А я тогда был уже взрослым, почти сложившимся человеком и, разумеется, вполне понимал, кто такая Анна Ахматова и что такое ее стихи...

Нечто подобное в свое время испытала и сама Анна Андреевна, это было осенью 1965 года:

«Записная книжка Блока дарит мелкие подарки, извлекая из бездны забвения и возвращая даты полузабытым событиям: и снова деревянный Исаакиевский мост, пылая, плывет к устью Невы. А я с Н. В. Недоброво с ужасом глядим на это невиданное зрелище, и у этого дня даже есть дата...» (стр. 672).

То, что я ощутил при чтении записных книжек Ахматовой, не могу назвать «подарками мелкими», ибо через тридцать с лишним лет я вдруг мысленно вернулся домой, на нашу «Легендарную Ордынку», в круг когда-то близких и все еще дорогих мне людей.

«Анненский об Инне и обо мне» (стр. 14).

Это — история уже известная. Брат снохи Иннокентия Федоровича С. В. Штейн женился на старшей сестре Ахматовой — Инне. Узнав об этом браке, поэт сказал:

— Я бы женился на младшей.

Анна Андреевна не имела обыкновения передавать чьи-нибудь комплименты, сказанные ей. Но этот рассказ я слышал от нее неоднократно.

«Виташевская — Б9-20-69» (стр. 25).

В пятидесятых годах Ахматова непрерывно занималась переводами. Это был ежедневный изнурительный труд. После завтрака она удалялась в свою маленькую комнату и не выходила оттуда до трех часов дня...

Переводы ей давали главным образом в Гослитиздате, где дама по фамилии Виташевская заведовала одной из редакций. Я хорошо помню ее, была она довольно полная, уже седая, у нее был муж, лет на пятнадцать ее моложе.

Иногда Анне Андреевне приходилось приглашать эту даму в гости. И я вспоминаю, как Ахматова произносит такую фразу:

— Сегодня вечером придет Виташевская с молодым мужем и будет мне рассказывать, как она — НЕ берет взятки...

«Т. С. Айзенман Г6-16-99

<...>

Алигер ДЗ-22-13» (стр. 26).

Татьяна Семеновна Айзенман была довольно близкой приятельницей Ахматовой. Ее фамилия в сочетании с именем Алигер напомнила мне такую сценку.

Как-то вечером в гостях у Ахматовой были обе эти дамы. Некоторое время все трое сидели в маленькой комнате... Но вот дверь открылась, и из нее вышла Татьяна Семеновна. Она уселась на диван и нервно закурила.

— Нет, — произнесла она, — я не могу это слушать...

— А что произошло? — спросила моя мать.

— Вы понимаете, — объяснила Айзенман, — разговор все время такой. Анна Андреевна говорит: «Я вчера написала стихи». Маргарита Осиповна сейчас же произносит: «И я вчера написала стихи». Анна Андреевна продолжает: «Мне позвонили из журнала». Алигер опять вторит ей: «И мне позвонили из журнала...» Ну и так далее...

*«...в Ташкенте в 1943 г. вышла маленькая книжка „Избранное” под редакцией К. Зелинского (10 000 экз.). Рецензий о ней не было, и ее было запрещено рассылать по стране. Продавалась она в каких-то полузакрытых распределителях. На книге не обозначено место издания. (Запрещали ее, по словам А. Н. Тихонова, 8 раз.)» (стр. 29).*

Я эту книжку ни разу в жизни не видел, но кое-что о ней на Ордынке рассказывалось. Когда встал вопрос об оформлении, Анна Андреевна будто бы сказала:

— Отдайте ее Сашеньке Тышлеру, и пусть он нарисует все, что угодно.

Но «Сашеньке Тышлеру» ее, разумеется, не отдали, и книжка вышла с обыкновенным в те годы оформлением. На последней странице обложки был помещен рисунок, изображающий юношу и девушку, которые обнявшись сидят на садовой скамейке и вдвоем читают раскрытую книгу. Лидия Корнеевна Чуковская вспоминала, что Ахматова, указавши ей на это изображение, произнесла:

— А вот это — я с парнем...

«Алим Пшемахович Кешоков» (стр. 36).

Этого кабардинского поэта привел на Ордынку С. И. Липкин. В те годы Кешоков был большим начальником — занимал пост одного из секретарей обкома партии. Анна Андреевна сказала ему:

— Вы, наверное, очень заняты. Когда же вы пишете стихи?

— По утрам, — отвечал гость с легким акцентом.

«15 февраля 60 г.

Из „Листки из дневника”.

Чудак? конечно, чудак.

*...При Осипе нельзя было никого хвалить, он сердился, спорил, был невероятно несправедлив, заносчив, резок. Но если бы вы вздумали этого же человека порицать при нем — произошло бы то же самое, он бы защищал его изо всех сил» (стр. 41).*

Однажды я прочел Ахматовой известные строки Мандельштама:

А еще над нами волен  
Лермонтов, мучитель наш,  
И всегда одышкой болен  
Фета жирный карандаш.

А потом я спросил у нее:

— Почему Осип Эмильевич так нехорошо пишет о Фете?

Анна Андреевна улыбнулась и отвечала:

— Просто в ту минуту ему так показалось.

«А. А. Холодович в пятницу 8 1/2 ч.» (стр. 42).

Александр Алексеевич Холодович был лингвист-востоковед и так называемый «внешний редактор» корейских переводов Ахматовой. Я помню такой рассказ Анны Андреевны:

— Редактор в издательстве сделал в переводе поправку. У меня было: «девушки поют в лад», — а он заменил слово «лад» на слово «такт». В этом месте Холодович написал такое замечание: «„Такт” по-русски и будет — „лад”».

«3 января 1957.

...вечером я у Маршака» (стр. 42).

В те годы Анна Андреевна поддерживала с Самуилом Яковлевичем дружеские отношения. Как-то она была у него в гостях и попросила меня заехать за нею.

Когда я вошел в кабинет Маршака, он что-то рассказывал своей гостье. Я услышал его слова:

— Он воевал во французских войсках в Первую мировую войну и очень отличился. Получил дворянство и стал генералом...

(Как я впоследствии понял, речь шла о Зиновии Моисеевиче Пешкове — родном брате Я. М. Свердловла и крестнике М. Горького.)

Увидев меня, Ахматова поднялась, и Маршак проводил нас до прихожей.

Когда мы вышли на лестницу, Анна Андреевна сказала мне:

— Совершенно выжил из ума. Как можно получить дворянство в республике?..

«1 апреля 1960 (Москва).

Позвонить: Булгаковой, Алигер, Марусе, Комер, Томашевскому» (стр. 69).

И опять в памяти целая сценка — звонок В. В. Иванову.

На Ордынке утро. Анна Андреевна садится поближе к телефонному аппарату и говорит мне:

— Ребенок, набери мне Кому... Давно я, грешница, с Комой не разговаривала...

Я снимаю трубку, а она диктует мне номер:

— В1-43-72...

И подсказывает, как спросить «Кому»:

— Вячеслава Всеволодовича...

« „Песня последней встречи” — мое двухсотое стихотворение» (стр. 79).

Помнится, осенью шестьдесят пятого года Ахматовой доставили только что опубликованный французский перевод нескольких ее стихотворений. В их числе была и «Песня последней встречи». Но там эти стихи именовались так: «La chanson de la dernière fois» («Песня последнего раза»). Анна Андреевна с полупуштливым возмущением повторяла:

— Я им покажу — «Песню последнего раза»!..

Некое недоразумение произошло и при переводе ее стихов «Ночное посещение»:

Не на листопадном асфальте  
 Будешь долго ждать.  
 Мы с тобой в Адажио Вивальди  
 Встретимся опять.  
 Снова свечи станут тускло-желты  
 И закляты сном,  
 Но смычок не спросит, как вошел ты  
 В мой полночный дом.

Так вот, переводчик решил, что «смычок» — это кличка собаки, которая не залаяла при появлении ночного гостя, и соответствующим образом интерпретировал стихотворение.

И последняя история в этом роде, она бытовала на Ордынке и была известна Ахматовой. В поэме А. Твардовского «Василий Теркин» существуют такие строчки:

На околице войны —  
 В глубине Германии —  
 Баня! Что там Сандуны  
 С остальными банями!

В румынском переводе поэмы будто бы есть такая сноска:  
 «„Сандуны” — санитарный отдел Красной Армии».

*«Я давно не верю в телефоны,  
 В радио не верю, в телеграф»* (стр. 93).

Летом 1964 года я купил свой первый транзистор — рижскую «Спидолу». Приемник работал на батарейках и мог в любой точке пространства извлекать из эфира голоса и музыку. Для Ахматовой это стало наглядным доказательством того, что весь мир пронизан радиоволнами и беззвучия как такового не существует. Я помню, как Анна Андреевна произнесла:

— Я больше ни одного слова не напишу о тишине...

*«В наше время кино так же вытеснило и трагедию, и комедию, как в Риме пантомима»* (стр. 109).

Надобно заметить, что к театру Ахматова никакого интереса не проявляла, а за новинками кинематографа старалась следить. Пока у нее были силы, она посещала наши замоскворецкие кинотеатры. Я помню, ей очень понравился французский фильм «Тереза Ракен» с Симоной Синьоре в главной роли. Столь же благосклонно она отнеслась к английской ленте «Мост Ватерлоо».

В этом фильме она обратила внимание на тот эпизод, где английский офицер просит у своего генерала разрешения на брак. И просьба и согласие — устные.

— Мы к этому не привыкли, — говорила Ахматова. — Нам кажется, что генерал сейчас начнет дышать на печать, потом прикладывает ее...

Вспоминаю, с каким отвращением Анна Андреевна отзывалась о весьма популярном в те годы аргентинском фильме «Возраст любви»:

— Эти смрадные адвокаты...

Вообще же слово «смрадный» было в ее устах наихудшим ругательством по отношению к произведениям искусства. В памяти всплывают ее слова:

— Смрадные Форсайты...

### «СОСНЫ

*Не здороваются, не рады! —  
 А всю зиму стояли тут,  
 Охраняли снежные клады,  
 Вьюг подслушивали рулады,  
 Создавая смертный уют»* (стр. 141).

Это коротенькое стихотворение записано в нескольких книжках, и еще раз об этом же говорится прозой:

*«Одним соснам решительно все равно — им уже скоро создавать смертный уют»* (стр. 401).

Этот «уют» и эти «клады» — отзвуки поэмы «Мороз, Красный Нос», а ее Ахматова необычайно высоко ценила. Но здесь просматривается и конкретный смысл: Анна Андреевна хотела быть похороненной именно в Комарове.

6 марта 1966-го мы с Бродским шли по кладбищу в Павловске и искали там место для погребения Ахматовой. Узенькая дорожка упиралась в забор, и там росла сосна — высокая, стройная...

— Ну, вот, — сказал я, — тут, пожалуй, можно было бы... Но нет, не пойдет... У Пастернака три сосны, у нас будет только одна...

Бродский грустно усмехнулся:

— Ей бы эта шутка понравилась...

Мы тогда еще не знали стихотворения «Сосны», но мы вспомнили «Приморский сонет», а там ясно говорится именно о комаровском кладбище:

И кажется такой нетрудной,  
Белея в чаше изумрудной,  
Дорога не скажу куда...

И мы поехали в Комарово и в конце концов добились того, чтобы Ахматова нашла последнее упокоение в своем любимом сосновом лесу, в этом самом «смертном уюте».

*«Н. Н. Пунин часто говорил обо мне: „Я боролся с ней и всегда оставался хром, как Иаков”*» (стр. 152).

Я полагаю, отнюдь не каждый читатель поймет, что здесь ссылка не на саму Библию, а на Пушкина. В его Table-talk читаем:

«Гёте имел большое влияние на Байрона. Фауст тревожил воображение творца Чильд-Гарольда. Два раза Байрон пытался бороться с великаном романтической поэзии — и остался хром, как Иаков».

Надобно заметить, что Ахматова знала всего Пушкина наизусть. Я однажды сказал ей:

— А ведь Пушкин скорее москвич, нежели петербуржец. Смотрите, как он рифмуется:

Но, говорят, вы нелюдим;  
В глуши, в деревне все вам скучно,  
А мы... ничем мы не блестим,  
Хоть вам и рады простодушно.

— Да, — сказала Ахматова, — но...

И она тут же привела мне пример «петербургской» рифмы, но — увы! — я его не запомнил.

Это, пожалуй, требует некоторых разъяснений. Москвичи произносят — «скуШно», «конеШно» и т. д., а петербуржцы говорят так, как эти слова пишутся. По этой причине поэт из Петербурга станет рифмовать — «скуЧно» и, например, «собственноручно», но уж никак не «простодушно».

*«...„Жасминный куст”... Стихи Н. Клюева. (Лучшее, что сказано о моих стихах.)»* (стр. 176).

Зимой 1966 года я пришел в Боткинскую больницу, чтобы навестить Ахматову. Между прочим, я ей сказал:

— Вот прекрасная тема для статьи — «Эпиграфы Ахматовой». Подарите это кому-нибудь из ахматоведов.



Она мне ответила:

— Никому не говори. Напиши сам. Я тебе кое-что для этого подброшу.

Анна Андреевна мне так ничего и не «подбросила», ей оставалось жить всего месяца два. А мне эта тема была, да и остается не по плечу. К тому же литературоведение такого рода, как тут потребно, меня никогда не привлекало. И все-таки я хочу написать об одном из эпитафий «Поэмы без героя».

«Поэму...» я знал с детства, она переписывалась и переделывалась практически на моих глазах. Мне сразу же запомнился и очень нравился эпитафия из совершенно неизвестного мне в те годы поэта Николая Клюева:

...жасминный куст,  
Где Данте шел, и воздух пуст.

Когда же после смерти Анны Андреевны я первый раз прочел клюевское стихотворение «Клеветникам искусства», то с удивлением обнаружил, что она цитирует его неточно. В подлиннике это звучит так:

Ахматова — жасминный куст,  
Обожженный асфальтом серым,  
Тропу утратила ль к пещерам,  
Где Данте шел и воздух густ...

Итак, Ахматова не просто берет эти строчки, она их переинтерпретирует, кардинально меняет. Клюев в своих стихах отсылает ее в преисподнюю, в смрадные круги Ада, где конечно же «воздух густ». Ахматовой в данном случае infernalность ни к чему, она все это выбрасывает — асфальт, пещеры, густоту. В результате тут присутствует аромат жасмина и некий вакуум, оставшийся после прохождения Данте и заполняемый ею самою.

*О поэме: «Отзывы Б. Пастернака и В. М. Жирмунского (Старостина, Штока, Добиная, Чуковской и т. д.)» (стр. 183).*

Старостин, Шток...

Драматург Исидор Владимирович Шток познакомился с Ахматовой в Ташкенте, а знаменитый футболист Андрей Петрович Старостин приходился ему свояком, они были женаты на сестрах.

В пятидесятых годах на Ордынку часто заходил наш с братом Борисом приятель, сын писателя Евгения Петрова — Илья. Он — музыкант, литература и поэзия его вовсе не интересовали, но зато он был страстным футбольным болельщиком.

И вот однажды Анна Андреевна со смехом рассказала нам такое:

— Сегодня здесь был Илюша Петров. Я сидела на диване, а он в этом кресле. Ко мне он вообще никак не относится... Ну, сидит себе какая-то старуха и сидит... И вдруг я при нем сказала кому-то, что вчера у меня в гостях был Шток с Андреем Старостиным... Тут он переменялся в лице, взглянул на меня с изумлением и сказал: «Вы — знакомы со Старостиным?!»

Уж коль скоро здесь появилось имя Евгения Петрова, я решаюсь упомянуть и Илью Ильфа. Он, как свидетельствуют его «Записные книжки», познакомился с Ахматовой в доме моих родителей — Виктора Ефимовича Ардова и Нины Антоновны Ольшевской. Существует такая запись:

«Я подумал: „Какая у Виктора строгая теща“. Оказалось, что это была Ахматова».

*«Зощенко и Ахматова были исключены из Союза писателей и обречены на голод. Число ругательных статей — четырехзначно на всех языках. Зощенко и Ахматова — античные маски (комическая и трагическая)» (стр. 204).*

Я, помнится, говорил Ахматовой о том, что общность ее судьбы с судьбою Зощенки отчасти была предсказана Гоголем в его знаменитом отрывке о двух писателях («Мертвые души»):

«...высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением...»

Но Гоголю не дано было предугадать, что они «станут рядом» не где-нибудь, а у позорного столба.

*«И „вылеп головы кобыльей“, который я видела в последний раз в день смерти Маяковского. Стену бывшей конюшни ломали. Серый двухэтажный особняк надстраивали»* (стр. 224).

Ахматова, так любившая и ценившая архитектуру, научила меня замечать изуродованные надстройками старые дома — и в Петербурге, и в Москве. Я запомнил ее фразу:

— Всем домам — надо, не надо — стали надстраивать верхние этажи.

*«Описать же для Вашего издания мое путешествие по Италии (1912 г.), к моему великому сожалению, не позволяет мне состояние моего здоровья»* (стр. 227).

Как-то я прочел вслух понравившиеся мне строки из стихотворения Н. Гумилева «Падуанский собор»:

В глухой таверне старого квартала  
Сесть на террасе и спросить вина,  
Там от воды приморского канала  
Совсем зеленой кажется стена.

— Это я ему показала, — проговорила Ахматова, вспомнив их совместную итальянскую поездку.

*«Уладить книгу Шверубовичу*

*<...>*

*Звонила Виленкину о Вадиме»* (стр. 258).

Шверубович — настоящая фамилия актера Василия Ивановича Качалова, ее и носил сын артиста Вадим. А Виталий Яковлевич Виленкин — один из «ученых евреев» при Художественном театре — был с этим семейством особенно близок.

В этой связи мне вспоминается, как Ахматова, обучая нас с младшим братом вести себя прилично за столом, рассказывала такую историю. На званом обеде вместе с нею были В. И. Качалов и молодой еще В. Я. Виленкин, который машинально крутил в руках свою вилку. Качалов сказал:

— Виталий Яковлевич, сколько раз я говорил вам, что вилка — не трезубец Нептуна.

Поразительное описание знакомства с Мариной Цветаевой (июнь 1941 года): первый день — встреча на Ордынке, второй — у Н. И. Харджиева. И там — такое:

*«Все идет к концу. Марина, стоя, рассказывает, как Пастернак искал шубу для Зины и не знал ее размеры, и спросил у Марины, и сказал: „У тебя нет ее прекрасной груди“»* (стр. 278).

В этих строчках содержится изумительная новелла под названием «Три великих поэта и бюст Зинаиды Николаевны». Один — сказал, другая — запомнила, а третья — записала.

И вот жуткий финал этого отрывка:

«Мы вышли вместе <...>. Светлый летний вечер. Человек, стоявший против двери (но, как всегда, спиной), медленно пошел за нами. Я подумала: „За мной или за ней?“»

Я вспоминаю, как еще в пятидесятых годах Ахматова чувствовала постоянную слезку. Иногда, если мы шли по улице, она указывала на шпики, которые ее сопровождали...

Именно этим объясняется то обстоятельство, что записные книжки появились у нее лишь в самом конце пятидесятых, во время хрущевской оттепели. Я помню, она говорила нам:

— Вы себе не представляете, как мы жили. Мы не могли завести книжку с номерами телефонов... Мы дарили друг другу книги без надписей...

*«Меж тем, как Бальмонт и Брюсов сами завершили ими же начатое (хотя еще долго смущали провинциальных графоманов), дело Анненского ожило со страшной силой в следующем поколении. И, если бы он так рано не умер, мог бы видеть свои ливни, хлещущие на страницах книг Б. Пастернака, свое полузаумное „Деду Лиду ладили...“ у Хлебникова, своего раешника (шарики) у Маяковского и т. д.» (стр. 282).*

Я не мог знать этой записи в шестидесятых годах, но однажды поделился с Ахматовой своим впечатлением о стихах Анненского «Прерывистые строки»:

Зал...  
Я нежное что-то сказал,  
Стали прощаться,  
Возле часов у стенки...  
Губы не смели разжаться,  
Склеены...

Я выразил мнение, что это предвосхищает мазохистские поэмы Маяковского. Анна Андреевна отозвалась об Иннокентии Федоровиче:

— Он всех нас содержал в себе. Я первая это заметила.

Попутно вспоминаю то, что Ахматова говорила об известном пассаже из поэмы Маяковского «Во весь голос»:

Мне  
и рубля  
не накопили строчки,  
краснодеревщики  
не слали мебель на дом.  
И кроме  
свежевымытой сорочки,  
скажу по совести,  
мне ничего не надо.

Вот ее слова:

— Он даже не знал, какая это в наше время роскошь — иметь каждый день чистую рубашку.

*«Про „Оду“ — совершенно неверное суждение о ее близости к „Вакханалии“. Здесь (т. е. в „Оде“) — дерзкое свержение „царскосельских“ традиций от Ломоносова до Анненского и первый пласт полувоспоминаний, там (у Пастернака) описание собственного „богатого“ быта» (стр. 297).*

Пастернаковскую «Вакханалию» Ахматова активно не любила, а потому так протестует против сравнения этих стихов с ее собственной «Царскосельской одой». Анна Андреевна даже придумала нечто вроде пародии на Пастернака:

Поросята в столовой,  
Гости, горы икры...

(В «Вакханалии»:

По соседству в столовой  
Зелень, горы икры,  
В сервировке лиловой  
Семга, сельди, сыры.)

*«Владислав Ходасевич (отзыв и из мемуаров. — Селедки)» (стр. 359).*

Осенью шестьдесят второго года я впервые прочел книгу Ходасевича «Белый коридор». В частности, он там описывает, как ему пришлось в голодном Петрограде торговать селедкой. (Каждому писателю тогда выдали полмешка селедки, и В. Ф. пошел ее продавать, чтобы купить себе масла.) Приступая к торговле, Ходасевич вдруг увидел, что неподалеку от него из такого же точно вонючего мешка селедку продает Ахматова. При первой же встрече я пересказал это Анне Андреевне, она выслушала и произнесла:

— Вполне могло быть.

О Н. С. Гумилеве: *«...от бедной милой Ольги Николаевны Высотской даже родил сына Ореста (13 г.)» (стр. 361).*

Году эдак в шестьдесят пятом я пришел домой к Льву Николаевичу, у него сидел гость. Хозяин нас познакомил. Это был Орест Николаевич Высотский, Орик, как его называли люди близкие, и Ахматова в том числе.

А затем произошла некоторая неловкость. Я вспомнил и рассказал, как в 1956 году в Москве старая поэтесса Грушко с изумлением и любопытством разглядывала Льва Николаевича. А Ахматова, узнав об этом, сказала:

— Ничего удивительного. У нее был роман с Николаем Степановичем, а Лева так похож на отца.

Не успел я это произнести, как Орик с горячностью стал возражать:

— Это я похож на отца! Лева совсем на него не похож!.. Почему Анна Андреевна так сказала?.. Все говорят, что я на него похож!..

А Лев Николаевич дипломатично молчал.

*«Вчера была Маруся. Как всегда чудная, умная и добрая. Я никогда не устану любоваться ею, как она сохранила себя — откуда эта сила в таком хрупком теле» (стр. 368).*

Тут надобно заметить, что покойная Мария Сергеевна Петровых была родною племянницей (дочерью брата) самого стойкого и непримиримого к большевикам новомученика — Иосифа, митрополита Петроградского. Однако же об этом родстве она никогда при мне не говорила. Помню, только один раз она посетовала, что Корней Чуковский позволил себе какие-то антиклерикальные выпады.

— В двадцатом веке, — сказала мне Мария Сергеевна, — после того, что сделали в нашей стране с духовенством, это вовсе неуместно.

И еще один свой разговор с М. Петровых я запомнил. Мы обсуждали только что вышедшие из печати воспоминания об Ахматовой, которые написала М. И. Алигер. Там есть некая пространная казенно-патриотическая речь, которую будто бы произнесла Анна Андреевна в присутствии мемуаристки.

— Миша, — сказала мне Мария Сергеевна, — мы с вами оба знали Ахматову. Она не имела обыкновения изъясняться монологами.

*«Среда: Миша, Наташа с дочкой, Люба, Толя. У Виноградовых. 7 1/2 (Машинистка)» (стр. 370).*

В пятидесятых годах мой отец и Ахматова пользовались услугами машинистки, которая жила в одной из соседних квартир тут же — на Ордынке.

Звали ее, помнится, Мария Исаевна. Работу свою она делала вполне пристойно, но был у нее известный недуг — она крепко выпивала.

И вот я вспоминаю такую историю. Ахматова отдала ей перепечатывать свой печально известный цикл «Слава миру». Там есть такие строчки:

Как будто заблудившись в нежном лете,  
Бродила я вдоль липовых аллей  
И увидала, как плясали дети  
Под легкой сеткой молодых ветвей.  
Среди деревьев этот резвый танец...

Так вот, Мария Исаевна вместо «резвый танец» напечатала — «трезвый танец». С учетом ее недуга и применительно к детям это было весьма забавно.

#### «ЧЕТКИ (продолжение)

*Книга вышла 15 марта 1914 г. <...>*

*И потом еще много раз она выплывала из моря крови, и из полярного оледенения, и побывав на плахе, и украшая собой списки запрещенных изданий <...>, и представляя собою краденое добро (издание Ефрона, Берлин и Одесская контрфакция при белых (1919)...)» (стр. 376).*

Помнится, я раздобыл старую книжку — «Четки» (Книгоиздательство С. Эфрон, Берлин). Было занятно стать обладателем сборника стихов Ахматовой, изданного мужем Цветаевой. И я попросил Анну Андреевну сделать на книге надпись, она взяла ручку и начертала на титульном листе:

«Милому Мише Ардову мое начало.  
Анна Ахматова  
30 ноября  
1964  
Москва».

Отдавая мне книжицу, Ахматова произнесла:  
— Гонорар за это издание я не получила.

*«...статья К. Чуковского — „Две России (Ахматова и Маяковский)“...» (стр. 379).*

Как мне помнится, в этой статье автор писал, что Маяковский олицетворяет Россию новую, Ахматова — старую. Анна Андреевна иногда шутила по этому поводу и говорила:

— Корней сделал меня ответственной за всю русскую историю.  
Ардов на это отзывался так:  
— Ну, Бирона и Распутина я вам никогда не прощу.

*«Пусть я и не сон, не отрада  
И меньше всего благодать...» (стр. 381).*

Наш приятель Михаил Мейлах замечательно расшифровал эти строки: самое имя «Анна» на древнееврейском языке означает «благодать».

#### «НАДПИСЬ НА ПОЭМЕ

*И ты ко мне вернулась знаменитой,  
Темно-зеленой веточкой повитой...» (стр. 385).*

Как известно, «Поэма без героя» при жизни Ахматовой так и не была полностью опубликована. Однако в списках она распространялась довольно широко. Я запомнил такой рассказ Анны Андреевны:

— Мне позвонила чтица по имени Вера Бальмонт. Она сказала: «У вас есть поэма без чего-то, я хочу это читать с эстрады».

*«Полночные стихи Базилевскому и М. С. Михайлову»* (стр. 416).

Натан Григорьевич Базилевский был весьма вальяжный господин и преуспевающий драматург. Его перу принадлежала пьеса под названием «Закон Ликурга», которая шла по всей стране и приносила ему огромный доход. Это была как бы инсценировка романа Т. Драйзера «Американская трагедия», но там более сурово осуждались буржуазные порядки, и с этой целью был соответствующим образом изменен сюжет.

Мне вспоминается, как однажды Базилевский принялся расхваливать стихи Гумилева, и все бы хорошо, но он упорно называл его Николаем Семеновичем. Мы все пришли в смущение, Ахматова и бровью не повела.

В тот раз или по другому случаю Анна Андреевна рассказывала, как в Ташкенте у кого-то в гостях познакомилась с режиссером Плучеком. Он то и дело падал перед нею на колени и повторял:

— Я люблю вас, Анна Абрамовна.

*«секлета Анне Гу»* (стр. 430).

Надо признаться, что Ахматова иногда, очевидно по рассеянности, делала орфографические ошибки. Я хорошо помню, как поморщился старый приятель Анны Андреевны В. М. Жирмунский, когда обнаружил в одном из ее блокнотов свою фамилию, написанную с буквой «д», — ЖирмунДский...

Ахматова рассказывала, что в те годы, когда она училась в Киеве на юридических курсах, у нее было намерение получить место секретаря у какого-нибудь нотариуса. А ее второй муж, В. К. Шилейко, по этому поводу шутил:

— Хороший это был бы секретарь. Подпись была бы такая:

«секлета Анне Гу».

(В те годы Анна Андреевна официально носила фамилию первого мужа — Гумилева.)

И еще одна шутка Владимира Казимировича в ее пересказе:

— Шилейко мне говорил: «От вас пахнет пивом». Я отвечала: «Я пила только шампанское». — «Тогда пейте пиво, и от вас будет пахнуть шампанским...»

*«Первым на корню и навсегда уничтожившим стихи Ахматовой был Буренин в «Новом времени» весной 1911 г. (потом четыре издания его пародий)...»* (стр. 453).

Этой пародии на Ахматову я не помню, зато вспоминаю, как Анна Андреевна читала известную эпиграмму Минаева:

По Невскому бежит собака,  
за ней Буренин, тих и мил...  
Городовой, смотри, однако,  
Чтоб он ее не укусил.

Вообще же Ахматова всегда говорила, что нельзя обижаться на пародии и эпиграммы, так как это — часть славы.

*«Без десяти три звоню Суркову»* (стр. 460).

Как известно, А. А. Сурков в определенном смысле был покровителем Ахматовой, неизменным редактором ее немногих книг, выходящих в те годы. А потому звонки к нему и от него происходили то и дело. Иногда Сурков сам появлялся на Ордынке, а еще реже Ахматова ездила к нему на прием в Союз писателей, на улицу Воровского.

Я помню, как сопровождал ее во время такой поездки. Когда мы поднялись на второй этаж и подошли к кабинету Суркова, секретарша сказала нам, что Алексей Александрович занят, но очень скоро освободится. Из-за двери кабинета доносились взрывы хохота и звучал чей-то мощный голос.

Мы с Анной Андреевной вышли из приемной и уселись на диванчик под лестницей в темной части коридора, так, что нам была видна дверь сурковско-го кабинета.

Вот дверь отворилась, и оттуда, пятась, вышел возбужденный Иракий Андроников. Он обворожительно улыбнулся секретарше, кивнул ей и шагнул в темноту коридора. Тут лицо его изменилось: улыбка, оживление — пропали, вместо них появились злость и усталость... Но это длилось лишь несколько мгновений — его глаза быстро привыкли к темноте и разглядели сидящую на диванчике Ахматову. Лицо снова озарилось, и Иракий рассыпался в приветствиях...

Когда он удалился, Ахматова сказала мне:

— Запомни. Мы с тобой сегодня видели настоящее лицо Андроникова.

*«Надя, наконец, прописана в Москве. Пусть отдохнет» (стр. 473).*

Ахматова очень желала, чтобы Н. Я. Мандельштам вернулась в Москву на постоянное жительство. Я вспоминаю многолетние хлопоты по этому делу. Помнится, А. А. Сурков предлагал даже такой проект — поселить Надежду Яковлевну и Ахматову вместе в двухкомнатной квартире.

Потом было и еще одно предложение — предоставить самой Ахматовой однокомнатную квартиру... Все это нами обсуждалось, и мне запомнилась замечательная шутка, сказанная очень бойким двенадцатилетним мальчиком Саней, сыном литературоведа И. Л. Фейнберга. Он заявил:

— Ахматову нельзя поселить в однокомнатной квартире, у нее должно быть по меньшей мере две комнаты: в одной — будуар, в другой — моленная. Чтобы было между чем и чем — метаться.

(Как известно, А. А. Жданов в своем печально знаменитом докладе объявил, что творчество Ахматовой — «поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной».)

Мы эту шутку пересказали Ахматовой, и она ее оценила.

#### «В статью

*(Я никогда не была с Моды в кафе или ресторане, но он несколько раз завтракал у меня на rue de Fleurus.) Как непохоже на Хема. Они только и делают, что говорят об еде, вспоминают вкусную еду, и это как-то разоблачает его беллетристику, где все время едят и пьют. („Мемуары повара”, — сказал Миша Ардов.)» (стр. 479).*

Я очень хорошо помню, что это было. Журнал «Иностранная литература» напечатал тогда «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэя. Ахматова была удивлена низменностью этой вещи, тем обстоятельством, что столь одаренный и знаменитый писатель под старость не может вспомнить о Париже времен своей молодости ничего, кроме меню — что и как он ел и пил.

— Неужели, — спрашивала она, — и мои воспоминания о Модильяни производят такое же впечатление?

Мы все, разумеется, ее разуверяли...

Я помню, как шутил по поводу хемингуэевского «Праздника» Анатолий Найман. Он говорил:

— Там как бы целый ряд отдельных новелл. Но все они построены по одному и тому же принципу. Вот Хемингуэй и его жена сидят дома страшно голодные. И нет у них ни копейки, чтобы купить себе еду... И тут к ним приходит приятель, который просто падает от голода... И тут они все втроем как нажрутс!.. А через несколько страниц — опять такая же история.

А наш друг Александр Нилин произнес тогда такую шутку:  
— «Праздник, который всегда с тобой» — это просто-напросто деньги.

*«...Снова осень — зеленая трава, даже цветы. Была Лида. Говорили об Ивинской» (стр. 501).*

На Ордынке об Ивинской никогда не говорили. Иногда упоминалось имя Зинаиды Николаевны...

Но вот я вспоминаю, как еще при жизни Пастернака, в пятидесятых годах, я был на концерте в Малом зале консерватории. Кажется, исполняли Прощальную симфонию Гайдна, дирижировал Натан Рахлин...

В антракте я вышел на лестницу и увидел стоящую на площадке даму, несколько тяжеловатую, с длинными и, как мне показалось, крашеными светлыми волосами... Около нее толпилось человек пять, и она была окружена их подобострастным вниманием.

Мне тут же объяснили, что ее зовут Ольга Всеволодовна и что она — возлюбленная Пастернака. Я был этими сведениями несколько озадачен и, вернувшись после концерта домой, на Ордынку, поделился своими впечатлениями с Ахматовой.

Выслушав меня, Анна Андреевна сдержанно произнесла:

— Я — не поклонница этой дамы.

На том разговор и кончился.

*«Понедельник: Просят из Оксфорда мерку» (стр. 503).*

Я хорошо помню, как зимою шестьдесят пятого года зашел к Ахматовой. Она тогда была в Ленинграде. Анна Андреевна показала мне письмо из Оксфордского университета, в котором ее просили сообщить размер платья и головы, чтобы сшить докторскую мантию и шапочку. Я спросил Ахматову, послан ли ответ. Она улыбнулась и сказала:

— Я хочу еще немного похудеть...

*«Михаилу Ардову —*

*стихи, которые около четверти века лежали на дне моей памяти, — чтобы для него вновь возник день, когда они стали общим достоянием.*

*Анна Ахматова» (стр. 559).*

Эта надпись существует не только в записной книжке Ахматовой, она есть и на том экземпляре «Реквиема», который она мне подарила 19 августа 1964 года. Тут намек на нижеследующие обстоятельства.

Анна Андреевна решила записать «Реквием» лишь в 1962 году. Но переписывать его она никому не давала, а только разрешала читать свой собственный экземпляр. И все же я эти стихи для себя скопировал — без ее ведома.

Затем «Реквием» переписал у меня мой учитель и почитатель Ахматовой — профессор А. В. Западов. А через несколько дней к Анне Андреевне пришел ее редактор В. Фогельсон. Когда Ахматова показала ему стихи, он объявил, что знает их — видел у Западова.

После ухода Фогельсона у нас с Ахматовой было объяснение, но сравнительно легкое и непродолжительное, так как она уже сама склонялась к тому, чтобы послать эти стихи в какой-нибудь журнал. «Реквием» был тотчас же отправлен в «Новый мир». Там его печатать не решились, но зато почти все сотрудники переписали для себя.

Как и следовало ожидать, вскоре после этого «Реквием» вышел в нескольких городах Западной Европы. Анне Андреевне доставили экземпляр мюнхенского издания. И всякий раз, взяв в руки эту книгу в моем присутствии, Ахматова произносила бытующую на Ордынке цитату из Зоценки:

— Минькина работа.



## «Отъезд

23 ноября из Ленинграда с Аней. <...> Провожаящие. „Перекрестите и меня”» (стр. 581).

С детства помню, если мне приходилось надолго расставаться с Анной Андреевной, она, перекрестив меня, говорила на прощание:

— Господь с тобою...

«(Городецкий хуже, чем мертв.)» (стр. 612).

Ахматова была делегатом Второго съезда советских писателей. Именно в те дни я слышал, как она рассказывала такую историю:

— Во время обеда я сидела за одним столиком с Евгением Шварцем. К нам подошел Городецкий, поздоровался и сказал мне: «Я хочу представить вам своего зятя». После этого он отошел к другому столику, потом вернулся и говорит: «Мой зять отказывается. Он сказал: „Я не хочу знакомиться с антисоветской поэтессой”». Я безмятежно улыбнулась и говорю: «Не расстраивайтесь, Сергей Митрофанович. Зятя — они все такие». А потом я рассказала это Эренбургу, он спрашивает: «Ну а что же Шварц?» Я говорю: «Он промолчал». — «Жаль, — говорит Эренбург, — я бы такое сказал Городецкому, что он бы костей не собрал...» А я ему говорю: «Это слишком большая роскошь: всякий раз иметь при себе Эренбурга для подобных okazji».

И еще Ахматова говорила про съезд писателей:

— Я там встретила Рину Зеленую, она мне говорит: «Маска, я тебя знаю».

«В „Известиях” о плагиате Журавлева» (стр. 618).

Это была очень смешная история. В журнале «Октябрь» (1965, № 4) поэт Василий Журавлев опубликовал под своим именем стихотворение Ахматовой из сборника «Белая стая» — «Перед весной бывают дни такие...».

Впрочем, одну поправку плагиатор сделал: вместо строчки «И дома своего не узнаешь» он написал: «Идешь и сам себя не узнаешь».

Скандал произошел довольно громкий, об этом факте сообщила правительственная газета «Известия». Журавлев пытался оправдываться: дескать, он когда-то переписал эти стихи в свою записную книжку, много лет спустя обнаружил их там и принял за свои собственные...

Но на Ордынке рассказывали и более правдоподобную версию. Якобы этот Журавлев вел поэтический семинар в Литературном институте, там он покупал у студентов стихи, а потом публиковал их под своим именем. А поскольку он платил молодым поэтам очень мало, то один из них решил отомстить ему — продал ахматовское стихотворение как свое собственное. И Журавлев ничтоже сумняшеся его напечатал.

Помнится, кто-то позвонил незадачливому плагиатору домой и спросил:

— А гонорар Ахматовой вы уже отправили?

«...на каком-то литературном вечере Блок, послушав Северянина, вернулся ко мне и сказал: „У него жирный адвокатский голос”» (стр. 622).

А еще Ахматова рассказывала со слов Пастернака такое. Борис Леонидович и Северянин сидели в берлинской пивной. Игорь Васильевич держал в левой руке кружку, а в правой — вилку, на которую была нанизана огромная немецкая сосиска. И он сказал Пастернаку:

— У меня есть сын, его зовут Принц Солнца.

«...Юлиан Григорьевич исключен из союза, и теряет зренье...» (стр. 623).

В те дни Ахматова очень сострадала Ю. Г. Оксману. У него на квартире был обыск, там было обнаружено и конфисковано множество книг, изданных

за границей. Однако же старого профессора не арестовали, а устроили ему классическую советскую проработку, в частности изгнали из Союза писателей.

Я помню, как Анна Андреевна передавала фразу Юлиана Григорьевича, он это произнес на собрании, где его, как водится, дружно осуждали «собирать по перу»:

— Я не могу жить таким образом, чтобы круг моего чтения определял околоточный надзиратель.

*«24 июля.*

*Сегодня Исая завтракает у Саломеи, о чем я узнаю только 6 августа из милого письма самой Соломки. Как странно, что теперь я могу до мелочей представить себе этот завтрак в Chelsea, большую кухню-столовую, беседу обо мне и розы в садике»* (стр. 642).

Во время поездки в Англию Ахматова побывала в гостях у своей старинной приятельницы Саломеи Николаевны Андрониковой. Присутствующая при их встрече Аманда Хейт рассказывала, что Анна Андреевна была поражена тем, сколь изысканно угощала их Саломея.

— Как же вы научились готовить такую вкусную еду? — спросила гостя.

— Когда я поняла, что уже не представляю интереса для мужчин как женщина, я стала привлекать их с помощью кулинарного искусства, — отвечала хозяйка.

*«...Как легко и свободно я сказала трем парням из „Лижей“, которые приехали ко мне за стихами: „Все равно не напечатаете...“»* (стр. 643).

«Лижь»! — это было шутивное наименование издававшейся тогда газеты «Литература и жизнь». По тем временам это издание считалось «консервативным» в отличие от более «прогрессивной» «Литературной газеты».

Я припоминаю, как Ахматова говорила:

— Некто упрекнул меня в том, что я печатаюсь в ретроградной «Лижь», а не в либеральной «Литературке». А я на это сказала: когда обо мне было постановление ЦК, я не видела разницы между газетами и журналами — все ругали меня одинаковыми словами.

*«Еще три дня июля, а потом траурный гость — август („столько праздников и смертей“), как траурный марш, который длится 30 дней. Все ушли под этот марш: Гумилев, Пунин, Томашевский, мой отец, Цветаева... Назначил себя и Пастернак, но этого любимца богов увел с собою, уходя, неповторимый май 60 года, когда под больничным окном цвела сумасшедшая липа. И с тех пор минуло уже пять лет. Куда оно девается, ушедшее время? Где его обитель...»* (стр. 644).

В пятилетнюю годовщину смерти Пастернака я был в Переделкине. Близкая подруга Зинаиды Николаевны, вернувшись от нее, рассказала, что у Пастернаков весь вечер играли в карты. Это меня так поразило, что на другой день, на Ордынке, я передал это Ахматовой. У нее в это время была Н. Я. Мандельштам. Надежда Яковлевна смолчала, Анна Андреевна гневно произнесла:

— Умеют великие поэты выбирать себе подруг жизни.

*«Есть переводы*

*<...>*

*Еврейские: Галкин, Баумволь, Перец Маркиш»* (стр. 653).

Я помню историю с одним из таких переводов. К Ахматовой обратилась сестра какого-то уже умершего еврейского поэта, фамилию которого я не запомнил. Она просила, чтобы Анна Андреевна перевела его стихи. Кажется, он был из репрессированных...

Ахматова пожалела просительницу и действительно перевела какие-то предложенные ей строки. После этого она получила благодарственное письмо от сестры поэта. Оно начиналось такими словами:

«Хотя Вы и перевели всего только одно стихотворение моего покойного брата...»

«*Киев. Предславинская улица. (На юридических курсах.)*» (стр. 662).

Всякий раз, когда увеличивались наказания за те или иные преступления, Ахматова неизменно говорила:

— Нам на курсах преподавали закон, известный еще со времен римского права: никогда тяжесть наказаний не уменьшала числа преступлений. При Анне Иоанновне фальшивомонетчикам заливали свинцом глотки, и все-таки фальшивой монеты ходило ровно столько, сколько всегда.

А когда заходила речь о всеобщем воровстве, нас окружавшем, Анна Андреевна произносила такую фразу:

— Нас на курсах учили, что у славян вообще ослабленное чувство собственности.

«*В Кисловодске. На Крестовой Горе. Цекубу. Июль 1927. („Здесь Пушкина...“)* (Качалов, Рубен Орбели, Маршак)» (стр. 664).

Надобно заметить, что Ахматова никогда не была в Художественном театре. О своих беседах с Качаловым в Кисловодске рассказывала:

— Он все время ссылался на эпизоды знаменитых мхатовских спектаклей. Ему и в голову не могло прийти, что я ничего этого не видела...

«*(Перенесла четыре клинических голода: I — 1918 — 1921, II — 1928 — 1932 (карточки, недоедание), III — война, в Ташкенте, IV — после постановления ЦК 1946 г.)*» (стр. 665).

Не удивительно, что Ахматова запомнила и полюбила шутку Н. П. Смирнова-Сокольского, которую он произнес на Ордынке:

— Это случилось не в тот голод и не в этот. Это было два голода тому назад.

«*Самоубийство Фадеева*» (стр. 666).

Я хорошо помню, как это обсуждалось на Ордынке. Говорили о том, что старый друг Фадеева, писатель Юрий Либединский, видел его за несколько часов до рокового выстрела. Фадеев сказал ему такую фразу:

— Я всегда думал, что охраняю храм, а это оказался нужник.

«*...приехала Ирина Федоровна Огородникова с новостями*» (стр. 668).

Эта дама была сотрудницей иностранной комиссии Союза писателей и, в частности, занималась тем, что оформляла документы для поездок Ахматовой в Англию и в Италию.

В 1990 году, когда в альманахе «Чистые пруды» были напечатаны мои воспоминания об Ахматовой, Огородникова позвонила мне по телефону, и мы довольно долго с ней говорили. В частности, она рассказала мне об одном эпизоде, который произошел в день похорон Анны Андреевны. Как известно, мы до самого последнего момента никак не могли получить разрешение на то, чтобы выкопать могилу на облюбованном Бродским и мною месте комаровского кладбища. Я, помнится, поехал в Никольский собор на отпевание, а Иосиф остался в квартире Ахматовой, чтобы продолжать хлопоты по телефону.

В это самое время И. Н. Пунина позвонила в Москву Огородниковой, рассказала ей о нашем затруднении и попросила помощи. Ирина Федоровна говорила мне:

— Я стала судорожно соображать, что можно сделать в такой ситуации... И вдруг увидела, что по двору Союза писателей идет А. А. Сурков. Я, как была — без пальто, — выбежала к нему и говорю: «Алексей Александрович, надо что-то делать... Ахматову уже отпевают в церкви, а разрешения на рытье могилы еще нет...» Сурков взглянул на меня сверху вниз и отрубил: «Я вам — не Арий Давыдович!»

(Для несведущих пояснение: сотрудник Литфонда А. Д. Ротницкий в течение десятков лет занимался похоронами писателей.)

*«Вспомнила маленького соседа в 1951: „Бибика, Длевна!“ — и рёв.*

*Андревна — так по-замоскворецки звали меня соседи Ардовых (Татьяна Ивановна)» (стр. 685).*

Это — воспоминание о первом инфаркте.

Татьяна Ивановна Яковлева жила с нами на одной площадке. Она была портниха и, в частности, шила платья для Анны Андреевны. У нее был маленький внук, который и называл Ахматову — «Длевна». Однажды он увидел в окно, как ее выносят из дома на носилках и грузят в автомобиль «скорой помощи». Мальчик залился слезами и все время повторял:

— Бибика, Длевна!..

*«2 декабря 1965. Больница (Москва)*

*<...>*

*Вечером Миша после Лавры и еще озаренный ею» (стр. 688).*

Я прекрасно помню тот день — и поездку к Преподобному Сергию, и наш с Ахматовой по этому поводу разговор. После моего рассказа о монастыре она произнесла:

— Это — лучшее место на земле.

Июль — август 1997.



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН

\*

## ПРИЁМЫ ЭПОПЕЙ

*Из «Литературной коллекции»*

**В** нашем представлении эпопея — это следующая по крупности за романом прозаическая форма: где единичные судьбы персонажей уже не столь центральны, не столь даже и важны, не ими замыкается обзор, но поднимается выше — к событиям эпохи, целой страны, к лицам уже не сочинённым, а историческим, и к действиям их в реальных событиях.

Разумеется, в разном осуществлении эта широта обзора задаётся и достигается больше или меньше.

Казалось бы, при укрупнении масштабов событий в нашем веке, по вовлечённости людских масс, стран и континентов, куда выходящих за размеры, скажем, Троянской войны, — внимание литературы скорее должно было бы не уводиться от этих событий, а перемещаться к ним. Но в литературе XX века мы видим чаще умелчение объективов, концентрацию поля обзора на одной-двух жизнях, и даже чаще всего собственной жизни, и даже мельчайших её переживаний. Свидетельство ли это отчаяния охватить и осмыслить крупное?

Для построения эпопей, вероятно, существуют ещё не объявленные, но требовательные законы. В попытках сформулировать их может быть полезно проследить, какие приёмы построения применяли те авторы нашего века, которые брались за широкие повествования и выводы об эпохе. Какие из этих приёмов сослужили им верную службу и какие обманули.

Рассмотрим несколько книг. (Здесь пока — две. «Тихий Дон» исключится потому, что в нём слишком заметно хозяйничанье помимо автора.)

### 1. МАРК АЛДАНОВ — «ИСТОКИ»

Эта книга (два тома, более 900 страниц) писалась в разгар Второй Мировой войны. Но не об истоках её или Первой войны идёт речь, а об истоках той исторической Революции, которая отпечаталась на обеих, и на всём веке, и от которой сам автор к тому уже четверть века томился в дальней эмиграции.

Главный замах, каким эта книга, пожалуй, ошеломляет, — обилие весьма разнородных исторических лиц. В том порядке, в котором они нам представлены, это: Аделина Патти — Бакунин — Бисмарк — Александр II (он и не раз потом) — Вильгельм I — Софья Перовская — Желябов — Достоевский — Дизраэли — Горчаков — Гладстон — Рихард Вагнер — Франц Лист — Лорис-Меликов — фон-Шлиффен — Пётр Лавров — Клемансо — Гюго — Энгельс — Маркс — все видные народовольцы — и молодые братья Ульяновы.

Вообще жанр эпопеи допускает и гораздо большее число исторических лиц, но не так нарочито разбросанных, уж не настолько порой не связанных с действием. Можно понять чисто писательское наслаждение Алданова изобразить Достоевского (и очень неплохо получилось, пусть во многом соткано из известных мыслей писателя; стиль разговора и сама встреча кажутся верными в духе, и это тоже: «Я когда писал, то и сам мог убить. Пускай немец так напишет, а?»). Но совсем непонятно, к чему Патти? И весь Вагнер? (Хотя есть проницательные замечания: «слышал музыку, ещё не написав её», «писал, как восстанавливал по памяти». Но вообще Алданов подаёт Вагнера недоброжелательно порой до грубости, а главное — зачем Вагнер в истоках российской революции? разве что как образец юдофоба?) И к чему весь Лист? Показ для показа? Гюго подан кратко, сочно и вплетён в сюжет. Клемансо — много слабей того. Но к чему бездействующий Гладстон, безо всякого касательства к российскому повествованию? Правда, через него даются несколько рассуждений из области высокой политики, и может быть автору хотелось поставить эту веху на том «английском» пути, по которому, как думает он, Россия должна была пойти. Но всё же большая прихоть и вольность включать Гладстона тут как действующее лицо. Порой кажется, что автор не избежал некоторой похвальбы возможностями своей эпопеи, своей способностью изобразить кого угодно. Но переизбыточно это, если нет органической, сущностной связи с остальным действием и фигурами. Нарушен принцип: приводить лишь необходимое. (Хотя тут же и возразим себе: а всё же эти разбросанные этюды о великих людях, при разном их качестве, вместе составляют впечатление охвата европейской эпохи, и не таким уж большим числом страниц автор добился этой значительной цели. Даже где исторические лица взяты и безо всякой связи с повествованием — этот опыт всё равно интересен.)

Бисмарк — отчасти и виден как персонаж, но чувствуется и сочинённость (и, пожалуй, подражание Толстому, не слишком удавшееся). К нему применён поверхностный юмор и неумеренные суждения, вроде: «с перекосившимся от злости лицом», «с бешенством подумал», и не раз такое. Бисмарк показан каким-то уже отставным, малоэнергичным, нет никакой глубины разработки этого огромного деятеля, не только объединившего Германию, но и замахнувшегося на католическую Церковь сразу после догмата о папской непогрешимости (1870), да почти одновременно — и на сильнейшую в Европе партию социалистов. А если так выхолащивать — зачем и вводить исторические фигуры? — Что даёт почти не разработанный Вильгельм? едва коснутый Дизраэли? А уж фон-Шлиффен совсем притянут со стороны искусственно, как в сорочье гнездо, только бы для сверканья международного реестра.

**Исторические события.** Ещё бы не согласиться, что Берлинский конгресс (1878) отпечатался на русских годах того периода (хотя многое здесь важное не сообщено в романе). И позорное его значение для России, и жалкая слабость Горчакова, и злое торжество Дизраэли — да и ведущая же на конгрессе роль Бисмарка, к тому ж и повлиявшего на затяжку русско-турецкой войны. Но и Берлинский конгресс описан в сильно иронической манере, да собственно тоже под Толстого, шуточно сведен к парадной стороне. Этим создаётся некая игривость в обращении с Большой Историей. О, мы, попавшие под её колёса, знаем, что не такая это игра, даже и дипломатические конгрессы. Алданов пишет — как легко бы снимая сливки с уже принятой манеры писания исторических романов. К тому же: в русском романе конгресс дан не с русской стороны, безо всякой боли за русский провал, безо всякого исследования сути этого провала.

Второй же — и главный — кусок Истории в книге — российское революционное движение, начиная со своих истоков (отсюда и название романа).

**Революционеры.** Вереницу революционных образов открывает собою старый Бакунин. И он представляется мне наиболее удачным из них — с таким

верным чувством, с такой душевной полнотою, тоскою и лёгким юмором он дан, кажутся верно переданными его суждения, манера обращения и речь. Возможно и начало романа отодвинуто на 1874 год (конструктивно вполне было бы достаточно начать с 1876, — да даже по 1878 в книге счёт лет не внятный, автор прессует годы, не давая их почувствовать) — исключительно для того, чтобы заставить Бакунина в живых — очень понятное желание при такой удаче образа, но конструктивно не оправдано. Бакунин сперва зацепляется за Маркса, Энгельса прямыми репликами, вроде «Маркс и Энгельс всё предсказывают, и просто не было случая, чтоб хоть одно их предсказание сбылось». А позже появляются они и сами — нельзя сказать, чтобы с большой выпуклостью, но умеренно-успешно, неплохо передана вся передрыжная обстановка в доме у Марксов и вещанья обоих «основоположников». Во всяком случае, по идейной близости к событиям, как отцам-предтечам им вполне уместно появиться в этом повествовании. Как нельзя возразить и против уместности сценки в семье Ульяновых вслед убийству Александра II, хотя достижения там нет. Замысел же Алданова исключительно важен: показать воедино, в едином потоке и влиянии, центральные фигуры европейского революционерства — и его оказательство в России.

Народовольцы — в центре действия, показаны щедро, некоторые весьма ярко: Александр Михайлов, Халтурин. Сообщается нам много малоизвестных подробностей о них, показаны в деталях четыре их главных и последних покушения — взрыв близ московского Курского вокзала, взрыв в Зимнем дворце, сырная лавка (обыск в ней с вопиющей растяпистостью властей) и само убийство, сильно и подробно. Даже взялся автор смело и за описание новогодней вечеринки народовольческой верхушки с полным кворумом, и тоже скорей успешно. Но хотя автор показывает нам обилие безвинных жертв (ведь у Курского вокзала взрывали уже не царский поезд, а второй, где царя не было), — он предлагает нам видеть скорей увлечённых, симпатичных фанатиков, спортсменов покушений (отблик либерального восхищения террористами), нежели отвратительных убийц. Нравственная сторона тут очень блеклая. Да и скрывает автор от нас народное горе, сотрясение после убийства царя, известное документально, — разговоры в толпе тут неуместно составлены и мало правдоподобны. Напротив, интересны сведения о толках образованного общества перед тем — об убийстве ещё предполагаемом. Соглашаешься с мыслью автора, что это цареубийство было, может быть, безвозвратным, непоправимым изломом в российской истории.

Однако для полной убедительности этой мысли должен быть глубоко пронизан и наглядно понят Александр II. Увы, этого не получилось, и это из слабых мест книги. Автор несправедлив к царю и недоброжелателен. Александр II не только не взят на глубине и не истолкован достаточно, но в изображении его (здесь тоже копируется ироническая манера Толстого) нет никакой цельной мысли, совсем непонятно, почему же именно этот царь возглавил знаменитые реформы. В изображении Алданова он примитивен, сперва (и долго) просто жуир, охотник за женщинами, весьма мало занят царскими делами, в том числе дипломатией, не видно — ни как решился он на турецкую войну, ни как пережил неудачные её последствия, а в предполагаемых новых реформах вяло следует за Лорис-Меликовым. И опять эти однообразные мазки с одного краю: «раздражённо улыбнулся», «с ним может случиться припадок дикого бешенства».

При такой подаче страдает не только читательское восприятие, но и главная же мысль автора, что 1 марта 1881 года — поворотная точка нашей истории. Устами симпатично удавшегося профессора физики Павла Васильевича: эти «локомотивы истории» везут назад, а вперёд продвигает только мирное развитие. Нормальным путём для России Алданов считает путь либеральный, допускает и «мирный социализм» — и, разумеется, резко осуждает Александра III.

**Композиция.** Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное изложение событий? Конечно нет, за художником всегда остаётся право перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно её мерному и загадочному ходу. Алданов же нарушает это правило как будто без явной надобности и без художественной цели: то зачем-то вернётся в 1876 после 1878, то бессвязно излагает исторические события: пропускает важное, ни единой линии не прослеживает последовательно, потом обрывками вспоминает непоказанное. Идти ли за ходом времени или не идти, но в исторической эпопее важнее всего — ясность и плотность исторических событий во взятом отрезке времени.

Роман Алданова имеет откровенно познавательную цель, и это полезно, но строй книги не выигрывает от одного того. Роман не захватывает, воспринимается растянутым, невозможно читать его большими порциями — а это значит: не напряжён, хотя общий объём его совсем не велик для такого замысла, даже скорее мал. Целыми полосами он скучен, и лишь последние две сотни страниц читаются уже безотрывно — но как же длинён был разгон.

У Алданова много книжной культуры, эрудиции, и даже он бряцает ими. Он направлен устроить свой роман как бы интеллектуальным пиром. У него некий запас общих мыслей, афоризмов, и он не упускает использовать их во многих местах книги; рассыпано немало острот в речи и диалогах. Тут и неоспоримые мысли («человечество идёт назад во всём, кроме науки и техники, это связано с самой сущностью прогресса: культура растёт вширь и вниз») и недурные, хотя поверхностные бытовые и психологические наблюдения в афористической форме. Но общая черта тех афоризмов и наблюдений всё же — неглубокость, и автор не оказывается выше своих героев. Диалоги в книге — духовно не напряжены, а больше склоняются к интеллигентской болтовне. Автор и сам не увлечён состязанием этих мыслей, а как бы экскурсоводом показывает их или даже цедит по обязанности. В такой литературе более всего отсутствует: отчаянное вложение самого себя.

От этого ли недостатка? — или от взятых международных рамок повествования? — за политическими расстановками автора как бы нет ощущения России в целом, России как таковой. И — простой любви к ней. Она — лишь площадки, клочки мест действий. И объявленные нам Истоки не сливаются во всероссийский Поток.

Доля вымышленных персонажей, сравнительно с историческими, велика — вероятно больше половины, это понятная дань романной традиции. Но в «Истоках» это выглядит ошибкой, потерей важного пространства. Главным образом — из-за неудачного выбора или неудачной проработки сочинённых персонажей. Утомляет полной ненужностью в конструкции вся линия Дюммлеров, смерть мужа (отдать дань проблеме смерти? но не получилось сильно) и эротические колебания и честолюбивые устремления жены — всё это читано-перечитано в других книгах, здесь только место отнимает, скучно, несмотря на попытки дать героине глубину психологизма. (И, для эротической же интриги, вставленный сюда замок азиатского принца в Европе — сама по себе картинка яркая, но тут лишь отвлекает внимание, а ничему не служит.) Брат Софьи Дюммлер Черняков поначалу обещает быть очень интересной фигурой либерального патриота, но в ходе романа это не проявилось, не построилось, а характер и вовсе смазан неправдоподобной фиктивной женитьбой — уже в его средних годах — на молодой народволке Лизе, лишь для прикрытия её конспирации, притом без сочувствия к последней. (Надо ли понимать как символ? — покровительственный брак либерализма с революционерством?..) Не обошлось и без вовсе ненужного персонажа, конфидента, доктора Петра Алексеевича.

Не решительно размежёваны персонажи даже отличием имён-отчеств, но хуже — и взглядами, да отчасти чертами характера, особенно соприкасающиеся Черняков и Мамонтов, это бледнит обоих.



**Выбор главного героя** (Мамонтов) и его действия (бездействия), и неопределённость характера, и нечёткие (никакие) мысли — более всего портят книгу. Представлен нам: «Мамонтов — один из лучших художников России» (и сразу ухо режет, двоится: покровительство *того* Мамонтова художникам, Мамонтовка — а ведь ни на что автор и не намекает, просто неудачный выбор фамилии). Но нигде потом мы не замечаем, чтобы этот Мамонтов был настоящим художником, да он легко и бросает своё искусство — для присоединения к революционерам, или к бродячему цирку, для пустой поездки в Америку, или для приятного ничегонеделания, или «мне опротивело всё, опротивели все», — исключительно бесплоден как главный герой, не верится в его чувства и поиски, он лично ничтожен и никакой социальной роли не играет, и даже плохо служит для связи разнородных мест повествования. В лучшем случае — всего лишь авторский конфидент, чтобы болтаться там-сям и присутствовать, — тогда ему, как конфиденнту, и не приличествует иметь свою жизненную линию. Ну, иногда вложит ему автор от себя этакое: «Я горжусь тем, что принадлежу к русской интеллигенции, с ней жил, в ней жил, в ней надеюсь и умереть»; или в его, якобы меняющемся, состоянии заставит то побранить Пушкина и Гоголя, то раскаться. А под самый конец охватной эпопеи — автор сосредоточивается снова на этом ни к чему не годном человеке и теперь обещает нам из него... писателя? Очень вредит роману, когда главный герой его выбран безконтурно.

Если вообще в эпопеях нужен (или даже допустим) главный герой от автора — в чём я сомневаюсь. Это — заторможенное представление, наследованное из рамок обычного романа.

Мамонтова и вовсе бы вычеркнуть из этой книги — только с пользой освободилось бы место. Сказать, что навёрстано в его личных чувствах? Тоже никак нет. Скучно описаны и его притязанья на Софью (автор и не претендует на сильное описание любовных чувств, да может и хорошо), а уж все чувства к циркачке Кате вызывают в чтении просто стыд — не эротикой, которой там и вовсе нет, детская, но авторской беспомощностью: вся история этой влюблённости носит печать неуместности, недостоверности, отсутствия вкуса, даже до сюсюканья. А уж его конечная женитьба на этой циркачке совсем фальшива, выглядит нелепостью и не ею бы замкнуть историческую эпопею такого размаха.

И вообще — зачем эта цирковая труппа в историческом повествовании? Чтобы ввести не слишком блистательный образ тройного сальто-мортале? намекнуть, что цирк — добротней Истории? что История — и есть всего лишь цирк?... Мелкая мысль. Можно понять, что автор нуждается овеществить повествование чертами и лицами эпохи, но почему — этим цирком, без чувства целого? Показ «простых людей», массы? — очень бы нужен был в этом романе, их совсем нет, но такое не достигается за счёт цирковой труппы, да вести и вести её рядом с крупнейшими событиями истории?

Сильно подпорчен главный герой и несчётными (много десятков раз) ремарками типа: сказал, подумал — с досадой, с раздражением, раздражённо, со скукой, сердито, со злобой, с бешенством и т. п. Приписать бы это герою как черту его характера (вообще — никакого и неоформленного)? Но и у многих других, и у той же Софьи Дюммлер, мы встречаем — с безотчётным раздражением, раздражённо, с досадой, сердито, — все частят раздражёнными эмоциями без повода и порога, что мы уже видели и у Бисмарка и у Александра. Создаётся некая общая атмосфера образованных кругов? Алданов необъяснимо злоупотребляет именно этим краем эмоционального спектра.

#### **Другие приёмы автора.**

Откровенная обработка газет того времени и с подробностями — никак не кажется лишней, дозированное пользование газетами очень способствует восстановлению воздуха эпохи. Но приводить полностью длинную экономическую статью о Соединённых Штатах — недопустимый перебор.

В стягивании условных и даже невозможных компаний («как у Достоевского») — тоже перебор. По установившемуся (и зря) традиционному приёму исторических романистов Алданов, для того чтобы изобразить какое-то подлинное событие, не показывает его просто изнутри и по себе, из того состава лиц, которые там реально были, но вводит «случайного» свидетеля: к съезду народовольцев в Липецке — либерала Чернякова, на новогоднюю вечеринку народовольцев — двух дочерей профессора физики, которых не могли бы пустить в тот узкий состав, да они хоть новоступающие, но там же и лоботряс-художник Мамонтов? Вздор, и срыв вкуса.

С перекидчивой лёгкостью, не делая ни провета между строчками, ни — какой другой формальной отметки, переходит автор от общественного мнения к тайнам народовольцев — тут что-то просто неразмечено, недомечено. Удивляет и формовка Частей книги — она не отражает хода действия, а то и вовсе «Часть» — из двух маленьких и даже случайных глав.

Небогат набор средств, когда автору нужно выразить мысль персонажа: или прямая речь (порой неуместно и книжно звучащая), или мысль в точных кавычках, внутренний монолог (порой невыносимо длинный) точными, прямыми словами — тоже недостоверно. Странно, что Алданов не пользуется ни косвенным монологом, ни авторским переложением. Да и сама разговорная речь у него нередко — без непосредственности, с просчётами письменности. Бывают совсем лишние фразы в авторской речи. Лексика — большей частью городского интеллигентного круга, иногда жаргон молодёжи, народными красками не блещет, да через кого, вокруг кого их давать, если народа нет? Разве пословицы Лорис-Меликова. На два тома я нашёл одно свежее слово: «непроменно». Отнесём на совесть автора прощание (1879): «до скорого!», примешь скорее за советское, даже эмигранты революции ещё так не говорили.

А однажды, в самом начале, порадовал и украсил фразой на полстраницы самого свободного синтаксического сочленения:

«...представляя себе всё волнуемое в отъезде: „П-п-пер-вый звонок“... „Л-луга, Псков, В-вильна, В-варшава — втор-рой звонок!“ , ненужно-горопливую попку газеты или папирос, ненужно-горопливый бег за носильщиком по перрону, затем радостное успокоение в уютной полутьме жарко натопленного вагона, отчаянный третий звонок — „теперь звони сколько хочешь, я уже сижу!“ — жуткий, точно случилось несчастье, свист, странно-слабый после звонков, ни для чего наверное ненужный звук рожка, нерешительно-тяжёлый толчок, медленный уход вокзала, города, назад в пространстве и во времени, — „кончилась глава!“ — мысли о даме, сидящей в углу купе, о том, что будет к обеду...»

И ещё не всё. Но подобного — нигде не повторил больше.

## 2. ВАСИЛИЙ ГРОССМАН — ДИЛОГИЯ

Когда Гроссман в 1952 выпускал в свет «За правое дело» — имел ли он в виду, что будет писать и второй том? По композиции первого и по тому, как автор оборвал нити многих персонажей и саму сталинградскую битву, — несомненно имел. Но через бетонный забор неожиданной сталинской смерти он не мог тогда заглянуть — и наверняка предполагал развитие сюжета не такое и не так, как мог себе позволить, а то и сам переосмыслить — в уже приосвобождённое, а всё ещё не свободное десятилетие.

Именно это — больше, чем десятилетнее расстояние между окончанием томов, — создаёт настолько зримый и даже грубый шов между двумя книгами: различий больше, чем сходства. Оттого возникает условность «дилогии»: она разноставна. Редчайший случай: как будто и продолжение, а будто и совсем новый автор и новый роман («Жизнь и судьба»). В первом томе автор не разрешал себе и помыслить того, о чём никак же не мог не знать; во вто-

ром — он доверяет это всё бумаге, встраивает в книгу, с надеждой, что может быть пройдёт сквозь цензуру, — хотя надежда та была, конечно, полевая.

Но если оставить в стороне политическое и общественное напряжение второго тома (которое мы здесь не рассматриваем), то мы вправе говорить о дилогии в целом.

Надо сказать: перед нами действительно то, что называется эпопеей: описание крупного исторического движения, со множеством персонажей, со многими сюжетными линиями, с детальным описанием разнообразных областей жизни и социальных слоёв. (И скажу: вот такую объёмную, добросовестную, тщательную разработку на полутора тысячах страниц — кому как, а мне читать всё время интересно, при всей её загруженности эпизодами, наблюдениями, лицами, связями, — несравненно захватнее, чем даже вовсе малостраничные выкрутасы модернистов начиная с 20-х советских годов. Тут — ощущение, что с тобой не забаву разводят.) Грандиозность замысла и систематичность его проработки — вызывает безусловное уважение. Огромная работа — и немало-го художника.

А на чём естественно строить композицию военно-исторической эпопеи? Я думаю — на временном течении событий, на внутренней логике их и собственной их сюжетной скрепе. В какой-то мере Гроссман этому и следует, но отклоняется, ища повторить толстовский приём: строить композицию на ветвях одной семьи. Толстому этот приём принёс яркую жизненную живость, благодаря великолепной разработке характеров (к тому же не слишком многочисленных), — но, как я нахожу, и в ущерб выяснению многих важнейших обстоятельств войны 1812 года. А Гроссману этот приём принёс рыхлость конструкции в двух первых частях 1-го тома (старшие члены семьи Шапошниковых бледны, скучны, да всю их семью со всеми знакомыми не удаётся и охватить, не начертив для ясности схемы родства, а по мере чтения книги на неё всё поглядывая). С 3-й части он сменил цель на более важную — на историчность обзора, однако ярких персонажей дал нам мало из-за необъятности их общего множества (при их сочинённости, а не исторической достоверности, таковых совсем мало) и из-за перегруженности 1-го тома многими другими социально обязательными советскими задачами показа — например, разных отраслей производства. (Очень уж продумано, какие клетки необходимы в общей картине: «за что воюем?», «какими средствами побеждаем», как полней представить «весь СССР».) Метод построения книги по семейным линиям затрудняет использование динамики самой истории, иллюстративный набор сцен берёт перевес над грозным ходом её. Ограничения такой конструкции: сниженная возможность вникать в лиц, собственно определяющих историю. Правда, сделанный автором выбор — начать роман с крестьянской избы, имел бы глубокий смысл, если бы тут же не оказался только искусственной приставкой к обширному, перегруженному и малоинтересному представлению разветвлённой семьи Шапошниковых, которое не несёт ни существенного содержания и никакого высшего смысла. А во 2-м томе к простонародной теме автор и вообще не возвращается. (В 1-м томе глава о жене убитого Вавилова очень была бы на месте и в многозначительную симметрию с началом тома — когда бы в ней о колхозной жизни писалось бы правдиво, а не с лакировкой.) Всё же метод строить роман по кусту родственников и знакомых Гроссман использует находчиво, плотно, выжимает из него всё возможное.

Выстройка конструкции не поодиночке сменяемыми, мелькающими главами, а по две — по три и даже блоками вокруг одного персонажа или места действия — в этом романе, при много-множестве действующих лиц и мест действия, вполне себя оправдывает. (А вот при описании исторической бури было бы замедлением.) Притом повествование не слишком задерживается на каждом выбранном эпизоде, а вовремя уходит к следующему. Этот переход от блока к блоку бывает и не механическим, а по определённой ассоциации, хорошо. (Бывает и с подчёркиванием эффекта: как совпадение смерти лётчи-

ка Викторова с рождением его сына от Веры, ещё и не жены.) Перенос бывает сразу и на большое расстояние географическое, смысловое (из немецкого концлагеря в сталинградский штаб Чуйкова) или прыжком на большую социальную высоту: два раза к Гитлеру (оба раза — бесплотно и совсем неудачно, при слабости реального знания и недоработанном воображении), один раз к Сталину (очень кратко и лишь прямо в связи с ходом боевых действий; кстати, нахожу здесь независимое совпадение соображений Гроссмана и моих: как Сталину чудится, что побеждают те все его враги, «кого он, казалось, навек покарал, усмирил, успокоил»).

Черета повествовательных глав иногда прерывается главами обзорными: как идут события в общих чертах — по сюжету, по изображаемому сектору жизни, а иногда — лишь по настроению. Эти обзорные главы Гроссман даёт в необходимой дозе, не превышая её, ещё и разнообразя главы по объёму, иногда краткому, как бы уже стихотворению в прозе. Это тоже хорошо. (Некоторые такие главы — действительно нужны читателю, как описание карты уже разрезанного Сталинграда; другие — не свободны от фраз «газетной стратегии», особенно в 1-м томе, где в таких главах ощущается скованность собственной мысли автора, во 2-м она гораздо свободнее.)

Во всякую композицию существенно входит и **выбор конца**, окончания романа, — в данном случае каждого из томов. Тут, я считаю, Гроссман избрал совсем не лучшее решение. В 1-м томе после грозных сцен защиты сталинградского вокзала, на них бы и кончить, — зачем-то (цензурные требования оптимизма?) привешены лишние и малозначительные главы о комиссаре Крымове. Во 2-м, значит и в конце всей дилогии, после окончания главных сюжетных ходов — добавлена скучная доразвязка с остальными второстепенными членами семьи Шапошниковых, главы вялые и кажутся многословными. Правда, автор подхватывает обвисший хвост — последней главой (62) о давно-давно забытом, заброшенном майоре Берёзкине, теперь приехавшем к жене после ранения (тактично, поэтично он даже не называем по имени, а как обобщённая картина), и поверх неё — ещё наслой пейзажа, предвесеннего леса.

Крайне важен для всякой эпопеи и избираемый **охват времени**. В дилогии — он верно начат не с начала войны, а лишь с мая 1942, с начала второго крупного советского отступления, и это естественно ведёт к центру действий — к обороне Сталинграда, и даже именно к тому моменту, когда осталась всего лишь разорванная полоска над Волгой — вот это тема для эпопеи! Сталинград — центр повествования (как и биография автора, присутствовавшего там, подсказывала), хотя во 2-м томе центр уже сильно смещён к проблемам общественным.

Однако выбранные временные рамки автор частенько нарушает неумеренным введением «воспоминаний». Случись бы это раз-два, как глава о последней ночи перед войной («красота мира переступила в эту ночь свой высший предел»), — ничего бы, вполне уместно. Но эти воспоминания, то короткие, то развёрнутые, вставляются слишком обильно. Самым разным персонажам, по разным частным поводам, иногда и совсем не к месту, — «вдруг вспомнилось» — и вставляется воспоминание хорошо если по абзацу, а то и на полглавы. (Серьёзный пожилой крестьянин, в последние часы перед уходом на войну рассудительно хлопоча по хозяйству, лезет по делу на крышу избы — и вдруг «показалось ему, что он мальчик».) Злоупотребление временными отступлениями нарушает желаемую чёткость композиции.

Но автор душой прикован к сталинградской обороне, к своим нелёгким месяцам там, хотя всего лишь военным корреспондентом, не раз возвращается мыслью к охвату всего события в целом, справедливо сравнивает с Малаховым курганом, Верденом, Бородинским полем, пишет главу-эпитафию (том 2, часть III, глава 46), хотя и тянется к перевозвышенностям: о нашем прорыве на окружение Сталинграда: не только «в эти секунды определялась

точка перегиба кривой человечества», но «Сталинграду надлежало определять философию истории, социальные системы будущего».

По своему же положению военного корреспондента Гроссман наиболее осведомлен в деятельности **высоких штабов**, от дивизии и выше, соответственно и наиболее внимателен к ним (как и, в соцреалистическом размахе 1-го тома, к штабам, совещаниям и решениям партийным и производственным). Тут-то и торжественное умедление штабной подготовки и сцен перед гигантским прорывом; в коротких главах — энергичен и внушительен сам момент этого прорыва (интересны и подробности, как и почему Гитлер не отозвал, не спас армию Паулюса); тут — и глупость, и грубость командующего фронтом Ерёменко (хотя автор не акцентирует этого); и неумолимая жёсткость генеральского языка (Чуйков), равнодушная к объёму потерь и к человеческим судьбам. Но не раз проявлена автором и большая точность прямых описаний **боевых эпизодов** — «ныли немецкие пикировщики, долбили горестную землю бомбами»; особенно в главах об обороне «дома Грекова». (Во 2-м томе Гроссман позволяет себе дать человеческую сцену, немыслимую бы в 1-м: после сильной бомбёжки в большой воронке очунаются уцелевшие русский и немец — «два военных жителя». И вот «совершенный автоматизм — убить, которым они оба обладали, не сработал», и они мирно расползлись из воронки в разные стороны.) Гроссман много задумывается над психологией боя и часто (особенно в «доме Грекова» и вообще в развалинах Сталинграда) удачно передаёт её. (Исключим попытку дать со значением ночной солдатский разговор на огневой позиции, 2-II-59<sup>1</sup>, — хотел ли автор выразить нечто вечное? но значительности не получилось.) А выходя за рамки собственно войны, перешагивая в положение военнопленного, предлагает нам собранный вчувствованный авторский монолог о разрушительности го-лода.

Трудно было бы Гроссману, работая полтора десятка лет над такой эпопеей, не поддаться **толстовскому влиянию**. Он спешит согласиться с Толстым, что в его время нельзя было окружить армию (а почему? удавалось даже и в римские времена). Он без сомнений ступает по тропе толстовского метода, впрочем местами и развивая его, — и не раз поддаётся заразительности фразировки: толстовская манера выражаться и даже звук фраз прорываются у Гроссмана нередко и вполне откровенно — однако это не слабость ученика, а уверенность современного автора, что он строит здание крупного военного романа, достойное великого предшественника. (И если бы не искажения в 1-м томе от ложных советских идей — во многом так бы и получилось.) «Так возникло сходство этого ощущения в людях новогодней ночи и в людях тюремных десятилетий»; «но естественной и разумной была тяга людей в Москву», хотя «московские люди в полушубках, платках казались уездными, деревенскими»; «и всё же, хотя движение это было видимо миллионами людей, сосредоточение огромных воинских масс шло в тайне»; «но не было ничего значительней в событиях мира, чем связь этой старухи и её некрасивой дочери, доившей в это время под навесом корову, связь её белоголового внука, запустившего палец в нос, с войсками, стоявшими в степи»; «чувство ненависти, возникнув, искало и не могло не найти своего приложения, как не может не найти приложения электрическая сила, собранная в грозовой туче». (Бывает влияние заметно даже большими страницами, 2-I-31.) Изредка применяет Гроссман как бы и гоголевскую интонацию: «мысли ли то были, грёзы ли?», «но не тиха была волжская ночь».

По размаху такой эпопеи казалось автору невозможным проигнорировать **немецкую сторону фронта**, естественна была его попытка заглянуть и туда. Но, особенно в 1-м томе, это сделано настолько по газетным штампам, без какой-либо художественной воплощённости и верности, — что уж тогда, мо-

<sup>1</sup> Здесь и далее первой цифрой обозначен том, второй — часть, третьей — глава диалогии Василия Гроссмана. (Примеч. ред.)

жет быть, лучше бы за то и не братья. (Отпробовав несколько этих глав, дальше перед ними заминаешься, не хочется их читать. А возвращаясь к следующей порции их — уже ничего и не помнишь из предыдущей.) Во 2-м же томе такой загляд стал для автора неизбежен, коль скоро он задался продемонстрировать сходство политических режимов.

Главы о немецкой стороне бесплотны, и тем бесплотнее, чем более высокие сферы Гроссман пытается нам описать. Гитлер — уж совсем беспомощно придуман, и за крайне надуман этот «мальчик-с-пальчик», напуганный красными глазами волка. Эйхман — дутый, никакой. Лисс — один скелет теории. Описание живых характеров заменено абстрактной классификацией немецких вождей по четырём разрядам (как и советским номенклатурщикам, ставится и тем упрёк в простонародности происхождения). Генерал Паулюс, о котором автор имел, вероятно, показания реальных свидетелей, коллег из штаба фронта (знает и имена всех ближайших к Паулюсу офицеров), — всё равно бестелесен, а главное — нисколько не просмотрен вовнутрь. Очень уж это недостоверно, да немисливо: «В гибели своей армии он, против воли, находил томительно-странное удовлетворение, основу для высокой самооценки». Психология палача Кейзе сочинена по примитивной схеме. Характер солдата СС Ризе, обслуживающего газовую камеру, тоже сформирован из состава общих соображений: внешняя угодность ко всем, накопление внутренней ненависти и жажда наживы. Единожды показан пожилой немецкий комендант, который смиловался над умирающим с голода военнопленным и отпустил его на вольный хлеб в украинскую деревню. Одна немецкая воинская часть в Сталинграде даёт возможность Гроссману, ещё в 1-м томе, в иносказании (советская через немецкую) освежить своё описание армии: сила стукачей, доносов, томление интеллигентного лейтенанта с поиском общечеловеческих ценностей (ведь и такого не выразишь по Красной армии). Во 2-м томе (тоже по аналогии?) этот лейтенант от социал-демократических убеждений начинает переходить к патриотическим, и из них ли или из политической осторожности отвергает привлекающую к нему местную русскую девушку. Раненые немецкие офицеры что-то слишком свободно ведут в госпитале (уже 2-й том) политические разговоры. А что можно сочинить о немецких солдатах? автор навёрстывает по части физиологии: у кого изжога, у кого отрыжка, у кого сексуальная напряжённость. (У бойцов Красной армии ни у кого ничего подобного не отмечено.) И тех немногих персонажей из немцев, которых автор наметил пунктирно, — он бросает без развязки, не передав и читателю сожаления о том.

Ещё отдельная тема, на которую отваживается Гроссман во 2-м томе, — это описание лагерей наших военнопленных в Германии; данные о них, как и о лагерях советских, он старательно собрал, сколько удалось, от свидетелей. (Оттого и сбивы: мелькнули «власовские войска»... в 1942.)

Гроссман много и успешно всматривается в детали психологических переходов у своих персонажей (впрочем, далеко не всех), есть немало точных наблюдений. Если в 1-м томе он неоднократно сбивается на прямое истолкование, лобовые характеристики («несколько эгоистичная, но одновременно и чувствительная, она соединяла в себе упрямство и практический разум с беспечной щедростью») и методическую проработку психологических ходов, на пространные и неторопливые объяснения чувств, — то во 2-м, более зрелом, томе передаёт это и тоньше и лаконичнее; особенно в семье Штрума: растущее раздражение к жене (а у неё рост равнодушия к тому), вспышки гнева к дочери и зарождение и развитие любви к жене сослуживца — чуткими, сдержанными штрихами; и поражённость и раскаяние Штрума, когда по беспомощному лицу жены он понял, что она уже догадалась о его сторонней любви. (Тут чувствуется, что вложено много личного, какой-то долгий семейный разлад.) Много наблюдений за душевной негибкостью жены Штрума, «оглобленной» прямолинейностью, внезапной чёрствостью её к своей матери, к близким, всезахватывающей любовью к погибшему своему сыну от перво-

го брака, — а едва отойдя от его могилы, она отказывает подать нищему; на волжском же пароходе среди номенклатурных жён она едва ли не одна принимает сторону обижаемых красноармейцев; и таких изломов у неё много. В обобщающих тут фразах слышится тоже толстовская интонация: «Всё, что годами почти в каждой семье живёт в тени, вырвавшись, заполнило жизнь, словно лишь непонимание, подозрения, злоба, упрёки только и существовали между отцом, матерью и дочерью»; «ложь смешивалась с правдой, ложь была во всём. Почему, отчего? Ведь его чувство к Марье Ивановне было действительно правдой его души. Почему же эта правда порождала столько лжи?»; «как это бывает с людьми, ощущающими, что кто-то со стороны понимает их внутреннюю слабость, Штрум вдруг пришёл в бешенство». И автор прослеживает, как Штрум слабеет и добреет в минуты нависшей опасности. А в минуты внезапной победы — счастливо взволнован даже тем, как курят фимиам Сталину (раньше это его раздражало), и с «грустью и отчуждённостью» думает о пострадавших родственниках и знакомых.

Иногда встретим и обобщённые психологические наблюдения, весьма верные. В обстоятельствах грозного гнёта, «главное изменение в людях состояло в том, что у них ослабевало чувство своей особой природы, личности и силилось, росло чувство судьбы»; «всё, всё рождало покорность — и безнадёжность, и надежда». И даже «счастливое сознание скорой казни». Или в Сталинграде, после конца боёв: «Тишина вызывала головокружение. Людям казалось, что они опустели, что у них млеет сердце, как-то по-иному шевелятся руки, ноги. Странно, невысказанно было есть кашу в тишине, в тишине писать письмо, проснуться ночью в тишине». Иногда автор пытается обобщить и истинный вечный смысл борьбы за жизнь: «в человеке, в его скромной особенности, в его праве на эту особенность» — только-то? в чём тут ответ? Подобный ответ в высотах Гроссман на ощупь нашаривает в конце книги. Вот старухе Шапошниковой мнится, что она «понимает всей своей душой смысл жизни»: «не дано мировой судьбе и року истории и року государственного гнева изменить тех, кто называется людьми», «они проживут людьми и умрут людьми». Это достойно, что Гроссман ищет и пытается сформулировать высшие смыслы жизни, — но как ощутимо здесь не хватает религиозного измерения. От того — и нет внятности в ответах, и нет желаемой высоты.

Постоянно проявляет Гроссман зоркую наблюдательность за реальными фактическими деталями, явлениями, бытовыми жестами — мелкие предметные наблюдения щедро рассыпаны по книге, автор настойчив в сборе таких наблюдений и сохранении их. Это даёт повествованию крепкую плоть. Как коромысло гремит по ведру; как звон возвратных в колодец капель повышается с высотой вытягиваемого ведра. Что именно и как нагревало солнце при переправе родимцевской дивизии через Волгу. Вот «морозный низовой ветер выдирает вмёрзшие в лёд куски тряпья». Вот «заревели моторы, плоский самолётный ветер прижал охваченную смятеньем траву, и тысячи водяных капель затрепетали на солнце». Или: пожарное «далёкое зарево освещало стволы деревьев, ложилось розовыми пятнами на землю. Тишина, стоящая вокруг, придавала какую-то особо томящую силу немому бледному огню». И «стёкла очков розовели от огня пожара». А сам пожар, подожженный немцами поток нефти, вырастает уже в грандиозный пейзаж: это как бы «грубая и страшная жизнь первобытных чудовищ вырвалась из могильных толщ, жадно жрала всё вокруг себя. Огонь поднимался на много сот метров вверх, унося облака горячего пара, которые взрывоподобно вспыхивали высоко в небе. Плотный колышавшийся чёрный свод отделил осеннее звёздное небо от горевшей земли. Огневые и дымовые столбы принимали мгновеньями чертания живых, охваченных отчаянием и яростью, существ».

Ещё — Гроссман натурально использует свои химические знания и свои впечатления по Донбассу; и вот — добротню, основательно описана подземная шахтёрская работа. К чему всегда звал соцреализм, да почти не мог осуще-

ствить, — Гроссман хорошо улавливает и передаёт: поэзию высокой техники, турбинный зал электростанции, мартеновский цех — «немота, присущая жидкой стали», а застывшие «листья звенели молодыми обрётёнными голосами», «секунда прекрасной и бесполезной жизни искр». (Но серьёзно поданные измерения вредности воздуха в заводском цеху, это в разгар-то войны? — впустую примыслены.) Бесстрашно ведёт он нас и на высоты современной теоретической физики. Сказано, что лекции Чепыжина (1-I-29) или научно-технические беседы с ним и в его кругу открывали «тайны природы глазам Штрума»; но уж этих тайн нам, естественно, не показывают — и потому, что вряд ли они так ясны самому автору, и по законам художественного произведения: не загромождать же этим читателя и не изобретать же того высокого открытия Штрума, после которого коллеги готовы поставить его сразу за Бором и Планком.

А выше наблюдений Гроссмана за деталями бытовыми, деловыми и техническими — его пристальное внимание к природе. Пейзажи все насквозь хороши, свежи, многообразны и даже там, где развёрнуты почти на главу — северный лес с его запахами, загадками, растительностью и обитателями (2-I-35), летняя ночь в том краю (2-I-38) составляют поэтическое и плотное описание. Закат и запахи в южнорусской степи и сходство с морем (1-I-41), калмыцкая степь (2-I-68), «снеговые воротники вокруг скрипучих стеблей колючки», хмурый рассвет за Волгой и в недобрый час для людей (1-II-15), рассвет при конце боя за сталинградский вокзал (1-III-45), как растёт озимь (1-III-47). И отдельные, там и сям рассыпанные пейзажные наблюдения: «лунный свет, словно мягкое льняное масло»; «сухие вымороженные звёзды выступили, как оловянная изморозь на скованном стужей небе»; «небо из огня и льда»; «пепельные ночные облака, вдруг [заря] взбухавшие розовым пеплом жизни, и знойный ночной дым над заводом, теряющий при солнце свою кровь»; ещё — осень в Тульской области: разные виды огней, дымов, запахов; ещё — как Москва в условиях военной маскировки темнеет без единого зажжённого света. (Москву-то Гроссман лучше всего знает, и приезжал же в неё во время войны.) Работа пейзажиста — отличная и достигнутая годами терпеливых наблюдений. — А есть и боевые картины, которые не отнести иначе как к пейзажам: «И вдруг заходящее солнце осветило мёртвый дом. Выжженные глазницы домов налились ледяной кровью, грязный от боевой копоти снег, разрытый когтями мин, стал золотиться, засветилась тёмно-красная пещера во внутренностях мёртвой лошади, и поэмка на шоссе заструилась колючей бронзой» — и ещё дальше, прекрасно (2-III-32). Перед большим прорывом «луна больше чёрная, чем красная, и в её гневном свете особо тревожно выглядела ночная пустыня». А арестованному видится взошедшее над степью «красно-бурое солнце, — полезла в небо мёрзлая, грязная свёкла, облепленная комьями земли и глины».

Но насколько удачны пейзажи, настолько не могло у автора хватить наблюдательности и воображения для передачи нам наружностей — не то что десятков, но сотен сочинённых им персонажей. А едва ли не каждому, кто вдруг появляется (да тут же и исчезает навсегда), Гроссман старательно ищет придать какие-то наружные черты. Это вообще — трудная задача для автора всякой эпопеи: не пытаться их изображать? — будет череда безликих; а пытаться какими-то чертами снабжать? — при огромном числе персонажей черты будут неминуемо повторяться, на всех не может хватить ни внешнего, ни психологического разнообразия, и читателю тоже нужны усилия, чтобы увидеть, а потом ещё большие усилия, чтобы запомнить и различать десятеро широкоплечих от десяти плечистых и ещё от десяти узкоплечих, и всех русских, кудрявых и чёрных. Даже и главные действующие лица не видны, кроме может быть Вавилова, Софы Левинтон — плотной и с усиками; даже и Женья, которая должна бы стать в романе центральной красавицей, — ещё недостаточно видна. Но это всё — лишь от неизбежного количества персонажей, на которых не может хватить никакого заготовленного материала; а при



сосредоточенности Гроссман наглядно вырисовывает их нам: «лобастый, с бугристой мордой, с массой седых и не седых, по-бетховенски спутанных, курчавых волос над низким мясистым лбом» (последнее уже не очень вяжется с «лобастым»); рядом — старик «с бумажно белыми руками, с костяным лысым черепом и лицом, словно барельеф, отпечатанный на металле, словно в его венах и артериях тёк снег, а не кровь». Или наружность важного для действия обкомовца-комиссара Гетманова. Удач немало, но часто автор растрачивает своё (и наше) зрительное воображение на совершенно эпизодических лиц, тут же выпадающих из книги навсегда, — как в немецком концлагере испанский патер на молитве или одноглазый русский старик — «выражение тоски в его зрячем глазу страшней, чем красная зиявшая яма на месте выбитого [охранником] глаза». Да в переменах обстоятельств мелькнёт у жены «лицо, помолодевшее от страдания», как она «просяще всматривалась» в мужа.

**Неизбежное обилие персонажей** — очень трудная задача для всякого автора эпопеи. Как: и не избежать этого числа и вместе с тем не переобременить читательское восприятие? Во-первых, я думаю, не надо злоупотреблять названием фамилий для персонажей, тут же вскоре исчезающих или вовсе трестепенных. (Гроссман безоглядно рассыпает, даже рассаривает фамилии, даже и немецкие, по ту сторону фронта. Кажется: этим вносится чёткая определённая? нет, избыток нагрузки на внимание и память читателя.) Для персонажей мимолётных можно упоминать только должность, чин, звание или чёрточки внешности — и эта мера внимания посылает сигнал читателю, что и его памяти не надо напрягаться. У Гроссмана же — перенагромождение фамилий серо-стёртых, их частокол рябит, утяжеляется работа читателя: отождествить, к кому это мы вернулись? Да и сам ввод персонажей бывает вовсе лишним — как соквартирники Жени по временному самарскому жилью (кроме очень уместной безобидной старушки-немки, тут же репрессированной за её фамилию), прислуга у Мостовского, жена и невестка Андреева и свары их, или мимолётная группа снайперов в блиндаже Батюка (все названы по фамилиям!). Да диво было бы и освоиться с непомерным захватом в 1-м томе участников совещаний, никогда далее нами не встречаемых. А ещё ко многим наспех пристёгивается их краткая предыстория, биография, которая уж тем более не запоминается. В этой череде фамилий иногда упускаешь и персонажа важного как лётчик Викторов — не успеваешь его для себя выделить, а затем он исчезает на сотни страниц. Тем более недопустимо вводить — и называть по именам! — даже и не персонажей, а какие-то условные фигуры лишь для иллюстрации общего рассуждения, умственной схемы автора (как 2-II-43 и 44). А вот в «доме Грекова», осаждённом немцами (2-I-58-61), каждая фигура нужна и важна, их много, надо помочь читателю видеть их, различать, и где мало дать признак, нужна фамилия — сами-то фамилии подбирать бы не обще-средние, а выпуклые по звучанию, резко отличные друг от друга. (Очень оглуляет защитников дома якобы в эти часы идущая меж ними беседа: «есть ли советская власть в звёздных мирах».)

Но и при всех таких неудачах и невысоком коэффициенте полезного использования многих упомянутых лиц — в самом многочислии их есть и очарование жанра эпопеи как такового. Один раз в Сталинграде применён сгущённый перегляд многих незнакомых лиц — дать растущее цельное ощущение массы, *народа* (1-II-28), это удачно. (Однако приём искажён объяснительной авторской концовкой.)

Что в романе нет определённо главного действующего лица — это хорошо, для эпопей так и надо. На эту роль претендует несколько персонажей.

Собственно, для автора воистину главным, неизмышленным (и во многом автобиографическим) персонажем является физик Штрум. В первом томе он ещё бестелесен, автор не решается пробить ему задуманную сюжетную дорожку? Да и для самого Гроссмана она тогда ещё, кажется, не определилась. По событиям его собственной и, ещё более, общественной

жизни она определилась к тому 2-му и собрала уже много деталей жизни тыловой, семейной, научной, общественного (и национального) конфликта. (Но то — уже отдельная крупная тема, она не вмещается в этот наш структурный обзор.)

Следующим по важности избран бывший немалый коминтерновец, а ныне комиссар Крымов. (Сам этот выбор очень характерен, весьма объясняет нам и политические привязанности Гроссмана.) До революции, сибирским пареньком, Крымов прочёл (от большевика Мостовского) «Коммунистический манифест» — и «плакал от счастья над потрясшими его словами „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“». С той-то поры и определился его неуклонно-революционный путь, и он «поднимал солдат» русской армии на бунт 1917 — и сразу же пошёл по верхам компартии. 4 года «работал в Китае» (то есть, поджигал там революцию), получал похвалу от Троцкого за свою статью («мраморно» написано), естественно и общался со многими коминтерновцами, сплошь пересаженными в 1937, — но *об этом* мы ничего не узнаём в 1-м томе, там Крымов — кристальнейший безупречный коммунист и комиссар. Только к концу 2-го тома открывается нам узнать, что «сколько раз Крымов говорил одно, а в душе было другое», но «верил, что говорил то, что думает», «революции так нужно», и «прекращал отношения с семьями репрессированных товарищей»; что в 1937 Крымов производил «непочтительные слова о Сталине» (?), но давал в ГПУ уклончивые (а по сути предательские) показания о близко знакомом уже арестованном немецком коммунисте. Так как же он должен был в 1937-38 сам трястись? Но почти до конца нет следа об этом в книге: наш большевик всегда был «против оппозиций», вот только горевал, что «Сталин не пощадил старой ленинской гвардии». Впрочем, в предвоенные годы Крымов чувствовал себя верным сыном его и с тоской вспоминал, «как было при Ленине». Война застаёт его комиссаром на фронте, он якобы одним партийным воодушевлением выводит крупную нашу группу из окружения — и даже тут всеисильные Органы не проявляют к нему никакой подозрительности и придирчивой проверки: сразу он отмыт и сразу на крупной комиссарской должности. (Допустить ли, что Гроссман и сам до конца не знал, как принимали вышедших из окружения, из плена?..) Правда, ко времени Сталинграда Крымова переводят с «боевого» (показанного нам как вполне пустое мотание) комиссарства на должность лектора политотдела армии (и он чувствует себя оскорблённым за такое отстранение). Но и как лектору — его появлению будто бы «рады командиры полков», хотя он с «каждым днём всё больше сомневался, нужны ли его доклады» в боевых частях. (Наконец-то.) «Иногда ему казалось, что слушают его из вежливости» (ах, да куда от вас денешься!). Но и не покидают же его интернациональные чувства: вот наши снайперы стреляют в Сталинграде по немцам — и «нельзя же радоваться, что наряду с фашистами убивают немецких рабочих», так можно «превратиться в крайних националистов». А в классовом отношении «он всегда, не колеблясь, готов был уничтожить белогвардейских гадов, меньшевистскую и эсеровскую сволочь, потом кулачье», да и сейчас у него: «понадобится и жестокости хватит, рука не дрогнет». Но вот бездельного лектора Крымова снова назначают «боевым комиссаром-большевиком» — и «сладко было в глазах комиссара дивизии» прочесть партийное уважение, «теперь ему предстояло жить во всю силу» своей «большевистской страсти». И он с радостью кидается наводить порядок в «дом Грекова», почти вкруговую осаждённый немцами.

Всё время думаешь: почему у Гроссмана такое внимание к этому большевику и столько места для него в романе? В 1-м томе ему нужен был образцовый негнибаемый комиссар — значит, для этого. Но и не покидает всё время чувство личной природнённости автора к этому беззаветному железному коминтерновцу; и это чувство поддерживается ещё большим уважением Гроссмана к ещё более заостренному партийному теоретику Мостовскому. Однако, на переходе ко 2-му тому как почти всё переломилось в диалогии,

так и отношение автора к Крымову. Только во 2-м мы узнаём о «злобе, с которой он говорит о кулаках в период коллективизации», «а что прикажете делать с ненавистниками нашей революции, пирожками их кормить?» — и дальше по 2-му тому уже означенные проявления этой беспощадности. Освежённым зрением Гроссман теперь видит Крымова и в обречённом «доме Грекова», героического офицера, держащего оборону за пределами всего мыслимого. Тут Крымов «с ещё большей силой ощутил дыхание Ленина». Он вступает в политбеседу — тупо, надменно, затем и всё грубей, совершенно не понимая настроения бойцов, хочет по-партийному подавить их независимость духа, родившуюся в жестоких боях. Греков и его бойцы, в пределах допустимого, отбрасывают комиссара. «Крымов ощутил злобу и вражду, желание согнуть, сломить Грекова». Какой выход дальше? — ранение Крымова во сне, и его эвакуируют из опасного места. И вдруг почему-то «догадка ожгла Крымова»: не сам ли Греков его и подстрелил, чтобы убрать? И хотя «догадка» эта полностью бездоказательна, но в легко раненном Крымове распалывается: как? «Греков стрелял в большевика-ленинца? Мерзавец!» И Крымов тут же пишет докладную в Особый отдел: «Греков политически разложил воинское подразделение» и «стрелял в представителя партии». Да Крымов своими руками «если бы понадобилось, не колеблясь, расстрелял бы Грекова». Докладная — потекла по назначению, и настигла бы лучшего героя Сталинграда безошибочная пуля в затылок от НКВД — но как раз тут, волей романиста или действительного события в Сталинграде, весь дом Грекова вместе со всеми защитниками разбомблён немцами до конца. (Здесь уместно договорить о Грекове: он очень удался Гроссману, он описан не авторскими характеристиками, а передан через одни свои действия — и в действиях этих, и в щедрости его характера тут, и в покровительстве к юной паре, и в вольности ответов начальству — мы видим то, почти нигде в советской военной литературе не описанное, раскрепощение, которое на короткое время открывалось в задавленном советском человеке в моменты высокого военного подвига.) Ничего, докладная в Особотдел сработала: убитому Грекову не дали по-смертно «Героя Советского Союза».

Воздадим должное Гроссману-художнику: он тут же вослед ведёт Крымова под возмездие — нравственно как раз вовремя, хотя по политической раскладке с опозданием в 5 лет: недреманное НКВД прохлопало арестовать Крымова в 1937, лишь вот теперь, — анахронизм. (И ещё неправдоподобно: арестует на правом, сверхопасном, берегу Волги — ясно, что оперативники сперва бы вызвали его в безопасный тыл.) Но взятая на себя задача автору нелегка: проработка сюжета теперь требует от него, не имеющего личного в том опыта, собрать сколько можно свидетельств бывших эков, вернувшихся в 50-х годах в Москву: психология свежearестованного? а следствие на Большой Лубянке? Кое в чём он попадает близко к верному, кое в чём промахивается — но у нас вызывает уважение эта последовательность эпопеиста: не отступать перед трудным охватом событий. Такого беззаветного и сознательного всю жизнь большевика Крымова, посаженного в бревенчатую каталажку, «первая мысль, поразившая после оцепенения, была та, что разрушить эту каталажку могла немецкая бомба» — и вот бы ему свобода. И к особисту, избившему его, — «подобной ненависти» он не испытывал в прежней жизни «ни к жандармам, ни к меньшевикам, ни к офицеру-эсэсовцу» — всё как быстро в нём повернулось. (Только спешит, спешит Гроссман с комментарием, что в этом особисте Крымов «узнавал себя же» — не-ет, для такого осознания ещё долгий путь просветления был нужен.) Теперь Крымов сверхбыстро вспоминает и всю атмосферу 1937 года, будто бы забытую им, и свои собственные многочисленные рапорты-доносы на подчинённых. И это ещё — до всяких допросов, а уж на допросе «ему стало страшно, как никогда не было страшно на войне» — с перебором: «неужели, счастливый и свободный, несколько недель назад он беспечно лежал в бомбовой воронке и над головой его выло гуманное железо?»

Извилистой синусоидой через жизнь Крымова проходит Женя Шапошникова. В ней задумана — красивая женщина с путанными чувствами и путаной судьбой. Сама по себе такая задумка — на целый отдельный роман. Гроссман отважно включил и этот сложный образ в свою эпопею — хотя справился с ним недостаточно. Перед самой войной Женя вышла замуж за Крымова, а влюблённый в неё офицер Новиков хотел застрелиться. В начале войны она уже бросила Крымова, летом 1942 сошлась с Новиковым, полгода прожила в эвакуации одна, уже ехала к победителю Новикову, командиру корпуса, и вдруг узнала об аресте Крымова, метнулась вернуться к нему, стала ходить за справками и с передачей на Лубянку. Ноющая к Жене любовь слегка разнообразит изрядно схематичный тип Крымова, под следствием же он приходит к подозрению, что она и донесла на него («крысиный инстинкт, заставивший тебя покинуть тонущий корабль?»).

Для читателя переборы, переклоны и метания Жени — наворожены, повторительны, почти в одних выражениях и несколько не увлекают, изрядная взбалмошность. «И вдруг ей показалось, что она всё время думает, тревожится о Крымове лишь потому, что тоскует по другому человеку, о котором, казалось, почти совсем не вспоминает», и т. п. И, вдобавок ко всем причинам, она, разумеется, — художница. (Пристрастие не только Гроссмана, но многих авторов, выбирать персонажей из мира искусства.) Красота её — много раз называется, но читателем как-то не ощущается. Да и не вернулась бы она к Крымову, уже летела к Новикову, но вдруг НКВД стало её допрашивать о Крымове — и «всё, что она недочувствовала, недодумала, уходя от Крымова», теперь «усилилось, вспыхнуло»: «она не знала, жалость ли это, любовь, совесть ли, долг?» А Новикова — «любила ли она, любила ли только его любовь к себе» и т. д.

От неубедительности её перебросов становится полубестелесен и Новиков. О Жене он — командир танкового корпуса, бесстрашно шагающий не только в бой, но и против приказаний высшего начальства ради целостности своих бойцов, — о Жене он мыслит по-юношески робко и даже рабски. И фальшью воспринимается, что у него было душевное движение — застрелиться из-за несчастной любви ещё и второй раз — в самые часы победного движения его корпуса. О любви его к Жене автор напоминает нам часто, навязчиво, порой и некстати. И Новикову же приписано, как он уступчив перед начальством, хотя в серьёзном бою мы видим совсем другое, — и будто «млеет от удовольствия», узнавая подробности из жизни кремлёвского мира. Это — не он! это всё — несоединимо. Вот ощущение «жутких, чем-то влекущих первых дней войны» — это он!

Есть ещё одна фигура в романе, которую Гроссману явно хотелось бы развернуть в одно из главных действующих лиц, — это талантливый, умный, проникательный и дерзкий штабист подполковник Даренский. И для 1-го тома он задуман, в переступ запретного тогда — как побывавший под политическим подозрением, но не репрессированный офицер, оттого под постоянным служебным стеснением. Во 2-м бы, рассвобождённом, томе (узнаём теперь, что в лагере-таки он сидел) с ним бы и развернуться, могла бы яркая быть фигура. Но Даренский — не стал таким. То: «все зубы мне выбили [в НКВД]: а моя любовь к России [подразумевается — советской?] не дрогнет». И даже убеждён: «русские под водительством большевиков возглавят человечество» (зэк?). То — какое-то закисание: «представлялось, что, действительно, ему нельзя доверить ответственную оперативную работу. После лагеря он совсем уж всерьёз стал ощущать свою неполноценность», и даже прямое объяснение от автора: «его уверенность и самомнение сочетались с постоянной житейской робостью» — правда, и от нищего детства (как у *бывшего?*). И вот у него «тоска» в калмыцкой степи (откуда готовится важнейший прорыв), мимолётный флирт со штабной дамой, его раздражает «крик верблюдов», а «болтушка из шрапнельной крупы» и каша из неё же «стали кошмаром его жизни» (это у бывшего-то лагерника? а как питаются тут же солда-

ты? — у них и допайка нет). То — стоит «во весь рост, не обращая внимания на рвущиеся снаряды и мины», ни один опытный фронтовик так стоять не будет.

Так что не вылепился и Даренский.

Зато весьма неожиданная удача с секретарём обкома, а теперь комиссаром корпуса при Новикове — Гетмановым. Он появляется лишь во 2-м томе, и сперва кажется: лишь для сатиры (справедливой) на номенклатуру. Но нет! Этот хитрый, опытный коммунист-украинец дан, начиная с наружности и речи, — сочно и с неожиданными, убеждающими поворотами характера. Как виден! Как колоритен! Для Новикова: «душевная притягательная сила комиссара, как тянет поддакивать ему». И анекдот расскажет, и с врачихой переспит, и даже — ого! — о Батьке (Сталине) говорит совсем запанибратски? И какая гибкость в поведении — и шутив, и уклончив, и тонкое подлаживание к собеседникам, и задние мысли. И простонародность — и приобретённая вельможность. Он же и «сочувствует» нуждам подчинённых, он же первый и урезает их дальше. И какое ласковое двуличие: с благодарностью обнимает комкора, что на 8 минут самовольно задержал наступление танков, сберегая людей, — и тут же, о том же самом поступке, пишет на него донос в Политотдел армии. Однако открыто взрывается, когда комкор остановил корпус на 10 часов — поспать, и открыто доносит о том — и вслед ходатайствует: ни в коем случае этого комкора не отзывать от корпуса, пригодится. Объёмный образ, большая удача. Таких секретарей обкома мы в литературе ещё не видели.

Упомянутый закоренелый старик-ортодокс марксизма-большевизма Мостовской в 1-м, ещё казённом, томе выставляется автором весьма почтительно, да может быть и вставлен только для заполнения обязательной клетки в советской схеме. Во 2-м томе автор искусственно вставляет его, гражданско-го, в немецкий лагерь для военнопленных — да на какое почётное место высшего мудреца, да как все военнопленные его почитают! Это закрывает нам возможность счастья замысел автора сатирическим: нет, очевидно по исходным и коренным убеждениям Гроссмана такой маститый, окостенелый коммунист — действительно весьма уважаемая фигура. А пребывает Мостовской в своём злобном амплуа: непримирим к соседу по нарам, меньшевику, и раздражённо ненавидит толстовцу; а в советском прошлом «он ни разу не выступал» в защиту «людей, в чьей революционной чести был уверен». И всё это — правда; смехотворно лишь то, что он столь авторитетен среди советских военнопленных, прошедших огонь и воду. А сосед-меньшевик стыдится своего антикоммунизма и отговаривает лагерников: не идти во власовские отряды, ну это вполне по-меньшевицки. Да почти смехотворно и то, что оберштурмбаннфюрер Лисс в «партии политических шахмат» проверяет на Мостовском свои взгляды. (Вся эта ночная сцена нужна Гроссману для другой цели: вложить в уста врагу-немцу собственную к тому времени его догадку, что национал-социализм и коммунизм — родные братья. От себя он сказать такого не смел, и, конечно, Мостовской тоже не поддаётся вредной идее, хотя крыть-то ему нечем.)

Однако в поисках фигур, которыми бы населить лагерь военнопленных, Гроссман примысливает совсем невероятную фигуру майора Ершова: отец его раскулачен, а сыну дали закончить военное училище, расти в чинах, лейтенантом съездить навестить отца в ссылку, мать и сёстры умерли там, а сын теперь в немецком лагере — вожак сопротивления и ненавидит власовцев, «хотя знал», что «в их воззваниях — правда». Неужели Гроссман *до такой степени* не понимал народного настроения? — ведь во 2-м-то томе он не нуждался в столь тщательной лакировке.

Не оглядывая ещё ряд второстепенных и нередко скучных персонажей, мы не можем не выделить майора Берёзкина: это самый симпатичный и живой персонаж, особенно выделяется он в 1-м казённом томе. Мы узнаём его поздно, видим недолго, но какой он естественный. Он не горит с утра до

вечера патриотическим огнём или желанием скорей пожертвовать собой, не погоняет и транспорт, чтобы скорей попасть на передовую. И вместе с тем он воюет уже два года, самоотверженно и безнаградно, и не повышен в звании, но это не саднит его, он ни на кого не зол. Его, по чуду, встреча с эвакуированной женой — лучшая сцена во всём 1-м томе, ещё с этими невыносимо простыми её словами: «А Славочки нет больше, не уберегла я его». (Эту встречу Гроссман хотел подать глазами их малолетней дочери; замысел замечательный, но тут автор сорвался — на том, что не придержался или вообще не признаёт для себя закона «языкового фона»: чтобы в каждой главе вся ткань языка, и авторская, не выходила бы за круг представлений и словоупотребления выбранного персонажа. Такой же срыв у него и в главе о шахтёре Иване Новикове, 1-II-47.) Жив и тёпел Берёзкин и во 2-м томе, где, в многотяжком бою, на него ложится командование полком. (Затем — Гроссман покидает его вовсе, и вводит, анонимно и символично, в самый финал эпопеи, вместе с его многострадальной женой.)

Нагруженные своды такой размашистой эпопеи требуют во многих местах — художественных опор. И Гроссман предусматривает это, и расставляет более или менее равномерно вдоль повествования — то пейзажи, о них уже сказано, то — наружности персонажей и черты их характеров, то — никак не в последнюю очередь — художественные образы и отдельные поэтические фрагменты — иногда и размером в главу (как 2-I-68, замечательная глава о калмыцкой степи, 2-I-35 о северорусском лесе), иногда с абзац: как боевое «ура» слышится не лихостью, а прощальным возгласом к родным (2-I-13). Не остаются незамеченными по разу промелькнувшие: «толстый голос», «пудовые слова», «говяжьё мясистые слова», «пластмассовые глаза», «бетонные глаза», «в голосе и глазах много было ледяного и жгучего боевого спирта». Запомнятся: снег в чужой Германии для пленных — будто «Россия дохнула в их сторону, бросила под бедные измученные ноги материнский платок»; от бомбёжки «громоздились товарные вагоны, как ошалевшее стадо, сбившееся вокруг тела убитого вожака, лежащего на боку паровоза»; человек, пришедший из тяжёлого боя, «был окутан невидимым раскалённым облаком, казалось, что при быстрых движениях не плащ-палатка трещит, а потрескивает электричество, которым насыщен этот человек»; шутить о Сталине — «всё равно, что пощёлкивать по сосуду с нитроглицерином»; на партийных секретарей, рассеявшихся внутри автомобилей, ехать на октябрьское торжество, — снаружи, с сырого холода, «красноармейцы смотрели сквозь стёкла, как на тепловодных рыб в аквариуме». Есть, конечно, сравнения и менее удачные. И ещё ж тот довольно назойливый, частый неудачный приём: через словечки «казалось», «показалось», «подумалось» — вводить такое, что никак-никак, или в ту минуту, не могло показаться: «казалось, что еловые лапы и берёзовые листья рождены вместе с бронёй танков»; «подумалось, что люди, сидящие в печах охлаждённых, недавно варивших сталь, особые люди, сердца их из стали». И много раз подобное, и ещё нарочитее того. — Интересный приём: разговор в темноте двух малознакомых подполковников, сползающий на политические темы, а когда они попеременно закуривают, то в свете спичек лица друг друга кажутся им недобрыми, чужими, «чувство, с каким падают на боевом поле в свет чужого прожектора».

Немногие любовные сцены, у молодых пар — слабы, пресны, а иногда к ним ещё и неуместные психологические объяснения. Едва ли только не раз хорошо: «Полк шёл по его [Новикова] сердцу, гулко, дружно выбивали сапоги: Женя, Женя, Женя».

Язык Гроссмана, кроме нарочитых крепких абзацев, необъёмен по составу, не богат вширь. Нет и живого народного диалога. В авторской речи интонационно-синтаксически он не выходит за рамки толстовской традиции. Есть, не всегда с надобностью, употребление грубых слов — причём в диалоге не простонародном, что было бы законно.

Порой встречается плотно очерковая манера *перечислений* — сходных рядов существительных или имён, — и это звучит как в фельетонах Эренбурга. Изредка, чтобы передать сгущённую плотность происходящего, этот приём может быть и полезен, но — не при частом употреблении.

Ещё такая простительная слабость у Гроссмана: напряжённая струна внимания к области искусства, выделение его в этих длинных перечислительных рядах, иногда и совсем некстати; государственную опеку над искусством всегда ставит в ряд с куда более крупными делами и событиями, а особенно при описании немецкой стороны, где это ему вполне безопасно; теряется чувство меры. Иногда ещё: переносит в 1942 год московские литературные споры второй половины 50-х годов (например, восхваление Чехова как истинного демократа в точности совпадает со статьями Эренбурга 1959 года).

Кончая дилогию: при всей разносоставности, разномысленности, разнотонности двух томов — нельзя отказать в большом уважении к размерам замысла, к терпеливой, настойчивой, многообъёмной работе автора и нередким вспышкам яркой художественности в разных местах её небосклона. Дилогия эта — конечно вклад в русскую литературу, и притом — на коренном пути её традиции.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПО ХОДУ ТЕКСТА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ



## ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ И ПАРТИЙНАЯ ЛИТЕРАТУРА

**В** «Новом литературном обозрении» (1997, № 25) Михаил Берг написал статью об успехе в литературе и назвал ее так же, как когда-то назвал свою статью Виктор Шкловский, — «Гамбургский счет». Вот ее начало:

«Есть вещи, которые если и не являются синонимами пресловутого „смысла жизни“, то по меньшей мере присутствуют в жизни любого, а тем более творческого человека в виде разметки дороги, пути („дорога жизни“, „путевый человек“), обозначая когда осевую, когда обочину, крутой подъем или опасный поворот. Такова категория „успеха“».

Всякий, кто знает и помнит давний текст Шкловского, догадывается: М. Берг пишет совсем о другом, не о том, о чем писал Шкловский. Напомню:

«Гамбургский счет — чрезвычайно важное понятие.

Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренера.

Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы.

Они борются при закрытых дверях и завешанных окнах. Долго, некрасиво и тяжело.

Здесь устанавливаются истинные классы борцов, — чтобы не исхалтуриться.

Гамбургский счет необходим в литературе.

По гамбургскому счету — Серафимовича и Вересаева нет...

В Гамбурге — Булгаков у ковра.

Бабель — легковес.

Горький — сомнителен (часто не в форме).

Хлебников был чемпион».

Шкловский пишет о некоей шкале оценок, которая существует независимо от успеха, славы, удачно сделанной карьеры. Текст Берга полемичен по отношению к тексту Шкловского. Иное дело, понимает, осознает ли эту полемичность сам Берг. Цитирую:

«По разным причинам говорить об успехе у нас считалось неприличным. На само слово надевалась уздечка в виде прилагательного „внешний“. Что подразумевало наличие более точного и истинного критерия оценки творчества. Этот критерий обозначался по-разному, но чаще всего, с легкой руки Шкловского, как „гамбургский счет“».

Михаил Берг ошибается.

Не только у нас считалось неприличным говорить об успехе.

Презрение к «внешнему успеху» — одна из необходимых составляющих совершенно определенного типа художника.



Томас Манн писал: «Нуждается ли еще в моей рекомендации великий роман Роберта Музиля „Человек без свойств“? Он не нуждается в ней, я проникнут сознанием этого, в сфере духа. Но он нуждается в ней в сфере жалкой действительности... Издательство, говорят, заявило, что не сможет финансировать продолжение этого труда, если не будет большого „успеха“».

Андре Жид в предисловии к своему «Коридону» уверял, что дорожит «только уважением нескольких избранных умов, которые, надеюсь, поймут».

Василий Андреевич Жуковский издавал альманах «Für Wenige» — «Для немногих».

Презирали успех (внешний) по самым разным причинам (отшельничество Роберта Музиля, снобизм Андре Жида, кокетство Жуковского), но... презирали. Тем и хорош троп Шкловского, что не только к нам он применим.

Берг так не считает. Он полагает, что

«при существовании „государственной“ литературы, когда регалии распределялись подчас в соответствии с идеологическими и нелитературными достоинствами произведений, критерий гамбургского счета, казалось бы, работал. „Советскую“ табель о рангах открывали лауреаты Ленинских, Сталинских и Государственных премий, хотя большинство читателей понимало, что Трифонов, Битов, Искандер лучше Маркова, Софронова, Кочетова. А вот лучше или хуже они „живущих на воле“ Солженицына, Владимова, Войновича или — Бродского, Саши Соколова, Лимонова (а то и совсем другая обойма — Пригова, Попова, Кривулина или Шварц) — каждый читатель решал по своему разумению, подключая все тот же „гамбургский счет“, или, иначе, „эстетическую значимость“ произведения».

Казалось бы, Берг в полном согласии со Шкловским.

Казалось бы, его текст поддается «переводу» в текст Шкловского. Пожалеушта:

По «гамбургскому счету» Маркова и Софронова — нет.

В Гамбурге Трифонов — у ковра.

Шукшин — легковес.

Искандер — сомнителен (часто не в форме).

Солженицын был чемпион.

Но это кажимость. Мнимость. Внимательному читателю ясно: то, что Берг называет «гамбургским счетом», вовсе не то, что называл Шкловский. У Берга это — обойма весомо звучащих имен. И вес здесь измеряется совсем не литературными достоинствами. Судите сами:

«...образовывались „референтные группы“, каждая из которых имела свою иерархию ценностей. И, конечно, имен. У каждого более-менее заметного писателя и поэта была своя группа поклонников, хотя эти группы имели и области пересечения; одни группы быстро распались и перестраивались, другие оказывались более устойчивыми...»

Так же было и у нас: общественное признание выпадало на долю советских литературных генералов, у которых были собрания сочинений, хвалебные статьи в газетах и журналах, гонорары, переводы, заграничные поездки, дачи в Переделкино и так далее. То есть их успех мог подаваться количественной интерпретации, мог быть сведен к некоторому числовому показателю. Но для референтной группы, скажем, Битова, было неважно, что он после „Метрополя“ невыездной (то есть важно — но с обратным знаком: невыездной — значит, честный) или что его „Пушкинский дом“ выпущен не тиражом в 100 тысяч экземпляров в издательстве „Советский писатель“, а мизерным тиражом в престижном для оппозиционной интеллигенции „Ардисе“ у Проффера.

В то время как для референтной группы Бродского важно было, что его стихи перепечатывались в сотнях и тысячах машинописных копий,

что их читали по западному радио, хотя и это было лишь дополнительным измерением к ценности непосредственно эстетической, определяемой в результате частных, дружеских разговоров и бесконечных посиделок».

Но собрания сочинений, мизерный тираж в престижном «Ардисе», стихи, читаемые по западному радио, и даже частные дружеские разговоры вкупе с бесконечными посиделками — все это не критерии «гамбургского счета».

По гамбургскому счету совершенно не важно, что Леонид Леонов — сталинский лауреат, а Тарсис — гонимый писатель-диссидент.

По гамбургскому счету важно, что Леонов — хороший писатель, а Тарсис — плохой.

Для того, кто оценивает писателей по гамбургскому счету, совершенно не важно: «Советский писатель», «Ардис», машинописная копия, — важен текст.

Берг с этим не согласен:

«...приватность была принципиальной, ее никак нельзя было зафиксировать, точно так же, как тот цирк в Гамбурге, в котором, по мнению Шкловского, лучшие борцы один раз в год боролись в полную силу. Свидетелями победы могли быть сами борцы и немногочисленные свидетели из особо посвященных. Но точно такой же цирк мог быть и в Лондоне или в Токио, и там были свои чемпионы, определяемые тоже по „гамбургскому счету“, но уже другому. То есть — по другим правилам».

То-то и оно, что для Шкловского никаких «других правил» и «других цирков» — не существовало.

Правило одно, как совершенно верно замечает Берг, — эстетическая значимость произведения. Она ни в коей мере не зависит от «референтной группы». Более того, там, где есть «референтная группа», — там нет места гамбургскому счету, там — «гражданская война в литературе».

Гамбургский счет возникает там и тогда, где представитель одной «референтной группы» внезапно начинает хвалить представителя другой «референтной группы».

Извольте примеры.

Фридрих Горенштейн в одном из первых своих «перестроечных» интервью говорил о том, какая блестящая литературная техника была у писателей тридцатых годов, как хорошо умели писать творцы «многопудовых» эпопей.

В наши дни Леонид Бородин говорит об этих писателях чуть ли не то же самое: «Роман мог быть каким-нибудь партийно-индустриальным, хотелось плевать, но жанр выдерживался великолепно: разнообразие сюжетных связей, обязательное их переплетение, развязка, ничто не повисает, нигде нитки не торчат...» («Независимая газета», 1996, 24 января).

Поверх всех и всяческих пристрастий — этических, политических, социальных — признание эстетического первенства другого — если не врага, то человека уж во всяком случае не «твоего круга»...

Личное воспоминание. Седенский старичок, «адвокат Ленина и большевистской революции», коммунистический, если можно так выразиться, диссидент или диссидентствующий коммунист, размеренно и этак раздумчиво: «Евгений Александрович Гнедин был возмущен „Лениным в Цюрихе“, а мне эта книжка понравилась. Ленин — очень убедительный. Я думаю, он таким и был».

Поясняю. «Успех» может быть связан с гамбургским счетом. Но с этим же самым «счетом» может быть связан и «не-успех».

Для Шкловского важно, что, «чемпион» по гамбургскому счету, Хлебников по всем другим «счетам» — проигравший, неудачник. Нищий, неприканный поэт.

Для Берга важно то, что все, кого он перечислил в составе «чемпионов» по «гамбургскому счету», вовсе не неудачники.

Какой же Солженицын — неудачник?

Битов? Саша Соколов?

Здесь — разница между людьми двадцатых годов и нами.

Люди двадцатых годов интересовались «неудачей», «неуспехом».

Человек двадцатых годов (Тынянов) и в авторе гениальной комедии видел прежде всего — неудачника («Смерть Вазир-Мухтара»).

Мы — другое дело. Нам бы пощупать, из чего сделан «успех». Нам бы понюхать «воздух удачи».

Нет ничего более далекого от атмосферы нашего времени, чем следующее рассуждение Тынянова (по поводу Кюхельбекера): «В состав славы входят, по-видимому, не только готовые или удавшиеся вещи, но и те неудачи, те затраченные силы, без которых не могли бы эти вещи осуществиться. Засчитываются тяжелые издержки исторического производства. Слава — это слово очень давно отлично от слова удача и не противоречит слову неудача».

И для Шкловского «хорошо», оказывается, накрепко связано с «неудачей», с «неуспехом» — житейским, издательским, читательским.

Этот интерес, эту симпатию к неудаче, к неуспеху люди двадцатых годов передали своим ученикам и последователям — поэтам-ифлильцам. Слуцкий: «Крепко надеясь на неудачу, на неуспех, на не как у всех...»; Глазков: «Куда спешим? Чего мы ищем? / Какого мы хотим пожара? / Был Хлебников. Он умер нищим, / но Председателем Земшара...».

Для Глазкова Хлебников потому и председатель Земшара, что — нищий. Для Берга Хлебников потому «чемпион», что его признала «чемпионом» «референтная группа» футуристов. Но это не так — Хлебников потому был «чемпионом», что писал хорошие стихи...

Тут разница между людьми революции и реставрации. *Revolutio* по-латыни — переворот, «переворачивание», превращение. «Последние будут первыми», маргиналы — в лидеры, лидеры — в маргиналы.

Отсюда и интерес людей революции ко всякого рода «маргиналам», неудачникам, тем-кто-на-обочине. Не важно, что при жизни они были обойдены славой, успехом, признанием, деньгами, — важно, что их «неудача» вошла в состав «посмертной славы».

Воздух реставрации совершенно другой: «неудача», «неуспех» может означать не только будущую славу, но и полное забвение, немоту, исчезновение.

Строки Твардовского: «Мы что кочки, что камни, / только глуше, темней, / наша вечная память, кто завидует ей? / Нашим прахом по праву завладел чернозем, / и посмертная слава — невеселый резон», — тем и хороши, что не к одним только погибшим «подо Ржевом» относятся.

Люди «реставрации» не удовольствуются посмертной славой. Нам нужен успех — здесь и сейчас, а с посмертной славой как-нибудь разберемся...

Еще о некоторых различиях в понимании «гамбургского счета»:

«Сегодня „гамбургский счет“ — это разбитая и рассеянная армия после сокрушительного поражения...»

Мне-то кажется, все наоборот: сегодня гамбургский счет — победитель.

Проиграла «партийная» литература и «партийный» подход к литературе.

«Когда, — как пишет Берг, — многотиражным изданиям произведений советских писателей противопоставлялся самиздат и малотиражные эмигрантские издания» — это была война и военная организация. Какой уж тут «гамбургский счет»...

Получивший на одну ночь «слепую» ксерокопию «Пушкинского дома» А. Битова, представитель «референтной группы» лихорадочно выискивал: «За что запретили?»

Не до изящной словесности.

Представитель другой «референтной группы», знающий, что Леонид Леонов — лауреат, мог и не утруждать себя чтением «Вора», «Барсуков», «Записок Ковякина»... Зачем?

«Референтная группа» Берга интересуется: был ли писатель лауреатом? имел ли «собрания сочинений, хвалебные статьи в газетах и журналах, гонорары, переводы, заграничные поездки, дачи в Переделкино»? был ли невыездным? издавался ли за границей? распространял ли свои произведения в самиздате?

«Судьям из Гамбурга» у Шкловского все это неинтересно. Им интересно, как означенный автор пишет — хорошо или плохо... Все прочее — не литература, а политика. Живая, так сказать, жизнь, а не мертвый текст.

Моментально (разумеется) возникает вопрос: а что такое хорошо? И что такое (как вы сами понимаете) плохо?

«Хорошо» для Берга и для его «референтной группы», оказывается, некрепко связано с «успехом»... И не надо, заверяет Берг, презрительно уздечку набрасывать — «внешний», мол, успех. Если человек не достиг успеха в «референтной группе» признанных советских писателей, то он достигает успеха в «референтной группе» честных советских писателей; если эта «референтная группа» ему не подходит, добро пожаловать к писателям, живущим «на воле», — к антисоветчикам и диссидентам.

Все мы вышли из комиссарской шинели.

Выше продемонстрированный подход — это настоящий, даже не социологический, а партийный подход.

Како веруешь?

«О, эти прекрасные по своей яростной чистоте и наивности споры 70 — 80-х, когда так легко было доказать, чем и почему Саша Соколов лучше Юрия Трифонова, а Веничка Ерофеев — Василия Шукшина».

Для «формалиста», «сноба» и «эстета» (то есть для судьи по гамбургскому счету) таких споров просто не могло быть — слишком разные эстетики у Юрия Трифонова и Саши Соколова, Венедикта Ерофеева и Василия Шукшина. Но для «социолога литературы» и «партийца» пары подобраны удачно.

Действительно, социальный слой, который изображали Юрий Трифонов и Саша Соколов, — один: интеллигенция Москвы, близкая к власти. И социальный слой, который изображали Шукшин и Ерофеев, — тоже один: «простой» народ и маргиналы.

Здесь есть о чем спорить, не так ли?

Как есть о чем спорить, имея в виду идеологическую позицию этих четырех писателей...

Шукшин и Трифонов остановились на той черте, что отделяла честного советского писателя от писателя антисоветского.

Саша Соколов и Венедикт Ерофеев эту черту перешагнули...

Но это все не «эстетические» споры... Политика, социология. Как угодно — только не литература.

Что такое «гамбургский счет» по моему мнению? Есть писатели — прославленные, знаменитые. И все знают, что эти писатели — знаменитые.

Кто не знал, что Бродский — великий поэт?

Все знали. КГБ знало (или знал?). Я — знал. Берг — знал.

Но это — еще не гамбургский счет.

И есть писатели — незаметные, не-прославленные, но специалисты, профессионалы; те же самые знаменитые и прославленные писатели («судьи из Гамбурга») знают: вот эти-то незаметные и не-прославленные, не-успешные и не-удачливые и есть чемпионы; без их «неудач» и «неуспехов» не было бы нашей славы. Их «неудачи» — тяжелые издержки производства в истории литературы, которые стоят иных «удач».

Всем известны прославленные американские писатели Хемингуэй и Фолкнер.

И кто знает Шервуда Андерсона?

Правильно... Почти никто.

Однако именно его называли учителем и Хемингуэй, и Фолкнер.

Такими чемпионами по гамбургскому счету полнится история литературы.

Рид Грачев (Рид Иосифович Вите) — его известность не сравнить со славой Довлатова, с нобелевским лауреатством Бродского, с массовым советским признанием Веры Пановой.

Он жил в нищете при социализме, он ушел из дома и исчез после социализма...

У него не было никакой «референтной группы».

По всем признакам он должен бы попасть в «группу честных советских писателей» — ту, где Битов, Шукшин, Трифонов, — и не попал. Его просто не печатали. Для самиздата же он был недостаточно эксцентричен.

Он оказался — «ником».

Но это его «никтожество» не мешало Вере Пановой называть его гением, Довлатову написать: «Он выпустил единственную книжку — „Где твой дом“». В ней шесть рассказов, трогательных и сильных», — а Бродскому сочинить Риду Грачеву целую охранную грамоту, в которой были следующие слова: «Ибо Рид Вите — лучший литератор российский нашего времени — и временно этим и людьми нашего времени вконец измучен».

Панова, Довлатов, Бродский — судьи по гамбургскому счету, а не «референтная группа».

Их признание не прибавило Риду Грачеву ни денег, ни успеха. Но это и был настоящий гамбургский счет, а не боевой смотр сил перед штурмом твердыни тоталитаризма.

...О чем же написал статью Михаил Берг? Он написал статью об «успехе» и свободе художника в условиях странно капитализирующегося общества.

Проблематика статьи Берга далека от проблематики статьи Шкловского, как марксизм далек от формализма.

Смена стилей, направлений, литературных школ интересует Шкловского — и вовсе неинтересна Бергу.

Шкловский — механик. Ему интересно, из чего свинчен текст. Берг — социолог. Ему интересно, из чего свинчен успех.

«Что такое слава сегодня, когда уже нельзя проснуться знаменитым, опубликовав повесть или роман в „Новом мире“ или „Октябре“?» — спрашивает Берг.

В этом вопросе — невысказанная обида, затаенная горечь... Повезло же тем, кто сподобился, подсутил — напечатал повесть вовремя в «Новом мире» — и проснулся знаменитым!

Я плохо знаю историю «Нового мира», но вот несколько эпизодов из истории тоже знаменитого столичного журнала — «Юности».

В конце 60-х Сергей Довлатов опубликовал в этом журнале свою повесть «Интервью». Ну и что? А ничего. Как был неприкаянным забудыгой, так им и остался.

Не только не «проснулся знаменитым», но даже получил от приятеля стишки по поводу своего текста и своей фотографии в журнале: «Портрет — хорош. Годится для кино, но текст — беспрецедентное говно».

Фридрих Горенштейн в 1964 году в том же журнале опубликовал один из лучших своих рассказов «Дом с башенкой» — и снова ничего-ничегошеньки не случилось. На следующее утро он не проснулся знаменитым. Остался нищим, неприкаянным провинциалом.

Странно, но Берг невольно идеализирует то время.

Он человек умный и порядочный и потому всеми силами старается «оборонить» самого себя от этой идеализации, но — нет-нет да и прорвется сожаление по тому времени, когда все было ясно, когда критерии оценки были «принципиально групповые, внутренние, как бы чисто литературные („гамбургский счет“) — у богемы и обобщенно-объективные, сводимые к набору количественных показателей (а в конце концов и к коммерческому эквиваленту признания) — у истэблишмента».

А потом все это «обломилось», сгнуло... и что осталось?

«Современная западная культура настолько мощный, разработанный, конкурентоспособный механизм, ворочающий такими деньгами, что вполне может позволить себе быть деликатным и проставлять свои акценты пунктиром...»; «...Большая часть современного российского истеблишмента — отраженное явление... Луч, пущенный из района Садового кольца, получает стократное усиление где-то около Мюнхена или Бохума и возвращается обратно. А оставшийся внутри Садового кольца затухает на глазах, как паралитик, у инвалидной коляски которого отвалились все четыре колеса».

(«Затухающий паралитик» — искренняя интонация искупает неточность тропа!)

«Десять лет назад многие писатели, поэты, художники андеграунда были не богаче, чем сегодня. Но их отличало чувство внутренней правоты, независимости от общества, которое выдвигало свои критерии успеха, и ощущение самодостаточности, ибо их легитимировала богемная среда, распавшаяся ввиду исчезновения противника в лице цензуры. Сегодня те же самые писатели и художники зависят от общественных вкусов и ориентируются на них, но их бывшие поклонники, для кого понятие „гамбургского счета“ не исчезло, с недоумением взирают на то, что делают их бывшие кумиры».

Мда... Ну просто-таки:

Земля, как в древности, лежала,  
Но я не так соображал:  
От Председателей Земшара  
Сбежал куда-то их Земшар.  
И погорельцами с пожара,  
Не ожидая новых весн,  
Мы очутились без Земшара,  
Как паровозы — без колес.

(Н. Глазков)

Смутный и путанный, наукообразный и «вульгарно-социологический» текст Михаила Берга чем-то притягивает.

Потом догадываешься, чем: в тексте два голоса.

Один — слышимый, раскатистый, уверенный и самодостаточный, так и сыплющий «ученостями»: «референтная группа», «вакуум фигуральных значений», «стратегии в пространствах успеха», «андеграунд», «истеблишмент», Б. Гройс, М. Ямпольский...

Другой — почти неслышимый, тихий, чуть взвинченный, переходящий в еле различимое бормотание: «паралитик», «инвалидная коляска», «что-то вроде гиперболоида инженера Гарина», «разница, как между Москвой и Жмеринкой», «разбитая и рассеянная армия после сокрушительного поражения», «литература на наших глазах превратилась из наиболее престижных в одно из самых непрестижных...».

Первый голос напористо и умело объясняет второму (бормотуну, шептуну): все идет правильно. Иначе и быть не может! Надобно анализировать не «стиль автора», не «текст произведения», а «стратегию художника. Стратегия Пригова, стратегия Лимонова, стратегия Евтушенко, стратегия Солженицына, конечно, больше, нежели совокупность текстов».

Надо же понимать:

«Вместе со свободой и рынком мы вступили в ту культурную ситуацию, которой, по крайней мере сейчас, управляем не мы, не издательство „Слово“ или журнал „Птюч“, а престижные журналы и издательства, входящие в систему „contemporary art“».

А как по-другому?

«У современной России нет денег на собственный вкус!»

«Бормотун» в ответ не унимается, его «бормотание» уходит в «затекст», прорываясь изредка нелепыми уродливыми метафорами вроде «затухающего паралитика, у инвалидной коляски которого отвалились все четыре колеса».

Впрочем, бормотание реконструируется легко. Да что же это? Куда все делось? И надо было избавляться от партийной цензуры... чтобы теперь зависеть от... денежного мешка... Фу, это глупость, ленинизм какой-то... Пошлость антибуржуазная... Но что же это получается? Выходит, тогда было лучше? Захотел «продаться» — продался. Тут тебе и дача в Переделкине... Не захотел продаваться — тебе всеобщее уважение... «Старик, ты — гений!..» И все это исчезло, исчезло... Неужели прав этот кровопийца: либо — зависимость от партии (ну да, я знаю, от «референтной группы»), либо — зависимость от денежного мешка? И третьего не дано?..

Это — забавное явление, когда явная и открытая отсылка к одному тексту («Гамбургский счет») камуфлирует, скрывает даже от автора, от создателя связи с другим текстом, с хрестоматийным, в десятом классе советской школы тщательно законспектированным:

«Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в рамках и картинах, проституции в виде „дополнения“ к „святому сценическому искусству“?» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 12, стр. 104).

Ну, разумеется! «Партийная организация и партийная литература», референтная, так сказать, группа и литература этой самой «референтной группы».

Что лучше, что предпочтительнее для художника: зависеть от «спроса и предложения» в условиях рынка или зависеть от «референтной группы» в условиях отсутствия этого самого рынка?

Ведь это-то и есть невысказанная мысль, невысказанный вопрос Берга.

На этот вопрос Шкловский в «Гамбургском счете» не отвечает. Его (формалиста и эстета) это не интересует.

Зато на этот вопрос отвечает Владимир Ильич в «Партийной организации и партийной литературе».

Разумеется, отвечает Ленин, художник всегда предпочтет зависимость от боевой референтной группы (партийной организации), сплоченной ненавистью к тоталитаризму (к миру угнетения) и любовью к свободе, зависимости от денежного мешка, от безличного рынка, «деликатно проставляющего свои акценты пунктиром».

Берг не может принять этот ответ... Слишком много за этим ответом — крови и... плохой литературы («советской» вместе с «антисоветской»).

Но и безличная власть рынка ему отвратительна — все-таки художник...

Как быть? Куда деваться? Что делать?

Неизвестно... Во всяком случае, не разрешать себе тосковать по тому времени, когда в твоей «референтной группе» о тебе или о твоих знакомых судили по «гамбургскому счету».

Это был не гамбургский счет.

Берг — и не разрешает, но порой его «не-разрешение», его первый напоистый и самодостаточный голос, его «сверх-я» сбивается, путается — и тогда в тексте проступают черты «пратекста», донельзя искаженного и потому комичного:

«Ощущение декоративности, призрачности, иллюзорности общественной жизни вызвано не тем, что «элита» *страшно далека от народа*, а тем, что она находится в *вакууме фигуральных значений*» (выделено мной. — Н. Е.).

Эта фраза кажется мне вполне символической. В этой крупинке текста, как в капле воды, отразился весь процесс формирования нашей современной общественной мысли. Естественному, достаточно точно зафиксированному

ощущению («ощущение призрачности общественной жизни») дается верное объяснение («элита» «страшно далека от народа»), но поскольку объяснение это уж очень одиозно звучит, то оно, в страхе за репутацию, отбрасывается и заменяется несусветной наукообразной чушью («элита» находится «в вакууме фигуральных значений»).

Что тут скажешь? Действительность всегда не по душе литератору.

Литература — дело битых, обиженных, униженных и оскорбленных.

Когда литературой начинают заниматься уверенные в себе «генералы», «водители», «инженеры человеческих душ», «представители референтных групп» — никакой литературы не получается.

Но зато как греет душу ощущение причастности к «референтной группе».

Может быть, оно и есть — ловушка?

С.-Петербург.





# РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

## ИСКУССТВЕННЫЙ ВЕНОК

Виктор Ерофеев. Русские цветы зла. М., Издательский дом «Подкова», 1997, 504 стр.  
(«Родная проза конца XX века. Лучшие писатели»).

**Р**ецензируемая книга — собрание самых разных текстов самых разных писателей, объединенное общей идеей. Идея принадлежит составителю, Виктору Ерофееву, и он, безусловно, имеет право вынести свое имя на титул издания — привилегия, принадлежащая, как правило, лишь автору оригинального произведения. Ибо по замыслу это собрание текстов должно быть не сборником, где, даже объединенные одной темой, авторы в разработке ее упорно тянут одеяло на себя, проводя и развивая собственную мысль, но единой книгой, где текст каждого автора, пронзенный составительской установкой, начинает раскрывать, иллюстрировать мысль составителя, не важно, нравится это самому тексту или нет. Забегая вперед, можно сказать, что большинству текстов это не нравится и они сопротивляются — даже довольно успешно.

Вообще, идея составления «собственной» книги из чужих текстов не нова, мягко говоря; не углубляясь в даль веков, можно сказать, что модернизм активно ее осваивал (не говоря уж, конечно, о постмодернизме). Но — надо отдать должное Виктору Ерофееву — он это делает гораздо проще и радикальнее, чем его предшественники. Те, как опытные соблазнитель, желая заставить текст или фрагмент текста забыть о его собственной задаче и проникнуться задачей овладевшего им «автора», прибегали к мягким уговорам и блистательным софизмам, к легким передергиваниям и циничным вывертам, обволакивали уже размягченный фрагмент волнами своего, авторского, слова, заделывая им швы грозящей расползтись ткани. Решение Виктора Ерофеева головокружительно просто: он скрепляет между собой весьма разнородные произведения... литературоведческим предисловием!

И все! И не вывернешься. Сказано, что ты «цветок зла», — изволь цвести соответствующим образом. У нас ведь литературоведческие предисловия сколько лет были вроде постановлений партии и правительства. Обжалованию не подлежит.

Но что, собственно, не подлежит обжалованию? То есть — каков приговор?

«Зло — это то, что отдаляет нас от Бога и людей» (из разговора с монахами Ново-Валаамского монастыря). Такой эпитафия выбирает Виктор Ерофеев для своей книги. И уже в сочетании заглавия и эпитафия заключена не то логическая несообразность, не то прямая подтасовка. Во всяком случае, части писателей, собранных (загнанных?) в книгу, впору прийти в ужас от подобного сочетания.

Писатели по самой сути своего ремесла всю жизнь пробивают две тропинки, кладя на это часто все силы, и счастье, и удачу, расплачиваясь за них несложившейся жизнью и растроченной любовью, всю кровь своей судьбы проливая в этой изнурительной работе («Я ломаю слоистые скалы» — это ведь о том же). Это тропинка к людям и тропинка к Богу. Иногда они выбирают неверный путь, иногда у них не хватает сил пройти последние несколько шагов, иногда, возможно, они не знают имени Того, к Кому идут. Но расцвести махровым цветом на том, что «отдаляет нас от Бога и людей», писателю затруднительно уже потому, что ему нужен читатель. Тоска одиночества, сквозящая в литературном произведении, не есть воспевание этой тоски и уж тем более не есть воспевание одиночества. (Я говорю об одиночестве, а не об уединении; воспевание уединения, кстати, даже Виктору Ерофееву не пришло бы, пожалуй, в голову облезать «цветком зла».) Крик ужаса не есть воспевание ужаса. Крик ужаса не отделяет от Бога и людей. Он призывает людей и Бога — даже вопреки воле кричавшего.

По этому пункту под статью приговора не подходят рассказы Валерия Попова и Виктора Астафьева. Первый, «Любовь тигра», — как тонкая, растерянная жало-

ба на неодолимое одиночество, прерываемое окружающими лишь для того, чтобы использовать героя в своих интересах. «Повествователь Валерия Попова, — пишет Виктор Ерофеев, — вступает со злом в неизбежный, этически вечно ущербный контакт оккупированного с оккупантом. Более того, в нем пробуждается зависть. Он бы тоже хотел так славно переступить через обстоятельства и законы, как его „злые“ герои, ему тоже хочется быть *хозяином жизни*, но не хватает смелости, мешает интеллигентность. Такая позиция не до конца у Попова отрешена, но обозначена».

Дело, однако, в том, что «повествователь» в разбираемом рассказе именно потому оказывается «использованным», что в глубине души сам склоняется к идее «использования» других людей. Его собственный несмелый цинизм и открывает путь чужому цинизму (герой-повествователь пытается, обратившись к бывшему приятелю, сэкономить на ремонте квартиры и в результате «оплачивает» ремонт дважды). Но то, что использовать людей, воровать у друзей — плохо, понимает не только «колеблющийся» интеллигент, но и неколебимый делег, все пытающийся, долго после того, как удачно «кинул» дружка, доказать свою правоту и честность. Итак, «чутье о чести» не потеряно, а, как писал Ф. М. Достоевский (которого уж не знаю с кем и перепутал Виктор Ерофеев, охарактеризовав его творчество так: «Русская классическая литература замечательно учила тому, как оставаться человеком в невыносимых, экстремальных положениях, не предавать ни себя, ни других», — что не то чтобы неверно, а как-то параллельно тому, что делал Достоевский, мало склонный к гуманистическому пафосу, верующий человек, писатель, чьи герои постоянно предают себя и других, но некоторым из них удается встать даже после глубочайших падений), — так вот, как писал Ф. М. Достоевский: «Можно быть даже и подлецом, да чутья о чести не потерять, а тут ведь очень много честных людей, но зато чутье чести совершенно потеряли и потому подличают, не ведая, что творят, из добродетели. Первое, разумеется, порочнее, но последнее, как хотите, презрительнее».

Так что если героям Валерия Попова все не удастся убедить себя в собственной добродетели, то в этом заключается большая надежда, а ведь «другая» литература, по Виктору Ерофееву, — антипод литературы, приемлющей философию надежды.

Виктор Ерофеев утверждает, что «новая литература колеблется между „черным“ отчаянием и вполне циничным равнодушием». Это утверждение, однако, не вполне справедливо. Дело в том, что между указанными точками расположен, с одной стороны, довольно большой спектр эмоций и душевных состояний, не чуждых усилию и надежде, а с другой стороны, они смыкаются друг с другом (как и любые крайности). Так что «колебаться» «новой литературе» особенно и негде: это либо литература черного отчаяния, либо — циничного равнодушия. Что касается рассказа Виктора Астафьева «Людочка» — он, действительно, походит на вопль отчаянного ужаса. Но отчаянный вопль не есть «черное отчаяние» — состояние, в котором, по определению, уже не кричат и не предпринимают усилий. «Черное отчаяние» — глубокий паралич личности, последняя ступень на пути к самоубийству не от внезапного порыва, но от холодного рассуждения. Потому оно и считается в православии самым страшным смертным грехом. И в этом грехе не повинны ни автор, ни его героиня.

Ибо самоубийство астафьевской героини — это найденный ею во внезапном порыве способ (она не знает других!) прекратить надругательство над своею душой и заставить содрогнуться помраченные души в тех, кто ее к самоубийству вынудил. Эта отчаянная и дикая попытка оправдаться и объяснить (оправдаться перед неведомым Богом и объяснить не ведающим Бога людям) не есть акт отчаяния, как бы черен он ни был сам по себе. Это ее покаяние и проповедь. Об авторе Виктор Ерофеев пишет: «Сцена самовольной расправы (имеется в виду расправа отчима Людочки, бывшего зека, над инициатором изнасилования. — Т. К.) — достаточно сомнительная победа добра — вызывает у автора предельное удовлетворение. Георгий Победоносец убил гадину. Сквозь повествование проглядывает трогательная душа самого автора, но злобные ноты бессилия, звучащие у Астафьева, свидетельствуют в целом о поражении моралистической пропаганды».

Довольно забавно, что желание выглядеть объективным приводит Виктора Ерофеева к соображению о трогательности души человека, у которого сцена самовольной расправы вызывает «предельное удовлетворение». Все-таки если душа «трогательная», то впечатление от самовольной расправы должно быть несколько иным.

И Астафьев, кажется, все же не повинен в злобной радости, нет. Писатель, действительно отчаявшийся в том, что добро способно положить предел беспределу зла, показал, как зло запредельное начинает наводить порядок в мире. Не Георгий Победоносец на дракона, но «пахан» наступает на «шантрапу», наводя на нее ужас глазами, полыхающими нездешним, адским огнем. В мире, забывшем Бога, начинает править бал известно кто. И в этой ситуации, как показал, например, Михаил Булгаков, его приговоры часто оставляют впечатление неземной справедливости. Пути Господни неисповедимы, заставить мир вспомнить о забытом Боге случилось и сатане.

Вообще, после конкретных, поименных «приговоров»-интерпретаций Виктора Ерофеева возникает странное чувство: словно он читал не те произведения, которые напечатал в своей книге, но какие-то другие. Вот, например, о Фридрихе Горенштейне: «...у „черной овцы” „шестидесятничества” Фридриха Горенштейна уже почти нет никакой надежды на положительного героя. Им вынужден стать сам повествователь, с трудом справляющийся с безразличным чувством к жизни... Именно с такой точки зрения описан один день старухи *Авдотьюшки*... Сквозной для русской литературы тип *маленького человека*, которого требуется защитить, превращается в корыстную и гнусную старуху, подобно насекомому ползающую по жизни в поисках пищи». Такое об этом рассказе мог написать лишь человек, которому продукты доставлялись на дом с Центрального рынка или из закрытого распределителя, о чем он неоднократно и со вкусом осведомляет читателя во многих своих текстах. Ведь перед нами жизнь, которая приводит саму Авдотьюшку в неопределимый ужас, когда вдруг забытый запах копченой колбасы, давно уже распространявшейся лишь через распределители, а во дни Авдотиной юности доступной всякому жителю, решившему побаловать свою любезную, напоминает героине об этой самой юности. Жизнь, которую она разделяет со всеми исключенными из распределителей людьми своей страны, годы потратившими в очередях за едой. Украденная жизнь, над которой горько рыдает героиня, и эта жизнь — не повод для безразличия автора, как бы безразлично ни отнесся к ней составитель.

А что касается «положительного героя», то Горенштейн делает блестящий ход, возможный только в литературе, живущей надеждой. Положительным героем его рассказа оказывается тот, кто, на первый взгляд, должен был бы оказаться самым что ни на есть отрицательным. Это вор и пьяница, магазинный подсобный рабочий Терентий. Именно он принес придавленной в очереди Авдотьюшке в больницу передачу, аккуратно уложенную в потерянную ею кошелочку, о которой очень она убивалась и тосковала. А заканчивает Горенштейн свой безнадежный, с точки зрения Виктора Ерофеева, рассказ словами: «Значит, и в самых темных душах не совсем еще погас Божий огонек. На это только и надежда».

Многих еще хотелось бы защитить от приговора. И Сергея Довлатова, который совсем не в восторге от вынужденно циничной жизни своего вынужденно циничного лирического героя (более того, и сам лирический герой от нее вовсе не в восторге). И тревожного, нежного, мужественного Сашу Соколова, в котором Виктор Ерофеев разглядел лишь попытку использовать эстетизм в качестве формы нравственного сопротивления и который закончил свою «Тревожную куколку» одной из прекраснейших молитв, вознесенных Господу людьми XX века, молитвой о вере и ответе — самой важной со времен тютчевского диагноза человеку: «...и жаждет веры, но о ней не просит». И Виктора Пелевина с его хрустальным «Хрустальным миром», тонким звуком разбитого, небереженного чуда. И страстно-тревожного Евгения Харитонова, нездешне (хоть и «неправильно») влюбленного, прозревающего древний и невыразимо прекрасный идеал в своем очень земном возлюбленном, который никогда и не узнает о его любви. И уж совсем непонятно как попавшее в «букет» эссе блистательного Венедикта Ерофеева о Розанове, эссе нежнейшего человека, влюбленно написанное о человеке нежнейшем. (Здесь

нельзя не возмутиться количеством смысловых опечаток в прекрасном тексте, ставшем местами просто бессмысленным. Оно настолько превышает средний для книги уровень, что мерещится что-то вроде подсознательной мести составителя гениально одаренному однофамильцу.) И других.

Думается, однако, что Виктор Ерофеев будет раздосадован сей защитительной речью как проявлением недопонимания и недомыслия — ведь для него-то звание «цветка зла» не приговор вовсе, а нечто вроде ордена. Хотя это несколько непоследовательно для человека, испытывающего же потребность в беседе с монахами Ново-Валаамского монастыря (или, во всяком случае, испытывающего потребность осведомить об этой беседе читателя).

Тем не менее вполне можно допустить, что возникающая при чтении предисловия и книги мысль, будто Виктор Ерофеев — просто слабый литературовед, весьма наивного свойства. Скорее всего, разгадка происходящего заключена в своеобразном серийном подзаголовке книги, который гласит: «Родная проза конца XX века. Лучшие писатели». Вот для того, чтобы оправдать последнюю фразу, и пришлось «автору» кроме текстов, вполне сочетаемых с его собственным литературным творчеством (типа Пригова, Яркевича, Рубинштейна, Лимонова и т. п.), включить в книгу также и произведения, где живы мысль, душа и надежда. Соединить гербарий с живыми цветами или, скорее, оплести живыми растениями искусственный венок. И здесь — лучшее доказательство торжества этих произведений, опровергающее фундаментальную идею предисловия — идею того, что та к а я ли-тература уже не интересна.

В том-то и дело, что скорее неинтересна «другая» литература. Такую мысль внушают рассуждения самого Виктора Ерофеева по поводу рассказа Варлама Шаламова, коего он пытается представить «родоначальником» «другой литературы». «Как и герой рассказа „Тифозный карантин“, — пишет Виктор Ерофеев, — Шаламов „был представителем мертвецов. И его знания, знания мертвого человека, не могли им, еще живым, пригодиться“. Мертвец все видит по-мертвецки, что становится предпосылкой для остраненной прозы, не свойственной эмоционально горячей русской литературе: „Думал ли он тогда о семье? Нет. О свободе? Нет. Читал ли он на память стихи? Нет. Вспоминал ли прошлое? Нет. Он жил только равнодушной злобой“».

Но Шаламов вовсе не походит на своего героя. И его опыт — он знает это — важен для живых. Ибо он учит, что нельзя умирать прежде смерти. Вся жизнь живого мертвеца состоит лишь в борьбе за то, чтобы отдалить смерть, — задача, обреченная на неудачу по условию. Что может быть ужаснее — но и скучнее — длящейся агонии? Что может быть скучнее «равнодушной злобы»? Только «циническое равнодушие».

Таким образом, «другая» литература, заключенная между «„черным” отчаянием и вполне циническим равнодушием», очерчена в своей узости и неинтересна в своей безысходности. Это литература, где слова «мертвец мертв» не более чем тавтология, а слова «живой мертв» доказываются максимум в два хода. В литературе XIX века, которую Виктор Ерофеев так стремится свести к плоскому морализму, слова «мертвец мертв» были серьезной проблемой, и это, в конце концов, гораздо увлекательнее.

Невыразимо скучна на исходе XX века «литература», подобная рассказу самого Виктора Ерофеева, помещенному в книге («Сила лобного места»), и из-за этого ее качества к ней уже вряд ли приложимы характеристики, даваемые подобным «растениям» в середине века XIX — во вступлении к «Цветам зла» Шарля Бодлера:

Безумье, скарედность и алчность и разврат  
И душу нам гнетут, и тело разъедают;  
Нас угрызения, как пытка, услаждают,  
Как насекомые, и жалят и язвят.

Упорен в нас порок, раскаянье — притворно;  
За все сторицею себе воздать спеша,  
Опять путем греха, смеясь, скользит душа,  
Слезами трусости омыв свой путь позорный.

От души «другая» литература отказалась, понятие греха ей неведомо, слез не осталось — даже слез трусости. Впрочем, новые «цветы зла» в поливе не нуждаются. Они искусственные.

Татьяна КАСАТКИНА.

\*

## АКСЕНОВ ЕСТЬ АКСЕНОВ ЕСТЬ АКСЕНОВ

Василий Аксенов. Новый сладостный стиль. Роман. — «Знамя», 1997, № 5.  
Василий Аксенов. Негатив положительного героя. Рассказы. М., «Вагриус»,  
«Изограф», 1996, 304 стр.

Мы так долго друг друга шуточно называли «старик», что не заметили, как юмор этого обращения испарился.

*В. Аксенов.*

«День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен...» — сокрушается в известной русской пьесе профессиональный писатель Борис Тригорин. И пишет, бедный. Но он «реалист» и «гражданин» и своего читателя имеет. А я вдруг представил в этой роли потертого Константина Треплева, профессионального искателя новых форм, которому улыбнулась фортуна: вот он пишет и пишет, печатает и печатает, и все — о львах, куропатках, орлах и рогатых оленях, слившихся в общую мировую душу...

За последнее время Василий Аксенов издал в России сборник новых рассказов, частично распечатанных в журналах и теперь организованных автором в единое (будто бы) целое, включая зарифмованные фрагменты; публике также предъявлен новый роман, первая часть которого без сокращений публиковалась в журнале «Знамя», но только первая часть. К счастью, никаких «отважных попыток отважного прозаика» (как писала В. Шохина об «Острове Крым») «попробовать на ощупь нечто сугубо метафизическое»<sup>1</sup> не наблюдается. Щупать щупают, но не метафизически, а так.

«Негатив положительного героя» составлен из рассказов, написанных, как начертано на черной вагриусовской обложке, «по „горячим следам“ окружающей нас жизни». Но вот любопытно: лучшее в этом аксеновском «бель-леттр» об окружающей нас жизни то, что о себе и от своего лица, причем о себе — молодом.

Таков рассказ «Три шинели и Нос» — о юности, о конце 50-х годов (я пятидесятник, а не шестидесятник, подчеркивает прозаик), о покупке стильного пальто как проблеме без преувеличения экзистенциальной.

Самый удачный рассказ «АААА» — о давней поездке вместе с Анатолием Найманом на советский крайний запад, то есть на закрытый эстонский остров Сааремаа, благодаря протекции главного редактора тогдашней «Юности» Бориса Полевого. Полевой рекомендует молодому литератору обратиться к некоему генералу Порку из КГБ ЭССР, который и организует поездку (от этого генерала, как и от его подчиненного, полковника Томсона, прозаику пахнуло чем-то «английским» — а все потому, что эстонцы).

Хорошие, повторю, рассказы, напоминающие чем-то лимоновские (в данном случае это похвала); а когда в рассказе «Сен-Санс» Аксенов пытается дать автономный образ иранско-российского дельца Фазула, застреленного собственным охранником, все оборачивается заранее угадываемым набором новорусских штампов.

Но так и раньше было. Вспомним «Круглые сутки нон-стоп» (1976) с подзаголовком «Впечатления, размышления, приключения». Американские впечатления Аксенова, попросту — честные путевые очерки, и сейчас представляют интерес, а вот приключения вымышленного Москвича вкупе с вымышленным «антиавто-

<sup>1</sup> Цит. по кн.: Аксенов Василий. Собр. соч. Т. 4. М., Издательский дом «Юность», 1995, стр. 5.

ром» Мемозовым пролистываешь без сожаления. Поэтому, когда в рассказе «PhD, QE<sub>2</sub> and H<sub>2</sub>O» некий эмигрант С. Н. Корбут, осевший в США, плывет уже в начале 90-х годов из Нового Света в Старый на корабле «Куин Элизабет Ту», я думаю: а не пересекал ли сам Аксенов таким способом Атлантический океан? И если такой опыт у него имеется, то его гипотетический рассказ «Как я плыл на „Куин Элизабет Ту“» был бы куда, позволю предположить, содержательнее.

О Лимонове я вспомнил не случайно. «Когда Лимонов пишет не про себя, читать его безнадежно и скучно», — признается израильский эссеист Александр Гольдштейн в своем эссе об Эдуарде Великолепном<sup>2</sup>. Но так и Аксенов хорош (или только терпим, кому как), пока говорит от собственного лица, не прячась за спины пяти, как в романе «Ожог», персонажей (при том, что он личность гораздо менее «пассионарная», чем Лимонов).

Пишу это об обоих прозаиках с сожалением, как убежденный защитник художественного вымысла. Очевидное же преобладание в текущей словесности и вообще «серьезной» словесности нашего времени произведений от первого лица я связываю не с тем, что литература вымысла себя исчерпала, а с иссяканием у современных писателей собственно художественного дара, позволяющего создавать достоверные и независимые от автора характеры.

«Очень немногие из наших писателей наделены той невинностью, которая позволяет им наделять вымышленных персонажей жизнью и абстрагироваться от этих персонажей настолько, чтобы искренне полюбить их, заставив других людей сделать то же самое», — сокрушался еще в 1947 году Альбер Камю. Мы имеем тут дело не только с эстетическим, но и с человеческим кризисом.

И вот еще проблема. Лет двадцать назад прозаик Виталий Семин писал своему другу, поэту Леониду Григорьяну, о том, что ни один сюжет не держится без сопротивления: «Если книга устарела, если ее не станешь читать ночью или в трамвае — значит, снято сопротивление, которым она была жива. Как „снято“ — другой вопрос. Временем, наукой, сменой предрассудков, новым здравым смыслом, который из этих предрассудков состоит. Но книга жива жизнью сопротивления, которое когда-то вызвало ее появление...»<sup>3</sup>

Художественное произведение нуждается в чем-то находящемся вне его: Такой точкой отсчета (или отталкивания, то есть все равно отсчета) была для Аксенова советская власть. Не имеет значения, согласится ли с этим сам автор. Но все им написанное жило, читалось и получало какой-то смысл, какое-то значение только по отношению к существующей и очевидной, как сила тяготения, советской власти, хотя бы в тексте не было ни слова о ней, Софье Власьевне; а как правило, и слово наличествовало.

«Художник Орлович сидел в своей студии, что за старой стеной Китай-города, окнами на Большой театр. На дворе в декабре 1991 года подыхал советский коммунизм» (рассказ «Первый отрыв Палмер»)⁴. Художник Орлович не знал, продолжу я, что с концом советского коммунизма, с распадом «огромного уroda по имени Советский Союз» (рассказ «AAAA») ухнули в пустоту сочинения писателя Аксенова. Туда же, по-аксеновски выражаясь, *гикнул*ся и его новый роман, замысел которого сложился у писателя давно, еще на заре его американской жизни.

Итак, начало 80-х. В Европу, а затем и в США прибывает опальный советский режиссер, он же актер, поэт и самодеятельный певец Александр Яковлевич Корбах («там много от Высоцкого, от Тарковского, Любимова... собирательный, конечно, образ»<sup>5</sup>). Бегло описывается советская жизнь, эмигрантская жизнь в Аме-

<sup>2</sup> Гольдштейн Александр. Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики. М., «Новое литературное обозрение», 1997, стр. 329.

<sup>3</sup> Семин Виталий. Что истинно в литературе. М., «Советский писатель», 1987, стр. 352.

<sup>4</sup> На фоне ритуальной брани по адресу советского коммунизма, Советского Союза, «безымянной чекистской шелупени» и вообще «красной сволочи» особенно заметно — в рассказе «Досье моей матери» — тактичное по отношению к родителям, но художественно бестактное умолчание, что «обреченный дом Евгении и Павла» был домом члена бюро Татарского обкома партии, члена ЦИК СССР Павла Васильевича Аксенова.

<sup>5</sup> Аксенов Василий. Мой шестидесятник — это человек богемы. Беседовала М. Галина. — «Литературная газета», 1997, 13 августа, стр. 10.

рике, неизбежный «кризис идентификации»... Александр Корбах знакомится со Стенли Корбахом, хозяином могучей торговой фирмы «Александр Корбах», — оказывается, что они дальние родственники. Всё.

В журнальном предисловии, объясняя, почему он предпочел напечатать в «Знамени» только первые главы романа вместо привычного «журнального варианта», Аксенов пишет: «Такая публикация создаст своего рода ловушку для нашего „творческого читателя“, в которую он охотно пойдет, поскольку знает условия игры, предложенные еще Андреем Белым. Проборматывая по его рецепту некоторые фразы вслед за автором, этот читатель к концу чтения почувствует себя соавтором и волей-неволей представит собственную модель всего текста, оставшегося за бортом журнала. Таким образом, у читателя возникнет желание взять книгу и сравнить свою модель с авторской...» Очень трогательно и естественно эта вера в своих преданных читателей, но я к их числу не принадлежу, и у меня сложилось иное мнение: не так важно, что там будет дальше, уж что бы там ни было.

Конечно, отдельное издание я купил и прочел<sup>6</sup>, профессия у меня такая, и только утвердился в первом своем впечатлении, а именно: все дальнейшее (всемирный съезд Корбахов и их семейные разборки, амуры с дочкой самого богатого Корбаха — Норой и полет Норы в космос, торговля наркотиками на автостоянке и должность режиссера «при университете», Горбачев и перестройка, ГКЧП, Крючков и «Альфа», Ельцин на танке и Саша Корбах на баррикадах, однообразные половые эксцессы и регулярные погружения в еврейскую родословную...) не имеет никакого иного значения, кроме вполне самодостаточного сцепления многих слов со многими другими словами.

Тут самое время спросить: что вообще происходит в книгах «выдающегося писателя современности» (выражение с обложки романа)? Происходит, простите за неловкую грамматику, одно — аксеновский язык. Этот специфический антисоветский язык как вызов и как альтернатива (по-моему, ложная) не менее специфическому советскому языку всегда являлся и является поныне их единственным содержанием, что, заметим, было бы достаточным для поэзии, но маловато для прозы. Поэтому вряд ли стоит жестко противопоставлять одни его произведения другим как более удавшиеся менее удавшимся, например: «Ожог» — «Острову Крым», «Скажи изюм» — «Желтку яйца», «Звездный билет» — «Московской саге», «Московскую сагу» — остальным произведениям и т. д.<sup>7</sup>

Конечно, Аксенов — всегда Аксенов (словами Ст. Рассадина, «один из самых что ни на есть советских писателей», но — «с человеческим лицом»<sup>8</sup>); «та же фактурность, та же элегантность, та же неровность, если не сказать расхлябанность, та же „потаенная“, но такая очевидная — сентиментальность, — откликнулся А. Немзер на первое отечественное издание „Острова Крым“. — Слайдово-рекламная роскошь южных („южных“ можно заменить на „американских“. — А. В.) пейзажей, чередующаяся со слайдовой лиричностью пейзажей московских. Гротеск, но в меру. Цинизм, но напускной. Жизнелюбие, сквозящее в каждой строчке, даже если кошмар, даже если ненависть, даже если отчаяние дышат в словесном месиве, — все равно почему-то весело...»<sup>9</sup>. Аксенова хочется пародировать, одобрительно писал критик.

Да нет, не хочется и просто невозможно. «Бледно-голубые, с морозной просинью, охладители малоуместных фантазий несколько секунд взирали на него, а потом как бы отшвырнули за ненадобностью» («Памфилов в Памфилии»).

Зачем пародировать, если можно цитировать? А это дело я люблю.

«Там, в драпированном алькове, вдруг всю захлестнуло ее школьными лиловыми чернилами. Сама вдруг уподобилась непроливашке из тех, с конусовидными

<sup>6</sup> Аксенов Василий. Новый сладостный стиль. Роман. М., «Изограф», 1997, 560 стр.

<sup>7</sup> О «конформистской», по определению Владимира Новикова, но действительно стоящей несколько особняком «Московской саге» см. также в статье В. Сердюченко «Могикане» («Новый мир», 1996, № 3).

<sup>8</sup> Рассадин Ст. Будем читать Плутарха. — «Октябрь», 1991, № 1, стр. 204.

<sup>9</sup> Немзер Андрей. Странная вещь, непонятная вещь. — «Новый мир», 1991, № 11, стр. 243.

внутренностями, что, как ни переверни, держали все в себе. Когда-то такими чернилами на промокашке рисовала крошка кавказских джигитов с внешностью Шапоманже. Сейчас этот джигит оказался главным предметом всего набора, длинной ручкой-вставочкой с пером 96, которым он ее остервенело трахал. Чернилка-вливалка, лиловый поток, и шатко, и валко кружит потолок. Свобода мерещилась усталому уму Анисьи» («Новый сладостный стиль»).

Специально выбирал места, которые не являются ни монологами персонажей, ни голосом условного рассказчика. Но и то, что можно с натяжкой приписать персонажу, ровно ничем из авторской речи не выделяется: «О, Божий мир в калифорнийском варианте, как ты хорош! Как бриз твой охлаждает и взбадривает воспаленную личность „венца природы“! Позитивистская философия иной раз аукается, как отрыжка арахисовым маслом, но море сияет, темно-синее, вот истинный шедевр! К нему в придачу пальмы потрескивают под ветром своим оперением. Стоит июль 1983-го. Брежнев уже восемь месяцев как свалил. В Москве царит Андроп. Америка готовится выстоять советский „последний и решительный бой“. Чайка взлетает с антенны. То, что было похоже на хвост, оказывается крыльями».

Но и внутренний монолог Корбаха стилистически тождествен авторскому голосу: «Что с ней происходит, думал он, накачивая ее, трахая. Закроешь глаза, кажется, что двадцатилетняя деваха в руках. Вся колышется и дрожит. Эй, я же взвинчиваюсь спиралью, вроде башни Третьего Интернационала! А вот теперь парю, как птеродактиль Летатлин с добычей. Откуда такие мысли дурацкие берутся во время траханья?» Действительно, откуда?

Ладно, это был персонаж наш, российский, хоть и на американской земле. А вот натуральный американец смотрит на американскую же природу: «Деревья уже начинали желтеть, господа. И багроветь, милостивые государи. И законьячиваться в глубине рощ, если это кому-нибудь интересно».

Еще?

«Зубцов, похоже, хотел ограничиться солидным, едва ли не вельможным, кивком в адрес Фазала, однако тот сразу напомнил ему о субординации, пригласив приблизиться легким спуском правого века и еле заметным сгибательным движением ладони. Зубцов тут же сообразил, что неправильно себя повел. За годы работы в своем сраном комитете он усек, что в мышечной системе человека недаром имеется в два раза больше сгибателей, чем разгибателей. И немедленно подскочил на цирлах» («Сен-Санс»).

«Телочка идет одна, попкой поигрывает, талия стрекозиная, юбчонка-варенка открывает сгибы юных колен. Корчагин машинально сбросил скорость, медленно поехал за телочкой, с каждым оборотом колес наливаясь неуправляемой похотью, что с ним, к сожалению, иногда случалось... Он прибавил ходу в надежде увидеть физику лица, от которой желание быстро увянет. Мордочка, однако, была обезьянья, так что у Павла чуть молния на джинсах не разошлась» («Титан революции»).

«Уж и следующий день занялся над невинной Вирджинией, и в тлетворной Москве стало вечереть под осыпающимся пеплом, когда министр грохнулся на колени, обхватил ноги Палмер всечеловеческим объятием и бурно заговорил в манере дубль-МХАТа, временами погружаясь носом в женскую опушку, немного колючую даже через тренировочные штаны: „Возьми меня, Кимберлилулочка окаянная, мать-одиночка, ведь я твой единственный гуманитарный пакет!.. Не покидай меня, Дево, в апофеозе мечты о всемирной демократии! Леди Доброты, лишь в лоне твоём вижу вселенскую милость, гадом буду, ангел человечества!“» («Второй отрыв Палмер»).

Допускаю, что кому-то это нравится. Скажут: это ирония, стиль такой, фирменный аксеновский стиль.

Конечно, ирония, отвечаю я, конечно, стиль, и более того — невольная автопародия на ироничный фирменный стиль (пародия может помочь обновлению языка, а вот самопародирование — увя). Мне возразят: если и автопародия, то намеренная, тоже прием; ведь Аксенову-публицисту, выступающему, скажем, в «Московских новостях», не откажешь в умении излагать ясно и разумно. Ну, зна-



чит, продолжу я, это невольная автоавтопародия на то, что писатель считает остроумной автопародией, а результат один: изощренный стиль нашего стильного стилиста оказывается едва ли не хуже откровенного бесстилья женских любовных романов. И пресловутый мовизм, изобретенный лукавым Катаевым, тут ни при чем.

Несколько лет назад другой прозаик, Евгений Попов, предваряя своим вступительным словом «Скажи изюм», без тени юмора сообщил, что произведениям Аксенова обеспечена «сохранность во времени и пространстве»<sup>10</sup>. Что он себе зрительно представлял, выстукивая на машинке или компьютере эту фразу?

Мое воображение не идет далее египетской мумии, Ильича в мавзолее, букашки в янтаре. Ассоциации мои не случайны. Мертвый архаический язык, некогда бывший или казавшийся живым. Давно — в доисторическую эпоху, когда цвела желтым цветком юная бочкотара, а молодость, молодежность, была для прозаика ценностью самодостаточной, категорией чуть ли не политической и уж безусловно стили- и сюжетобразующим началом. Но, как говорится в хорошей пьесе Пристли, время нас побивает.

«Неслышно подошедший старый поэт Вознесенский...» — проходная фраза в одном из рассказов внезапно вспыхивает, взлетает с треском, как сигнальная ракета, и на миг освещает аксеновскую «литературную ситуацию». Совершенно хрестоматийную.

*«...Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, поднял вверх руку и сказал трагическим голосом:*

*— Умри, несчастная!..»*

*А дальше — помните?*

*«...Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:*

*— Прощайте пожалуйста!*

*И машет платком».*

*И слезы настоящие. Но это уже не важно.*

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

\*

## ГОЛОШЕНИЕ

Геянадий Русаков. Разговоры с богом. Стихи. — «Знамя», 1997, № 6; 1996, № 2, 9.

**К**огда Н. В. Гоголь писал в «Выбранных местах...», что в «лиризме наших поэтов есть... что-то близкое к библейскому», он имел в виду «то высшее состояние лиризма, которое чуждо движений страстных». Дальше он (в статье «О лиризме наших поэтов») цитировал стихотворение Н. Языкова «Гений», восхищаясь «строгостью величия» образа: «Когда, гремя и пламенея, / Пророк на небо улетал, / Огонь могучий проникал / Живую душу Елисея. / Святыми чувствами полна, / Мужала, крепла, возвышалась, / И вдохновеньем озарялась, / И Бога слышала она». У поэта прошлого века душа «возвышалась» в прямом и переносном смысле, лирическое пространство разворачивалось вверх. Гоголь уместно мог бы процитировать, скажем, и написанные при его жизни (хотя уже после «Выбранных мест...») стихи Ф. Тютчева, в которых духовное, метафизическое возвышение выражено особенно тонко: «...Как над этим дольным чадом / В горнем выспреннем пределе / Звезды чистые горели, / Отвечая смертным взглядам / Непорочными лучами».

<sup>10</sup> Цит. по кн.: Аксенов Василий. Собр. соч. Т. 5, стр. 9.

Не уверен, нужно ли специально оговариваться, что я не собираюсь поправлять нашего современника стариной, но, сравнивая, надеюсь лучше его понять. У современного лирика, даже соприкоснувшегося с «верховным источником лиризма», и с бесстрашием, и с величием Божиим все гораздо сложнее, по крайней мере — по-другому. К буквально такой, прежней, «духоподъемности» современный автор не стремится, во всяком случае, художественное пространство может развертываться у него и в «противоположную» сторону:

Машет бог рукой от палисада  
на своих высоких небесах.  
Дождь стоит посередине сада,  
молодой, в сиреневых усах.

Крот ладошкой складывает влагу  
и на части делит про запас...  
Дай мне, боже, важную бумагу,  
что ничто не кончится сейчас,

что пройдет по мокрой глине кошка,  
лапы отрясая на ходу.  
И повиснет солнечная крошка  
в навсегда увиденном саду.

Обмирщенность, одомашненность Бога ощутимы в этом простом бытовом жесте из вполне обывательского, мещанского (говоря по-старинному, безоценочно) «палисада» (который уже не назовешь «выспренным пределом») и в том, что лирический герой запрашивает у него, как у земного начальника, гарантийную «важную бумагу», но особенно смелой здесь получилась смысловая анафора, единичность первой и второй строф: крот, существо совсем не возвышенное, находящееся по отношению к Богу в пространственной, я бы сказал, «оппозиции», внизу, в земле, делает жест параллельный Божескому, и тем самым уравниваются «верх» и «низ», небесное и земное, замыкая единую обжитую, домашнюю вселенную, светлая уютность которой может (вполне пантеистически!) отразиться, сосредоточиться даже и в «солнечной крошке», то есть, видимо, в сияющей капле дождя.

Всякая тварь земная (убедимся и по русаковскому стихотворению «Сено пахнет бессмертьем...») «готова» «принять ободренье и ласку», находится под защитой Всевышнего, но у современного лирика это непременно или крот, или «вошь водяная», которая «грезит ликом творца», или еще что-нибудь такое подчеркнуто непозитическое. А примеров доступности, досягаемости Бога тоже можно привести немало: то лирический герой вполне панибратски предлагает Всевышнему «поговорить» за «стаканом» «под вялый огурец», то Господь, по одной из лирических версий, «возьмет пирожок из лукошка и надкусит его поперек».

Господь где-то совсем рядом:

И я тебя, творец, не то чтоб вижу,  
но слышу, как ты дышишь в темноте.

Да к тому же поэт как начал свои «разговоры» с 1991 года, так и пишет, подобно советскому редактору, слова «бог», «творец», «господь» с маленькой буквы, избегая тем самым торжественности и патетики, а значит, и намеков на величие в гоголевском понимании (его большие памятные циклы в «Знамени» назывались «Время боли» и «Имя муки», и «Бог» вначале писался там с большой буквы, а потом поэт поправился).

Но значит ли это, что «его» Бог совсем не великий и не могущественный, а лирический герой именно поэтому ведет себя с ним фамильярно? И ничего библейского, кроме темы и реминисценций, в русаковском лиризме нет? Думаю, есть нечто ветхозаветное в этой немислимой пространственной близости, досягаемости, в непосредственном взаимодействии лирического героя и Бога («его» поэтического Бога, конечно). Ведь и в Ветхом Завете Бог являлся патриархам и пророкам и даже боролся в прямом, физическом, смысле с Иаковом, чтобы дать тому

возможность почувствовать силу, после чего тот получил имя Израиль, что значит Богоборец. Почти как в стихах Русакова, восходящих к этому преданию:

Не зря же нас свело наперехлест руками!  
Ломай меня, творец, — в глазах уже темно.

А богоборческие мотивы в его стихах — устойчивые («...с тебя, владыка яростной юдоли, / я в судный день потребую ответ!»). Романтическая выпренность в духе Н. Языкова поменялась на противоположный, но романтический же знак, и при этом учтено уже поэтическое «хулиганство» начала нынешнего века, когда могли написать: «Господи, отелись!» и проч.

Правда, в последней по времени публикации, в новейшей главе этой своеобразной русаковской «псалтири», есть и мотивы прославления Бога, но в обычной для автора демократической манере: «И воздам тебе, боже, хвалу, / что не бросил меня без пригляду». Но если обратно, в глубь времени, разматывать «лирический сюжет» поэтической книги, которая сложилась за семь лет у Русакова, то окажется, что чем дальше назад, тем диалог с Богом напряженнее, надрывнее, сердитее. Не потому, думаю, что поэт отрицает бытие Божие или сомневается в Его могуществе — как раз у него-то каждая «вошь» пронизана Божиим присутствием, и нисколько не умозрительно, без неопитской экзальтации. Но постоянно идет тяжба как бы между с о и м и. И чем резче герой говорит, спорит, обвиняет, требует (с «семейной» бесцеремонностью: дай! дай! дай!), тем настойчивее утверждает он свою и всеобщую неотрицательность от высшей инстанции, все «порождающей» и вездесущей одновременно («Не тесни ты меня, творец, / дай мне хлеба, плесни питья! / Я постройки твоей торец, / кровеносная вена твоя...», «Но даже я — нелепый сколок бога»).

Теперь о страстности-бесстрастии. «Перебери стихи Языкова, — писал Гоголь, — и увидишь, что он всякий раз становится как-то неизменно выше и страстей, и самого себя, когда прикоснется к чему-то высшему».

Правда, и наш современник продекларировал готовность быть выше самого себя, хотя повторенное дважды на строфу, да еще в рифменном месте, слово «обида» внушает прямо противоположное впечатление, по крайней мере — именно от этих строк:

Но кто найдет меня в моей норе-обиде,  
и губы разожмет, и пальцы укрепит,  
чтоб я дорассказал, как зорко сердце видит  
иное бытие поверх своих обид?

(Пока лирического героя, словно капризное дитя, уговоришь «разжать» сжатые обидой губы, вытащишь из «норы-обиды», уже и не очень поверишь, что он действительно «выше». См. также «мотив» «обиженной губы» в другом тексте: «Тот хлопотун, та тень на бледном воске — / с обиженной нижнею губой...»)

На нынешние великие потрясения многие поэты откликаются недоумением и горечью, в современном лиризме обнаруживаются не столько возвышенные чувства приобщенности к величию и совершенству творения (мироздания, человека), сколько настроения катастрофизма, алармизма, отнюдь не на пустом месте возникшие.

Ведь и век двадцатый всех замучил, и конец века изрядно надоел, а все не кончается. Если говорить о тематической стороне стихов, появившихся в «Знамени» еще в 1991 году (№ 2 и 10), то они и ныне, к сожалению, не устарели:

Опять гудит гоньба и мечутся народы.  
Отболевает век и кровь идет на кровь.

Впечатляющие картины страшного запустения, дичания, взаимного истребления не кажутся сегодня игрой воображения или чистой реминисценцией из Книги пророка Исаии (на которого не раз ссылается автор), а сложный, надрывный диалог с Богом — далеко не только личная трагедия:

Будут жены стенать, задыхаться рыданьем и криком.  
Лес войдет в города и на площади кинет зверье.

И в моем ненаглядном, в отечестве, трижды великом,  
совершится глумленье и распря во имя твое.

.....  
Пусть я лучше уйду до прихода разора и смуты,  
не увижу, не вспомню тобой уготованных лих.

И к ладоням твоим наклонюсь, чтобы выпить цикуты.  
Наклонюсь, чтобы выпить. Но лишь из ладоней твоих.

(Не подобное ли страшное «обещание» позднее выполнили добровольно ушедшие из жизни Юрий Карабчиевский, Вячеслав Кондратьев, Юлия Друнина, Борис Примеров?)

Апокалиптический ужас современного пророка, вызванный нечестием и духовным закоснением людей, историческими потрясениями («Прощай, империя. Я выучусь стареть, / мне хватит кривизны московского ампира. / Но как же я любил твоих оркестров медь! / Как называл тебя: «Моя шестая мира!»), соединяется, совпадает с личной трагедией, которая «не отпускает» поэта, став внутренним импульсом к возникновению стихов, далеких от сугубой молитвенности, от смирения и бесстрастия: «Не смирюсь, не отдам, не прошу! / Покажись — я в лицо твое гляну! / На хребте к тебе камень втащу, / растрясу твою скудную манну!»

Другое дело, что не прощая, обвиняя всех и вся, а Господа Бога прежде всего, герой таким парадоксальным образом пытается избыть свое собственное чувство вины, которое проходит сквозь стихи как одна из самых устойчивых тем («...что ты давно ни в чем не виноват, / и к тем смертям от века не причастен. / Что ты прощен и просто сходишь в ад, / и так до слез неистово несчастен...», «Я виноват во всем, / а ты во всем права», «На мне мои вины. А женщина невинна», «Я лжив и подл, я от неверья черен. / Суди меня за все мои вины!», «Прости, родная. Ты во всем права. / Но как же я с моей неправотою?», «И предал я, творец, любовь мою — / молчаньем, взглядом или полусловом»).

Не думаю, что критика справедлива, не слишком часто обращаясь к творчеству Русакова, хотя могу попытаться объяснить, в какой зазор попал поэт: критиков «духоподъемных» может отвлечь подчеркнуто демократический тон «разговоров», а критиков «прогрессивных», возможно, не слишком вдохновляют как «божественность» его тематики (это теперь спешат объявить суррогатом новой идеологии), так и традиционность версификации (хорошо, что не распекают, как оно было с Рубцовым).

Между тем в стихах, исполненных муки, духовно и эстетически не совладавших со страданиями и тем самым не отстранившихся от них, прорываются образы сильные, запоминающиеся, несмотря на натурализм: «А я, среди вселенского распада, / слюной скрепляю трещины земли». Бывают, однако, и явные неудачи: «Болит моя беда и клычет (кычет? — В. С.) над гнездом. / И ангелы летят мостить телами реки».

Но вот те же крики и стоны, преображаясь, приобретают звучание чистое, внутренне стройное и завершенное, несмотря на надрывность:

Господу богу прошение  
от неверующего в него...  
Не прошение — голошение.  
Больше нет у меня ничего.

Господу богу рыдание  
от неверующего в него...  
Не рыдание — припадание.  
Больше нет у меня ничего.

Господи, грозною силою  
всепрощения твоего  
исцели, исцели мою милую!  
Больше нет у меня ничего.

«Голошение» — вот слово, которым поэт сам точно обозначает интонационную доминанту своего творчества. (В другом месте: «А я третий месяц на

свете / учусь, чтоб не заголосить...») В этих строчках слышим в прямом смысле «народный», «кольцовский», в частности, размер («не прошение — голошение», «не рыдание — припадание», «всепрощения твоего»), мелодию плачей и причитаний, и стихи эти, на мой взгляд, могут стать достойным залогом того, что лиризм, связанный с напевностью, ритмической симметрией (здесь почти упорядоченное чередование строк трехсложников с пятисложниками — логаэд своеобразный) и открытым, прямым лирическим излиянием, не исчерпал себя до конца.

Более того: своеобразный эффект его стихов — в соединении подчеркнуто старомодной регулярной метрики (даже с цезурами), открытого лиризма с «прозаической» детализацией, весьма выразительной, верно, оттого, что деталь является частью развернутой метафоры:

Ладонь сожму — а ты внутри шуршишь,  
щекочешь, пыль на пальцах оставляешь.  
И даже запах твой как будто рожь —  
как тот камзол, в котором ты летаешь.  
.....  
Я отпустил — ты пляшешь у лица,  
зовешь — куда? Ну, так веди, вожатый!  
...И словно нам в ладони у творца —  
в полураскрытой. Нет — непрочно сжатой.

Находясь в могущественной «руце Божией», человек, по Русакову, может разделить судьбу какой-нибудь бабочки или моли, достаточно только — намеренно или произвольно — сжаться руке, и зловещее впечатление производит как раз намек на возможность случайного, «слепого» сжатия всеисильной руки. Поэт довольно часто превращает стереотипную «свернутую» метафору в развернутую. Метафорическое устойчивое словосочетание, восходящее к определенному жесту (а жест понятно почему развертывается: у него есть пространственные координаты), приобретает почти изначальный, зримый характер: «Я хотел бы до судного дня / провисеть на твоей поле», «Отныне я на ошупь узнаю / твою неутешающую руку», «Я тебе поставил свечку, молча слезы проглотил: / мне нельзя прилюдно плакать, я пятидесятилетний, / я большой, я буду дома биться в стенку головой».

А если заглянуть поглубже во время, то мы вспомним, что надрыв, страстность, напряженность, тревога, даже взвинченность присущи были и давним стихам Русакова, например из знаменитого «кузнецовского» «Дня поэзии» 1983 года: «Время любит своих бесноватых / и своих простаков бережет, / хоть порой, без вины виноватых, / слишком коротко, в общем, стрижет. / Что им, божьим непуганым птицам? / Все равно, где клевать кожуру, / в мясоед по бесхлебью поститься / и кликушествовать на миру. / Ни стыда и ни страха не зная, / в урожай предрекать недород, / будто вечная сила блажная / распирает им яростный рот? / ...Где мне взять это зренье с изьяном, / эту страсть, этот яростный рот? / ...Им везет, словно детям и пьяным. / Им, юродивым, вечно везет».

Конечно, можно было бы заметить, что человек бесноватый, одержимый, то есть больной, совсем не то, что юродивый ради Христа, сознательно взявший на себя такой подвиг. Но не будем буквоедами. Просто заинтересовало самое общее сходство интонационного контура, очерчивающего единство поэтического темперамента, что позволяет судить о неслучайности сегодняшних образов и сегодняшних неразграничений.

Мне уже доводилось писать об известном — надеюсь, временном — иссякании лиризма как пафоса («ролевая», «масочная» установки, жанр минималистской «надписи», разнообразные визуальные «тексты для рассматривания», усиление повествовательного начала и т. п.); об имперсонализме и анонимности в современной поэзии писали и другие авторы (в том числе и сами поэты). Что ж, для лирических порывов необходимы особые условия, импульсы, нужны мечта, вера, очарование, которых сейчас, видать, не хватает. Зато есть поводы для обиды на все мироздание.

На этом фоне заслуживает пристального внимания резко и выразительно обозначенное Русаковым лирическое Я, нашедшее воплощение в уникальном (и глу-

бинно традиционном) образе голосящего плакальщика, столь мучительно избивающего горе горькое — свое и наше.

Кому при таких обстоятельствах порывается возвратить билет русский писатель или его персонаж, известно: Тому, Кто создал мир и Кто, по человеческому разумению, в ответе за все, в том числе и за внутренний разлад (у Русакова даже есть стихотворение, начинающееся совсем по-достоевски: «А мне отныне все позволено...»).

Наступит ли облегчение? Но с этим вопросом — все-таки не к самому поэту.

Владимир СЛАВЕЦКИЙ.



### «ПРОСТЫМ РОЖДЕН Я БЫТЬ ПЕВЦОМ...»

А. К. Толстой. Против течения. М., «Книжная палата», 1997, 472 стр.  
(Серия «Русский Парнас».)

**А**лексей Константинович Толстой — один из самых обделенных русских классиков. Он обделен отнюдь не читательской любовью (своя, причем рафинированная, аудитория у него была всегда), но богатством и разнообразием изданий. Нет хотя бы тоненького однотомника «А. К. Толстой в воспоминаниях современников», не выходила отдельным изданием его богатая переписка с русскими писателями (я имею в виду худлитовскую серию, ныне почившую, но успевшую отразить толстый слой отечественной эпистолярной культуры), не издавались и сборники «А. К. Толстой в русской критике» или «А. К. Толстой об искусстве» — тип изданий, вообще говоря, сомнительный, но свидетельствующий о степени освоения писателя, о его включенности в современную культуру.

Может показаться, что Толстому просто не везло: до него не доходили руки филологов. Но литературная судьба не бывает случайной, за ней стоит долгая интрига, которая плетется, как ни странно, при ближайшем участии самого поэта.

Толстой, как известно, не солидаризовался ни с одним из лагерей общественной мысли, не примыкал ни к одному из литературных кружков. Отсюда его маргинальное положение в литературе эпохи, что не могло не отозваться и в дальнейшем, поскольку русская словесность всегда в той или иной мере живет в поле идеологических манипуляций. Если Достоевского — хоть и с оговорками — можно приписать к «почвенникам» и, кстати, кое-что объяснить тем самым в его судьбе, а Лескова нельзя читать вне его долгого и драматичного диалога с консерваторами, то Алексея Константиновича Толстого не припишешь ни к какому «ведомству», хотя он печатался и в славянофильских изданиях, и в западнических, и у либералов, и у консерваторов. Поэт с полным правом писал о себе:

Двух станов не боец, но только гость случайный,  
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,  
Но спор с обоими — досель мой жребий тайный,  
И к клятве ни один не мог меня привлечь  
.....  
Пристрастной ревности друзей не в силах снесть,  
Я знамени врага отстаивал бы честь!

Это признание смело можно ставить эпиграфом к любой главе из жизни поэта, к анализу любого его произведения, и все же исчерпывающего объяснения литературной судьбы — тем более судьбы посмертной — оно не дает. Вячеслав Кабанов, составитель рецензируемой книги, кажется, совершенно прав, что ушел от соблазнительного решения вынести эти хрестоматийные строки в начало книги, на какой-нибудь шмуц- или контртитул, на первую страницу или в подпись под открывающим книгу портретом. Составитель поместил эти строки почти в конце сборника, подарив читателю право самому размышлять о странной судьбе поэта — самому «дочитать» до этой поэтической декларации и оценить ее справедливость.

Книга вообще построена не вполне обычно, и в этом ее притягательность. По условию серии «Русский Парнас», в сборнике нет ни предисловия составителя, ни комментария — традиционных атрибутов массовых переизданий классики (лишь в некоторых случаях тексты сопровождаются «маленькими пояснениями» реалий). Смысловой фокус книги — в ее композиции, в неожиданном соположении произведений.

Составитель свел воедино довольно пестрый материал: лирика, проза, драматургия Толстого разных лет, его приватное слово (в основном письма к жене и друзьям), публичные выступления, а также немного воспоминаний о нем, выдержки из писем современников и из биографической литературы о поэте. Материал не разбит на рубрики, но развернут в коллаж художественных произведений и документов, говорящих сами за себя, часто «самокомментирующихся» благодаря соседству. Например, письма и лирические стихотворения, вызванные к жизни одним и тем же событием, исчерпывающе поясняют друг друга. В итоге баллада размещается рядом с интимной лирикой — иногда на пространстве одной страницы, историческая трагедия — рядом с частным письмом вполне обыденного содержания, романтическая проза соседствует с непристойными стихами. Из сближения разнородных текстов, не разделенных жанровыми перегородками, высекается совершенно особый эффект: лицо художника или, вернее сказать, его многоликий образ прорисовывается с поразительной рельефностью.

Даже того, кто неплохо знает поэзию Алексея Константиновича Толстого, благодаря такой композиции издания очередной раз поразит его изящный артистизм: богатство интонаций и легкая смена облика, органика метаморфозы ранимого поэта-пророка в молодого «охальника», восприимчивого к мистике художника в бережливого и осторожного майора. Смена масок, если правомерно назвать эти эфемерные образы масками, сочетается с удивительным постоянством мировосприятия, с верностью поэта самому себе. Толстой превыше всего ценил «свободу лица», прежде всего — внутреннюю свободу художника. Поэзия для него, по удачному слову Владимира Соловьева, — «выражение истины», которой он рыцарски служил, а истина неотделима от веры.

Толстой — поэт глубоко религиозный, но он не был создателем религиозной поэзии. Само творчество явилось для него актом веры, диалогом с Творцом и с Его созданием. Этот глубинный смысл позиции поэта, кажется, более всего важен составителю сборника, иначе в книге не было бы выдвинуто вперед, в самое начало, стихотворение зрелой поры «Против течения», где отрицание красоты отождествляется с богоборчеством, шестидесятники, с их утилитарным отношением к искусству, с их психологией «победителей искусства», приравниваются к «икон истребителям», а подлинная и свободная поэзия незаметно отождествляется с молитвой.

Толстой — редкий для второй половины прошлого века художник, сумевший «выпрыгнуть» из ключевых коллизий эпохи или, точнее, сумевший найти для них гармоничное решение. Драматичная для большинства его великих и малых современников коллизия красоты и религии, воспринимавшаяся сквозь призму столкновения греха и святости, у Толстого решается на удивление легко: и то и другое для него — нерасчлененный светлый образ, «источник сильный, который мир бы напоил водой целебной и обильной».

Дух сухого морализма и интеллектуального оскотления, на который так падки были разные его современники — от Льва Толстого до Константина Победоносцева, — счастливо миновал поэта. Православие оставляло его внутренне свободным — свободным и от обрядовой церковности, и от официального патриотизма. Только Алексей Константинович Толстой мог заявить: «наша родина» должна вернуться «в ее первобытное европейское русло»! Большинству современников Толстого эта фраза, безусловно, казалась оксюмороном. Если уж связывать исторические корни России (только не «первобытные»!) с Европой, то обязательно отодвигать куда-то подальше православие, что и делали западники, в основном либо атеисты, либо сомневающиеся, люди с нерешенным религиозным вопросом. Быть же православным и отстаивать европейские ценности, прежде всего идею

личности, отождествлять потребность веры с потребностью в творчестве — это и есть самое «толстовское», самое необычное в поэте. И заслуга рецензируемой книги в том, что всей своей композицией она подводит читателя к этому выводу.

Попутно проясняются и глубинные причины маргинального положения Толстого в литературе. Понятно, с какой натугой «двух станов не боец» вписывался в эпоху, окрашенную борьбой идеологов национализма (они же, как правило, атеисты). Понятно, что и следующим поколениям русского общества нелегко было разобраться с поэтом: не ясно было, где его место в идеологизированном поле русской словесности, похожем на расчерченную карту военных действий. Совсем из этой картины его изъять нельзя, не похож он на мифического защитника «чистого искусства» (Владимир Соловьев не зря назвал его «поэтом мысли *воинствующей*»), а найти место для него трудно: и к западникам примыкал, и «русопетов» принимал.

Толстой — воплощение такого глубинного уровня свободы, который оказался для отечественной словесности почти закрытым.

Удачным подбором и расположением текстов составитель провоцирует читателя на эти мысли. Конечно, можно его упрекнуть, что какие-то грани облика Толстого оказались затененными, иррационализм и пессимистические ноты — приглушенными, светлое и комическое начало вытянуты на поверхность. Однако расстановка акцентов — безусловное право составителя. Даже вольное обращение с хронологией кажется вполне правомерным. Скажем, стихотворение «Двух станов не боец...», созданное в конце 1850-х годов, помещено в подборке с письмами 1870-х, в контексте полемики поэта с либералами и консерваторами, и в итоге стихотворение читается как ответ тем и другим. Выстраивая собственный сюжет, составитель нарушает авторскую последовательность цикла «Крымские очерки» и вообще «скрывает» от читателя название и само существование цикла. Здесь тоже можно понять логику: ведь акцент сделан на духовной биографии, а не на творчестве поэта, важна не итоговая композиция цикла, а ход работы, движение мысли Толстого. Единственное, что сделать было совершенно необходимо, — не утаивать от читателя этих хронологических подвижек, не замазывать эту, повторюсь, вполне правомерную вольность, но попросту проставить даты под стихотворениями. Эта нехитрая операция не подорвала бы доверия к концепции составителя.

Можно высказать и еще кое-какие претензии к книге. Напрасно среди иллюстраций помещен храм Христа Спасителя: при жизни поэта он не был достроен. Напрасно недописанные поэтом строки графически оформлены как купюры, а некоторые действительно сделанные составителем пропуски в тексте не обозначены. Зря нам дважды рассказано, что Иван Осипович Вельо был директором почтового департамента, и ни разу не объяснено, например, что такое «поверочные комиссии». Жалко, что восторженный отзыв А. И. Кошелева о Толстом («Хомяков... говорит: после Пушкина мы таких стихов не читали») подан и без даты, и анонимно («из письма современника»): имя близкого к славянофилам и действительно осведомленного «современника» прибавило бы этому отзыву вес в глазах читателя.

И все же книга радует. Даже при том, что ее состав незначительно расширен по сравнению с самым авторитетным собранием сочинений Толстого, скрупулезно подготовленным И. Г. Ямпольским еще в 1960-е годы, она восполняет те самые издательские лакуны, о которых шла речь в начале. Толстому наконец повезло. Более того, мы получили книгу необычного жанра — то ли книгу самого Толстого, то ли книгу о нем, почти написанную им самим. И книга эта напоминает нам о том, как по-прежнему сложно складывается судьба поэта, писавшего об одном из своих героев (Иоанне Дамаскине), а по сути — как считали все его друзья, от Лескова до Владимира Соловьева, — писавшего о самом себе:

Я не могу народом править:  
Простым рожден я быть певцом,  
Глаголом вольным Бога славить!





### «...ГРОМАДНАЯ ЗАДАЧА ФИЛОСОФСКОГО ОБЖИВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА...»

Мартин Хайдеггер. Бытие и время. Перевод В. В. Бибихина. М., «Ad Marginem», 1997,  
452 стр.

Семьдесят лет назад, весной 1927 года, в гуссерлевском «Ежегоднике философии и феноменологических исследований» вышла работа Мартина Хайдеггера «Бытие и время». Ее дальнейшая судьба оказалась чрезвычайно богатой. На протяжении уже более чем полувека эта книга оказывает самые разнообразные влияния...

Первым событием, которое было спровоцировано появлением «Бытия и времени» (быть может, именно это подарило хайдеггеровскому произведению такую долгую жизнь), было неприятие книги Эдмундом Гуссерлем, учителем Хайдеггера, благоговейное посвящение которому стоит на первой странице этого философского труда. Главный феноменолог увидел здесь отступничество ученика, деградацию оснований собственной философии. Но для Хайдеггера написание «Бытия и времени» означало другое: успешная линия простой академической карьеры разорвана заявкой на новое начало. «Бытие и время» — это претензия на самостоятельный путь в философии.

Философское усилие Хайдеггера действительно парадоксально. Оно апеллирует, казалось бы, к традиции и пытается ею. Только это очень своеобразное обращение к традиции. Это скорее попытка опоры на некие первые силы мысли — они всякий раз выражены и в то же время недовыражены традицией. Это попытка опоры на живое основание мысли.

Не случайно эпиграфом к «Бытию и времени» стоит следующее замечание из платоновского «Софиста»: «Ибо очевидно, ведь вам-то давно знакомо то, что вы собственно имеете в виду, употребляя выражение „сущее“, а мы верили, правда когда-то, что понимаем это, но теперь пришли в замешательство». «Замешательство» — вот слово, которое, несомненно, привлекло Хайдеггера, на котором он делает внутренний акцент. В этом слове высказался некий модус, настрой, имя названа потенциальная область, откуда возможно новое начало движения. И Хайдеггер вторит Платону: «Есть ли у нас сегодня ответ на вопрос о том, что мы, собственно, имеем в виду под словом „сущее“? Никоим образом». Хайдеггер начинает с того «замешательства», сведения о котором глухо доносит до нас традиция. Модус нового начала заявлен.

Это вообще хайдеггеровский способ движения: он находит «потенциальные» точки традиции, откуда мысль лишь начинает путь своего оформления. Его менее всего занимает состоявшееся, определившее себя, то, что кристаллизовалось в академической философии. Такая направленность хайдеггеровского внимания — органический признак его мысли. Черта, которая получит дальнейшее развитие на пути все большей радикализации его творческого эксперимента.

В «Бытии и времени» хайдеггеровская интуиция нового начала присутствует уже в паузе между двумя словами, вынесенными в заглавие книги. Проявлена она, правда, пока еще только связкой «и». На следующем шаге она будет закреплена словом «Dasein». В этом имени — буквально: «здесь-бытие» — сосредоточена энергия радикального хайдеггеровского вопроса о смысле бытия. Вопросы, желающего пробиться сквозь толщу отвердевших традиционных пониманий мира к нашему присутствию в нем. Начало живого движения мысли к новой выразимости.

Исследователи часто говорят о новизне языка этой важнейшей для XX века философской книги. Однако, заметим, ресурсы хайдеггеровского языкового эксперимента не в архаике немецкого языка, но в использовании им конструктивных возможностей. Не случайны вводимые им многочисленные дефисные конструкции — посредством их создаются новые объемные, еще не освоенные пространства для мысли... In-der-Welt-sein («в-мире-бытие») — это не то же самое, что Sein

in der Welt. Синтетический конструкт In-der-Welt-sein, по замыслу Хайдеггера, должен дать нам интуицию сферы иначе организованной для мысли, чем привычные дисциплинарные области. В частности, здесь не оформляется разделение на субъект и объект.

«Бытие и время» насыщено этими языковыми находками, а точнее — изобретениями. Именно новизна языка, неузнаваемость и несводимость к старым формам, должна, по замыслу Хайдеггера, произвести эффект. Хайдеггер сделал ставку не на «память», не на якобы заложенное в археологических пластах языка богатство новых аллюзий, но на рациональную стратегию создания своего, беспрецедентного способа выразить мысль. Недаром философский эксперимент Хайдеггера оказался столь же вовлекающим в свои пределы, сколь и индивидуально-неповторимым.

Не появилась ли сегодня у нас более открытая возможность «вовлечься» в хайдеггеровский эксперимент? Издательство «Ad Marginem» опубликовало перевод знаменитой хайдеггеровской книги, сделанный известным филологом и знатоком Хайдеггера Владимиром Вениаминовичем Библихиным... Но чем дольше я читаю русскую версию «Бытия и времени», тем настойчивее меня преследует подозрение, что перед нами — нечто большее, чем перевод, если не сказать — нечто иное, нежели перевод. Владимир Библихин не ограничился задачей дисциплинарно-технической, но исполнил некую собственную, внутреннюю задачу. И я подозреваю, что у этой задачи было во многом иное, нежели хайдеггеровское, направление... В этом я и хочу попытаться немного разобраться.

Перевод «Бытия и времени» вызревал долго. Его ждали с разных сторон: от философов, которые еще в 70-е пытались переводить отрывки из этой книги, от известных филологов — переводчиков Хайдеггера, наконец, в конце 80-х обсуждали вероятность, что на волне увлечения Хайдеггером появятся бесчисленные переводы, созданные безвестными гуманитариями российских провинций... В 1993 году в сборнике работ Мартина Хайдеггера, подготовленном Александром Викторовичем Михайловым, был опубликован перевод нескольких параграфов книги и — одновременно — появилось осторожное обещание перевода «Бытия и времени», данное Библихиным в его предисловии «Дело Хайдеггера» к сборнику хайдеггеровских работ «Время и бытие» (М., «Республика», 1993).

Обещание — выполнено, книга — перед нами. И вышла в юбилейный год. Исполнилось семьдесят лет ее жизни в европейской культуре. Пошел ли новый отсчет ее жизни в культуре отечественной?

Полиграфическая форма издания русского «Бытия и времени» определенно стремится соответствовать сверхзадаче — аутентичности. Перевод встроен, как сообщается в примечаниях переводчика, в международно принятую пагинацию стереотипных тюбингенских изданий «Sein und Zeit», даже постраничный перенос делается если не на том же слове, то на той же строке. Первое обещание близости к оригиналу? Во всяком случае, настройка на таковую. Этому же настрою служит переводческая установка (чуть не добавила: «автора „Бытия и времени“...»). Но о ней — подробнее.

В упоминавшемся предисловии к сборнику «Время и бытие» Библихин уже высказал свое переводческое кредо: «Перевод Хайдеггера, строго говоря, невозможен... перевод лишь намекает на оригинал, не больше...» Однако тут «совершенно неожиданно на помощь приходит русский язык... своим пока еще никем почти не разведанным философским запасом». Русский язык не хуже немецкого для мысли... Не тронута философское богатство русского слова... И наконец: «Хайдеггер не ходил и не мог ходить путями, намеченными нашим языком...»

Еще одна попытка объяснить — в «Примечаниях переводчика» к самому «Бытию и времени». Сначала с помощью А. В. Михайлова (Библихин цитирует его слова из письма к профессору Фрильофу Роди): «Мы переводим... никоим образом не смысл текста, — ибо смысл непрестанно меняется с нашим толкованием текста и, т. о., с временем; но в еще меньшей мере переводим мы и где-то (лишь) терминологическую систему текста... но, через уверенность интуиции, мы пере-

нимаем что-то...» Затем, как бы подхватив этот пафос, Владимир Библихин еще раз пытается прояснить свое понимание перевода. Перевод философского произведения — это опыт философского обживания собственного языка. Это некая возможность, прислушиваясь к чужому философствующему языку, помочь языку собственному выявить заложенную и в нем способность.

Библихин, кажется, не одушевлен иллюзорной идеей, опираясь на собственное героическое усилие филолога, наверстать упущенное, проделав в русском языке работу, которая в силу многих внешних обстоятельств в отечественной культуре находилась в запустении... Его, похоже, вдохновляет утопия куда более глубокая — вера в то, что неразведанные запасы русского слова откроются чуткому уху и мысль потечет из этого источника органично, свободно, полно... Источник — пребывает, вопрос только в том, чтобы отыскать к нему путь, свой Holzwege, свою просеку.

А чистые источники, в чем уверен Библихин, лучше искать в дальних исторических пределах. Более близкими к «подлинной сути» языка представляются ему переводческие правила Кирилла и Мефодия. И еще он верит слуху Владимира Даля... В любом случае переводческое доверие оказывается дальнему, не находящемуся в активном обороте, а потому, как полагает переводчик, сохраненному и — продуктивному ресурсу языка. В нем наша затерявшаяся мысль должна обрести силу. Ставка на бескорыстную помощь нам — языка. Главное, чтобы усилие мысли не шло «поперек», но сообразовывалось с благотечением последнего.

В чем же состоит занятие переводчика? Однако сначала — в чем и как он отдает себе отчет сам. И здесь нам может многое прояснить другая книга, принадлежащая не Хайдеггеру, но самому Владимиру Библихину, — книга, имеющая название «Мир»<sup>1</sup>. Одно из первых пространных размышлений в ней — о «настроении». Только не о привычно называемом этим словом психологическом явлении, а о некоем метафизическом состоянии, «настрое», куда необходимо попасть, чтобы стать восприимчивым, открытым звучанию мира. И — начать рассуждать самому... Похоже, именно роль такого «настройщика» уготована Библихиным тексту Хайдеггера. «Бытие и время» — удачно найденный им камертон для настройки собственного мысле-языка. Некая миметическая основа его развертывания.

От Хайдеггера требуется прежде всего импульс. Произнесено: «Ereignis». Как нам это «услышать»? Согласно Библихину, единственная неискусственная возможность: «прислушиваясь» к собственному языку, давая ему раскрыть свою тайну. Слышим: «событие», — и это заставляет нас настойчиво помнить о бытии... «Dasein»... Переводим: «присутствие», — слышим ближайшим образом: «при сути» — и начинаем понимать, что не принадлежим ничему, но принадлежим «к сути»... Вслушиваемся, привыкаем. Пытаемся доброжелательно способствовать желанию переводчика втянуть нас в свое благое начинание. «На первых страницах привыкающего чтения не нужно стремиться сразу к полному пониманию, достаточно одной увлеченности, без которой дело все равно никуда не пойдет... (курсив мой. — Е. О.)», — предупреждают нас. Однако — стоп. Мягкие и вкрадчивые объяснения, конечно, завораживают. Но иногда не мешает и настороженность. Зачем уговоры? Дело сделано, текст Хайдеггера перед читателем. Разве не должен он что-то сам сказать ему, объясниться без посредников?

Например, разными способами и заходя с разных сторон Хайдеггер будет объяснять, что такое его Dasein. Это — особая структура, способная вопрошать о смысле бытия и сама уже несущая пред-понимание смысла. Он будет объяснять, почему только из Dasein может быть конституирован вопрос о смысле бытия. Показывать, что Dasein — это нейтральная территория, здесь еще ничто не предопределено и нет готового ответа, «что есть бытие». Это — место, откуда возможен доступ к бытию, откуда должна начаться работа мысли. Хайдеггеру важно подчеркнуть неангажированность его Dasein в любые уже готовые ответы о смысле бытия, подчеркнуть открытость и непредопределенность Dasein, его возможно-

<sup>1</sup> Библихин В. Мир. Курс, прочитанный на философском факультете МГУ весной 1989 года. Томск, «Водолей», 1995.

сти интенсивно обновлять отношение к миру. Элемент свободы, который Хайдеггер пытается удержать через *Dasein*, скорее языково закреплен в частичке «da». «Здесь», «вот» — почти безязыковой жест, указывающий на ничему еще не обязанное присутствие...

Нет-нет, я не оспариваю саму возможность передать немецкое «*Dasein*» русским «присутствие». Дело не в этом, а, может быть, только в большей легкости отношения к этому выбору. Мне кажется несколько далеко идущим акцент переводчика, настаивающего, что слух наш должен обязательно и невольно сразу же направиться в сторону «сути» — а тем самым «подлинности», «истины» и прочих завораживающих вещей. (Кстати, кто вынес решение в пользу «присутствия»? Об этом Бибихин говорит в своих примечаниях: «В отношении *Dasein* окончательный выбор определила фраза православного священника на проповеди: „Вы должны не словами только, но самим своим присутствием нести истину“».) Но ведь чем больше вещи завораживают, тем более они требуют своего четкого истолкования. Не в том ли суть работы мыслителя, а не поэта? Не случайно Хайдеггер в «Бытии и времени» как раз не благозвучен, скорее — косноязычен. Он — философ, принадлежащий рациональной европейской традиции, и настроен он на работу осмысления, а не на попадание в уют языка, который, дескать, сам по себе способен излучать мысль...

В 80-е годы в отечественной историко-философской литературе стало общим местом рассуждение о хайдеггеровской утопии языка. Об этом писали критически (писала, в частности, переводчик Хайдеггера и знаток древних языков Татьяна Васильева), доказывая, что изыскания Хайдеггера в области греческого филологически, мягко говоря, небезупречны. И уже тогда напрашивался другой ход к Хайдеггеру. Не через со-ответствие и растворение в выставляемой им на первый план языковой утопии, а пытаюсь понять, какая реальная работа мысли проделана в этой эффектной форме — имитации само-движения языка. Из отечественных исследователей философии Мартина Хайдеггера по этому пути несколько продвинулся разве что Валерий Подорога<sup>2</sup>.

Однако внутренней задаче Бибихина ближе оказался — миф. И переводчик проникся им всерьез и, безусловно, много решительнее, чем сам Хайдеггер. Отзвуки этой внутренней задачи — в тексте всюду и везде. Вот лишь случайно и сразу встреченное: вполне тривиальное немецкое «*Versaumnis*», означающее упущение, указывающее на то, что что-то пропущено, превращается в «опущение». Слово останавливает внимание читателя и призвано, видимо, «направить» его к размышлению об опустошенности; нейтральное «*dispensieren*», означающее, например, освобождение от налогов или какое-то иное «освобождение», становится в русском переводе «увольнением», а поскольку дальше по тексту: «от вопроса», — «увольнение от вопроса», конечно, остановит внимание и, если мы будем послушны Бибихину, заставит подумать о превратностях воли... Этих точек остановки, похоже специально уготовляемых нам переводчиком, очень много. Что — как мы понимаем, вспомнив переводческое кредо В. Бибихина, — не случайно. Это особые остановки, это — хитрые сети, в которые нас, читающих, хочет заманить вовсе не Хайдеггер, но сам Бибихин. Видимо, в надежде погрузить и нас в со-размышление... Но в со-размышление с Хайдеггером или с Владимиром Бибихиным мы рискуем попасть?

Перевод Бибихина, конечно, — это его со-размышление с Хайдеггером. Однако со-размышление, понимающее себя как особый языковой резонанс, столь же увлекательно, сколь и специфично, индивидуально. В текст Хайдеггера переводчик вписал — и ему действительно удалось это сделать! — собственное произведение. Теперь вопрос только в том, будет ли способен этот пластический синтез существовать как новое произведение. Или этот русский перевод «Бытия и времени» окажется уникальным опытом несколько запоздалой филолого-утопической вовлеченности в хайдеггеровский эксперимент...

Елена ОЗНОБКИНА.

<sup>2</sup> См.: Подорога В. А. Метафизика ландшафта. Раздел III. Ландшафт Шварцвальда. М. Хайдеггер. М., «Наука», 1993.



### «ТАК ГДЕ ЖЕ МЫ ОШИБЛИСЬ?»

Владимир Буковский. Московский процесс. Париж, «Русская мысль» — Москва, изд-во «МИК», 1996, 525 стр.

**Д**олжен признаться, едва ли что-нибудь так греет мое сердце и ласкает слух больше, нежели все чаще употребляемые теперь словосочетания «еще во времена советской власти» или «при коммунистах». Физиономии коммунистов, теперешних или бывших, все еще мелькают на страницах газет или голубых экранах, многие — и нередко это вполне объяснимо — ностальгируют по «застою», и все-таки, надеемся, социалистические времена безвозвратно канули в Лету. Книга Владимира Буковского, прославленного российского диссидента, загоняет несколько последних гвоздей в гроб этого невыносимо тяжелого и изнуряюще кровавого периода русской истории.

Не уверен, кого нужно «жалеть» больше: тех ли, кто оказался знаком с самим Буковским и его книгами, или тех, кто не знал о нем ничего. Последние обделили себя, пройдя мимо важного, незабываемого, бесстрашного явления нашей жизни 60 — 70-х годов. Первые — очутились в зоне действия урагана, вовлекшего их в свою стихию, заставившего изменить жизненную стезю, больно задевшего своими порывами. Любить Буковского было опасно, потому что, идя с ним, оказывался на краю бездны.

Буковский напоминает главного персонажа в романах Достоевского именно тем, что находится в эпицентре бурных событий и вокруг него вращается целая человеческая вселенная. О его близости к Ставрогину, конечно, не может быть речи, но мне приходилось наблюдать его приверженцев, которые, подобно Шатову, готовы были обращаться к нему со знаменитыми теперь словами: «Ставрогин, для чего я осужден в вас верить во веки веков... Я не могу вас вырвать из моего сердца!»

Буковский — примечательная личность в российской действительности второй половины нашего века. В когорте знаменитых русских, включающей генерала и академика, писателя и поэта, священника и правоведа, барда и музыканта, артиста и танцора, Буковскому отведено почетное место — место мужественного, безупречно честного общественного деятеля и мыслителя. Рецензируемая книга завершает целую серию публикаций, из которых особенно хотелось бы выделить «И возвращается ветер...» — шедевр мемуаристики, вышедший на многих языках мира в конце 70-х годов и неоднократно с тех пор переиздаваемый.

...Книга «И возвращается ветер...» исключительно важна... как для знакомства с личностью Буковского, так и для лучшего понимания «Московского процесса». Откройте эти страницы, повествующие, с умом и редкостным юмором, о формировании московского юноши, родившегося в самом конце военного сорок второго года в эвакуации, — и вам трудно будет от них оторваться.

...Еще подростком он перечитал всего Ленина и ужаснулся философии насилия и изуверства. В причудливом мире советской московской школы подросток считался чуть ли не образцовым учеником, хотя и не скрывал своего отчуждения от официальной идеологии. Со школой соседствовали знаменитые московские дворики с их пьянью и хулиганством, мешанскими скандалами и бытовой поножовщиной — мальчика этот чудовищный быт возмущал, но отнюдь не пугал и диковинным образом выковывал его, как и многих других, истребляя унижающее чувство страха. На иконостас партийных держиморд и вышестоящих иерархов старшеклассник взирал без надлежащего почтения. То были годы гротескной «оттепели», когда Хрущев пытался сбросить с пьедестала Сталина и одновременно топил в крови мятежную Венгрию, проводил у стен Кремля Международный фестиваль молодежи и травил Пастернака. Уникальная энергия подростка оказалась направлена на создание беспримечной, широко разветвленной подпольной орга-

низации школьников, о которой КГБ не сумел пронюхать. Наконец, недозволенное издание самиздатовского журнала и дерзкий разговор с партийными чинушами из горкома не сошли юноше с рук: с той поры его жизнь, никогда уже не входя в устоявшуюся колею советского человека, представляла собой повседневный вызов режиму, еще многим казавшемуся всемогущим. Все-таки он ухитрился поступить на биофак в МГУ, но и став студентом с каждым днем все шире разворачивал — вместе с друзьями — кипучую активность, вовлекая в нее десятки молодых людей. Исключение из университета и первый привод на Лубянку не заставили себя ждать. Купить или «ссучить» его было нельзя; жизнь в качестве обыкновенного смертного в «стране победившего социализма» представлялась ему преступной и страшила больше, чем тюрьма или лагерь. И вот — последующие пятнадцать лет мытарств: тюрьма и психушка — с недолгими месяцами свободы, пока в декабре 1976 года — как пелось в народной частушке — не «обменяли хулигана на Луиса Корвалана». В изгнании Буковский закончил биофак Кембриджа и аспирантуру в калифорнийском Станфорде. Превосходно владея английским, он опубликовал ряд книг, множество статей, прославился своими лекциями, с которыми выступал во множестве стран, вошел в число общественных деятелей с мировой известностью.

«Московский процесс» построен на сотнях документов ЦК КПСС и КГБ, документов с пометками «Совершенно секретно», «Особая папка», «Особой важности», «Лично», с грозным предупреждением: «Подлежит возврату в течение 24-х часов в ЦК КПСС (Общий отдел, 1-й сектор)», с напоминанием, что «товарищ, получающий совершенно секретные документы ЦК КПСС, не может ни передавать, ни знакомить с ними кого бы то ни было, если нет на то специального разрешения ЦК», и т. п. Буковскому удалось, к примеру, раскопать секретный документ о К. Сорса, главе социал-демократической партии Финляндии, а в 1992 году и кандидате на пост ее президента. После немалых усилий документ появился в финской печати, и г-н Сорса, который «доверительно сотрудничал с нами», публично покался и снял свою кандидатуру. По материалам, обнаруженным Буковским, созданный в 1969 году в Москве специальный Международный фонд помощи левым рабочим организациям изначально располагал общей суммой в 16 млн. долларов ежегодных ассигнований в форме «интернациональной солидарности» и предоставил французской компартии 2 млн. долларов, компартии США — 1 млн. долларов, итальянской компартии только на первые полгода — 3,7 млн. Тогда насчитывалось 34 получателя, но из года в год размеры советской финансовой помощи увеличивались, равно как и число «пролетарских» клиентов: в 1981-м компартия США получила уже 2 млн. долларов, а число просителей выросло до 58; в 1990-м — последнем году своего существования — этот фонд увеличился до 22 млн. долларов, а клиентура — до 73. Сначала восточноевропейские братья по пролетарской солидарности вносили свою скромную лепту, хотя львиная доля расходов ложилась, конечно, на Совдепию, но в конце 80-х, в разгар перестройки и развала «лагеря социализма», эти счета приходилось оплачивать уже одной Москве.

Автор раскрывает механизм помощи иностранным компартиям — «по линии фирм друзей», в частности, весьма изощренный и вместе с тем откровенный контроль практически всей торговли — «на обычной коммерческой основе» — между СССР и Италией, благодаря которому крупнейшая компартия Европы безбедно существовала несколько десятилетий. Историков и любителей сенсаций несомненно ждут еще архивные материалы, проливающие свет на деятельность таких бизнесменов, как Арманд Хаммер или Роберт Максвелл. Читателю небезынтересно будет ознакомиться, в частности, с некоторыми фактами жизни греческого издателя и промышленника Г. Боболаса, содействие которому обеспечивало и м е н н о е постановление ЦК КПСС: руководимое Боболасом издательство «Акадимос» использовалось чекистами «в качестве базы для идеологического воздействия на Грецию и греческие общины ряда стран». Крупнейший магнат Великобритании Роберт Максвелл, ушедший из жизни при загадочных обстоятельствах на закате правления Горбачева, пленял своих высоких друзей в Кремле умением обеспечить

молниеподобный перевод и выпуск свеженькой биографии Брежнева за... десять (!) дней. В Москве же не жалели средств для возмещения «материальных затрат» в связи с изданием на греческом языке (похвальными усилиями Боболаса) книги Брежнева «Мир — бесценное достояние народов». Со временем Боболас сделался магнатом массмедиа, владельцем газеты «Этнос» и совладельцем крупнейшего телеканала «Мега». Когда обанкротилась газета «Правда», она смогла ожить «на средства греческих коммунистов», и владельцем ее оказался некто Яннис Х. Янникос, в недавнем прошлом партнер Боболаса. Как пишет автор, разоблачить этих людей не столь просто: Боболас подал в суд за «клевету» на лондонский журнал «Экономист» и процесс им не был проигран.

На удочку кремлевских идеологов клевало на Западе немало охотников, и, как докладывал зав. международным отделом ЦК Фалин, требовалась валюта на «поставку газетной бумаги, приглашение на учебу, отдых и лечение активистов партии, закупку печатных изданий компартий, оплату в ряде случаев поездок представителей партий в другие страны и т. п.». Труды классиков марксизма-ленинизма переводились на десятки языков, издавались и... как ни странно на первый взгляд, продавались. Открытие в Лондоне в 1976 году магазина «Коллетс» стоило Москве 80 тыс. фунтов (124 тыс. иввалютных рублей), открытие нового магазина в Монреале несколько раньше стоило 10 тыс. канадских долларов. Предусматривалось «покрытие возможного дефицита от продажи советских изданий», списывались убытки магазину компартии Израйля «Popular Bookshop», до трети миллиона долларов фирмам компартии США «Four Continent Book Corporation», «Cross World Books & Periodicals» и «V. Kamkin». Нежная забота о западных коммунистах доходила до того, что Советский Союз закупал весь этот залежалый товар якобы для продажи иностранным студентам и туристам в СССР.

Вторая и третья главы образуют, на мой взгляд, лучший раздел книги, но и — оставляющий в душе горький осадок. Невзирая на все старания автора и посулы высоких, ответственных лиц, Буковскому не удалось бы добраться до обещанных архивов, если б не слушания в Конституционном суде «по делу КПСС» (открытые в июле 1992 года), а главное — зековская хватка самого Буковского, приглашенного на «суд» в качестве эксперта и поставившего новым властям ряд своих условий. В большинстве случаев хранители закрытых архивов клали на стол приглашенному эксперту секретные документы, а тот их в открытую, на глазах устроителей этого судебного зрелища, копировал посредством купленного им сверхновенького японского компьютера с ручным сканером...

Буковский занимает предельно четкую позицию: будучи непримиримым противником «перестройки» Горбачева, он отказывается видеть в ней хоть что-нибудь положительное. Его рассуждения начинены динамитом, и живущим внутри страны воспринять его логику намного труднее, чем в диаспоре. «Перестройка» задумана и реализована, по мысли Буковского, партийно-гэбистским аппаратом с дьявольски изощренной целью спасения воротил коммунистического режима и предотвращения нависшего над ними нового Нюрнбергского процесса. «Античеловечная утопия рухнула, но на ее развалинах не торжествуют ни свобода духа, ни благородство мысли... Для России же это обернулось пошлой трагикомедией, в которой бывшие партийные боссы средней руки да генералы КГБ играют роли главных демократов и спасителей страны от коммунизма. На сцену вылезло все самое уродливое, гнилое, подлое, до поры прятавшееся по щелям коммунистического острога и выжившее благодаря полной атрофии совести».

При Черненко Горбачев высказывается за восстановление в партии Маленкова и Кагановича. И далее следуют горькие страницы о том, как Горбачев, «господин приятный во всех отношениях», на заседании Политбюро повел разговор о том, что к нему обратился с письмом из Горького «небезызвестный Сахаров» и какую линию нужно повести, чтобы «нейтрализовать» политзеков...

В Чехословакии и Польше зеки почти прямо придут из тюрем к власти, но — не в «освобожденной» России. По словам Буковского, «в конечном счете, и Сахаров, и „помилованные“ политзеки возвращались не как победители и даже не как невинно репрессированные, а как „нейтрализованные“ и милостиво прощенные».

Не возникало и речи об их реабилитации, как, например, было при Хрущеве... Да и сами „помилованные” знали, что это поражение: написавшие заявление, по каким бы причинам они это ни сделали, все равно признавали таким образом чекистскую „целесообразность”: „отказавшись от деятельности”, можно было и с самого начала не садиться. Режим ничего другого от нас и не требовал. Жестокая игра чекистов «настолько возмутила Толю Марченко, что он объявил бессрочную голодовку, требуя безусловного освобождения всех политзеков, проголодал больше трех месяцев и погиб». Смерть Марченко привела к тому, что освобождать стали и «непокаявшихся».

Куря фамиам Сахарову, горбачевские власти спешили похоронить движение независимых диссидентов внутри страны и залить грязной клеветой уцелевших «инакомыслящих» за ее пределами. Культ Горбачева на Западе достиг апогея. Годами враждовавших между собой писателей Синявского и Максимова объединила неожиданно вспыхнувшая любовь к Горбачеву. «Так кончилось наше движение... — с горечью пишет автор. — ...чего же еще остается мне желать... кроме как харкнуть в морду всей той нечисти — на Востоке ли, на Западе, — что лишила мою жизнь смысла, а мир — выздоровления?» Он вспоминает свои же слова, которые высечены теперь Шемякиным на памятнике жертвам репрессий на берегах Невы: «Несчастлива страна, где простая честность воспринимается в лучшем случае как героизм, в худшем — как психическое расстройство, ибо в такой стране земля не родит хлеба». Много горьких, полынных слов высказаны автором в его книге. Но много ли найдется на Руси людей, которых эти строки лишат покоя хотя бы на несколько дней?

Вторая половина книги, содержащая важнейшие архивные документы, посвящена внешнеполитическим вопросам и взаимоотношениям западных политиков с Кремлем. К голосу Буковского следует прислушаться, поскольку на Западе он прошел шаг за шагом путь, начавшийся с триумфа и завершающийся одиночеством. После высылки знаменитого диссидента встречают на самом высоком уровне, чувствуют на банкетах, приглашают на телевидение, публикуют его книги, не забывая, однако, поглядывать в сторону советских властей и явно стараясь не перебарщивать. В 70-е годы выступать против детанта было столь же самоубийственно, как во второй половине 80-х критиковать Горбачева и его «перестройку».

В книге Буковского обнаружатся ценнейшие документы, относящиеся к детанту и роли таких диссидентов, как Ж. Медведев, к Хельсинкским соглашениям, событиям в Афганистане и Польше. Знакомясь с секретными материалами ЦК, Буковский наткнулся на документ 1984 года о предоставлении советской помощи бастующим английским шахтерам. Документ был подписан Горбачевым, «крестником» британского премьер-министра Маргарет Тэтчер, которым она неизменно гордилась. Забастовка шахтеров, направляемая коммунистами, могла привести к падению ее кабинета. Когда Буковский показал Маргарет Тэтчер этот документ, на котором она опознала подпись своего «друга», «железная леди» всполошилась: обладая хорошей памятью, она без труда вспомнила, что спрашивала Горбачева об этой помощи «как раз в то время, и он сказал, что ничего об этом не знает». На многое проливают свет и документы, относящиеся к деятельности Кремля в период «бархатной революции», развала соцлагеря, берлинской стены и СССР. В начале сентября 1990 года секретариат ЦК принял секретное решение, «рекомендовавшее, с целью сохранения необходимой партийной структуры, быстрое проникновение элиты на международные финансовые рынки... В конце 1990 г. ЦК начал создавать коммерческие банки для отмыwania партийных денег». Так, под покровом гласности, на которую клюнула наша интеллигенция, шла чудовищная «прихвачивание» народного добра, преступное разграбление госказны, взлом сейфа с золотым запасом.

Ограбление народа, в особенности стариков и пенсионеров, на фоне позорного обогащения прежних и новых номенклатурщиков затмевает самые горестные страницы большевистской разинщины. Мужественный и интеллектуально независимый Буковский безжалостен в оценке реальности.



«Так где же мы ошиблись?» — вопрошает автор. Вариант этого вопроса: почему мы не победили? Всей своей книгой Буковский по-своему отвечает на эти мучительные вопросы.

К Буковскому, как известно, обращались с предложениями начать сотрудничать с «демократической» властью. Буковский считает такие предложения несерьезными и унижительными: находиться в одной упряжке с вчерашними коммунистами — не для него, какой бы демократической фразеологией они сегодня ни прикрывались. Но, быть может, дождемся мы все-таки того дня, когда в родном нашем городе ему будет вручена высокая награда за мужество и заслуги перед отечизной.

Юрий ГЛАЗОВ.

Галифакс, Канада.

\*

### «ЛЕВЫЙ» МАРШ?

Е. Разумов. Крушение и надежды. Политические заметки. М., «Фонд им. И. Д. Сытина», 1996, 192 стр.

Ф. Волков. Великий Ленин и пигмей истории. М., (издательство не указано), 1996, 204 стр.  
В. Жухрай. Сталин: правда и ложь. М., «Сварог», 1996, 328 стр.

**И** до сих пор в нашем обществе нет единого мнения: надо ли было запрещать коммунистическую деятельность и пропаганду — как запретили нацистскую в послевоенной Германии, — или то, что называется теперь «молодая российская демократия», не должно ставить им преград. Что же они сегодня думают? Чем дышат? Не только речи Зюганова или Анпилова, но и труды их «теоретиков», так сказать, не предавших «коммунистические идеалы», отвечают на это.

Книги «публицистов марксистской школы» появляются все чаще, их настрой — все агрессивнее, при этом объемами они все больше, а полиграфией все краше. Времена оголтелых, невнятного авторства, «идейных» брошюр прошли; теперь все солидно: книги печатаются в дорогих типографиях, порой имеют заметные тиражи.

Появившиеся практически одновременно в конце минувшего года книги Е. Разумова, профессоров Ф. Волкова и В. Жухрая сходны в одном — в резком неприятии их авторами всего, что происходит в стране с 1985 года, а особенно — с августа 1991-го. Частные политические пристрастия трех названных сочинителей расходятся — что ж, сегодняшний «красный плюрализм» допускает различное толкование «социалистической идеи» — от «ленинизма с человеческим лицом» до «сталинизма с инфернальным»...

Евгений Разумов, бывший первый заместитель заведующего Организационным отделом ЦК КПСС, предпослал своей книге эпиграф из М. Танка: «Осужденные часто переживали своих судей и их трибуналы». В данном случае имеется, возможно, в виду не только «идейное», но и физическое долголетие: один из пишущих эти строки встречал Разумова в конце 80-х годов и уже тогда тот выглядел реликтом давно ушедших времен. Ходивший даже по цеховским коридорам меж двух дюжих охранников, сей партийный бонза олицетворял собой немногочисленную популяцию долгожителей, «гнувших» одну непоколебимую большевистскую линию «от Ильича до Ильича».

Дар партийного публициста Евгений Зотович ранее уже демонстрировал: в 70-е годы он выступил с двумя вполне «скулосводящими» книгами по оргпарработе. Однако нынешний опус Мафусаила оргпарработы — вовсе не ностальгические мемуары, а попытка проанализировать причины краха горячо любимой им партии коммунистов.

Разумов искренне убежден: причины крушения КПСС коренятся в ее конкретных просчетах, организационных и кадровых. Из последних основными, понятно, являются назначение Горбачева генсеком и перевод Ельцина в Москву. А вот

анализируя просчеты организационные, Разумов делает открытие, из-за которого ему в бытность партаппаратчиком сильно бы не поздоровилось: экс-замзав ныне считает ошибочным... свят-свят... принцип однопартийности (!), наиболее, очевидно, ленинский из всех принципов большевизма. «Для КПСС и ее организаций, — кощунствует он затем, — вовсе не обязательно было подменять и дублировать хозяйственные органы, брать на себя ответственность за управление производственной деятельностью. Партийный аппарат не был приспособлен к решению этих задач. Для управления отраслями и предприятиями существовал специальный аппарат. Но он подменялся, роль его принижалась, а ответственность за состояние дел падала на парторганы». По части неприспособленности — кто спорит?! А вот относительно ответственности парторганов Разумов, конечно, лукавит: подменяли, вмешивались, контролировали всё и вся, причем «грешили этим» все структуры партии — от ЦК до «первичек», но чтобы несли ответственность? Отродясь такой беды не знал партаппарат — вездесущий, он был вне зоны критики.

На склоне своих лет «экс» признал, что в СССР «за несогласие с Лениным и Сталиным, хоть бы и по малозначительному вопросу, ученый, политик, любой человек мог быть зачислен в категорию антиленинцев (более ходовым было слово «антисоветчик». — *Авт.*) и нарваться на большие неприятности». И в этой трибунальской деятельности Евгений Зотович принимал, разумеется, самое активное участие, как и другие завы и замзавы многочисленных оргпартобделов всех уровней, призванных блюсти «единство рядов». Однако главную причину развала КПСС автор книги видит не в маразмировавших год от года тоталитарных структурах, а в «скоординированной и направляемой западными спецслужбами подрывной работе лжедемократов... и находящихся у них на службе СМИ». Достается в книге Разумова и последнему генсеку с его «подозрительной терпимостью к подрывной деятельности политических противников КПСС, которые набирали силу, активизировались».

В общем, по Разумову, жила бы себе и жила партия и ей подконтрольное государство, невзирая на отдельные «просчеты» (у кого их, мол, не бывает?), да диверсии изнутри и извне развалили ее.

Что же было потом? Обнищание масс, ограбление их «демократами», преступная «прихватизация». Ни словом не обмолвился Разумов, что вся отечественная российская специфика переходного периода во многом объясняется приходом к власти, как выражается И. Бунич, другого клана, только более хваткого, тех же коммунистов, наличием на командных постах все тех же бывших партаппаратчиков, а ныне — самых преданных демократии и президенту чиновников, объясняется, наконец, все той же неприспособленностью, некомпетентностью бывших коммунистов.

А каковы перспективы? «Коммунистическое движение набирает силу, привлекает в свои ряды новых и новых бойцов (военно-полевая терминология всегда была в чести у рыцарей „ордена меченосцев“! — *Авт.*)... Партия, несущая людям правду и социальную справедливость, не может не возродиться». И на кого же надежда? Не на народ, пусть и доведенный «до ручки», не на революционеров нового призыва, а все на тот же аппарат. Он-де должен одуматься и вернуться в лоно «всесильного учения». Вот, к примеру, как Разумов мягко, почти по-товарищески журит В. Черномырдина: «К сожалению, надежды на нового премьера не оправдались. Он оказался... проводником чужих реформ — тех, которые ведут к развалу экономики и обнищанию населения». Была, была надежда — она, как известно, умирает последней. Да только нынче чиновники поездили по Парижам да по Канарам, их обратно на партсоборания не загошишь.

Другой коммунистический автор, Ф. Волков, дал своей книге название в духе передовиц органов партийной печати застойных лет: «Великий Ленин и пигмеи истории». И, говорят, поступил хитро: прямо из типографии УД МИД РФ привез весь тираж в российскую Госдуму, где депутаты буквально смели его в считанные часы.

Ф. Волкова к клану «лениноведов» можно причислить с большой натяжкой: до того, как раздраконить «пигмеев истории», он написал десять книг, но не «на заданную тему»: о советско-британских отношениях, о разведке, о Сталине (нега-

тивного плана). Видимо, поэтому доктор исторических наук загородился не одним рецензентом, а целым триумvirатом — профессором и двумя академиками. Триумvirат, очевидно, остался весьма доволен, насколько у Волкова велик Ленин и ничтожны «пигмеи», и не стал цепляться к мелочам. Так и остался в книге секретарь ЦК КПСС предпутчевых лет О. Шенин «Шейниным» и разведчик-перебежчик О. Гордиевский «Горчаковским».

Лениниада Волкова, в основном, зиждется на старом, но верном фундаменте: ленинских сочинениях, «Воспоминаниях» о вожде, материалах газеты «Правда». «Ко двору» пришлось в книге даже отчеты о забытых всеми торжественных собраниях к Бог весть скольколетию Ильича. Но упоминает Волков также и антиленинские документы из закрытых отечественных и зарубежных архивов, и они, эти документы, автором с ходу ничтоже сумняшеся отметаются как «клеветнические», «фальсификаторские», а их «добытки» и публикаторы (к поименованным Афанасьеву, Волгогонову, Латышеву, Собчаку, Солоухину, Попову, Ципко ленинолюб забыл присовокупить еще очень многих, в их числе Короленко, Бунина и Горького) названы кто «ревизионистом», кто «насильником истины», кто «предателем», а вместе они и есть эти самые «пигмеи истории». У Волкова другие «источники». Например, глава «Ленин — вождь, товарищ, человек» напичкана цитатами из подцензурных «Воспоминаний» о вожде, выпущенных в пяти увесистых томах в 1968 — 1969 годах. А вот, скажем, независимый П. Струве (1870 — 1944) не цитируется; еще бы: ведь он, знавший Ленина лично, писал: «Преобладающей чертой характера Ильича была ненависть. В его отношении к окружающим было что-то безжизненное, отвратительно-холодное». Само собой, нет у Волкова и цитаты из... самого вождя — не столь уж и безобидной, какой она, видимо, показалась цензорам Ленина: «Ненависть — самое благородное, самое высокое чувство лучших людей из угнетенной и эксплуатируемой массы».

Издавна коммунисты «поделились» на верных ленинцев-интернационалистов и сталинцев-государственников. Первые утверждают, что Коба попрал «ленинские нормы социалистической законности», вторые — Сталину ставят в плюс «государственность», потихоньку подменяя при этом Ленина разрушителем Троцким, чтобы сталинская «русификация» коммунистической идеологии стала еще отчетливей...

В отличие от «упертых» ленинцев Разумова и Волкова, профессор Жухрай возвращается к органичному, так сказать, симбиозу Ленина с его учеником и последователем, ценит Сталина за верность заветам Ильича. «Подавляющее большинство расстрелянных по суду врагов народа — это бандиты-уголовники, совершившие зверские преступления». Если профессор имеет тут в виду Каменева, Зиновьева, Бухарина и прочих ленинских подельников — то это понятно. Увы, расстрелянных в тысячи раз больше, и за такое замазывание сталинских зверств должно следовать, мы в этом убеждены, не только моральное, но и судебное осуждение. Ибо — не все позволено, и утверждение подобного рода есть оправдание человеконенавистничества и даже его приветствие. Это все равно что отрицать нацистские преступления.

Возвеличивая до небес ратные заслуги генералиссимуса, Жухрай приводит высказывания Г. К. Жукова из книги «Воспоминания и размышления», изданной в 1969 и 1974 годах. При этом профессор изо всех сил делает вид, что знает не знает той же самой книги изданий 1990 и 1992 годов. Известно, что тексты первых изданий значительно отличаются от оригинала жуковской рукописи — их «пошерстила» услужливая цензура во славу «партийности и народности» мемуаристики. Из варианта 1974 года Жухрай цитирует: «Несомненно, он был достойным Верховным Главнокомандующим». А в издании 1992 года (одиннадцатом, исправленном и дополненном по рукописи автора) к этим словам имеется сносок: «Этой фразы в рукописи нет». Отсутствуют в черновиках маршала и другие восторженные высказывания о Сталине-полководце, которыми козыряет сталинолюб-фальсификатор.

В игнорируемых Жухраем мемуарах Жукова, изданных в 1992 году, прямо сказано: «Действительно ли Сталин был выдающимся военным мыслителем? Конечно-

но, нет». И далее текст пестрит выражениями типа «слабо разобрался», «имел поверхностное понятие» и т. п., после чего Жуков резюмирует: «В итоге это влекло за собой большие потери в людских и материальных средствах». (Впрочем, Жуков и сам воевал по принципу «мы за цену не постоим».) В этой связи уместно привести одно, ранее являвшееся секретным, сопоставление: общие потери Вооруженных Сил СССР во Второй мировой войне составили 8,7 млн. человек (из них почти 6 млн. — в 1941 — 1942 годах); общие потери германского вермахта (на всех фронтах) — 5,5 млн. человек<sup>1</sup>. Соотношение потерь почти 2:1 — совсем не суворовская, а именно *сталинская* победа, так что вполне резонно говорить, что мы выиграли войну не столько благодаря, сколько вопреки сталинскому руководству<sup>2</sup>. Но у профессора-то сталиниста язык без костей: «Деятельность И. В. Сталина в годы Великой Отечественной войны убедительно свидетельствует, что наша страна в его лице имела гениального полководца, — может быть, самого великого в истории человечества».

Ну а в главе «После Победы» Жухрай с напором, заставляющим опасаться за его психическое здоровье, пишет: «Постановления ЦК ВКП(б) (1946 — 1948 годов. — *Авт.*) надежно парализовали идеологические диверсии в области литературы и искусства со стороны агентуры американо-английского империализма и в то же время помогали ошибающимся творческим работникам исправить допущенные ошибки. Космополиты были разгромлены, правильное развитие советской литературы и искусства обеспечено». Воистину, могильным холодом веет от этих строк Жухрая!

Основные «действующие лица» финальной части книги — два генерала: руководитель личной разведки и контрразведки Сталина некто Лавров и его заместитель Джуга (почти однофамилец). И как ни старается Жухрай возвеличить своего любимца, со страниц раздела перед нами предстает злобствующий, психически глубоко больной человек, интриган, мизантроп, отгородившийся от всего живого службой Лаврова — Джуги.

И вот последний аккорд «гимна»: «Пройдут годы, вновь возродится Советский Союз, сбудутся сокровенные мечты людей труда о светлом обществе — коммунизме, и навсегда сохранится благородный образ Иосифа Виссарионовича Сталина, вся жизнь которого была посвящена борьбе за счастье трудящихся».

Разнясь оттенками «красного», авторы сходятся в одном: страна должна вернуться на круги своя — в лоно социализма, СССР, «народовластия» в лице Советов, под главенство коммунистов.

Можно, конечно, видеть в этих людях трагикомичный реликт, людей, не знающих уже, на каком они живут свете.

Но не способен ли призрак коммунизма, который бродит по Европе, вдруг вновь обрести у нас плоть? Нынешняя олигархия, всеобщий развал и нищета миллионов работают именно на такой «сценарий».

С коммунизмом бороться надо двояко. С одной стороны — проповедь большевизма должна быть безусловно запрещена<sup>3</sup>. А с другой — против него должна работать сама жизнь, сама нашими трудами возрождаемая Россия.

Вл. ЮДАНОВ, Г. ЛЯТИЕВ.

<sup>1</sup> Данные из изданной в 1995 году Российско-Балтийским информационным центром монографии «Людские потери СССР в период II Мировой войны».

<sup>2</sup> Некоторые историки оперируют такими цифрами военных потерь: минимум 21 млн. человек — СССР, максимум 4,5 млн. человек — Германия (см., например, «Независимую газету» от 7 декабря 1996 года) при соотношении почти 5:1. К такой победе более подходит, пожалуй, определение «пиррова».

<sup>3</sup> Конечно, бумага все стерпит. Но такие вот, к примеру, «здравицы» и призывы требуют, пожалуй, судебного разбирательства: «Славный 1937 год! В этот год Сталин окончательно понял: в СССР строится не коммунизм, а сионизм — и разгромил его. После 1937 года в страну вернулись Суворов и Кутузов, Нахимов и Ушаков, Богдан Хмельницкий и „Витязь в тигровой шкуре“... Славный 1937 год! Славное 60-летие! Оно должно праздноваться нами, как мы праздновали 50-летие Победы над фашистской Германией» (Филатов Виктор, генерал. Дашь 37-й! — «Завтра», 1997, № 37). (*Примеч. отдела публицистики.*)

**И. ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ. Леди Макбет Мценского уезда. (Возрождение шедевра). М., Российское государственное театральное агентство, 1996, 144 стр.**

Это издание — шедевр полиграфии. Буклет возобновленной М. Л. Ростроповичем оперы Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в ноябре 1996 года в Большом зале Московской консерватории (концертное исполнение) радует глаз (концепция, составление и общая редакция М. Якубова, художник А. Токарев). Но соль этого издания не в оформлении, а в собранных здесь материалах, посвященных многострадальному творению Шостаковича. Наконец, мы можем прочесть либретто оперы (в воспроизведенном тексте учтены разные редакции, авторские поправки). Мы знакомимся с документами, связанными с первой постановкой и проанализированными в ключевой здесь статье М. Якубова «Ода и реквием неосуществимой любви»: история создания оперы, ее премьеры в СССР и за рубежом, ее мировой триумф и затем низвержение с пьедестала после появления в «Правде» 28 января 1936 года печально памятной статьи «Сумбур вместо музыки» (уместно перепечатанной в этом издании) — статьи, инспирированной лично И. В. Сталиным; «Правда», в сущности, вынесла в заголовке брошенные Сталиным слова<sup>1</sup>. Второй удар по Шостаковичу был нанесен немного позднее статьей в той же «Правде» «Балетная фальшь» — о балете «Светлый ручей»; ее тоже касается Якубов, рассматривая обе статьи как начало «яростной травли композитора, которая очень быстро превратилась во всеобъемлющую травлю неконформистской творческой интеллигенции».

Как справедливо пишет Якубов, опера Шостаковича стала «переломным

событием в становлении нового художественного сознания». Что касается культурно-политического аспекта постановки «Леди Макбет Мценского уезда» в 1934 году, то, кажется, не было события в музыкальном мире, равного этому по последствиям. Да, в Италии, где музыка рождала героев и зажигала массу, оперы Верди, звавшие к освободительной борьбе, запрещались — но не предавались проклятию, а самому композитору ничего не грозило. Да, опера А. Берга «Воццек» (повлиявшая на «Леди Макбет») покусилась на свирепые порядки, царившие в незадолго до того рухнувшей Австро-Венгерской монархии, и подверглась обструкции, а автор — замалчиванию, но никому в голову не приходило запрещать оперу. В Третьем рейхе творились чудовищные вещи, в том числе на театральных подмостках, в опере, но то — особая тема... Именно на «Леди Макбет», на всей этой развернувшейся борьбе с формализмом, как на некой модели, была испытана на прочность культура в целом, ибо уроки из этого события должны были извлечь многие. (Характерна реплика композитора Ю. Шапорина под впечатлением от запрета оперы Шостаковича: «Это катастрофа»...) Шостакович выдержал, культура выстояла. Пресс тоталитарной идеологии впервые опустился на художника-гения с такой чудовищной силой, и впервые, пожалуй, этот механизм дал сбой, хотя и не сразу очевидный. На «формализме» первый раз сломались зубы сталинистской «культурной политики».

Поразительно быстро оправившись от шока, Шостакович написал тогда лучшее, думается, свое сочинение — Четвертую симфонию, в которой излилось все, что мучило и тяготило и его, и общество, мотивы которой он потом многократно повторит и разовьет, с той же болью и страстью, в последующих сочинениях. И в этой симфонии как бы жила новой, потасенной жизнью та же «Леди Макбет». Кроме того, круги от этой оперы, как от камня, брошенного в бассейн мировой музыки, уже с тех 30-х годов побежали по всему свету, проникая всюду, где творили свободные художники, — и это несмотря на исчезновение оперы со сцены на целые десятилетия. Русский экспрессионизм, какой воплощала «Леди Макбет» (как и

<sup>1</sup> Ранее статья Якубова была опубликована в газете «Культура» (1996, 21 сентября). В этом же номере газеты в статье режиссера Б. Покровского «Музыка, победившая сумбур» утверждается: «Я меньше всего обвиняю Сталина... Страшно и безнравственно было то, что его слова подняли на щит те, кто понимать был обязан, — теоретики, музыковеды, критики...» Странно читать это сейчас, зная все о диктаторе, его методах, демагогии, коварстве, лживости. Его вине просто нет меры.

первая опера Шостаковича — «Нос» по Гоголю, тогда на Западе менее известная), экспрессионизм, смягченный мотивами сострадания и любви, без чего не обойтись русскому художнику, по своему обогатил новую оперную драматургию, продолжая питать ее и по сегодняшний день: следы влияния «Леди Макбет» без труда можно обнаружить и в шедевре рано погибшего немца Б.-А. Циммермана «Солдаты», и в полугротескной опере голландца Роба Зайдема «Фриз», и в двух последних операх А. Шнитке, поставленных недавно при участии Ростроповича.

Но и сам Шостакович этой оперой вызывает некоторые вопросы к его художественному кредо. Будучи по своему складу художником социальным и народным, следуя в этом смысле за Мусоргским, он за редкими исключениями (чаще всего в камерно-вокальных сочинениях) оставался чужд духовному опыту, идущему от религиозных интуиций. М. В. Юдина, одна из лучших исполнительниц фортепианной музыки Шостаковича, тонко улавливавшая онтологический смысл иных эпизодов в его сочинениях, искавшая в них «литургическое начало» и мечтавшая, чтобы Шостакович написал музыку «во славу Божьей Матери» (о чем сохранились черновые к нему письма), несколько раз замечала: «иметь лишь его (Шостаковича. — А. К.) мировосприятие — слишком тяжело...» (в письме к В. С. Люблинскому от 26 августа 1957 года; не опубликовано) — или же: «Шостакович, конечно, тоже *громадное явление*, но вечно „быть с ним“ в печали, тревоге, муке, потрясении — не есть *единственный* метод искусства и мышления... А светлое у Дмитрия Дмитриевича — в „облегченно-шубертовом плане“...» (в письме к Б. А. и Н. А. Малько от 22 февраля 1960 года; опубликовано в альманахе «Диалог. Карнавал. Хронотоп», 1994, № 3).

Конечно, у каждого исполнителя свои предпочтения в выборе музыки, и Юдина в конце концов предпочла, если говорить о современниках, Шостаковичу мэтров додекафонии и сериализма, но к ее суждениям хочется прислушаться. В духе Юдиной проблема почти не ставилась. Интересную попытку провести эту едва различимую грань между религиозной и гуманистической этикой

в наследии Шостаковича сделал петербургский музыковед Л. Е. Гаккель в статье «Дмитрий Шостакович: „Ад! Где твоя победа?“» («Известия», 1991, 13 июня). Одной из ключевых тем у Шостаковича он справедливо считает тему «зла» и анализирует, как «зло» преодолевается им в переживании «страха и трепета», особого религиозного состояния, присущего персонажам Ветхого Завета (разумеется, Гаккель обращается при этом к опыту и текстам С. Кьеркегора). Повторю: все эти общепhilosophические вопросы применительно к творчеству Шостаковича неизбежно встанут перед слушателями и музыковедами. В освещении их сделаны лишь первые шаги.

В этом альбоме-буклете немало места отведено тому, кто «жизнь положил» на исполнение многих и многих сочинений Шостаковича, кто его хорошо знал (приязнь была обоюдной), — Ростроповичу. Постановка «Леди Макбет Мценского уезда» совпала с его собственным юбилеем. В прессе юбилей был отмечен статьями и хвалебными, и аналитическими, и даже злопыхательскими (целая полоса в газете «Завтра»). Хотелось бы, чтобы читатель не прошел мимо исчерпывающей по охвату творческого пути виолончелиста и дирижера монографии Т. Грум-Гржимайло «Мстислав Ростропович» (М., 1996), тоже шедевра полиграфии, правда непомерно дорогого для простого смертного.

**II. НИНА БЕРБЕРОВА. Чайковский. СПб., «Лимбус Пресс», 1997, 256 стр.**

Шестьдесят лет исполнилось со времени написания и выхода этой книжки (Париж, 1937). Мы ее в свой читательский обиход получили сравнительно недавно, поэтому можно говорить о еще одном белом пятне, стертом с карты литературы русского зарубежья. В обстоятельнейшем предисловии, чем-то даже более увлекательном, чем само эссе о Чайковском, Н. Берберова рассказала, как возникла идея создания книги. Оказывается, кроме известной литературы о композиторе она воспользовалась рассказами тех русских эмигрантов, которые знали самого Чайковского или его близких и друзей и сообщили ей некоторые новые данные о последних годах Петра Ильича, о его болезни и смерти и, разумеется, о той

тайне, «которую, я твердо убеждена, настало время раскрыть». Впрочем, Берберова тут же оговаривается, что тайна «была раскрыта уже в 1923 г., когда Ипполит Ильич [Чайковский] опубликовал дневник конца восьмидесятых годов» (имеется в виду советское издание «Дневники П. И. Чайковского. 1873 — 1891», М. — Пг., 1923; переизданы в 1993 году в Петербурге издательствами «Эго» и «Северный олень» — об этом, репринтном, издании я писал в «Новом мире», 1994, № 5). Трудно сразу сказать, какие неожиданные сведения получила Берберова от своих собеседников, так они завуалированы в тексте, но читателя ждет приятное разочарование — на главной «тайне» («андрогинизме» Чайковского, как изящно называется она в предисловии) автор не делает акцента, здесь эта «тайна» — скорее дополнительный психологический нюанс, некий теневой штрих в и без того сумрачном портрете Чайковского. Собственно, пессимистом Чайковский рисовался многим его биографам, как и музыковедам, даже всезнающему академику Б. В. Асафьеву. Десятилетиями создавалась легенда о Чайковском-мизантропе. В упомянутой рецензии 1994 года мне приходилось отмечать, что и само творчество, и литературные тексты (письма и даже пресловутый дневник) этой легенды не подтверждают, а всемирная любовь к музыке Чайковского как бы ее вовсе опровергает. Любовь к Моцарту, преломленная в творчестве, не умирала в нем до конца дней, а ведь явление «Моцарт» мы никак не связываем ни с пессимизмом, ни с мизантропией. Вот это трагически-моцартианское начало, быть может, и было ядром всего творчества Чайковского, тем более — последних лет.

В подтверждение приведем следующий пример. Шестая симфония («Патетическая») до сих пор считалась квинт-эссенцией пессимизма Чайковского, его «последним словом» — признанием торжества смерти над жизнью. В литературе о Чайковском эта интерпретация стала расхожим местом (так и у Берберовой говорится о «курносой гадине» — смерти — в связи с Шестой). Но исследование музыковеда-палеографа, священника и регента Успенского собора в Лондоне о. Михаила Фортунато позволяет в корне изменить взгляд на эту

симфонию. Автор, отталкиваясь от недавнего открытия американских музыковедов, обнаруживших в первой части симфонии музыкально воспроизведенные слова православной панихиды, и двигаясь дальше, прочитал в третьей части ритмически и мелодически зашифрованный пасхальный тропарь «Христос воскрес из мертвых». Патетика симфонии, кажется, наконец нашла свое подлинное обоснование<sup>2</sup>, после чего становится понятнее признание Чайковского в одном из писем, что, работая над симфонией, он испытывает особое состояние радости. Шестая симфония написана о смерти, да! Но и с верой в вечную жизнь. Шестая, возможно, отныне и будет услышана как отзвук заукобойной службы. Моцарт завершил свой путь «Реквиемом», то же произошло и с Чайковским.

Вышесказанное — не спор с Берберовой, потому что спорить, в общем-то, не о чем, автор книги не касается ни эстетической стороны творчества Чайковского, ни его мировоззрения. Повторю, это — эссе, зарисовка облика, личности, какими они видятся автору; изредка — в цитатах из писем — возникает творческая история некоторых сочинений (почему-то совсем выпало одно из ключевых, как и Шестая симфония, поздних произведений — опера «Пиковая дама»). Чайковский у Берберовой — типичный персонаж нового европейского романа (не без влияния «Державина» В. Ходасевича и, может быть, даже прозы Ю. Тынянова), с его замыканием на «душевной жизни», с бесконечными психологическими конфликтами и рефлексиями. Берберова пишет в традициях европейской прозы — и не потому ли ищет следы влияния и на эту прозу... жизни и личности Чайковского? Что и находит в «романе» Т. Манна «Смерть в Венеции» (см. ее предисловие). Ну, во-первых, это новелла, а не роман; во-вторых, ее сюжет выходит далеко за рамки пресловутого «андрогинизма», на который у Т. Манна есть лишь намек, но который действительно гипертрофирован в опере Б. Бриттена по мотивам этой новеллы; искать же в ней аллюзию на Чайковско-

<sup>2</sup> См.: «Пути русской церковной музыки». — «Церковно-общественный вестник», 1996, № 4, 28 ноября, стр. 10 — 11 (специальное приложение к «Русской мысли», № 4151).

го достаточно наивно... Еще о пре-дисловии. В нем есть интригующий момент: ведь где-то должны храниться записи, сделанные Берберовой со слов ее собеседников и содержащие, возможно, какой-то неизвестный материал о композиторе и его окружении. Именно с помощью этих устных воспоминаний Берберовой проведено прекрасно аргументированное «расследование» причины смерти Чайковского — холера. А во все не самоубийство, что подтверждено и современными отечественными исследователями.

Эссе Берберовой было адресовано мало сведущему в музыке Чайковского читателю. Сколь долгая жизнь после этого шестидесятилетия ему суждена, покажет будущее. Профессионально крепко скроенное, оно по крайней мере может послужить основой психологической драмы или либретто для оперы или балета. Правда, французские режиссеры, падкие иногда до приправы à la androgynie (балет Р. Пети «Пруст»), до сих пор не заметили его. Превосходный балет Бориса Эйфмана «Чайковский» в Петербурге идет без всяких приправ, хотя и с налетом «демонизма» из Шестой симфонии, взятой в привычном ключе.

**III. В. КОРГАНОВ.** Бетховен. Биографический этюд. М., «Алгоритм», 1997, 816 стр. (Серия «Гений в искусстве».)

Мы ждали и ждем выхода последней, четвертой, книги полного (!) собрания писем Л. Бетховена на русском языке, которая была подготовлена теперь уже покойным Н. Л. Фишманом (письма 1823 — 1827 годов), но она все не выходит, и с эпистолярием заключительного этапа жизни великого немецкого композитора мы знакомимся в этом весьма примечательном издании. «Бетховен» В. Корганова, в сущности, — роман в письмах и документах, которые для современного любознательного читателя, особенно для того, кто не знает четырехтомника (пока трехтомника) Фишмана, являются абсолютно свежими, волнующе новыми. Книга Василия Давидовича Корганова (1865 — 1934) вышла в Петербурге в 1909 году и только теперь вернулась к читателю. Забыта она была несправедливо, хотя ради той же справедливости надо сказать, что бетховеноведы всегда ссылались на нее,

а Фишман использовал ее в своих комментариях, правда переводы текстов писем дал не коргановские, а новые. Корганов стремился прежде всего воссоздать творческую биографию Бетховена, личное и житейское (как, скажем, «сердечные влечения» композитора) для него — второй и даже третий план этой жизни, но привлечены, когда требуется, документы, освещающие драматические эпизоды биографии; болезнь же Бетховена, его смерть, отпевание, похороны — наиболее запоминающиеся эпизоды этого «романа». Очевидно, что перед нами труд музыковеда, написанный именно в традициях прошлого века, когда духовно-творческое интересовало исследователей в первую очередь, а лично-биографическое целомудренно утаивалось или приоткрывалось ровно настолько, чтобы оттенить трагизм судьбы художника — судьбы, воплощенной в борениях духа.

Корганов, один из последних сторонников музыкальной эстетики кантианца Э. Ганслика, тем не менее вступает с ним в спор, в частности при интерпретации «Пасторальной» симфонии, ссылаясь на разъяснение некоторых ее частей самим композитором. Автор и в других случаях берет себе в «союзники» своего героя. Так, он резко возражает против модных и в его время поисков программности в музыке Бетховена, против чего всегда протестовал сам композитор (хотя и написал великое множество сочинений, дававших и дающих повод критикам искать в них и литературно-философский сюжет, и живопись звуками).

Корганов может показаться наивным и сентенциозным, если смотреть на его книгу с высоты последующего, почти векового, опыта бетховенианы. Но чистота намерений автора, его любовь к своему герою и фактологическая насыщенность книги позволяют закрыть глаза на ее слабости. И поражает колоссальная работа, выполненная ученым. Им прочитаны, изучены, переведены горы документов во время многолетних командировок в страны Европы, где Корганов осваивал архивы, вступал в контакт с музыкальными организациями, с действовавшими тогда корифеями мировой музыки. Вторая половина XIX века была вообще временем бурного развития русской музыкальной культуры: просветительская деятельность



братьев Рубинштейн, А. Серова, В. Стасова, Г. Лароша, научные экспедиции в Европу основателя петербургской «Русской музыкальной газеты» Н. Финдейзена... Многогранная деятельность Корганова — из этого же ряда, но протекала она вдалеке от столиц, в Закавказье. Благодаря переизданию этой книги к нам вернулось забытое имя ученого, которому весьма многим обязана музыкальная культура кавказских народов на рубеже веков и в первой трети нашего столетия. В становлении музыкальной науки Грузии Корганов играл едва ли не ведущую роль, долго живя в Тифлисе; им фактически было создано и музыковедение Армении (в Ереване он трудился последние годы, здесь умер и похоронен).

Досадно, что издательство «Алгоритм» упростило себе задачу, не снабдив книги серии «Гений в искусстве» хотя бы элементарным научным аппаратом. И для этого жизнеописания Бетховена так необходимы были бы вступительная статья, комментарии и, разумеется, именной указатель.

#### IV. ДУХОВНАЯ СРЕДА РОССИИ. Певческие книги и иконы XVII — начала XX века. М., «Вереск», 1996, 176 стр.

Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки и ГНИИ реставрации выпустили редкое по красоте и содержательности издание. Приурочено оно было к выставке 1992 года «Духовная среда России» (в ГЦММК), вышло много позже, но будет жить, бесспорно, самостоятельной жизнью, потому что открывает нам сокровища, в основном впервые увидевшие свет. «Божественное пение» (то есть церковное) для народа всегда было частью его жизни, души, даже быта. В старину в церкви пели все и знали, что поют. Отсюда массовая распространённость певческих книг — служебных и домашних. Душеполезные нотированные книги были в доме таким же привычным явлением, как сейчас пластинки и кассеты (не то что нынешняя всеобщая отсталость в нотной грамоте!). Альбом и напоминает еще раз о самодельности церковной музыки, содержание которой — молитва, а назначение — ввести человека в мир Слова, того Слова, о котором говорится в первых строках Евангелия от Иоанна.

Здесь продемонстрировано более сорока образцов певческих сборников (в том числе старообрядческих) и духовных сочинений композиторов XIX — XX веков (П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Кастальского). Статьи и аннотации знатока церковного пения М. П. Рахмановой (она один из авторов проекта этого издания) вводят в удивительный, для многих утраченный мир православного церковного и домашнего пения. Музыка на Руси была неотделима от архитектуры и иконы. Искусствовед М. М. Красилин в развитие «музыкальной темы» альбома дает обстоятельный комментарий к новооткрытым иконам и изделиям церковно-прикладного искусства за тот же период.

Надо надеяться, что это издание — лишь первая ласточка в издательской деятельности ГЦММК в трудный постперестроечный период. Директор музея А. Д. Панюшкин, его заместитель И. А. Медведева, главный хранитель К. С. Баласанян (и, видимо, незримо присутствующие рядовые сотрудники музея), поднявшие это издание (само собой подразумеваем и сотрудников Института реставрации, участвовавших в нем), вернули из забвения те ценности, которые все еще имеют первостепенное значение для сохранения нашей культуры, для ее настоящего и будущего.

Анатолий КУЗНЕЦОВ.

\*

#### ВАРИАНТЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. М., «Энциклопедия российских деревень», 1997, 147 стр.

Столь «специфически прикладное» название этой брошюры, думаю, не отпугнет, а, напротив, привлечет внимание именно того читателя, на кого она и рассчитана, — крепкого деревенского хозяина. Вспоминаю одного толкового председателя колхоза, который пару лет назад жаловался мне на то, что у него «голова идет кругом» от всех этих новомодных аббревиатур — АОЗТ (акционерное общество закрытого типа), ООО (общество с ограниченной ответственностью), СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив), ТНВ

(товарищество на вере), ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью)... Кивнув на пачку рекомендательных материалов, которыми был завален его рабочий стол, он сказал:

— Можно, конечно, разобраться в типах предприятий и схемах их реорганизации. Но как выбрать вариант и сделать это у себя в колхозе, не представляю! Тут, понимаешь, наглядность нужна. Всегда неплохо выслушать добрый совет — допустим, при перестройке своего дома, но все-таки лучше посмотреть, как это сделал твой сосед.

Теперь, после выхода брошюры в свет, у сельских практиков-реформаторов такая возможность появилась (если до них дойдет это полезное издание с весьма невеликим тиражом в 3000 экземпляров). Они смогут не только детально разобраться в том, «как это сделал сосед», но и выбрать модель реформирования, познакомиться с предстартовыми условиями и результатами преобразований в хозяйствах разной специализации. Отмечу, что примерами служат типичные российские хозяйства в типичных (и отнюдь не тепличных!) экономических условиях. Добавлю: ему, читателю, предлагается не научный труд, а популярное, доходчивое изложение историй реорганизации сельхозпредприятий в семи областях России, а значит, при широкой географии и аудитория у этого издания может быть весьма разнообразной.

Вообще проблема преобразования наших сельскохозяйственных предприятий всегда упиралась и упирается в предубеждение (а то и наукообразный постулат), будто наша деревня не поддается никакой реорганизации. В последние годы на этот счет было предостаточно разговоров, начиная от утверждений, что, мол, общинный, мирской характер нашего села наилучшим образом выражен в колхозной форме хозяйствования, и кончая заклинаниями аграрников-консерваторов, что селу нужна только финансовая помощь государства и никакие другие меры его не спасут. Иными словами, внутренние резервы российской деревни исчерпаны, а значит, менять ничего не надо.

«Надо!» — возражают авторы брошюры. И описанием опыта реорганизованных хозяйств блестяще доказывают: наша деревня умна и талантлива в выборе новых форм хозяйствования на

земле, в ней немало лидеров, способных возглавить реформы на местах. Собственно, самый главный вопрос для таких хозяйственников-практиков вот в чем: как найти свой путь выхода из общего кризиса? Внимательный читатель брошюры легко уяснит: у нынешних сельских собственников есть возможность выбрать один из трех типов экономических отношений. Это: самостоятельно использовать свою земельную долю и имущественный пай — и стать фермером или предпринимателем-частником; передать землю по договору в аренду и ждать дивидендов или внести свой пай в уставной капитал и работать либо по найму, либо в качестве собственника-компаньона — тогда создаются АОЗТ, ТНВ или ООО; передать часть своего имущества в обслуживающий кооператив, что перспективно для развития личных подсобных хозяйств. Отсюда и типы реорганизации — преобразование, выделение, разделение, слияние, присоединение и, наконец, ликвидация (банкротство).

В принципе, схема достаточно проста. Но в то же время невероятно сложна для реализации, поскольку нет и не может быть единой для всей России модели реформирования — она уникальна для каждого хозяйства. И ценность раскрытого в брошюре опыта как в анализе практики реформирования сельхозпредприятий, сравнении результатов, так и в тщательном разборе «полетов» — допущенных просчетов и неудач. К тому же деревня наша многолика, в ней наряду с предприимчивостью, пронизательным умом соседствуют косность, пассивность, надежда на авось да небось, привычка к тоталитарному типу руководства. Этой стороне дела в брошюре также уделено достаточно внимания: почему люди тягелы на подъем, что их пугает при реорганизации производства, кто и как способен увлечь их идеей обновления.

«Мы должны разделиться, чтобы объединиться», и «мы должны объединиться, чтобы выделиться», — вот, собственно, в чем суть реформ на селе. Но в отличие от застарелой нашей болезни «смены вывесок», обрекавшей на неудачу все прежние камлания по реорганизации сельского хозяйства, нынешние реформы опираются на права собственности (земельную долю и имущественный пай) и свободу выбора в спо-

собах их использования. От деклараций до практического осуществления этих прав и свобод — «дистанция огромного размера». Не всякий крестьянин решится пройти ее самостоятельно. Тут надо быть готовым и к трудной борьбе, и к изматывающей, необъятной работе, и к поиску нестандартных решений. Ничуть не скрывая неприглядных сторон «реформ по-русски», брошюра дает и руководителю хозяйства, и фермеру, и рядовому члену акционерного общества, и сельскохозяйственному кооператору дельные советы насчет того, как не попасть в «законодательную ловушку» (а их у нас и по глупости, и по чиновничьей хитрости напридумано предостаточно), что такое «правовое сознание реформатора», какова стратегия выживания в теперешних условиях, каким образом можно наладить взаимовыгодные отношения с местной сельской администрацией. И наконец — что делает разумный хозяин после удачных и неудачных преобразований.

Опыт тех, кто уже нашел свой выход из кризиса, поистине бесценен и свиде-

тельствует: село наше преобразается, все увереннее ставит свой воз на рыночную колею. Кстати, тот самый председатель, о котором я упомянул в самом начале, создал в Мордовии «фермерский колхоз» из владельцев 18 крепких крестьянских хозяйств, которые арендуют земли у своих односельчан, выплачивают им дивиденды зерном и мясом, а механизаторам по найму — твердую зарплату. Без копейки государственных денег, только на свои средства члены этого товарищества крестьянских хозяйств реконструировали сельскую школу, построили медпункт, продовольственный магазин. Выходит, хватистый председатель что-то, возможно, и подсмотрел у соседей, но больше похоже, что сам сориентировался. И если наша деревня будет побольше думать-кумекать, да читать толковые брошюры и книги, да пробовать себя, да сама решать, как ей жить, вот тогда-то наверняка все меньше будет веры тем, кто до сих пор в нее, деревню, не верит.

**Юрий ГОВОРУХИН.**



---

---

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ НА МАЛУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

...ШШШ ел 1949 год — последний год одного из самых страшных десятилетий XX века. В поверженной Германии зарождалось западногерманское экономическое чудо, а на востоке — в стране победившего социализма — «вождь всех времен и народов» восстанавливал и укреплял фундамент государственного хозяйственного организма, уродливо перекошенного в сторону тяжелой промышленности. Гигантская индустрия требовала гигантского расхода электроэнергии. Поэтому в подражание ленинскому плану ГОЭЛРО верноподданническая наука разработала грандиозную программу развития энергетики, основанную главным образом на использовании водной энергии; гидротехническое строительство стало набирать силу. Благо опыт был, и немалый: еще до войны на костях бесчисленных зеков был сооружен Беломорско-Балтийский канал и канал Москва — Волга, построены десятки плотин, шлюзов, гидроэлектростанций. Уже существовал многоголовый строительный монстр «Гидроэнергострой»; действовали два крупных проектных института: «Гидроэнергопроект» (ГИДЭП) и «Гидропроект» (правда, очень скоро, углубляя монополию, второй поглотил первый). Директором ГИДЭП в то время был А. Н. Вознесенский, отец будущего известного поэта-шестидесятника. «Гидропроект» командовал С. Я. Жук, легендарный гидростроитель, поднятый, как говорили, по указанию самого Сталина из лагерной пыли канала им. Москвы. И до сих пор «Гидропроект» носит имя этого крутого человека, в одночасье превратившегося из гулаговского раба в крупного руководителя, ставшего в один ряд с И. А. Лихачевым, А. П. Завенягиным и другими знаменитыми хозяйственными полководцами послевоенного промышленного строительства.

Неограниченное количество бесплатной рабочей силы делало осуществимыми любые проекты.

Но помимо рабов нужны были еще — и тоже в большом количестве — начальники всех уровней, мастера, прорабы-специалисты, инженеры. В Московском (впрочем, и в Саратовском, Новосибирском, Куйбышевском и многих других) инженерно-строительном институте был объявлен дополнительный, *зимний*, набор студентов специально для подготовки кадров «великих строек коммунизма». Мы, молодые энтузиасты, надо сказать, от души рвались в романтические дали Сибири, Закавказья, Средней Азии, Украины.

Волга, Днепр, Обь, Енисей, Иртыш, Дон — пожалуй, на перспективной гидроэнергетической карте Союза в то время не оставалось ни одной более или менее заметной голубой нити, не перевязанной там или тут синими узлами будущих водохранилищ.

Строительство развернулось с большим размахом — это напоминало пресловутые «10 сталинских ударов» Великой Отечественной. То же сосредоточение в одном месте и в один час огромного количества техники и людских ресурсов, тот же жесткий командно-приказной военный режим. Только те *удары* шли постепенно, один за другим, а эти наносились одновременно, сразу. И не по внешнему врагу, а по собственному народу, еще не оправившемуся от войны. До жилых ли домов, до продуктов ли питания, до производства ли хорошей одежды было Сталину и его присным? И снова, как до войны, ютились в сырых подвалах-землянках строители светлого будущего, и опять недоедали их дети, жены и матери.

Ударным стройкам должен был соответствовать ударный труд. Поэтому на каждой надлежало побить тот или иной рекорд. Так, Куйбышевгидрострою спустили из главка план по достижению рекорда суточной укладки бетона, первое место

по которой в то время держали американские строители гидроэлектростанции Гранд-Кули.

Делалось это так. Сначала в течение многих недель никакого бетонирования вообще не велось, а на всех сооружениях только устанавливалась опалубка и арматура (то есть готовилась так называемая «посуда»). Затем включались на всю мощность бетонные заводы, и все, что должно было делаться равномерно в течение месяца или двух, делалось за один день. Надо ли говорить, что качество такого бетонирования не выдерживало никакой критики; потом приходилось многое переделывать, отбивать уже отвердевший бетон и бетонировать заново. Тогда произошел страшный случай: одного поскользнувшегося и упавшего в блок бетонирования рабочего забетонировали заживо — только б не останавливать подачу бетона! Разумеется, об этом не сообщалось в газетах, а свидетелям пришлось держать рот на замке. Замурованное в плотине и лишенное доступа воздуха, тело нетленным может лежать там много тысячелетий — вот будет находка для археологов будущего!

...После окончания МИСИ им. В. В. Куйбышева меня распределили на строительство Куйбышевской ГЭС. Это были годы, когда на низком левом берегу Волги еще зеленел садами и огородами частной застройки небольшой старинный городок Ставрополь-на-Волге, который теперь почему-то именовался Соцгородом. А на правом, высоком, берегу не по дням, а по часам рос новый город строителей и энергетиков Жигулевск, будущий гигант-мегаполис Тольятти. Но надо всей округой господствовал «Гидроэнергострой» и принадлежащие ему *Котлован*, *Зона*.

Сюда каждое утро приводили с собаками колонны зеков, сюда же со всех сторон подъезжали из города автобусы с вольнонаемными. К котловану сходились все железнодорожные и автомобильные дороги, бетоноводы, линии электропередач, водопроводные, теплофикационные и канализационные коммуникации.

Котлован был огромен и многолик. В нем день ото дня все выше росли опоясанные деревянной опалубкой блоки бетонирования с ажурными каркасами железных арматурных решеток. Над ними нависали остроносые гуськи порталных подъемных кранов; нескончаемым потоком шли длинные колонны тяжело груженных самосвалов.

В котловане «хозяйничали» зеки: они были и рабочими, и прорабами, и бетонщиками, и арматурщиками, и сварщиками, и электриками. Сюда в кислородных баллонах им нелегально завозили из города водку, и они торопливо ее распивали из ржавых консервных банок. Здесь уголовники отлавливали молодых учетчиц, лаборанток и крановщиц и целыми бригадами насиловали их, затаскив в вагоны подсобок.

Был уже 1955 год, излет эпохи ГУЛАГа.

В лагере — среди прочих — был и так называемый *чеченский* барак, в котором кроме чеченцев и ингушей содержались еще татары, казахи и кабардинцы. Вспыльчивые, задиристые, они все время вступали в стычки, но при этом межнациональная напряженность не мешала всем как-то сосуществовать и даже распивать вместе водку. Но агрессия тлела и выходила иногда на поверхность. Был такой случай: однажды в воскресенье чеченец сидел за столиком во дворе барака с русским. Они уже прикончили бутылку и тихо о чем-то толковали. Неожиданно, без всякого предупреждающего крика и даже без какого-либо повышения голоса, чеченец схватил пустую бутылку, резким ударом о край стола отбил донышко и со всей силой ткнул русскому в лицо, да еще и повернул ее вокруг оси. Тот залился кровью и рухнул на землю. А чеченец встал, повернулся и неторопливо ушел в барак.

Ночью мы проснулись от света пожара в лагере — горел подожженный русскими чеченский барак. Сколько тогда погибло людей, никто не считал — их списали, как списывали отслужившие свое дрели, перфораторы и прочие механизмы.

...Меня определили на участок монтажной площадки. «Площадка» — только название: это было большое железобетонное строение на 10 — 12 этажей, которые кроме лифтов должны были еще соединяться пожарной (аварийной) лестницей, вот ее-то и предстояло установить. Эту первую в моей жизни самостоятельную работу я по понятным причинам благополучно провалил. На участок меня привел начальник по фамилии Шкуро и, сунув пачку чертежей, оставил наедине с узкой

темной шахтой, где должна была быть смонтирована та самая лестница, и с бригадой из десяти ухмыляющихся рабочих-зеков. Впрочем, по списку бригада состояла из одиннадцати человек, однако одного на работе не было никогда.

Несколько раз я безуспешно пытался выяснить, кто этот одиннадцатый, пока наконец подвыпивший Шкуро однажды не раскололся:

— Ты что, не знаешь, кто такой вор в законе? Да на него все охраннички Богу молятся: без него такой бардак начался бы в зоне, не приведи Господь. Так что не задавай дурацких вопросов и выводи ему ту же зарплату, что и всем: бригада на него работает. И не возникай, если хочешь быть цел.

Увидел я *одиннадцатого* только в конце месяца, когда составлял наряды. Он оказался на удивление шутым молодым человеком и — москвичом. Узнав, что я его земляк с Преображенки, он растрогался, заявил, чтобы я не дрейфил, что он за меня теперь будет «мазу ставить»<sup>1</sup>.

Но это — потом, а в тот первый мой рабочий день натерпелся ж я страху. Залез на один из ярусов лестничной шахты, стал рассматривать чертежи, вдруг кто-то сверху позвал: «Начальник!» Я высунул голову из проема, и в этот момент раздался страшный грохот, вся шахта передо мной заполнилась летящим вниз густым облаком цемента — это наверху опрокинули бадью. В следующее мгновение в полной тьме совсем рядом с моим ухом просвистел тяжелый стальной трос. Я был на волосок от гибели. Это зеки проверяли меня «на вшивость». Но мне еще здорово повезло. Другого такого же молодого специалиста засунули в большую стальную трехметровую трубу и заварили заглушками с обеих сторон. Сутки просидел он там задыхаясь, пока его хватились и вытащили полуживого.

...Вряд ли когда-либо до того у меня был повод интересоваться лестницами, тем более пожарными; по правде говоря, я даже смутно представлял, как по ним лазают. Поэтому, получив с базы готовые стальные лестничные пролеты и недолго думая, я велел сварщику соединять их друг с другом и ставить краном в шахту. Потом мы установили ступеньки, приварили перила, и через пару недель все было готово. Я позвал начальника принять работу.

Скандал разразился жуткий! Оказалось, что я нарушил все нормативные документы по установке пожарных лестниц, что они должны спускаться по часовой стрелке, а не наоборот, что перила должны быть справа, а не слева, что я не умею читать чертежи и что меня следует не только лишить квартальной премии, но и зарплату, а может быть, выгнать с работы и отдать под суд. Слава Богу, мне удалось уйти «по собственному желанию».

Так кончилась моя прорабская работа на монтажной площадке Куйбышевгидростроя.

Гидростанции строились с размахом. Чтобы получить много киловатт-часов электроэнергии, нужно было создать большой напор воды, то есть поднять как можно выше уровень воды в реке. Вот и воздвигались гигантские водоподпорные плотины высотой не в один десяток метров. А что значило — в условиях равнинной местности — резко повысить речной уровень? Это означало устроить настоящее наводнение — искусственное — и затопить десятки квадратных километров прибрежных территорий.

Делалось это не где-нибудь в пустынных, отдаленных от жилья районах, а в густонаселенной средней полосе России, Украины, в Молдавии, в Закавказье; в зону затопления попадали деревни, села, поселки, части городов, а то и целые города; вырубались сады, сводились леса. Это потом расхрабрившиеся литераторы стали писать об этом книги (например, «Прощание с Матерой» Распутина). А в то время смелым планам преобразования природы в СССР удивлялись только на Западе: вряд ли кому-нибудь могла там прийти в голову мысль о водохранилищах на Рейне, Сене, Роне или Висле. Но коммунистам всё нипочем!

Нет, конечно, ученые-гидротехники «для блезира» пытались обосновывать бредовые проекты. Так, одним из дополнительных аргументов в пользу создания водохранилищ сезонного и даже многолетнего регулирования речного стока воды — кроме получения электроэнергии — было предотвращение губительных,

<sup>1</sup> Поддерживать, защищать кого-либо (тюремно-лагерный жаргон). (Примеч. ред.).

как говорилось, наводнений. Но ведь природные весенние подъемы уровня речной воды вовсе не были столь уж губительны; разливы рек затапливали берега хотя и ежегодно, но временно, на довольно короткий срок. И в большинстве случаев это было даже благо: половодье приносило на прибрежные земли удобрявший их ил, который повышал плодородие почвы. Кроме того, речная вода обеспечивала обильную влагозарядку грунта на многие недели, а то и месяцы. Вот почему так ярко зеленели заливные луга, служившие бесплатными выпасами для скота, поистине дар природы. Всего этого сельское хозяйство лишилось из-за того, что естественные сезонные наводнения были заменены постоянными, искусственными.

Еще одна большая беда равнинных водохранилищ — мелководья. Широко разливаясь на плоских пространствах, речная вода образует громадные застойные зоны глубиной 0,5 — 1 метр — это мертвая, гнилая, тухлая вода. Так, разлитое в южных степях России Цимлянское водохранилище уже в первое лето на две трети покрылось густой зеленой ряской, а ныне оно всюю заболачивается. Ежегодно буйно «цветут» в жаркие летние месяцы все волжские водохранилища, образуются все новые и новые болота, многие из которых — малярийные.

Чтобы избавиться от мелководий, возводятся длиннющие земляные дамбы, призванные отгораживать территории городов, сел, промузлов, сельскохозяйственных земель от затопления. Эти заградительные сооружения требуют довольно больших затрат не только на строительство, но и на эксплуатацию, с них вечно сползают облицовочные плиты, образуются провалы и промоины; дамбы оседают и требуют регулярной подсыпки.

...Эхо «великих строек коммунизма» имеет в наши дни чудовищные экологические последствия, масштаб которых превысил любые мыслимые драматичные ожидания.

Во-первых — подтопление территорий подземными водами. Опыт нескольких десятилетий, прошедших со времени создания речных водохранилищ, показал, что из-за утечки из них воды уровень подземных вод на прилегающих землях с каждым годом повышается; идет подтопление — настоящее наводнение снизу. Граница подтопления с годами продвигается все дальше, и скорость ее наступления на сушу доходит до 200 — 400 метров в год.

Подтопление — это десятки и даже сотни тысяч затопленных подвалов, погребов, технических подпольий, гаражей, галерей, тоннелей и других подземных и заглубленных сооружений; это сырость на первых этажах домов, плесень в подъездах, грибок на потолках; это разъеденные ржавчиной водопроводные трубы и кабели, выщелоченный бетон фундаментов, длинные и глубокие трещины на стенах, деформации и аварии зданий. Ущерб, который приносит подтопление зданий и сооружений подземными водами, лежит тяжким, теперь часто непосильным бременем на коммунальных службах городов и поселков и эксплуатационных отделах промышленных предприятий. Рыбинск, уникальная архитектура которого сегодня представляет собой руины, Нижний Новгород, Кинешма и Энгельс, Казань и Астрахань — на Волге, Никополь и Каменка — на Днепре, Абакан — на Енисее и много-много других городов и поселков десятилетиями несут колоссальные убытки и — как следствие этого — деградируют. Подтопление приносит урон сельскому хозяйству: подъем уровня подземных вод в зоне влияния водохранилищ приводит к заболачиванию земель, обводнению полей, засолению почв и гибели посевов. Снижаются урожаи зерновых, вымокают и гибнут сады, плодовые деревья и кустарники; меняется и рельеф местности; в низинах и западинах появляются новые болота и озера, овраги и балки наполняются ручьями.

Другая беда — подмыв и обрушение берегов водохранилищ. Если природные водоемы и водотоки (озера, реки, моря) за долгие тысячелетия давно уже сформировали свои границы, «нащупали» прочные, не поддающиеся размыву берега, то «рукотворные моря» только начинают завоевывать себе пространство: их акватория только еще образуется, волны, бьющие о берег (в шторм сила их удара может достигать несколько десятков тонн на каждый квадратный метр), разрушают береговые откосы. Ежегодно граница водохранилищ продвигается все дальше, заглатывая новые территории человеческой жизнедеятельности. Большие оползни разрушают берега возле Ульяновска, катастрофические подвижки берега происходят возле Казани, Саратова, Балакова, Абакана и многих других городов.

Что же делать — спустить водохранилища, сбросить напор воды, пытаться вернуть человеку драгоценные земли?

Ответить на эти вопросы однозначно нельзя. Без сомнения, гидроэлектростанции времен «великих строек коммунизма» имели историческое значение: помогли восстановить разрушенное войной народное хозяйство, обеспечили электроэнергией возрождающуюся промышленность и сельское хозяйство, дали свет городам и селам.

И ныне они далеко еще не бесполезны: сегодня гидроэлектростанции довольно эффективно заполняют *пиковую часть* суточного (да и сезонного) энергопотребления. Это означает, что, например, в дневные часы, когда работают заводы и фабрики, или вечером, когда зажигаются огни в окнах домов и включаются телевизоры, они подают в электросеть ту важную долю всей электроэнергии, основную часть которой в остальное время обеспечивают тепловые электростанции. Со времени хрущевского самодурства последние служат основой отечественной энергетики. Именно тогда кто-то из заинтересованных лиц шепнул нашему «волонтеристу», что теплоэлектростанции лучше гидроэлектростанций. Тогда Хрущев с энтузиазмом развернул не менее гигантское, чем раньше, строительство, на этот раз не ГЭС, а ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, а позже АЭС<sup>2</sup>, в огромных количествах пожирающих уголь, мазут, газ, уран и другие горючие и расщепляющиеся полезные ископаемые.

...Хрущевская «оттепель» заморозила гидротехническое строительство. Потом бывший мелиоратор Брежнев возобновил гидромелиоративные и водохозяйственные работы. Снова воспряли проектные институты «Гидропроект» и «Гипроводхоз», вновь ожили гидростроительные управления, тресты, главки, ПМК (передвижные механизированные колонны) и т. п. Строительство Каракумского канала, Северо-Крымского канала и многих других крупных водных магистралей, осушение болот Полесья, создание групповых водопроводов в Казахстане, орошение полей Средней Азии, Закавказья, юга России и Украины — только часть «этапов большого пути», проложивших дорогу осуществлению главного замысла эпохи развитого социализма — *переброске на юг стока северных рек*, венца коммунистического маразма. Слава Богу, он не был осуществлен, номенклатура переключилась на перестройку, и, главное, Каспийское море неожиданно сыграло злую шутку с «преобразователями природы»: его уровень стал вдруг стремительно повышаться, отпала одна из целей бесполезной переброски рек — пополнение моря водой.

А ныне гидротехники опять без работы. Впрочем, они в этом не одиноки.

...Что ждет энергетику в будущем? Существовавшая ранее радужная надежда, что от энергетического голода нас спасет «мирный атом», после Чернобыля потускнела. А что же «альтернативные» виды энергии — солнце, ветер и другие? Конечно, тот, кто проплывал Гибралтарский пролив и видел на европейском берегу скалу, всю покрытую плитами с фотоэлементами, почти полностью обеспечивающими английских военных автономным, не зависящим от Испании, энергоснабжением, не мог не подивиться этой сказочной «технике на грани фантастики». Но то солнечный юг и относительно небольшой энергопотребитель — британская военная база. А огромную Россию с ее сверхэнергоемкой промышленностью невозможно даже частично обеспечить никакими самыми совершенными солнечными и солнценакопительными установками, самыми мощными и эффективными ветровыми электрогенераторами и электродвигателями.

Остается нам по-прежнему гнать по газо- и нефтепроводам газ, нефть, мазут и с обидным постоянством, достойным лучшего применения, сжигать в топках ТЭС, ТЭЦ и ГРЭС, то есть выбрасывать в буквальном смысле в трубу, миллионы «несостоявшихся», необходимых людям вещей, которые давно уже в Европе изготавливаются на основе нашего природного газа.

Но кроме варварского истребления природных ресурсов у тепловой энергетики есть и еще один, тоже весьма затратный, недостаток. Теплоэлектростанция, почти как паровоз, имеет довольно низкий коэффициент полезного действия — и далеко не только из-за неполного сгорания угля, торфа и даже мазута, а еще из-за ее

<sup>2</sup> Напоминаем читателю, что ГЭС — гидроэлектростанция, ТЭС — теплоэлектростанция, ТЭЦ — теплоэлектроцентраль, ГРЭС — государственная районная электростанция, АЭС — атомная электростанция.



большой инерционности. Ведь чтобы запустить в работу тепловую электростанцию, нужно доставить и заложить в топку топливо, зажечь его и, главное, довести воду или пар в котле до нужного давления и температуры, на все это, разумеется, требуется много времени (как и для остановки котла). Поэтому теплоэлектростанция работает почти всегда в одном и том же режиме и выдает в электросеть приблизительно одинаковое количество электроэнергии. А это как раз не нужно, так как энергопотребление даже в течение одних суток очень неравномерно и вечернее от ночного, по понятным причинам, может отличаться чуть ли не в два раза. Вот почему, как уже говорилось, и оказываются столь востребованными в часы «пик» гидроэлектростанции. К примеру, решило телевидение порадовать болельщиков футбола матчем любимого «Спартака» или начать показ очередного мексиканского сериала. Не будем обсуждать, что дает это душе человеческой, но оператор ГЭС нажимает кнопку, открывает затворы лишних двух-трех гидротурбин, и мгновенно в электросеть поступает дополнительное количество электроэнергии, — быстро, просто, надежно.

Но, увы, гидроэлектростанции, повторяю, наносят существенный ущерб окружающей среде, и как ни интересен многим футбол или «колонияльные» сериалы — игра, как говорится, не стоит свеч. Есть ли альтернатива речным равнинным гидроэлектростанциям, которые обеспечивают пиковую часть энергопотребления, чем можно было бы их заменить? Как решается эта сложная проблема за рубежом?

Ответ найден довольно давно и, как ни странно, теми же самыми хитроумными гидротехниками (как шутят — хитротехниками). Задача решена, конечно, тоже с помощью гидростанций, только не простых, а *гидроаккумулирующих* (ГАЭС). Все просто, как в школьном учебнике: два разноуровневых бассейна с водой соединены трубой, у нижнего конца трубы расположен гидроагрегат, работающий то как насос, то как турбина. Когда вода льется сверху вниз, он вырабатывает электроэнергию. И нетрудно догадаться, что происходит это в часы «пик», когда потребность в ней наиболее велика. В остальное время, например по ночам, в часы наименьшего энергопотребления, гидроагрегат трудится в режиме насоса и перекачивает воду обратно из нижнего бассейна в верхний. А вечером и днем все повторяется снова. Это и есть *гидроаккумуляция*.

ГАЭС особенно распространены в странах с гористым рельефом — Швеции, Италии, Норвегии. Там перепад высот позволяет получать мощный и продуктивный напор воды. А при большом напоре — обеспечить немалое поступление электроэнергии.

Но, спрашивается, где в средней полосе России, к примеру, можно отыскать гористую местность, например такую, как в Италии? Нигде. Превышение высотных отметок земли самого холмистого рельефа — пусть даже на Средне-Русской возвышенности, — как известно, невелико. О какой же крупной ГАЭС тут может идти речь? Не разливать же снова широкие и мелкие водохранилища?

...Вот узел, где пересеклись во времени и пространстве интересы горнодобывающей, металлургической, химической промышленности, потребности сельского хозяйства — с электрификацией. Здесь столкнулись в неравной схватке государственные и ведомственно-мафиозные амбиции — с робкими безответными жалобами геоэкологии земной поверхности.

Речь идет о глубоких ранах на теле Земли, нанесенных кайлом однобокой советской экономики, со времен Сталина гнавшей за мировым первенством в производстве стали и чугуна на душу населения. Речь идет о так называемой Курской магнитной аномалии (КМА), отнявшей у центральных черноземных областей (Белгородской, Курской) лучшие плодородные пахотные земли, густые лиственные леса, тучные зеленые пастбища, прекрасные пространства для строительства городов и сел. Огромные карьеры, где добывается руда открытым способом (в том числе самые крупные — Михайловский, Стойненский и Либединский), шахтные поля, многочисленные производственные площадки с заводами, складами, гаражами, мастерскими и прочими вспомогательными службами занимают территорию вполне соизмеримую с той, которую, как мы уже знаем, отобрали из

пользования речные равнинные водохранилища. Русская земля обезображена до предела.

Пришла пора оживить умершвленное. Каким образом? *Например, использовать отработанные шахты для устройства гидроаккумулирующих электростанций.*

В районе КМА на глубине нескольких сотен метров (до 700 — 1000 метров!) в крепких горных породах, кварцитах, остались от былых шахтных разработок железной руды многочисленные подземные камеры размером до 70 × 100 × 25 метров. Общий объем этих подземных выработок составляет не менее 240 миллионов кубометров. Чем не готовые бассейны для гидроаккумулирующих электростанций? Предложение об использовании старых шахт для гидроэнергетики было выдвинуто учеными и инженерами-горняками города Губкина и Москвы почти десять лет назад. К тому времени в стране функционировало много атомных электростанций. Успешно работая в базисной части графика энергопотребления, они, к сожалению, не покрывали дневных и вечерних пиковых нагрузок электроснабжения: ведь АЭС столь же инерционны, как обычные ТЭС. Вот почему связка АЭС — ГАЭС оказывается столь эффективной. Ночью атомная станция заряжает гидроаккумулирующую, а в часы «пик» та отдает накопленную энергию потребителям.

И нет ничего странного, что идея совместной работы АЭС и ГАЭС зародилась поначалу в центре России. Именно здесь в городе атомщиков Курчатове действует Курская атомная станция, а неподалеку выдает электричество в Единую энергетическую систему России Воронежская АЭС. Правда, вблизи последней нет готовых шахтных выработок, но зато здесь почти к самой поверхности земли подходят твердые кристаллические горные породы, в которых удобно создать подземные бассейны для гидроаккумулирования.

...Разумеется, вопрос утилизации отработанных подземных месторождений актуален не для одной Центральной России. В Донбассе несметное количество отработанных шахтных полей нуждается в «оприходовании». Здесь вопрос особенно сложен, так как — в отличие от России — донбасские шахты проложены в менее крепких горных породах, многие из них обваливаются, вызывая серьезные экологические и строительные проблемы, связанные с обрушением поверхности земли, появлением на ней воронок, провалов. Недаром существует даже СНиП (Строительные нормы и правила) — закон о строительстве на так называемых «подработанных территориях», где строить надобно очень осторожно, так как постройки просто могут уйти под землю. Вроде бы Украина теперь — чужая страна, не наша работа, но общие проблемы и решать следует сообща.

...Вот результаты выполненных в «Гидропроекте» предпроектных проработок одного из наиболее перспективных объектов строительства крупной подземной ГАЭС — старой Губкинской шахты на Коробковском железнорудном месторождении КМА. Здесь на глубине 260 метров от поверхности земли в качестве нижнего бассейна подземной гидроаккумулирующей электростанции с успехом могут быть задействованы отработанные шахты и штольни общим объемом около десяти миллионов кубометров (!). По объему — это почти целое Саратовское водохранилище, широко разлившееся за водоподпорной плотиной Балаковской ГЭС. Для верхнего же бассейна есть уже готовая емкость, словно специально созданная природой, — балка Грачев Лог.

Если этот — отнюдь не утопический — проект будет воля и возможность осуществить, может родиться ГАЭС мощностью не менее 1,2 миллиона киловатт (то есть более половины той же Куйбышевской ГЭС!). При этом капитальные затраты на строительство Губкинской ГАЭС по всем стандартам очень невелики: не более 600 долларов за киловатт электроэнергии (по мировым меркам, рентабельной считается электростанция с капиталовложениями до 1000 долларов за один киловатт).

Кстати, насколько экономично и эффективно использование при устройстве ГАЭС готовых бассейнов, показывает сопоставление Губкинской станции с подмосковной, в окрестностях Сергиева Посада, поверхностной ГАЭС такой же мощности. Здесь затраты оказались почти в полтора раза выше — из-за необходимости сооружения дорогостоящих железобетонных бассейнов с мощной гидроизоляцией.

Эти расчеты, сделанные в 1990 году, казались в то время приемлемыми для начала строительства. Теперь же с невероятным трудом выполняющей из тоталита-

ризма России, жертве всех мастей мародеров, осуществить этот заманчивый проект пока весьма сложно.

Кажется, где уж тут думать о возведении новых крупных объектов, когда повсеместно заморожены многие даже приближавшиеся к завершению энергетические стройки. Но инженерно-техническая мысль неуничтожима, как и мысль вообще, несмотря на самые неблагоприятные обстоятельства. И она ищет решения, без которых не проживем. *Малая энергетика* — вот что до зарезу нужно России. Ведь еще в пятидесятые годы у нас появились небольшие сельские ГЭС, которых вводилось в строй до тысячи ежегодно. Разумеется, они не конкурировали с энергетическими гигантами на Волге, Каме или Днестре, но свое дело делали и со временем стали покрывать около двадцати процентов всего электропотребления в сельском хозяйстве.

В наши дни лихорадочных поисков денежной, точнее, рыночной выгоды малая энергетика может стать весьма соблазнительным и прибыльным вложением средств. Особенно если брать их не из бездонно-дырявого государственного кармана, а — из бумажника бизнесмена, к которому деньги вернутся с большой прибылью.

Если на Западе предприниматель готов хорошо платить властям за лицензию на право строительства мусороперерабатывающего завода или канализационной станции и делает миллионы, перерабатывая утиль в бумагу, металлолом в сковородки, фекалии в удобрения, то, может быть, и у нас найдутся неглупые люди, что захотят делать деньги прямо из воздуха, точнее, из воды? Если на крутом берегу реки соорудить хотя бы небольшой бассейн, проложить к нему от реки трубу, поставить в ней насос-турбину — то получится та самая гидроаккумулирующая электростанция, мощности которой вполне хватит для местных нужд. А уж по рентабельности она наверняка окажется совсем не хуже вышеупомянутых мусороперерабатывающего завода или очистной станции. Гарантом тому может служить резко возросший у нас недавно суточный разброс цен на электроэнергию, который просто ошеломляет. Например, в Москве дневной тариф от ночного отличается в четыре раза! Да это же настоящий Клондайк для толкового бизнесмена.

Недаром тысячи мобильных городских гидроаккумулирующих электростанций действуют в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Чехии, Японии, Бразилии, Чили — там знают, во что следует вкладывать капитал.

Малые ГАЭС могут быстро и эффективно уменьшить дефицит в энергетике, снять социальную напряженность, связанную с недостаточностью энергоснабжения многих и многих регионов страны. А это вопрос немаловажный, ибо русский народ, как говорится, терпелив до зачину.

**Г. РАЗУМОВ,**

*кандидат технических наук,  
заведующий сектором геогидротехники*

*Института инженерных изысканий Госстроя России.*



# БИБЛИОГРАФИЯ

## КНИЖНАЯ ПОЛКА



**Светлана Алексиевич.** Чернобыльская молитва. (Хроника будущего). М., «Остожье», 1997, 224 стр., 2500 экз.

**Андрей Битов.** Записки новичка. М., «Локид», 1997, 330 стр., 16 000 экз.

**Максимилиан Волошин в стихах и портретах современников.** Образ поэта. Вступительная статья, составление, подготовка текстов и примечания Владимира Купченко. Библиотека альманаха «Крымский альбом». Выпуск второй. Феодосия — Москва, Издательский дом «Коктебель», 1997, 160 стр., 2000 экз.

Стихи М. Цветаевой, К. Бальмонта, И. Эренбурга, С. Шервинского, В. Брюсова, Г. Шенгели, С. Дурьлина, В. Рождественского, В. Инбер и еще более чем трех десятков поэтов; живописные и графические портреты Волошина работы К. Петрова-Водкина, Е. Круликовой, А. Остроумовой-Лебедевой, Б. Кустодиева, Г. Верейского и других.

**Владимир Высоцкий.** Собрание сочинений. В 4-х книгах. М., «Надежда», 1997, 10 000 экз.

Кн. 1. Грустный романс. 560 стр.

Кн. 2. Мы вращаем землю. 623 стр.

Кн. 3. Странная сказка. 576 стр.

Кн. 4. Я никогда не верил в миражи. 607 стр.

**Евгения Герцук.** Воспоминания. Мемуары, записные книжки, дневники, письма. Составитель, текстолог, автор вступительной статьи и комментариев Т. Н. Жуковская. М., «Московский рабочий», 1996, 443 стр., 2000 экз.

Автор, Евгения Казимировна Герцук (1878 — 1944), — одна из заметных фигур серебряного века русской культуры, входившая в круг друзей и собеседников Л. Шестова, Вяч. Иванова, Н. Бердяева, М. Гершензона, С. Булгакова.

**Ло Гуаньчжун, Фэн Мэнлун.** Развешенные чары. Роман. Перевод с китайского В. Панасюка. Перевод стихов И. Смирнова. Предисловие, комментарии Д. Воскресенского. Рига, «Полярис», 1997, 480 стр., 1000 экз.

**Две тысячи русских народных загадок.** Составитель П. Ф. Лебедев. Балашов, Издательство Балашовского педагогического института, 1996, 88 стр., 1000 экз.

**Николай Клюев.** Скопиночка. Стихи. Юбилейное издание. М., Межреспубликанская свободная творческая ассоциация, 1997, 318 стр., 1000 экз.

**Айрис Мердок.** Сочинения. В 3-х томах. Том 3. Сон Бруно. Черный принц. Романы. Перевод с английского О. Татариновой, И. Шварца, И. Бернштейн, А. Поливановой. М., «Радуга», 1997, 640 стр., 10 000 экз.

**Инга Петкевич.** Плач по красной суке. Роман. СПб., «Азбука-Терра», 1997, 480 стр., 5000 экз.

Главы из этой книги под названием «Свободное падение» наш журнал публиковал в 1994 году в № 6, рецензировался роман в статье Никиты Елисеева «Тень „Амаркорда“» («Новый мир», 1995, № 4).

**Дмитрий Александрович Пригов.** Написанное с 1975 по 1989. Собрание поэтических и прозаических текстов. М., «Новое литературное обозрение», 1997, 280 стр. Самое полное книжное издание сочинений известного поэта.

**Козьма Прутков.** Глаголы уст моих. Составитель В. Кабанов. М., «Книжная палата», 1997, 400 стр., 5000 экз.

**Райнер Мария Рильке.** Новые стихотворения. Перевод с немецкого В. Летучего. М., «Скорпион», 1996, 344 стр., 5000 экз.

«Новые стихотворения» — название книги Рильке 1908 года.

**Эдмон Ростан.** Пьесы. Перевод с французского Т. Щепкиной-Куперник. Подготовка текста Н. Любимова. Вступительная статья, комментарии А. Михайлова. Самара, «АВС», 1997, 592 стр., 20 000 экз.

**Генрих Сапгир.** Летящий и спящий. Рассказы в прозе и стихах. М., «Новое литературное обозрение», 1997, 352 стр.

Широко известный поэт предложил читателю новую книгу, почти целиком составленную из его прозы.

**Андрей Сергеев.** Omnibus. Роман, рассказы, воспоминания. М., «Новое литературное обозрение», 1997, 548 стр.

Полное собрание прозы переводчика и поэта, в которую вошли: «Альбом для марок. Коллекция людей, вещей, отношений, слов с 1936 по 1956» (Букеровская премия 1996 года), «Портреты», «О Бродском», «Рассказики».

**А. И. Солженицын.** Красное Колесо. Повествование в отмеренных сроках. Узел IV. М., Воениздат, 1996 — 1997, 10 000 экз.

Т. 9. Апрель Семнадцатого (12 апреля — 5 мая). 592 стр.

Т. 10. Апрель Семнадцатого. На обрыве повествования. 704 стр.

**Вадим Шершеневич.** Листы имажиниста. Составление, предисловие, примечания В. Ю. Бобрецова. Ярославль, Верхне-Волжское книжное издательство, 1997, 528 стр., 3000 экз.

**Татьяна Щербина.** Жизнь без. Стихи. М., 1997, 80 стр., 1000 экз.



**А. Бенуа.** Художественные письма. 1930 — 1936. Газета «Последние новости», Париж. Составитель И. П. Хабаров. Вступительная статья Г. Ю. Стернина. М., «Галарт», 1997, 406 стр., 5000 экз.

**К. Де Магд-Соэп.** Юрий Трифонов и драма русской интеллигенции. Перевод с английского. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 1997, 240 стр., 1000 экз.

Монография бельгийской славистки. Содержит некоторые любопытные сведения о жизни писателя. В аннотации сказано: «...может быть интересна учащимся старших классов средних школ... широкому кругу читателей». Увы, кроме Натальи Ивановой, у нас никто не взял на себя труд серьезного осмысления творчества одного из самых значительных русских писателей второй половины века.

**Писатель и вождь.** Переписка М. А. Шолохова с И. В. Сталиным. 1931 — 1950 годы. Сборник документов из личного архива И. В. Сталина. Составитель Юрий Мурин. Вступительная статья В. О. Осипова. М., «Раритет», 1997, 159 стр., 8000 экз.

Впервые опубликованные 15 писем Шолохова Сталину, писавшиеся с 1931 по 1950 год, и 4 письма Сталина (три — Шолохову, одно — Поскребышеву по поводу Шолохова), а также ряд документов, проясняющих содержание отдельных писем. Книга содержит Примечания и Хронику встреч Шолохова со Сталиным (воспроизведение соответствующих страниц журнала регистрации посетителей Сталина в Кремле 1931 — 1940 годов).

**Путеводитель по Пушкину.** СПб., Гуманитарное агентство «Академический проект», 1997, 432 стр., 10 000 экз.

Переиздание одной из самых известных в отечественном пушкиноведении справочных книг, подготовленной ведущими пушкинистами (М. К. Азадовский, С. М. Бонди, Г. А. Гуковский, Ю. Г. Оксман, Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов, М. А. Цявловский, П. Е. Щеголев и другие) и вышедшей впервые в 1931 году. Имеет структуру энциклопедического словаря.

**Репрессии против поляков и польских граждан.** Выпуск 1-й. Исторические сборники «Мемориала». М., «Звенья», 1997, 255 стр., 1000 экз.

Сборник статей. Некоторые из них: Н. В. Петров, А. Б. Рогинский, «„Польская операция“ НКВД 1937 — 1938 гг.» (о массовых репрессиях против поляков, проживавших на территории СССР, — крестьян пограничных районов, промышленных рабочих, железнодорожников и их семей, — спровоцированных приказом 00485 «О фашистско-повстанческой, шпионской... деятельности польской разведки в СССР»); О. А. Горланов, А. Б. Ро-

гинский, «Об арестах в западных областях Белоруссии и Украины в 1939 — 1941 гг.»; А. Э. Гурьянов, «Польские спецпереселенцы в СССР в 1940 — 1941 гг.»; П. А. Аптекарь, «Внутренние войска НКВД против польского подполья». Сборник содержит богатый документальный материал из русских и зарубежных архивов.

**Талейран. Мемуары.** Перевод и примечания С. и Л. Фейгин. Вступительная статья Е. В. Тарле. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 1997, 365 стр., 5000 экз.

Издано в редакции Е. В. Тарле — из пространных мемуаров знаменитого дипломата в русском издании исключены обширнейшие изложения дипломатических документов. Печатается по русскому изданию 1959 года.

«Утаенная любовь» Пушкина. Сборник статей. «Пушкинская библиотека». СПб., Гуманитарное агентство «Академический проект», 1997, 493 стр., 5000 экз.

Сборник статей пушкинистов М. О. Гершензона, Ю. Н. Тынянова, Л. П. Гроссмана, П. Е. Щеголева и других, посвященных одной из загадок биографии Пушкина — так называемой «утаенной любви», оставившей след в его творчестве. Воспроизводится также статья Т. Г. Цявловской «Храни меня, мой талисман» о взаимоотношениях поэта с графиней Воронцовой и отголосках этих отношений в стихах и прозе и известная работа П. Г. Губера «Донжуанский список Пушкина». Специально для этого издания были написаны открывающие его статьи Р. В. Иезуитовой «„Утаенная любовь” в жизни и творчестве Пушкина» и Я. Л. Левкович «„Донжуанский список” Пушкина».

Составитель Сергей Костырко.

## ПЕРИОДИКА



«Аргументы и факты», «Вышгород», «Дружба народов», «Завтра», «Звезда», «Знамя», «Континент», «Литературная газета», «Литературное обозрение», «Наш современник», «Независимая газета», «Новая студия», «Новое литературное обозрение», «Общая газета», «Октябрь», «Русский Телеграф», «Толстый журнал», «Юность»

**М. В. Алпатов — Н. Я. Берковский.** Из переписки. Публикация и комментарии С. И. Козловой и С. П. Гиждеу. Вступительная заметка С. П. Гиждеу. — «Новое литературное обозрение», № 25 (1997).

Переписка друзей — искусствоведа Михаила Владимировича Алпатова (1902 — 1986) и литературоведа Наума Яковлевича Берковского (1901 — 1972). Обмен мыслями, впечатлениями. «Последние 50, а то и 75 лет нам срезаны, будто бы их не было. Но без этой четверти века нет входа в века предшествующие, всякие занятия классикой без них мертвы... Нет Стендала и Л. Толстого без Пруста и Джойса, нет Шекспира без современной шекспирологии etc, etc» (из письма Берковского от 24 июля 1957 года).

**Л. Г. Барсова.** Иван Иванович Лапшин: жизнь и труды. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 10.

Статья о русском философе И. И. Лапшине (1870 — 1952), авторе двухтомного труда «Философия изобретения и изобретение в философии», многих работ, в том числе и о музыке. Большая часть его научного наследия не изучена и малоизвестна; «не написана его биография (воспоминаний он не оставил), в разного рода справочниках повторяются одни и те же отрывочные сведения». В 1922 году был арестован ГПУ и выслан за границу на знаменитом «философском пароходе». До самой смерти жил и работал в Праге.

**Павел Басинский.** Московский пленник. Исповедь провинциала. — «Октябрь», 1997, № 9.

Литературный критик — о своей московской жизни 80 — 90-х годов. Литературный институт. Студенты, преподаватели, атмосфера. Портреты сверстников: поэт Игорь Меламед, критик Вячеслав Курицын. (В частности, составитель рубрики «Периодика» аттестован как «просвещенный консерватор» — это приятно.)

**Василий Белов.** Час шестой (хроника 1932 года). — «Наш современник», 1997, № 9, 10...

«Под вечер, в день святого животворящего Духа, проходная калитка Московской тюрьмы в Вологде распахнулась, и рослый охранник прямиком в поток равнодушных, страдающих от жары обывателей выпустил приземистого бородатого узника...» Продолжение известной крестьянской эпопеи, отдельные части которой печатались в том числе и в «Новом мире».

**Павел Бунин.** К. И. Из воспоминаний о Чуковском. Предисловие Александра Эбаноидзе. — «Дружба народов», 1997, № 9.

Воспоминания известного художника-графика, книжного иллюстратора. Выразительные, разнообразные интонационно диалоги с Чуковским даны драматургически — с репликами и ремарками.

**Дмитрий Быков.** Песни о тараканах. — «Общая газета», 1997, № 38, 25 сентября — 1 октября.

Заметками Дмитрия Быкова о творчестве Л. Петрушевской газета открывает рубрику «Новые неприкасаемые» — о «любимцах славы», будто бы не подверженных критике и поэтому профанирующих свое искусство. «Новые рассказы Петрушевской в „Дружбе народов“ и „Знамени“, страшно сказать, откровенно скучны... — пишет Быков. — Сказки Петрушевской — именно дикие и животные, даже если сама она называет их „настоящими“...» Интересное начинание, но надолго ли?

**Михаил Вайскопф.** Морфология страха. — «Новое литературное обозрение», № 24 (1997).

Стилистические особенности «Морфологии сказки» (1928) В. Я. Проппа, восходящие к стилистике советского Уголовного кодекса конца 20-х годов.

**Александр Вампилов.** А. Т. Твардовский. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 8.

Уникальный документ. Недатированные тезисные записи о застольных разговорах с Твардовским. Февраль, видимо, 1965 года (упоминается прошедший юбилей «Нового мира»). Дача Б. А. Костюковского. Твардовский в запое, его дача рядом. Заходит выпить семь-восемь дней подряд по два-три раза в день. Много забавных мелочей: «Подозревает, что Евтушенко и Вознесенский не читали „Евгения Онегина“... Не любит три слова: силуэт, майонез и романтика... Часто, в особенности пьяный, упоминает отзыв Бунина... Шостаковича не понимает. В поезде, говорит, не уступил бы ему нижнюю полку...» И тут же о Солженицыне: «Поверьте, это великий писатель в самом страшном значении этого слова».

Кроме этих записей в подборке материалов к 60-летию покойного драматурга напечатаны статья Ольги Вампиловой «Неизданный Вампилов», его короткие рассказы «Ранней весной», «Все шло как полагается», «В сугробах», сценка «Рассказ о белом снеге», несколько его писем 1969 — 1971 годов к редактору издательства «Искусство» Иллирии Граковой (публикация, вступительная заметка и примечания И. С. Граковой), воспоминания иркутского прозаика Дмитрия Сергеева «Женитьба Вампилова», а также записанные весной 1977 года Ю. Н. Ароновым высказывания режиссера Юрия Любимова «О Вампилове» (публикация О. М. Вампиловой) и воспоминания бывшего главного редактора альманаха «Ангара» Марка Сергеева об обстоятельствах публикации вампиловской пьесы «Утиная охота».

**Игорь Гергенредер.** Дайте руку королю! Повесть. — «Новая студия / Neue Studia». Русско-немецкий литературно-публицистический журнал. Издатель и редактор журнала Андреас Мазурков. Berlin — Москва, 1997, № 1, май.

Невыдуманная повесть живущего ныне в Германии Игоря Гергенредера (род. в 1952) — жестокое воспоминание о детстве, когда в начале 50-х по стране прокатилась эпидемия полиомиелита, жертвой которой стал Игорь. В конце 50-х он оказался в специальном лечебном заведении для детей, перенесших полиомиелит, где под видом новых методов лечения на детях ставились медицинские эксперименты, в которых, в частности, были заинтересованы военные. «Все написанное — правда. Я там был. Так было». О повестях И. Гергенредера, печатавшихся в журнале «Грани», см. рецензию в «Новом мире» (1996, № 4). Сборник его произведений на русском языке готовится к выходу в Германии.

Первый номер двуязычного журнала «Новая студия» является, по словам его главного редактора, развитием и продолжением выходящего в Берлине с 1995 года журнала «Студия». Прежняя «Студия» делалась сразу двумя редакторами — «в четыре руки», но А. Мазуркову показалось удобнее реализовать свои замыслы в рамках собственного издания. Кроме повести И. Гергенредера предлагают в этом номере порцию заметок Сергея Боровикова «В русском жанре», рассказ Алексея Слаповского «Ненависть. Любовь. Счастье», стихи Инны Кабыш и Светланы Кековой и другие материалы.

**Юрий Глазов.** В краю отцов. Главы из книги. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 8.

Главы из мемуарной книги. Обстоятельства увольнения автора из Института востоковедения АН СССР после того, как он в 1968 году (вместе с Ларисой Богораз, Павлом Литвиновым, Петром Якиром и другими) подписал письмо в защиту диссидентов. В 1972 году эмигрировал, в настоящее время живет и преподает в Канаде. «Институтские» и диссидентские нравы описаны с равной беспощадностью.

**Владимир Глоцер.** Не то, не так, не там... — «Литературная газета», 1997, № 38, 17 сентября.

Критический отклик на выход в свет первых двух томов из четырехтомного Полного собрания сочинений Даниила Хармса (СПб., Гуманитарное агентство «Академический проект», вступительная статья, подготовка текста и примечания В. Н. Сажина). Ошибки, пробелы, текстологические проблемы.

**Я. Гордин.** Что увлекло Россию на Кавказ? Заметки об идеологии Кавказской войны. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 10.

О «неестественной» колонизации Кавказа, в отличие от естественной — в Сибири. Декабристы Пестель, Лунин, Андрей Розен — о необходимости и перспективах завоевания Кавказа. Концептуально не осмысленная война. Какова же была «органичная» ведущая идея, лежавшая в основе действий России в течение тяжелой шестидесятилетней — в минимальном исчислении! — войны, и была ли эта идея вообще? Полусторолетнее отсутствие ответов.

**Фридрих Горенштейн.** Муха у капли чая. Повесть. — «Юность», 1997, № 8.

Повесть 1982 года. «Восьмилетняя война нашего Человека (так обозначен главный герой. — А. В.) со своей женой, разыгранная за опущенным занавесом по всем правилам военной науки, с активной обороной, контракатами, военными перемириями, будащими надежды на долгий счастливый мир, обессилила обоих». Пейзаж после битвы.

«Для гения нужна особая свобода». Письма И. С. Шмелева А. Б. Дерману. Публикация, предисловие и примечания Е. А. Осьминой. — «Литературное обозрение», 1997, № 4.

Двадцать семь писем прозаика Ивана Сергеевича Шмелева 1917 — 1919 годов к Абраму Борисовичу Дерману печатаются по автографам, хранящимся в Отделе рукописей РГБ. «От декрета гений дохнет. Для гения нужна особая свобода. Свобода мыслить и высказывать мысль образом. Этому положен предел. Гений будет, когда не будут хозяевами жизни люди под ярлыками, в руках со штыками» (письмо из Алушты от 22 января 1919 года).

**Олег Ермаков.** Транссибирская пастораль. Роман. — «Знамя», 1997, № 8.

Первая книга большого романа «Свирель вселенной». Юноша-странник Даниил Меньшиков едет в Сибирь. Сначала на поезде, потом на пароходе. Хребет Евразии. Зов пространства. Медведь, сулик. Байкал. Заповедник. Пейзаж: «Озеро, кто сказал, что эта громада силены, слепящая солнечной рябью, дышащая и ласкающая россыпи камней, громада упругая и податливая, влекущая взгляд направо и налево, вверх, прямо, к далям акварельно нежных хребтов, вершинок, складок, громада простора, бездна ясности, свежести, света с кричащими чайками, шумом катеров, причаливающих к залитой солнцем пристани, — озеро?»

**Андрей Жданов.** Американцы против аморального искусства. — «Независимая газета», 1997, № 187, 4 октября.

Короткая заметка, представляющая общественный интерес (и доставившая мне большое удовольствие). Цитирую: «Один из самых известных и влиятельных законодателей США — сенатор-республиканец из Северной Каролины Джесси Хелмс борется за упразднение Национального фонда развития искусств. „Самоочевидно, что многие получатели субсидий фонда с презрением относятся к традиционным моральным стандартам“, — заявил сенатор. По его мнению, фонд заботится о „липových самозванных художниках и артистах, которые без зазрения совести тратят деньги американских налогоплательщиков на то, чтобы вытаскивать все, что им нравится, из помойки и провозглашать это искусством“...»

**В. Иофе.** Первая кровь. (Петроград, 1918 — 1921). — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 8.

Статья о возможном месте расстрела Н. С. Гумилева — Ржевском артиллерийском полигоне.

**Фазиль Искандер.** Думающий о России и американец. Диалог. — «Знамя», 1997, № 9.

Новый рассказ известного прозаика. Что делают в России? Русский утверждает, что в России думают о России и воруют. Это уж не ново, но у его американского собеседника, профессора-русиста, будет возможность в этом убедиться.



**Илья Кабаков.** 70-е годы. — «Новое литературное обозрение», № 25 (1997).

Главы из книги известного художника открывают большую подборку статей и воспоминаний «Художественные идеи семидесятых. „Духовки“ и „нетленки“ неофициального искусства». Среди авторов — Ирина Уварова-Даниэль, Олег Дарк, А. Хансен-Лёве, Лариса Березовчук, М. Айзенберг и другие.

**Нина Катерли.** В-4-52-21. Рассказ. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 10.

Автобиографический рассказ. 1944 год, возвращение в Ленинград из эвакуации. 1952 — 1953-й, болезнь и смерть матери.

**О. И. Киянская.** Профессионал от революции. К вопросу о конспиративной деятельности П. И. Пестеля в 1819 — 1825 годах. — «Литературное обозрение», 1997, № 4.

Финансовые злоупотребления (попросту — казнокрадство) ради революции.

**Наталья Корниенко.** «Москва во времени». Об одной литературной акции 1933 года. — «Октябрь», 1997, № 9.

Роман Андрея Платонова «Счастливая Москва» (см. «Новый мир», 1991, № 9) в контексте предпринятой в 1933 году фундаментальной по замыслу акции под названием «Пролетарская Москва ждет своего художника» (инициатор — Московское товарищество писателей).

**Владимир Крупин.** Мы не люди, мы вятские. Повесть-стенограмма. — «Наш современник», 1997, № 10, 11.

Как в наши дни вятичи ходили походом на растреленную Москву, освобождать столицу от иезомной скверны. Авторская сноска: «По справедливости здесь, вместо моей фамилии, должно стоять „Коллектив авторов“. Какая тут моя заслуга? Никакой. Я просто взял у стенографистки рукопись, вычитал, поставил кой-где абзацы, написал эпитафия о железном Почтальоне, вот и все. Но в редакции сказали: „У нас же не корейский журнал, у нас не может быть коллективной безответственности за написанное, а гонорар кто будет получать? Ты давай не увильживай, ставь подпись“. Я подписал, как, очевидно, подписывают показания на следствии. В конце концов и так можно смотреть на эту работу — как на свидетельские показания. Тем более и летописцы, надиктовавшие эту стенограмму, сейчас в розыске. В вятские леса ушли...»

«Повесть-стенограмма», вопреки очевидным намерениям писателя, может читаться как злая насмешка над патриотической мечтой о новых Мининных и Пожарских. Юмор у Крупина специфический, и этот же самый текст, напечатанный в ином органе и подписанный иной фамилией, мог бы вызвать упреки пожалуй что и в «русофобии».

**Юрий Кувалдин.** Антисоветский Солженицын. К 30-летию написания и распространения письма А. И. Солженицына IV писательскому съезду. — «Независимая газета», 1997, № 169, 10 сентября.

Статья прозаика и издателя Ю. Кувалдина сопровождается его же бранным «Письмом „Литературной газете“», которая, как выясняется, после двухмесячной проволочки отказалась публиковать статью «Антисоветский Солженицын». В темпераментной, но сумбурной статье Кувалдина наиболее интересно его убеждение, что «культура в России должна внедряться, как картошка при Екатерине, — добровольно-принудительно».

**Игорь Кузнецов.** Разбитый компас в бесконечном тупике. Путеводители от Дмитрия Галковского. — «Литературная газета», 1997, № 44, 29 октября.

Доброжелательный отклик на отдельное книжное издание «Бесконечного тупика» Дмитрия Галковского. См. об этом же событии подробную рецензию Татьяны Касаткиной в «Новом мире» (1997, № 10).

**Валентин Курбатов.** С этой стороны. — «Завтра», 1997, № 35, сентябрь.

Взволнованный отклик на книгу Юрия Салманова «Шаг в сторону», напечатанную в 1996 году в русском альманахе «Вече», издающемся в Германии (номер не указан). Жанр этой книги о начале и конце власовской РОА не обозначен; не роман, но для документального исследования текст «слишком украшен беллетристическими капризами провинциальной прозы начала века». По мнению критика, персонажи книги, присягнувшие на верность Гитлеру, «нарушают естественный закон жизни, выходя из природно-здорового бытия на обреченные пути умиротворения», и «вместо того, чтобы жить домом и Родиной, какими их Бог дал, по русской горячности и генетическому идеализму начинают торопить историю идеями (большевики одними, Власов — другими, но все идеями)», и «расплачиваются они страшно — увечьем народа и отнимающей силы ложью». Валентин Курбатов считает, что книга Ю. Салманова большинством русских читателей принята быть не может, хотя она вопреки воле автора свидетельствует о выморочности власовского дела: «Может быть, те, кто помоложе, будут милосерднее нас и найдут в себе достаточно равнодушия

для обсуждения этой проблемы как теоретической. Для моего поколения это пока не по силам. Мы уже навсегда дети этой стороны, и оттуда нам уже на Родину не глядеть и той правды не видеть».

**Олег Лебедев.** Нефритовый голубь. Повесть. — «Юность», 1997, № 10.

Детективная повесть. «Только сейчас, ранней весной 1944 года, спустя почти 30 лет после трагедии, я, Петр Людвигович Феллер, решил предать гласности все обстоятельства убийства моего зятя, полковника Михаила Александровича Подгорнова». Страшная месть китайца (ой, кажется, проговорился...).

**Н. Б. Лебина.** Ищите женщину, или Размышления в пустой спальне. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 10.

Неожиданное «историко-социальное расследование». Частная жизнь новой коммунистической элиты в 20 — 30-е годы и сексуальный подтекст гибели С. М. Кирова (убийство из ревности). Загадки биографии Марии Львовны Маркус, жены Кирова. Секретарь ЦИК Абель Енукидзе — растлитель малолетних.

**Ю. М. Лотман.** Современность между Востоком и Западом. Публикация Т. Д. Кузовкиной. Текст подготовлен к печати при участии М. Ю. Лотмана и Л. Н. Киселевой. — «Знамя», 1997, № 9.

Текст, продиктованный автором весной 1992 года для прочтения на семиотическом симпозиуме в Испании. «В настоящее время в России не сложился облик будущего, и поэтому столь туманно и неопределенно выглядит прошлое... Для того, кто будет описывать нашу современность из далекого будущего, она будет выглядеть необычайно интересной. Для современника же это — напряженная смесь трагических опасений и надежд». Прямо по Глазкову.

**Юрий Лотман.** Портрет. Предисловие Любви Киселевой. Публикация и подготовка текста к печати Любви Киселевой и Татьяны Кузовкиной. — «Вышгород», Таллинн, 1997, № 1-2.

Текст датирован июлем — августом 1993 года. Одна из последних продиктованных Лотманом работ — вступительная статья для каталога портретов, подготовленного сотрудниками московского Литературного музея (каталог не вышел). Печатается к 75-летию юбилею Юрия Михайловича Лотмана (1922 — 1993), к 70-летию юбилею Зары Григорьевны Минц (1927 — 1990), а также к 50-летию кафедры русской литературы Тартуского университета. Тут же печатается работа З. Г. Минц «Эстетика здорового человека» — конспективная запись спецкурса по прозе Чехова, прочитанного студентам Тартуского университета в 1985/86 учебном году (публикация, подготовка текста, предисловие — Леа Пильд). О литературном журнале «Вышгород» см. в конце настоящего обзора.

**Александр Нежный.** Князь Ухтомский. Епископ Андрей. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 10.

Документальное повествование о епископе Андрее (Ухтомском), убитом советской властью в 1937 году. Документы ГПУ. «Исповедь» епископа Андрея, написанная в ноябре 1928 года в камере Кзыл-Ордынской тюрьмы для следователя Нелюбова (не без тайной надежды, что его «Исповедь» будет передана на самый верх, в Москву, на Лубянку или в Кремль).

**Владимир Паперный.** Московское сознание глазами иностранца. — «Знамя», 1997, № 9.

Заметки автора известной книги «Культура Два» — москвича, живущего в Лос-Анджелесе, но оставшегося москвичом, ибо, по его мнению, выражение «бывший москвич» так же абсурдно, как «бывший пудель». Много интересных наблюдений.

**Борис Парамонов.** «Кто виноват?» и «что делать?»: психологический подтекст русских вопросов. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 10.

«Психологический подтекст» — слабо сказано. Парамонов, как всегда, ищет сексуальную подоплеку «русских вопросов» (так называется его постоянная передача на радио «Свобода») и находит ее... ну конечно, в «бисексуальности» Герцена и Чернышевского.

**Письма Жоржа Дантеса к Екатерине Гончаровой. 1836 — 1837 гг.** Публикация и комментарии профессора Серены Витале (Италия). Подготовка писем к печати в России и вступительная заметка В. П. Старка. Перевод писем с французского М. И. Писаревой. Перевод комментариев с итальянского С. В. Сливинской. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 8.

Оригиналы семи публикуемых писем Жоржа Дантеса (барона де Геккерена) к своей невесте, а затем и супруге Е. Н. Гончаровой принадлежали правнуку Дантеса барону Клоду де Геккерену, умершему 3 мая 1996 года, а ныне принадлежат его наследникам и хранятся

в семейном архиве. Цитата: «Нынче утром я виделся с известной дамой (Натальей Николаевной Пушкиной. — А. В.) и, как всегда, моя возлюбленная, подчинился Вашим высочайшим повелениям; я формально объявил, что был бы чрезвычайно ей обязан, если бы она сооблаговолит оставить эти переговоры, совершенно бесполезные, и коль Месье (Александр Сергеевич Пушкин. — А. В.) не довольно умен, чтобы понять, что только он и играет дурацкую роль в этой истории, то она, естественно, напрасно тратит время, желая ему это объяснить» (из письма от 21 ноября 1836 года). Еще цитата: «Мне не нужно было Вашей записки, чтобы узнать, что мадам Хитрово (Елизавета Михайловна Хитрово. — А. В.) конфиденстка Пушкина. Похоже, она до сих пор сохранила милую привычку лезть не в свое дело, доставьте же мне удовольствие, ежели с Вами вновь заговорят об этом, скажите, что мадам Хитрово стоило бы больше заниматься собственным поведением, а не других, особенно в части приличий — предмета, о котором она, по-моему, давно позабыла, по крайней мере, то, как она себя ведет, заставляет в это поверить» (из письма от 26 декабря 1836 года).

**Письма К. Д. Бальмонта к Дагмар Шаховской.** Публикация и примечания Ж. Шерона. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 8, 9.

От переписки Константина Бальмонта (1867 — 1942) с его возлюбленной Дагмар Шаховской (1893 — 1967) сохранились 858 писем и открыток, охватывающих главным образом 1922 — 1924 годы. Выдержки из них печатаются с разрешения Weineske Library при Йельском университете (США). Семейная драма. Эмигрантские дразги. Деньги, амбиции и снова деньги. «Мережковские с Буниным обделяют тайком свои делишки, в свою единоличную пользу» (из письма от 28 ноября 1922 года). Поверх всего — настоящая страсть.

**Письма Б. М. Эйхенбаума к Ю. А. Бережновой (1949 — 1959).** Публикация и примечания Ю. А. Бережновой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 10.

Публикации малоинтересных писем Эйхенбаума к своей ученице предшествуют статья Евгения Белодубровского «Не фамильярные беседы» и краткие, но любопытные воспоминания Ю. А. Бережновой «Из разговоров с Б. М. Эйхенбаумом» (о встречах и беседах 1954 года).

**Валентин Распутин.** «России еще долго не подняться». Беседу вел Виктор Чепрунов. — «Аргументы и факты». Еженедельная газета. 1997, № 38, сентябрь.

«Это неверно, что русская литература кончилась, умерла. Я имею в виду традиционную русскую литературу, то продолжение классики, которое было у нас в 60 — 80-е годы... Например, вышла „Пирамида“ Леонова — эпохальное произведение, сравнимое, может быть, с „Тихим Доном“ Шолохова, хотя совсем другой формы. Кто-нибудь заметил? Никто! Или „Раскол“ Владимира Бичукина (? — А. В.) — тоже очень интересная книга. Могучая, особенно по языку. Есть хоть один отклик? Нет!» Таинственный Бичукин — это явно Владимир Личутин (видимо, журналист недослышал, а что Личутин, что Бичукин, ему было все равно). К слову сказать, о «Пирамиде» на страницах «Нового мира» писал В. Сердюченко (1996, № 3), а в «Москве» — А. Варламов (1997, № 4).

**Михаил Рошин.** Блок 1995 — 1996. — «Октябрь», 1997, № 9.

По выражению автора, «почти дневник, к подлинному дневнику все же более всего относящийся». Путевые заметки, воспоминания, читательские впечатления. Яростные стихи «Раздев Черноморского флота» («раздев» — это существительное). Откровенные суждения: «Чудовищный, как мне кажется, роман Айтматова в „Знамени“... Здесь апофеоз по набору всякой чуши...» (запись января 1995 года). Другие рошинские «блоки» см. в журнале «Октябрь» (1992, № 1; 1995, № 6).

**Павел Румянцев.** Последние версты. Повесть. — «Юность», 1997, № 9.

«Москва хоронила Гоголя. Гоголь лежал в гробу и думал: „А что, если встать сейчас — вот будет зрелище!..“»

**Георгий Семенов.** Поэзия возвращения. Из записей разных лет. Предисловие, подготовка текста и публикация Елены Семеновой. — «Знамя», 1997, № 9.

«Несколько слов о себе» (1985 — 1991) и разрозненные записи 1977 — 1991 годов из архива покойного прозаика. Среди прочего: «Русский рассказ нельзя пересказать как анекдот. Даже ранний Чехов не имеет никакого отношения к самому себе позднему. Анекдот не прошел в русском рассказе. Другая стихия чтения». Другую публикацию из наследия Георгия Семенова см. в «Новом мире» (1996, № 9).

«...Смирненно переживать теперешнее смутное время». Письма дочери Льва Толстого. 1917 — 1925 годы. Вступление, публикация и примечания Ю. Д. Ядовкер. — «Октябрь», 1997, № 9.

Письма Татьяны Львовны Сухотиной (урожд. графини Толстой; 1864 — 1950) к разным адресатам охватывают период 1917 — 1925 годов. Отклик на падение монархии: «Ко-

нечно, нельзя не радоваться тому, что теперь слово будет свободнее, что всякий плохой правитель легко может быть сменен, что пропасть бессмысленно и зловредно истраченного народного богатства будет сбережено, что теперь можно будет все отцовское печатать без страха цензуры, что можно будет писать и говорить за национализацию земли и единый налог и, может быть, даже против нелепого и губящего всякое улучшение подоходного налога» (из письма к брату С. Л. Толстому от 10 марта 1917 года из Ясной Поляны). Русская деревня после революции. Попытки спасти яснополянскую усадьбу. Отъезд из России. Публикация основана на материалах из Отдела рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого.

**Иосиф Сталин.** Учитель. Литературная записка: Нодар Джин. — «Дружба народов», 1997, № 9.

Роман, написанный Нодаром Джином от лица И. В. Сталина, печатается в сокращенном варианте. О возможности и даже необходимости такого «соавторства» одобрительно отзывался Иосиф Бродский в частном разговоре с автором.

**Виктор Сукач.** Воспоминания о Розанове. Почти *опавшие листья*. — «Новое литературное обозрение», № 23 (1997).

Автор — известный публикатор и жизнеописатель В. В. Розанова («Никто не возился с Розановым, сколько возился я»). Даны извлечения из книги, запечатлевшей опыт двадцати лет заочного общения с «великим Розановым». Тут же — по тематическому сходству и интонационному контрасту — печатается иронический «Розановый сад» Владимира Тучкова, который автор называет пародией на Василия Розанова, но не на конкретного В. В. Розанова, а на жанр, «который тем не менее ассоциируется лишь с Розановым».

**Евгений Федоров.** Бунт. — «Континент», Москва — Париж, № 91 (1997).

Повесть Евгения Федорова, лауреата парижской премии имени В. Дая и финалиста Букеровской премии 1995 года, завершает задуманный автором большой повествовательный цикл под тем же названием. См. также повести «Жареный петух» («Нева», 1990, № 9), «Илиада Жени Васяева, год 1949» («Звезда», 1994, № 4), «Одиссея» («Новый мир», 1994, № 5), «Умерла насякомя. Смена вех: год 1953» («Континент», № 89). Полный состав цикла и последовательность его частей см. в № 89 «Континента» на стр. 16. Без преувеличения: новое слово в лагерной прозе, новое слово о человеке. По мнению критика Валерия Мильдона, книга Е. Федорова суммирует русский опыт XX века — см. его рецензию «Муха за оконной рамой» («Независимая газета», 1997, № 153, 19 августа).

**Борис Хазанов.** Апология нечитабельности. О романе и романах. — «Октябрь», 1997, № 10.

Прозаик, живущий в Германии, — о жанре, языке, писательстве. О том, что «чем литература актуальней, тем она меньше литература». И далее: «Литература, которая хочет говорить о самом жгучем, наболевшем и животрепещущем, в собственно литературном смысле банальна; стремясь быть своевременной, она оказывается художественно несвоевременной». Утверждается также, что не серьезная литература заимствует у рыночной литературы приемы и достижения, а, напротив, «масскульт паразитирует на литературе высокого уровня».

В этом же номере «Октября» см. также тематически близкие заметки Игоря Померанцева «Хождение по жанрам» и статью Алексея Верникова «Тихий дон» с подзаголовком «Почему Карлос Кастанеда не лауреат Нобелевской премии в области литературы».

**Ольга Кузнецова.** Испытание буфетом. Открытие сезона в литературных салонах Москвы. — «Русский Телеграф». Ежедневная деловая общенациональная газета. Издается с сентября 1997 года. 1997, № 30, 25 октября.

«Если заглянуть в афишу литературной жизни Москвы, выяснится, что жизнь эта бьет ключом... Правда, об этом не знает никто, кроме самих литераторов». Пользуясь случаем, приведу из публикации в «Русском Телеграфе» некоторые полезные для наших читателей сведения о московских литературных салонах.

Салон «Классики XXI века». Страстной бульвар, 8. Метро «Чеховская», «Пушкинская». Телефон для справок: 516-75-25. Куратор *Елена Пахомова*. Салон «Классики XXI века», находящийся в помещении Чеховской библиотеки, представляет наиболее широкий спектр авторов. Ольга Кузнецова отмечает и другие достоинства этого салона, а именно: разнообразие публики, буфет, метро рядом, в зале силой не держат, «ничто не напрягает, как в случае со многими другими салонами, где порой и покурить негде».

**Крымский клуб.** Кутузовский проспект, 3. Метро «Киевская». Телефон: 243-76-57. Куратор *Игорь Сид*. Клуб является частью широкой «геопозитической» программы Игоря Сиды «Крым — мировой культурный полигон».

**Клуб «Авторник».** Большой Кисельный переулок, 16. Метро «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Тургеневская». Телефон: 310-85-48. Куратор *Дмитрий Кузьмич*. В клубе проводятся вечера трех циклов: «Антифон» — парные выступления двух авторов разных поколений; «Альтруистический цикл» — чтение известными авторами чужих произведений; «Редкий гость» — вечера практически не выступающих в Москве литераторов.

**Музей Вадима Сидура.** Новогиреевская, 37. Метро «Перово». Телефон: 918-51-81. Кураторы *Галина и Михаил Сидур*. «Самый эстетский салон». Атмосфера художественной мастерской покойного скульптора, которая «еще в брежневские времена была своеобразным культурным центром для представителей творческого андерграунда». Среди прочего музей проводит фестивали верлибра, среди выступающих преобладают верлибристы.

**Литературный музей.** Петровка, 28. Метро «Чеховская», «Пушкинская». Телефон: 925-12-26. Куратор *Анатолий Кудрявицкий*. Тут проходят все вечера журнала «Стрелец». «Атмосфера академичнее, чем в других салонах».



**Вышгород. Литературно-художественный и общественно-публицистический журнал.** Главный редактор Людмила Глушковая. Зам. главного редактора Юрий Зотов. Таллинн.

Изысканный, с цветными вкладками, журнал издается Эстонским культурным центром «Русская энциклопедия» при поддержке Министерства культуры Эстонской Республики, Фонда Открытой Эстонии и Фонда KULTUURKAPITAL. Известный в России Институт «Открытое общество» рассылает в библиотеки стран Балтии 500 экземпляров «Вышгорода» (общий тираж не указан). Редакция «Вышгорода» любезно познакомила нас с тремя выпусками журнала за 1997 год.

№ 1-2 (232 стр). Упомянутые выше в обзоре тексты Ю. Лотмана и З. Минц; новелла Яна Кросса «Поминальная речь по хозяину Куузику» (перевел с эстонского Светлан Семеновко); стихи Нила Нерлина и Виктора Кривулина; запись публичной лекции о Александре Меня 1990 года «И виждь, и внемли. Книги „Поздних пророков“»; лагерные воспоминания Тамары Милутиной «Сыновьям. Люди моей жизни», фрагменты которых ранее печатались в парижском «Вестнике РХД»; радиопьеса Юри Туулика «Larus canus» (перевел с эстонского Александр Томберг) и др.

№ 3 (200 стр.). Специальный «польский» выпуск журнала. Стихи Чеслава Милоша в переводах Сергея Морейно; статья Анджея Дравича «Пропасть, которая во мне болит и жжет. Образ русского польским пером XX столетия» (перевела Веслава Ольбрых); повесть новомирского автора и, как оказалось, члена редакционного совета «Вышгорода», петербуржца Александра Мелихова «Варшавская мелодия»; доклад Виктора Хорева «Если бы мы все были такими...» — о польской теме в российской словесности XX века; доклад Дануты Кулаковской «Лазутчики гнилого Запада» — о Достоевском и «польском вопросе»; фрагменты из «Дневника» Витольда Гомбровича в переводе Юрия Чайникова (другие фрагменты в его переводах см. в следующем номере «Нового мира») и др.

№ 4-5 (240 стр.). Новелла Юло Туулика «Великое противостояние, или Бог игроков любит» (перевел Светлан Семеновко); еще одна лекция о. Александра Меня; пушкинские штудии профессора Тартуского университета Ларисы Вольперт (с похвальным отзывом Юрия Лотмана); рассказ Бориса Евсеева «Никола Мокрый»; статья Аллы Большаковой «Норма и аномалия» об образе России в англо-американской русистике 90-х годов; фрагменты переведенного на девять европейских языков романа Эмиля Тодэ «Пограничье» (перевела с эстонского Вера Рубер), который критика считает вехой в эстонской литературе 90-х годов; рассказ из «деревенского» цикла русского писателя Ивана Иванова, живущего в Пярну, и др.



**Толстый журнал. Проза. Эссе. Поэзия. Публицистика. Учредитель Валерий Чепурин.** Главный редактор Андрей Поляков. Тираж 2100 экз. Симферополь, 1997, № 1.

Первый выпуск нового литературного издания открывается вступительным словом Президента Русского ПЕН-клуба Андрея Битова. Цитирую: «Эпоха перемен, в которой не рекомендует жить китайская мудрость, лишила крымского читателя... неоченимого права первопрочтения новинок современной русской литературы. Это право возвращает крымчанам „Толстый журнал“... На его обложке — „флажки“ любимых российских журналов, недоступных большинству полуостровитян по разным причинам: от простой невозможности подписаться до „кусающей цены“. „Толстый журнал“ — доступный и дешевый журнал».

дайджест, содержание которого призвано удовлетворить тоскующего интеллигента, уже давно махнувшего рукой на пестрые книжные лотки...»

В первом номере напечатаны любопытные, но неоткомментированные «Стихи на случай» Иосифа Бродского 60-х годов, публикуемые, как утверждает Андрей Поляков, *впервые*, но непонятно, кем собранные и как оказавшиеся в журнале-дайджесте (в послесловии об этом не сказано, но копирайт стоит — «Толстый журнал»).

Из других журналов перепечатано: из «Знамени» — повесть Алексея Слаповского «Братья», стихи Виктора Кривулина, эссе Григория Померанца; из «Октября» — два рассказа Бориса Фалькова, рассказы Семена Файбисовича, переписка М. Алданова; из «Нового мира» — проза Татьяны Вольтской «На развалинах нашего Рима», стихи Александра Ткаченко, рассказ Романа Солнцева «Вторые люди», рассказ Рамиля Бессермена «Шахматы» и афоризмы Зуфара Фаткудинова.

А также дается информация о «Крымском клубе» в Москве (см. выше).

Составитель Андрей Василевский.



## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

*Январь*

**10 лет назад** — в № 1 за 1988 год началась публикация романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

**20 лет назад** — в № 1 за 1978 год напечатаны «Поиски жанра» Василия Аксенова.

**30 лет назад** — в № 1 за 1968 год напечатан роман Федора Абрамова «Две зимы и три лета».

**35 лет назад** — в № 1 за 1963 год напечатаны «Два рассказа» А. Солженицына.

**70 лет назад** — в № 1 за 1928 год началась публикация романа Ал. Толстого «Хождение по мукам» и повести Н. Огнева «Дневник Кости Рябцева».

## В 1998 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Монахи (роман);  
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Веселый солдат (повесть);  
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);  
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);  
 ЮРИЙ БУЙДА. Живем всего два раза (рассказы);  
 МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (роман);  
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);  
 СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);  
 ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ. Из «Дневника» (перевод с польского);  
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);  
 ИГОРЬ ДЕДКОВ. Обессоленное время (из дневниковых записей 1975 — 1980 годов);  
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА. Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);  
 БОРИС ЕКИМОВ. Очерки и рассказы;  
 НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ. Письма;  
 ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Поэт (повесть);  
 АНАТОЛИЙ КИМ. Стена (повесть);  
 ОЛЕГ ЛАРИН. Блудное лето (сцены из захолустной жизни);  
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);  
 Ф. НИЦШЕ. Письма (перевод с немецкого);  
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Чернильный ангел (повесть);  
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);  
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. Главы из книги «Угодило зернышко промеж двух жерновов. (Очерки изгнания)»;  
 ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Золотая блесна (северная проза);  
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Армия любовников (роман);  
 ЮЛИУ ЭДЛИС. Аноним (роман);

а также романы, повести, рассказы АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА, ЯНА ГОЛЬЦМАНА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, ДИНЫ РУБИНОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, стихи АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи, эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ИРИНЫ СУРАТ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ  
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**

## **УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!**

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

---

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

---

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novu Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.*



## SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Alexander Kushner, Marina Boroditskaya, as well as the translations by Sergei Averintsev from the Book of Psalms of David.

We are publishing the narratives «The Door» by Eduard Burmakin, «The Country Short Stories» by Lidia Sycheva and the short stories «The Crimea. The End of the Century» by Alexei Usalko and «Daddy-Long-Legs» by Pavel Lavrenov.

The section «Ecology of Russia» is presented by the article «The Death of Waters» by Anatoly Greshnevikov.

In the section «Publicistics» we are publishing the polemical articles on pedagogics «The Disputer of This World» by L. Aizerman, «It's not a Plot, but...» by Renata Galtseva and «Psycho-Analysis and Upbringing» by Diana Vidra.

The section «Times and Morals» contains the polemical article «Noblesse Oblige» by Vladimir Novikov on the modern «speech behaviour».

The section «Far Nearness» presents the notes by archpriest Mikhail Arlov on the margins of the «Note-Books» by Anna Akhmatova.

In the section «Writer's Diary» we are publishing the essay «Devices of Epopees» by Alexander Solzhenitsyn about the novels by M. Aldanov and V. Grossman.

The section «Literary Criticism» is presented by the article «Hamburg Assessment and Party Literature» by Nikita Yeliseyev which is a polemical comment on an article by Mikhail Berg.

The issue also presents our traditional sections «Reviews», «Editor's Mail», «Foreign Books about Russia», «Bibliography».



**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

**Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.**

---

**Главный редактор С. П. Залыгин**

**Редакционная коллегия: М. В. Бутов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев (зам. главного редактора),**

**С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)**

**Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова**

---

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88, отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29. Факс: 200-08-29.

Электронная почта: [nmir@deol.ru](mailto:nmir@deol.ru)

---

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

---

Сдано в набор 20.09.97 г. Подписано к печати 24.11.97 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать.

Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 14 650 экз. Зак. 6580. Цена договорная.

---

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»  
Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

---

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой  
Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

## ПРЕМИИ «НОВОГО МИРА» ЗА 1997 ГОД

присуждаются

**ТАТЬЯНЕ КАСАТКИНОЙ**

за статью «В поисках утраченной реальности» (№ 3) и рецензию «Дар уединения» (№ 10);

**ЭЛЬМИРЕ КОТЛЯР**

за цикл стихотворений «Ты» (№ 4);

**АЛЕКСАНДРУ КУШНЕРУ**

за эссе «Дельфтский мастер» (№ 8) и «Среди людей, которые не слышат...» (№ 12);

**АНАТОЛИЮ НАЙМАНУ**

за роман «Б. Б. и др.» (№ 10);

**ИРИНЕ ПОЛЯНСКОЙ**

за роман «Прохождение тени» (№ 1 — 2);

**ЛЕОНИДУ СИТКО**

за воспоминания «Дубровлаг при Хрущеве» (№ 10).

Главный редактор



СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН.